

**Н.Н. СЕРЕГИН, В.В. ТИШИН**

# **СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ТЮРКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**(вторая половина I тыс. н.э.)**

**Часть 1: ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
(по письменным и археологическим источникам)**





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра археологии, этнографии и музеологии  
Лаборатория междисциплинарного изучения археологии  
Западной Сибири и Алтая

**Н.Н. СЕРЕГИН**  
**В.В. ТИШИН**

**СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ТЮРКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**  
(вторая половина I тыс. н.э.)

**Часть 1: ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ**  
(по письменным и археологическим источникам)

*Монография*



Барнаул

---

Издательство  
Алтайского государственного  
университета  
2017

УДК 902(5-191.2)+39  
ББК 63.48(54)+63.521(=63)  
С 325

Научный редактор:  
доктор исторических наук, чл.-корр. РАН *Н.Н. Крадин*

Рецензенты:  
доктор исторических наук *А.А. Тишкин*;  
доктор исторических наук *С.А. Васютин*;  
*кафедра археологии и всеобщей истории*  
*Горно-Алтайского государственного университета*

С 325 **Серегин, Н.Н., Тишин, В.В.**

Социальная история тюрков Центральной Азии (вторая половина I тыс. н.э.). Часть 1: Очерки социальной структуры (по письменным и археологическим источникам): монография / Н.Н. Серегин, В.В. Тишин. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. 344 с.: ил.  
ISBN 978-5-7904-2234-8

В монографии представлен опыт изучения структуры общества тюрков Центральной Азии второй половины I тыс. н.э. Осуществлен анализ значительного объема письменных и археологических источников, демонстрирующих различные стороны социальной истории кочевников. В очерках книги последовательно рассмотрены такие характеристики общества тюрков, как система родства, форма семьи, возрастная и гендерная дифференциация. Продемонстрированы возможности решения ряда проблемных вопросов истории номадов, связанных с существованием института дружины, выделением особой группы служителей культа, а также формами социальной зависимости.

Издание рассчитано на специалистов в области истории и археологии, а также на широкий круг читателей, интересующихся различными аспектами изучения кочевых обществ Центральной Азии и сопредельных территорий.

УДК 902(5-191.2)+39  
ББК 63.48(54)+63.521(=63)

*Монография подготовлена при поддержке гранта Правительства РФ (постановление №220), полученного ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» договор №14.Z50.31.0010, проект «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии», а также в рамках выполнения Госзадания Министерства образования и науки РФ «Реконструкции технологических приемов и методов производств древних обществ Северной Азии» (проект №33.867.2017/ПЧ)*

ISBN 978-5-7904-2234-8

© Серегин Н.Н., Тишин В.В., 2017  
© Оформление. Издательство Алтайского  
государственного университета, 2017

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION  
ALTAI STATE UNIVERSITY

Department of archeology, ethnography and museology

Laboratory of interdisciplinary researches  
in archeology of Western Siberia and Altai

**N.N. SEREGIN**

**V.V. TISHIN**

**A SOCIAL HISTORY OF TÜRKES OF INNER ASIA**

**(2<sup>nd</sup> half of the 1<sup>st</sup> millennium A.D.)**

**PART 1: ESSAYS ON SOCIAL STRUCTURE**

**(based on Written Sources and Archaeological Data)**

*MONOGRAPH*



Barnaul

---

Altai State  
University Press  
2017



УДК 902(5-191.2)+39  
ББК 63.48(54)+63.521(=63)  
С 325

Scientific editor:  
doctor of historical sciences, corr. member of RAS *N.N. Kradin*

Reviewers:  
doctor of historical sciences *A.A. Tishkin*;  
doctor of historical sciences *S.A. Vasyutin*;  
*department of archeology and general history  
of Gorno-Altai State University*

C 325 **Seregin, N.N., Tishin, V.V.**

A Social History of Türks of Inner Asia (2nd half of the 1st millennium A.D.).  
Part 1: Essays on Social Structure (based on Written Sources and Archaeological  
Data): monograph / N.N. Seregin, V.V. Tishin. – Barnaul: Publishing house of  
the Altai State University, 2017. – 344 p.  
ISBN 978-5-7904-2234-8

The monograph presents the experience of a study of structure of the society of Türks of Inner Asia on the 2nd half of the 1st millennium A.D. There had been analyzed a wide range of written and archaeological sources to show various aspects of a social history of the nomads. In essays contained in the book authors consequentially consider such features of the Türkic society as a kinship system, type of family, age stratification and gender differentiation. Possibilities for solving some of certain problems of the history of nomads, such as the existence of the institute of the comitatus, allotment of the strata of ministers of religion, and also characteristics of forms of social dependency, are demonstrated.

This book is intended for both the specialist in history and archaeology, and the general reader, those who are interested of various aspects of a history of nomadic societies of Inner Asia and adjacent territories.

УДК 902(5-191.2)+39  
ББК 63.48(54)+63.521(=63)

*This book was funded by grant №14.Z50.31.0010, «The oldest settlement in Siberia: the formation and dynamics of cultures in North Asia», from the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Resolution №220) and by State task of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation «Reconstruction of technological methods and methods of production of ancient societies of North Asia» (project №33.867.2017/ПЧ)*

ISBN 978-5-7904-2234-8

© Seregin N.N., Tishin V.V., 2017

© Publishing house of the Altai State University, 2017

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение .....	6
<i>Источниковая база</i> .....	8
<i>Историография</i> .....	50
Древнетюркская система родства .....	71
Характер общины тюрков Центральной Азии .....	97
Форма семьи у кочевников тюркского времени .....	112
Возрастная дифференциация социума тюрков Центральной Азии .....	121
Статус женщины в тюркском обществе .....	145
Вопрос о дружине у тюркских кочевников Центральной Азии .....	173
Формы социальной зависимости в тюркском обществе .....	193
Служители культа у тюрков: возможности интерпретации письменных и археологических источников .....	216
Символы власти в тюркском обществе (по материалам раскопок погребальных комплексов) .....	232
Динамика структуры социума тюрков Центральной Азии (опыт интерпретации археологических материалов) .....	240
Заключение .....	254
Summary .....	263
Библиографический список .....	269
Список сокращений .....	340
Список сокращений названий письменных памятников .....	342

## ВВЕДЕНИЕ

Изучение социальной истории кочевников Евразии уже достаточно давно является вполне самостоятельным направлением исследований. Актуальность и значимость работ в рамках данной тематики определяется целым рядом факторов, среди которых не последнее место занимает то влияние, которое номады оказали на судьбы значительного количества народов. Кочевники различных хронологических периодов создали оригинальные социальные системы, в большинстве случаев весьма недолговечные, однако оставившие заметный след в истории.

Появление на карте Центральной Азии<sup>1</sup> во второй половине VI в. политического образования<sup>2</sup>, известного в научной литературе под названием «Великий Тюркский каганат», очерчивает новый этап в истории рассматриваемого региона и обширных сопредельных территорий. Стремительный взлет империи и активная экспансия номадов, увенчавшаяся распадом уже к началу VII в. на условные Восточно-тюркский и Западно-тюркский каганаты, изменили политическую и этнокультурную карту всей Евразии. Возглавившая политическое объединение тюркоязычных кочевников племенная группировка, именовавшая себя *\*türk* ~ *\*türük* [Şirin User H., 2009b, s. 166–169], т.е. *тюрки*, распространила не только свое имя на родственные по языку кочевнические племена, занимавшие широкие пространства евразийских степей, но также характерную для своей общности материальную культуру, идеологию и формы социально-политической номенклатуры. Даже после утраты доминирующей роли тюрки оставили политическую традицию, которая продолжала в различных формах еще длительное время существовать в рамках отдельных объединений номадов.

---

<sup>1</sup> В настоящей работе под «Центральной Азией» понимается географический регион, включающий Монголию, Южную Сибирь (Алтай, Тува, Минусинская котловина, Прибайкалье и Забайкалье), территории входящих в состав Китайской Народной Республики административных единиц – автономных районов Внутренняя Монголия и Нин-ся-Хуэй, провинций Цин-хай и Гань-су, а также Восточного Туркестана (для затрагиваемого периода); под «Средней Азией» – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан (см.: [Дробышев Ю.И., 2014, с. 19–54; Stark S., 2008, S. 6–8]).

<sup>2</sup> Авторы избегают употребления дефиниции «государство» по отношению к крупным политическим образованиям кочевнических народов исключительно ввиду дискуссионности критериев этого понятия и целесообразности его употребления применительно к характеристике объединений номадов.



Даже в период существования названных выше политических образований VI–VIII вв., созданных тюрками, последним приходилось отстаивать свое доминирующее положение в борьбе с другими племенными группами – такими как *се-янь-то* 薛延陀, тюргеши, уйгуры, карлуки, басмылы и т.д. Эти объединения кочевников населяли один историко-культурный регион, принадлежали к общему языковому и культурному кругу, сохранившиеся памятники письменности касательно некоторых из них позволяют уверенно говорить лишь о диалектных различиях при единстве социально-политической терминологии, а данные археологии – об универсальных чертах материальной культуры и элементов погребально-поминальной обрядности. При этом они отнюдь не идентифицировали себя с тюрками. Тем не менее мы считаем обоснованным употреблять по отношению ко всем перечисленным общностям дефиницию «древние тюрки», а период существования возглавляемых ими объединений обозначать как «древнетюркский» [Грач А.Д., 1966б; 1967; Савинов Д.Г., 1984, с. 5–7]. В отношении конкретно доминирующей племенной группировки в работе будет использоваться ее самоназвание – *тюрки*.

Понятно, что обозначенные моменты требуют внимательного отношения к вопросам общности и/или преемственности тех или иных социальных явлений и специфики бытования определенных социальных институтов у племенных группировок древнетюркского круга, а также выяснения соотношения социальных и этнических процессов в евразийских степях в VI–X вв. Это обуславливает необходимость комплексного подхода к изучению каждой конкретной общности – с привлечением разнопланового источникового материала и с оглядкой на другие объединения, существовавшие рядом с ней в рамках единого историко-культурного пространства.

Вместе с озвученными проблемами становится очевидным и тот факт, что их решение требует огромной работы, выполнение которой может быть логично разбито на несколько этапов.

Настоящая работа представляет собой опыт обобщения данных письменных и археологических источников по одной из сторон социальной истории общности *тюрк* – социальной структуре. Последняя в данном случае рассматривается как система взаимодействия индивидов в рамках конкретной социальной общности, что, соответственно, «подразумевает выделение критериев социальной дифференциации и принципов стратификации, установление соотношения различных срезов структуры общества (приближенность индивида к институтам власти, имущественная, половозрастная, профессиональная, этнокультурная стратификация и т.д.) и механизмов социальной мобильности, выявление социальных категорий и их границ, анализ форм взаимоотношений между этими категориями и внутри них, как на коллективном, так и на индивидуальном уровне» [Тишин В.В., 2014б, с. 194–195].

## *Источниковая база*

Возможности реконструкции социальной структуры конкретной общности номадов в значительной степени определяются спецификой источниковой базы. Заявленный в настоящей работе комплексный подход предполагает привлечение разноплановых материалов, исходя непосредственно из критерия их значимости для поставленной проблемы. Изучение социальной истории тюрков Центральной Азии в целом базируется на значительном фонде различных по своей природе материалов. Однако постановка конкретной исследовательской проблемы в определенной степени сужает спектр доступных источников в количественном отношении.

Основу источниковой базы представленного исследования составляют, прежде всего, письменные и археологические источники. На различных этапах работы рассматривались также данные лингвистики, фольклора, этнографии. Степень привлечения источников каждого типа определялась, главным образом, их информативностью и, соответственно, полезностью для реконструкции социальной истории тюрков, но также в некоторой степени и специализацией авторов настоящей работы. Каждая из названных групп источников характеризуется собственной спецификой и при должной методике извлечения закодированной информации может предоставить те или иные сведения, освещающие или детализирующие вопросы социальной структуры.

Задействованные в работе **письменные источники** могут быть классифицированы на основе нескольких критериев, сочетание которых позволяет выявить степень полезности материалов: по времени создания, по этнокультурной и политической принадлежности авторов (что, как правило, совпадает с языковой атрибуцией), по жанровой принадлежности.

Исходя из этнокультурной среды их происхождения, аутентичные письменные источники древнетюркской эпохи могут быть разделены на следующие группы: тюркские, китайские, византийские, согдийские, хотано-сакские, бактрийские, тибетские, сирийские, мусульманские (арабо-персидские), кавказские.

Если говорить о тюркских источниках, то в эту группу можно условно включить памятники, созданные в тюркоязычной кочевнической среде, или шире – материалы, содержащие информацию о внутренней жизни кочевнического общества, полученную из первых рук. Логичнее определить их как **внутренние источники**.

Прежде всего, речь идет о памятниках древнетюркской рунической письменности, представленных в основном эпиграфикой и в редких случаях – документами на бумаге. Эти письменные источники тюркского происхождения имеют огромное значение, поскольку, в сущности, являют собой аутентичный продукт собственно тюркской культуры, – редкое для кочевнической истории явление, – отражая взгляд на жизнь тюркского общества изнутри [Бартольд В.В., 1968а, с. 32; 1968в, с. 200; 1968л, с. 455; 1977в, с. 512; 1977г, с. 763].

*Согдийские надписи тюркских каганов и надписи на брахми.* Однако наиболее ранние памятники, иллюстрирующие внутреннюю жизнь тюркского общества, были написаны не на тюркском языке. Важнейшим источником является Бугутская стела, созданная ок. 581 г. в честь Татпар (кит. То/Та-бо 他钵 – в «Чжоу шу» 周書, То-бо 他钵 – в «Суй шу» 隋書) кагана на согдийском языке и содержащая также текст на брахми, пока не поддающийся расшифровке [Yoshida Y., Moriyasu T., 1999; Osawa T., 2001, s. 280–281; Западный Тюркский каганат, 2013, с. 84–88; Базылхан Н., 2005, 48–50 б.]<sup>3</sup>. После прочтения согдийского текста японским исследователем Ёсида Ютака основание для пересмотра получили многие выводы социального характера, сделанные в публикации С.Г. Кляшторного и В.А. Лившица [Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971; 1978, с. 56; Kljaštornyj S.G., Livšić V.A., 1972; Klyashtornyi S.G., Livšić V.A., 1992; Кляшторный С.Г., 2003, с. 49–52].

Определенное значение имеет не до конца расшифрованный второй согдоязычный памятник эпохи единого Тюркского каганата – надпись Нири (кит. Ни-ли 泥利) кагана, нанесенная на каменном изваянии в виде человеческой фигуры. Данный объект обнаружен на территории Восточного Туркестана (Синьцзян-Уйгурский Автономный район КНР). Смерть Нири кагана Осава Такаси относит к 599 г., а Э. де Ла Вассер – к 604 г. [Osawa T., 2006b; La Vaissère É. de, 2010a; 2011; Западный Тюркский каганат, 2013, с. 88–90]. Этот источник содержит сведения, важные для реконструкции особенностей административного деления Тюркского каганата.

Нерасшифрованными остаются надписи на брахми на двух стелах комплекса Хуюс Толгой, расположенного на территории Могод сомона Булганского аймака, в междуречье рек Орхон и Тола. По мнению Т. Осава, памятник создан в честь Умна кагана, упомянутого в Бугутской надписи (Б II, стк. 9) [Западный Тюркский каганат, 2013, с. 93–94, 95]<sup>4</sup>.

Собственно *памятники древнетюркской рунической письменности* неоднородны и могут быть классифицированы, исходя из их географического распространения, этнополитической атрибуции и жанровой принадлежности [Кляшторный С.Г., 2003, с. 42–46]. В нашем случае будут иметь значение обо-

---

<sup>3</sup> Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность к.и.н. В.В. Досовицкой (ИВ РАН), оказавшей помощь при работе с текстом японской статьи.

<sup>4</sup> На 61-м заседании Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC) 31.08.2017 группа исследователей, состоящая из М. Ольмеза, Д. Мауэ, А. Вовина и Э. де Ла Вассера, представила серию докладов, где было озвучено прочтение надписи на одной из стел, ее перевод и предложена интерпретация. Язык надписи охарактеризован исследователями как парамонгольский. Данная гипотеза вызвала настоящий ажиотаж и при этом встретила неоднозначную реакцию со стороны научного сообщества, часть которого восприняла ее с энтузиазмом, как научное открытие, часть – отнеслась скептически. В настоящее время дискуссии продолжаются. До полной публикации результатов исследования надписи какие-либо комментарии представляются поспешными.



значенные ниже группы памятников, за основу выделения и характеристики которых могут быть взяты все три критерия в совокупности. Поскольку эти комплексы уже получили разностороннюю источниковедческую оценку [Бернштам А.Н., 1946б, с. 30–54; Bazin L., 1964; Кляшторный С.Г., 2003, с. 42–83; Рухлядев Д.В., 2005]<sup>5</sup>, мы позволим себе ограничиться лишь перечнем наиболее значимых для проблематики настоящего исследования памятников и некоторыми замечаниями касательно их характеристики:

(1) Памятники с территории Северной Монголии, крупнейшие из которых представляют собой историко-биографические тексты, принадлежащие правителям и высшей элите Восточно-тюркского и Уйгурского каганатов.

1.1.–1.2. Две стелы из урочища Хушо-Цайдам в долине р. Орхон являются самыми крупными из известных памятников древнетюркского рунического письма. Памятники посвящены двум крупным деятелям эпохи Второго Тюркского каганата: братьям Кюль (кит. Цюэ 闕) тегину (732 г.) и Бильге (кит. Мо-цзи-лянь 默棘連) кагану (735 г.). Некоторые фрагменты этих памятников отчасти текстуально совпадают (КТ, Хб, стк. 1–11<sup>6</sup> = БК, Хб, стк. 1–7; КТб, стк. 1–30 = БКб, стк. 3–23). Т. Текин полагает, что текст строк БК, Хб, 10–15 принадлежит Тэнгри (кит. Дэн-ли 登利) кагану, сыну и преемнику Бильге кагана [Tekin T., 1998, s. 13].

1.3. Надпись советника Тоньюкука (надпись из Налайхи, надпись Байн-Цокто), начертанная на двух стелах. Зачастую встречается датировка надпи-

---

<sup>5</sup> Ниже мы также опускаем ссылки на многочисленную литературу, не ставя перед собой задачу представить полную библиографию к каждому отдельному памятнику или группе памятников. Общий перечень работ по древнетюркским руническим надписям, учтенных только Э. Айдыном, на 2010 г. насчитывал более трех тысяч единиц [Aydın E., 2010], и с каждым годом количество публикаций значительно увеличивается. Издания переводов крупнейших текстов предпринимались В.В. Радловым, В. Томсеном, П.М. Мелиоранским, Г.И. Рамstedтом, А.Н. Самойловичем, Х. Намыком (Оркуном), С.Е. Маловым, сэром Дж. Клосоном, П. Аалто, Р. Жиро, Т. Текином, Э. Трыарским, С.Г. Кляшторным, Г. Айдаровым, Ф. Рыбацки, А. Катаямой, Т. Мориясу, Т. Осавой, А.С. Аманжоловым, А. Бертой, Н. Базылханом, и др. В сущности, первыми двумя поколениями исследователей была выполнена вся главная работа, а публикации последующих лет, целиком базирующиеся на них, лишь конкретизируют чтение и интерпретацию отдельных фрагментов, безусловно, способствуя углубленному пониманию источника. Здесь следует учитывать и тот факт, что с течением лет работа над памятниками древнетюркской рунической письменности затрудняется ухудшением их состояния в силу естественного разрушения из-за выветривания или неудовлетворительных условий хранения.

Далее мы отмечаем наиболее показательные публикации – последние по времени или содержащие обобщение и критику работ предшественников.

<sup>6</sup> Здесь и далее по тексту приводятся принятые в той или иной области науки обозначения названий письменных памятников (сиглы) с указанием через запятую номера соответствующего фрагмента (главы, параграфа, строки и т.д.). Ссылки на соответствующие фрагменты даются в круглых скобках. Расшифровка обозначений приведена в Списке сокращений названий памятников в конце монографии.

си 716 г., основанная на буквальном понимании текста (см., напр.: [Кормушин И.В., 2004, с. 104]). Однако сам Тоньюкук, о смерти которого в надписи не говорится, был жив еще в 726 г. [Clauson G., 1971, p. 126, 132; Clauson G., 1976, s. 142, 147; Rybatzki V., 1997, s. 2]. На этом основании Л. Базен предложил датировать памятник не ранее 726 г. или даже позже [Bazin L., 1974, p. 207; Tekin T., 1994, s. IX].

1.4. Памятник Ихэ Хушоту или надпись Кюли чору, предводителю крыла *тардуш*. А. фон Габэн выдвинула предположение, что Кюли чор был убит под Бешбалыком в 721 г. [Gabain A. von, 1953, s. 553]. Л. Базен, восстанавливая в стк. 3 титул Бильге кагана, датирует памятник периодом 720–725 гг. [Bazin L., 1964, p. 202] или 723 г. [Bazin L., 1974, p. 205]<sup>7</sup>. Сэр Дж. Клосон и Э. Трыярский полагали, что в надписи рассказывается о трех людях, носивших титул *küli čor*, принадлежавших к последовательно разным поколениям. Первый из них («дед») умер до 716 г., третий («сын») был жив еще в 732 г., а памятник воздвигнут в честь второго («отца») в 722 г. [Clauson G., Turyarski E., 1971; Кляшторный С.Г., 2003, с. 74–75]. Такая интерпретация убедительно поставлена под сомнение М. Добровичем, который видел здесь эпитафию некоего высокопоставленного лица, близкого к правящему клану – это был племянник (*čiqan*) Эльтерес кагана; он умер после 732 г., в возрасте 80 лет [Добрович М., 2005].

1.5. Онгинская надпись – один из наиболее сложных для датировки и атрибуции памятников. В.В. Радлов рассматривал ее как эпитафию Ильтериш кагана и датировал 693 г. [Radloff W., 1895, S. 246, 247]. А.Н. Бернштам считал автором текста Капагана<sup>8</sup> (Мо-чжо 默啜), брата Эльтерес кагана, относя создание памятника к 704 г. [Бернштам А.Н., 1946б, с. 39–40]. Сэр Дж. Клосон рассматривал надпись как эпитафию Элетмиш йабгу, сподвижнику Эльтериш кагана, установленную в 731 г. его сыном (Алп?) Элетмишем, младшим братом Алп Ышбара Тамган чора, полководца Бильге кагана [Clauson G., 1957b, p. 192–193]. Л. Базен датировал надпись 720 г., основываясь на сравнении графики с другими памятниками [Bazin L., 1964, p. 202, 209; Bazin L., 1974, p. 194, 198]. А.А. Раджабов указывает на время создания комплекса в период 682–689 гг. и связывает его с одним из соратников Эльтерес кагана Ышбара Тамган тарканом, родственником Элетмиш йабгу и старшим братом Чор Йога [Расабов А.А., 2008]. В.Е. Войтов датирует надпись 719 г., отмечая, что ее воздвиг неизвестный по имени сын Бильге Ышбара Тамган таркана, который был

---

<sup>7</sup> Ср. у Т. Текина под знаком вопроса 719–723 гг. [Tekin T., 2003, s. 15].

<sup>8</sup> Здесь и далее по всему тексту в тех случаях, когда приводятся этнонимы, топонимы, какие-либо личные имена, названия или термины, упоминаемые в цитируемых изданиях, а также написание фонологической транскрипции иноязычных слов, в большинстве случаев мы даем их в оригинальном авторском написании, специально не оговаривая. Это касается в равной степени как орфографии, так и шрифта, и текстовых знаков.

сыном Элетмиш йабгу и средним братом Эльтерес кагана, названным До-си-фу 咄悉匐 в китайских источниках [Войтов В.Е., 1989]. Близкую точку зрения высказал М. Добрович, но он считал надпись посвященной сыну До-си-фу 咄悉匐 и датировал ее 740 г. [Dobrovits M., 2001], уточняя позже, что она была поставлена сыном Бильге Ышбара Тамган таркана, чье имя неизвестно, и является памятником рода правителей крыла *төлесов* [Dobrovits M., 2005, p. 35–38, 40–41]. Ф. Рыбацки на основе ономастики и палеографии относит надпись к уйгурскому периоду [Rybatzki V., 2000, p. 209–211]. Т. Текин, не углубляясь в атрибуцию, под знаком вопроса ставит датой промежуток 732–735 гг. [Tekin T., 2003, s. 15]. Принимая отождествление Элетмиш йабгу с До-си-фу 咄悉匐, Т. Осава также видит в упомянутом в надписи *täŋri bilgä qaγan* (Оа, стк. 2, 3) самого Бильге кагана [Ōsawa T., 2011a, p. 170, 174, 189, 190, 191], признавая дату смерти Элетмиш йабгу в июле 716 г., а тризну датируя 717 г. [Ōsawa T., 2011a, p. 197]<sup>9</sup>. Д.В. Рухлядев считает, что памятник воздвигнут в 740 г. в честь Бильге Ышбара Тамган таркана, члена семьи предводителей *төлесов*, т.е. сына До-си-фу 咄悉匐, и, соответственно, младшего брата Ышбара Тамган Чор йабгу, при этом сам Ышбара Тамган таркан руководящих должностей не занимал [Рухлядев Д.В., 2005, с. 186–187].

1.6. Надпись на каменном изваянии из Чойрэна. Некоторое время она считалась самым ранним памятником древнетюркской рунической письменности. Комплекс датирован С.Г. Кляшторным на основе прочтения концом 688–691 гг. Однако последующее изучение памятника и уточнение текста в работах других специалистов (О.Ф. Серткайя, Ф.С. Барутчу-Öзөндер, Судзуки Косецу, И.В. Кормушин) позволяют отвергнуть всю интерпретацию С.Г. Кляшторного и, соответственно, отказаться от предложенной им датировки (Обзор см.: [Kormuşin İ.V., 2011]).

1.7. Стела с надписью и множеством тамг Бомбогор. Надпись сделана в честь некоей Иль Бильге кунчуй, по мнению Х. Ширин Усер, дочери Кутлуга Эльтерес кагана, выданной замуж за представителя *карлуков*. Здесь же упоминается этноним *басмыл*, что является дополнительным аргументом в пользу датировки надписи в связи с событиями 40-х гг. VIII в. [Şirin User H., 2010; 2011, s. 287; 2015].

1.8. Две надписи Ихэ Асхэтэ: памятник Текиш Кюль тудуну и его младшему брату Алтун Тамган таркану [Баттулга Ц., 2005, 99–100 дугаар тал.; Ünal O., 2015]. Датируется примерно 723 г. [Bazin L., 1964, p. 202, 209; 1974, p. 205].

1.9. Архананская надпись или памятник Кюль таркану, обнаруженный в 1966 г. [Баттулга Ц., 2005, 115–121 дугаар тал.; Базылхан Н., 2005, 128 б.]

---

<sup>9</sup> Думается, правильнее принять отождествление Тэнгри Бильге кагана именно с сыном Бильге кагана Дэн-ли 登利 каганом [Dobrovits M., 2001, s. 150; 2005, p. 40; Рухлядев Д.В., 2005, с. 187], так как сам Бильге каган в Хушо-Цайдамских текстах называется только одним именем.



1.10. Двадцать надписей Хойто-Тамира (Тайхар-чулуу) [Sertkaya O.F., Nar-savbay S., 2001, s. 342; Аззая Б., 2007; Aydın E., 2017]. Л. Базен находит основания для датировки текстов между 753 и 756 г. [Bazin L., 1964, p. 204–205; Bazin L., 1974, p. 273].

1.11.–1.13. Три крупных памятника начального периода Уйгурского каганата: Терхинская (Тариатская) надпись (ок. 754–755 гг.), памятник Могойн Шинэ Усу или Селенгинская надпись (ок. 760–761 гг.), составленные в период правления Элетмиш Бильге (Мо-янь-чжо 磨延啜) кагана, и Тэсийнская надпись (после 760–761 гг.) Бёгю кагана (о датировке памятников см.: [Rybatzki V., 2011]). Терхинская и Селенгинская надписи характеризуются наличием текстуральных совпадений [Кормушин И.В., 2004, с. 149 сл.]. Последнее издание всех памятников предпринято С.Г. Кляшторным, при этом прочтение Селенгинской надписи осуществлено с привлечением эстампажей, сделанных Г.Й. Рамстедтом, ее первооткрывателем [Кляшторный С.Г., 2010].

1.14. Сэврэйский камень с двуязычной, тюркской и согдийской, надписью – триумфальный памятник уйгурского Бёгю кагана (ок. 763 г.). Каждая надпись содержит по семь строк, все сохранились фрагментарно. Перевод опубликован в 1971 г. С.Г. Кляшторным и В.А. Лившицем и был переиздан в 2010 г. [Кляшторный С.Г., 2010, с. 92–101] с учетом чтения, предложенного в публикации 1999 г. японскими учеными [Moriyasu T., Yoshida Y., Katayama A., 1999a].

1.15. Двуязычная (на тюркском и китайском) эпитафия Кары Чор тигина из г. Си-ань 西安 (пров. Шэнь-си, КНР), датируемая 795 г. Кары Чор тигин был сыном Чабыш тигина, племянником (*ati*) Кан Тутука, младшим братом Бёгю Бильге Тэнгри хана [Alyilmaz S., 2013, s. 20, 35, 50; Rybatzki V., Wu Kuosheng, 2014; Aydın E., Ariz E., 2014]. Перевод китайского текста, выполненный Ло Синь, издан на турецком языке [Luo Xin, 2013].

1.16. Первая Карабалгасунская надпись. Первоначально на мраморный камень были нанесены три надписи: на тюркском, китайском и согдийском языках соответственно. Тюркская надпись сохранилась фрагментарно [Moriyasu T., Yoshida Y., Katayama A., 1999b, p. 219–224; Кляшторный С.Г., 2003, с. 32; Баттулга Ц., 2005, 69–71 дугаар тал.; Базылхан Н., 2005, 149–151 б.]. Согдийский текст переиздан несколько раз [Hansen O., 1930; Moriyasu T., Yoshida Y., Katayama A., 1999b, p. 215–219; Yoshida Y., 2011a–b]. Китайская надпись тоже имеет несколько вариантов прочтения [Radloff W., 1895, S. 286–291; Schlegel G., 1896; Васильев В.П., 1897, с. 20–26]. Последний вариант, предложенный японским ученым Тору Ханеда, издан на русском языке в монографии А.К. Камалова [Камалов А.К., 2001, с. 194–197].

1.17. Вторая Карабалгасунская надпись на тюркском языке. Эта вторичная надпись, нанесенная во второй половине VIII в., судя по тамге («горный козел»), может быть связана с представителем тюркского рода А-ши-на 阿史那, чья

деятельность осуществлялась внутри Уйгурского каганата [Ōsawa T., 1999b; Баттулга Ц., 2005, 72 дугаар тал.; Базылхан Н., 2005, 152–153 б.; Alimov R., 2016].

1.18. Суджинская надпись или «сын кыргыз»<sup>10</sup>, обычно трактуемая, соответственно, как памятник енисейских кыргызов [Кляшторный С.Г., 2007; Кормушин И.В., 2009]. Однако китайский исследователь Хун Юн-мин показал, что речь может идти об уйгурской атрибуции памятника [Хун Юн-мин, 2010], что, впрочем, бегло отмечалось в свое время С.Г. Кляшторным [Кляшторный С.Г., 1959, с. 164, 165]. Это косвенно подтверждает реконструкция первой строки, предложенная Э. Айдыном [Aydin E., 2012a].


Здесь же можно отметить множество мелких текстовых памятников с территории Монголии, в том числе посетительских [Баттулга Ц., 2005; Базылхан Н., 2010; Azzaya B., 2012; Aydin E., 2015].

(2) Памятники долины р. Енисей – эпитафийные тексты с территории Тувы и Хакасии. Надписи нанесены на плиты, стелы, скалы, известна также серия надписей на серебряных сосудах, монетах и пряслицах.

По большей части, надписи, выполненные на плитах и стелах, являются памятными эпитафиями енисейской знати, пронизанными лирическим элементом. Они достаточно коротки и состоят, как правило, следуя единой схеме, из трех частей (необязательно каждая надпись содержит все три): вначале следует прощание меморианта с членами семьи, его племенем и господином, от которых он «отделился» (*adrilti-m / adrildi-m*); затем – перечисление всех титулов, должностей, деяний и заслуг покойного, а также его движимого и недвижимого имущества, т.е. всего того, чем он «не насытился» (*bökmädi-m*); и иногда, в заключение, приводится наставление потомкам [Radloff W., 1895, S. 300; Бернштам А.Н., 1946б, с. 49–50, 150; Gabain A. von, 1953, S. 543; Bazin L., 1964, p. 208–209]. Особое значение имеет встречающаяся в этих текстах этнонимика [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 96–98; Боргояков М.И., 1970; Кормушин И.В., 2008, с. 310–312; Aydin E., 2011b; Айдын Э., 2011].

Еще С.И. Вайнштейн [1965, с. 170] отметил поспешность автоматического отождествления всех этих памятников с енисейскими кыргызами. В историографии предпринимались неоднократные попытки датировки и атрибуции древнетюркских рунических надписей енисейского бассейна. В основе каждой из них лежал разный критерий: анализ содержания – прежде всего, личной ономастики и этнонимики [Clauson G., 1962, p. 69; Bazin L., 1974, с. 108–109; Кляшторный С.Г., 2006, с. 332–339, 339–344; Aydin E., 2012b], анализ типов

---

<sup>10</sup> Здесь и далее авторами используется форма *кыргыз* для соответствующего обозначения группировки, населявшей Минусинскую котловину, по крайней мере в VI–IX вв. Это соответствует зафиксированному в памятниках древнетюркской рунической письменности написанию этнонима – *qirgiz*  [Кормушин И.В., 2008, с. 310–311; Şirin User H., 2009b, s. 158–159]. Форма *кыргыз* употребляется только в связи с известной в настоящее время этнической группой, проживающей на территории Средней Азии, в частности, в Кыргызстане.

и форм тамговых знаков [Кызласов Л.Р., 1960; 1965], сравнительный анализ морфонологии [Clauson G., 1962, p. 69; Erdal M., 1979b; Понарядов В.В., 2007; Ponaaryadov V.V., 2007], выделение характерных палеографических признаков [Кызласов И.Л., 1994, с. 79–235; Кормушин И.В., 1997, с. 17, 23–31; 2008, с. 28]. Попутно отдельные исследователи, конечно, привлекали и данные других источников. Например, Л.Р. Кызласов старался опираться на данные археологии, хотя, по мнению ряда специалистов, отождествление определенной стелы с надписью с находящимся рядом погребением иногда не было правомерным [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 30; Вайнштейн С.И., 1963; Нечаева Л.Г., 1966, с. 141, прим. 106]. При определенных удачных заключениях большая часть его построений выглядит умозрительно из-за того, что они были основаны на формальном сопоставлении тамг и априорном характере восприятия соотношения между собой очертаний зафиксированных форм, исходя из искусственной схеме их трансформации (Ср.: [Щербак А.М., 2001, с. 90]). Это, в частности, показали впоследствии новые данные археологических раскопок [Длужневская Г.В., 1983, с. 43]. С.Г. Кляшторный в своих сопоставлениях фактически игнорировал тамговый материал, часто акцентируя внимание лишь на совпадающих в отдельных надписях частях личных имен и схожесть сюжетных повествований, как собственно и Э. Айдын, хотя еще сэр Дж. Клосон предупреждал, что это опасный метод [Clauson G., 1962, p. 70]. И.В. Кормушин просто следует собственным представлениям об обязательном эволюционном характере трансформации форм знаков древнетюркского рунического алфавита [Васильев Д.Д., 1983а, с. 19–20; Кормушин И.В., 1997, с. 28–29] и считает возможным сравнивать памятники по времени создания, исходя лишь из этого критерия. Достаточно отметить, что И.Л. Кызласов, придерживающийся таких же убеждений, предложил иную схему трансформации отдельных графем [Кызласов И.Л., 1994, с. 79–104, в частности, с. 90, табл. XXV]. Однако будучи прекрасными специалистами в своих областях, оба исследователя также сделали ряд важных наблюдений по поводу характерных признаков различных групп памятников.

В каждой сфере были достигнуты существенные результаты. Вместе с тем время показало, что ни один из методов не может считаться оптимальным, если он используется сам по себе. В данной работе мы не имеем возможности останавливаться на этой проблеме, однако отметим, что материалы енисейских текстов активно привлекаются нами в качестве источника, позволяющего увидеть некоторые характеристики социальной жизни общностей древнетюркского круга с более приближенного ракурса, чем это возможно, основываясь на монументальных надписях тюркской и уйгурской элиты. Как писал Д.Д. Васильев, подводя итоги многолетним исследованиям южно-сибирской древнетюркской эпиграфики, «в результате проведенных многолетних полевых изысканий нам удалось обозначить примерные границы родовых владений тюркских племен, входивших в состав Второго тюркского каганата в бассейне Верхнего Енисея



(территория современных Тувы, Хакасии) и в Горном Алтае (современная Республика Алтай). Енисейские древнетюркские надписи, археологические объекты, тамги и святилища с наскальными рисунками древнетюркского времени представлены в виде комплексной источниковедческой и текстологической базы данных. Они информативно дополняют друг друга, что позволило выполнить реконструкцию родовых генеалогий – “шеджере” бегов, военачальников и героев некаганского происхождения, проследить маршруты их военных походов, обозначить места сражений, пастбищные территории. Кроме этого, подобный анализ позволил проследить процессы социальной мобильности в кочевом обществе и ее особенности в тюркском каганате» [Vasilyev D.D., 2010, s. 106–107].

(3) Памятники с территории Средней Азии: эпитафийные тексты и посетительские надписи из долины р. Талас (к настоящему времени – 16) [Батманов И.А., 1971; Джумагулов Ч., 1963, с. 15–33; 1982, с. 11–21; Джумагулов Ч., 1987, с. 21–37; Базылхан Н., 2005, 213–239 б.; Alimov R., Tabaldiev K., 2005; Аманжолов А.С., 2010, с. 87–96; Yildirim F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 281–301], окрестностей оз. Иссык-Куль (две надписи) [Yildirim F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 301–302] и Кочкорской долины (к настоящему времени – 18) [Кляшторный С.Г., 2003, с. 294–300; 2006, с. 354–362; Аманжолов А.С., 2010, с. 97–101; Alimov R., 2001; 2003; Yildirim F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 303–316; и др.], а также краткие надписи на скалах и предметах быта с территории Восточного и Юго-Восточного Казахстана (Жетысу, т.е. Семиречье), число которых также приближается к двум десяткам [Базылхан Н., 2013; Bazilhan N., 2014; Кызласов И.Л., 2016].

С.Е. Малов относил таласские памятники к периоду «не новее VIII в. н.э.», но, следуя Г. Гейкелю и Г. Ретциусу, склонялся к V в. [Малов С.Е., 1959, с. 74]. Сэр Дж. Клоусон на основе логических умозаключений относил памятники к периоду после VIII и до XI–XII вв. [Clauson G., 1962, p. 72, 256] или, как он написал позже, к IX или X вв. [Clauson G., 1972, p. xiv]. Между тем Л. Базен в результате анализа встречающейся в этих надписях ономастики и титулатуры пришел к выводу о возможности их отнесения к периоду Тюркешского каганата, т.е. к первой половине VIII в. [Bazin L., 1974, p. 256, 257]. Эту же гипотезу развивал С.Г. Кляшторный, отметивший также, что нижняя граница создания надписей, исходя из соотносящегося с ними археологического материала, не может выходить за рамки, по крайней мере, VI в. [Кляшторный С.Г., 2003, с. 289–293; 2006, с. 349–354]. Л.Р. Кызласов обмолвился о датировке надписей периодом IX–X вв. [Кызласов Л.Р., 1969, с. 44, 186, прим. 211]. Видимо, продолжая эту традицию, И.Л. Кызласов, основывающийся на собственных представлениях об эволюции форм знаков древнетюркской рунической письменности различных ареалов, также пишет о IX–X вв., допуская расширение нижней хронологической границы до второй половины VIII в., так или иначе

связывая их происхождение с «государством карлукских ябгу» [Кызласов И.Л., 1994, с. 59, 98–100, 163, 214]. И.В. Кормушин, также положив в основу «палеографический» критерий, относит эти памятники к «караханидскому времени», т.е. X–XII вв. [Кормушин И.В., 1975, с. 38, 47]. А.М. Щербак, исходя из возможности «палеографического анализа», а также отмечая простоту содержания рассматриваемых надписей, датировал их концом VIII – началом IX вв. [Щербак А.М., 2001, с. 113, 127–129].

Значение этой группы надписей может быть охарактеризовано по аналогии с памятниками енисейского бассейна.

(4) Памятники с территории Алтая. Таких текстов уже накопилось несколько десятков. Это надписи на скалах, каменных изваяниях, сосудах, предметах быта и вооружения. Между тем, тексты слишком лапидарны, а формы знаков часто трудны для однозначной идентификации. В частности, последняя попытка сведения всех алтайских надписей, предпринятая Д.Д. Васильевым [Васильев Д.Д., 2013], наглядно демонстрирует лишь тот факт, что варианты чтения и интерпретации фактически тождественны числу исследователей, предпринимавших попытки изучения данных текстов. Все это существенным образом ограничивает возможности привлечения этих материалов.

(5) Памятники из Восточного Туркестана. Магические, религиозные, гадательные, астрологические, медицинские тексты, написанные на бумаге, среди которых «Брк Битиг» («Гадательная книга»), – источник, природа которого, возможно, прояснилась после выхода в свет работы В.М. Яковлева [Бюллетень, 2004], – документы из Дунь-хуана и Мирана [Orkun H.N., 1994, s. 216, 249–260, 367–376], и несколько настенных надписей городища Яр-хото.

Среди тюркоязычных документов отдельного внимания заслуживают также *памятники уйгурского письма*. Прежде всего, это Улаангомская надпись [Щербак А.М., 2001, с. 120–125], датированная С.Г. Кляшторным после первого издания перевода А.М. Щербака (1961 г.) 712 г. [Кляшторный С.Г., 2003, с. 282–284, 285–288]. Больше как лингвистический источник могут быть привлечены манихейские и буддистские тексты религиозного содержания [Малов С.Е., 1951, с. 109–199]. Здесь можно выделить два памятника, представляющих собой довольно ранние переводы. Это, во-первых, так называемая покаянная молитва манихейцев или «Хуаствāнīфт» (X<sup>u</sup>astvānīft) – перевод на тюркский язык с согдийского, создание которого может быть отнесено к VIII в. Во-вторых, это буддийский текст *Suvarṇaprabhāsaṭṭra* или, по-тюркски, «Алтун йарук», т.е. дословно сутра «Золотой блеск»; создание тюркского перевода с китайского оригинала может быть датировано примерно концом X – началом XI вв.<sup>11</sup>

К источникам тюркского происхождения следует отнести *памятники тюркской литературы и тюрко-монгольский фольклор*. Безусловно, это разные

---

<sup>11</sup> Подробную характеристику этих групп памятников см., напр.: [Восточный Туркестан, 1992, с. 326–369; Кляшторный С.Г., 2003, с. 358–414; 2006, с. 183–241].

жанры, однако привлечение этих материалов смыкается в некоторых аспектах – лингвистическом и историческом.

Говоря собственно о *лингвистических источниках*, следует отметить, что в качестве отдельного источника можно рассматривать язык вообще. Анализ лексики, изучение семантики и установление этимологии отдельных лексических единиц, а также разбор синтаксических конструкций конкретизируют содержание рассматриваемого текста, если речь идет о языке памятников древнетюркской эпохи. Вместе с тем, работа с этим материалом требует учета историко-культурных реалий – условий, в которых функционировал данный язык. Лексико-грамматический строй конкретного языка отражает мировоззренческие характеристики его носителей. Понимание этого факта становится основанием для более осторожного отношения к привлечению сравнительного материала из других языков даже в рамках одной лингвистической группы. Семантизация лексики возможна лишь в аутентичном контексте, подразумевающим понимание специфики хозяйственных, культурно-бытовых и социальных характеристик конкретного общества. Об этом писал в свое время В.В. Бартольд на примере проблемы выяснения значений монгольских и тюркских слов, относящихся к фискальной политике, которые зафиксированы на грамотах монгольских ханов, отмечая, что «выполнение филологической задачи едва ли было возможно без изучения реально-исторических условий, без выяснения той стороны государственной жизни, к которой относятся встречающиеся в грамотах термины» [Бартольд В.В., 1977а, с. 653].

Несмотря на то, что грамматика языка памятников древнетюркской письменности уже длительное время является предметом специальных исследований и давно описана (См., напр.: [Gabain A. von, 1950; Насилов В.М., 1960; Pritsak O., 1982; Tekin T., 1968; 2003; Кондратьев В.Г., 1970; 1981; Кононов А.Н., 1980; Erdal M., 2004; Кормушин И.В., 2008, с. 172–238; и др.]), а лексический материал проанализирован и использован в этимологических исследованиях (Дж. Клосон, Э.В. Севортян и др.), привлечение лингвистических данных для социальных реконструкций требует прямого обращения к непосредственному источнику. Лингвисты, работая с лексикой, особенно при составлении словарей, – как лексических, так и этимологических, – как правило, редко учитывают историко-культурные реалии ее функционирования и дают значения слов, исходя из общих представлений о закономерностях исторического процесса, сформировавшихся у них в рамках той теоретической подготовки, которую они могли получить безотносительно к своей специализации. Зачастую такие ученые прибегают к использованию работ историков, заимствуя у последних толкования терминов, процессов, явлений, стоящие в прямой зависимости уже от их методологической парадигмы. Этот факт затрудняет использование лексических и этимологических словарей, а также обуславливает необходимость осторожного обращения с имеющимися переводами тех или иных письменных

памятников, если задачи, которые ставит перед собой исследователь, не ограничены рамками изучения лишь событийной канвы.

Среди памятников литературы нас будет интересовать поэма Йўсуфа Хāсс-Хаджїба ал-Бāлāсāгўнї «Кутадгу билик», что обычно переводят как «Благодатное знание» или «Наука [о том, как] сделаться счастливым». Поэма состоит из примерно 13 тыс. стихотворных строк. Произведение нравственно-этического содержания, написанное в 1069–1070 гг. по заказу одного из караханидских правителей, является подражанием персидскому жанру *андарз*, т.е. ‘Зерцало для князей’ – наставление, что само по себе отражает распространение новой концепции политического господства [Bosworth C.E., 2000b, p. 141–142; Frye R.N., 2000, p. 156]. Книга затрагивает многие аспекты социальной жизни и быта в Туркестане. Поэма является важным источником по исследованиям социальных, культурных и нравственных устоев тюркоязычных народов Средней Азии, но не более. Для нас она больше может быть полезна как лингвистический источник<sup>12</sup>.

Памятник дошел до нас в трех рукописях: (1) Намаганский, он же Ташкентский или Ферганский список (XIII в.), написанный арабской графикой, этот вариант является наиболее пространным; (2) Каирский список (XIV в.), также арабской графикой; (3) Гератская рукопись (XV в.), именуемая по месту хранения еще «Венской», написана уйгурской графикой и является самой малой по размеру, она почти вдвое меньше ферганской. Все рукописи имеют значительные расхождения в изложении. Если обе арабографичные версии более или менее близки, то уйгурографичная отличается от обеих во многом. Попытку реконструкции общего списка предпринял Решит Рахмети (Арат) [Arat R.R., 1947].

В этом же аспекте интересен труд младшего современника данного автора – филолога Махмўда ибн ал-Хўсайна ибн Мухаммада ал-Қāшгārї «Дїванї Дївāн Лугāt ат-Турк» («Собрание тюркских слов») [Divanü, 1985–1986; Clouston G., 1972, p. xvii ff.; Maḥmūd al-Kāšgārī, 1982–1985; Махмўд ал-Қāшгārї, 2005; Махмўд ал-Қāшгārї, 2010], написанный в 1074 г. в Багдаде. Очевидно, автор имел цель ближе познакомить арабо-мусульманский мир с новой политической силой в регионе – туркменами-сельджуками [Кляшторный С.Г., 2006, с. 494–495]. Этот труд бесценен не только как лингвистический источник, как он и задумывался, но также и как важное собрание сведений для изучения общественной жизни, культуры и быта тюркских племен Средней Азии XI в. Разъясняя значение тех или иных слов, Махмўд ал-Қāшгārї часто отмечает примеры их употребления в контекстах, приводя пословицы, поговорки и стихи.

Последнее обстоятельство послужило основой (а для И.В. Стеблевой – дополнительным аргументом) для гипотезы о существовании у тюркских

---

<sup>12</sup> Социальная терминология требует к себе крайне осторожного отношения. Так, например, в «Кутадгу билик» появляется некая социальная категория *ortu* ‘середняков’, противопоставляемая и богатым (*baj*), и бедным (*čiyaj*) [Самойлович А.Н., 2005а, с. 307–308].

племен в доисламское время поэтической традиции [Стеблева И.В., 1971; Tekin T., 1984].

Словарь Махмұда ал-Қашғарұ во многом позволяет уточнить сведения о языке поэмы Йўсуфа ал-Балāсāгўнұ. Караханидско-уйгурский язык очень близок к языку восточно-туркестанских древнеуйгурских памятников. Однако использование поэмы как лингвистического источника затрудняется тем фактом, что списки, в которых она по большей части сохранилась, отражают, скорее, языковые реалии Тимуридского времени [Erdal M., 2004, p. 9]. Эту ошибку допустили авторы «Древнетюркского словаря», задействовав данные материалы непосредственно в отношении древнетюркского этапа развития тюркских языков наравне с более ранними. Осторожнее и последовательнее в этом плане был сэр Дж. Клоусон [Clouston G., 1972, p. xvii].

Точно также нет оснований использовать как лингвистический источник уйгурскую версию дастана об Огуз кагане или «Огуз нāмэ», записанную примерно в XV в. уйгурским письмом. Судя по наличию монгольских заимствований, оригинал восходит к периоду не раньше XIII в. [Clouston G., 1972, p. xxiii]. Известны также персидская, османская и туркменская версии дастана, сохранившиеся соответственно у Рашūd ад-Дўна ат-Табўба (XIV в.), Йазыджыоглу Али (XV в.) и Абў'л-Газў (XVII в.) [Агаджанов С.Г., 1969, с. 29–31, 33–35, 36]. Еще со времен Ж. Дегиня предпринимались попытки не только найти параллели сюжета об Огуз кагане с историческими сведениями о *сюннуском* правителе (*шань-юй* 單于) Мао-дунь 冒頓, но и представить последнего прототипом и даже отождествить с Огуз каганом. Однако, как предположил еще Й. Маркварт, сюжет об Огуз кагане сложился уже в монгольское время под влиянием завоеваний Чингисхана (см.: [Щербак А.М., 1959, с. 93–100]) – Огуз каган не упоминается в ранних источниках – ни у Йўсуфа ал-Балāсāгўнұ, ни у Махмұда ал-Қашғарұ. Тема же противостояния «злого» отца с «благородным» сыном, заканчивающаяся отцеубийством и переходом власти к сыну, встретившаяся в обоих сюжетах, является довольно распространенным фольклорным сюжетом [Кычанов Е.И., 2010, с. 15–16]. Тем не менее, для легенды характерно наличие традиций и сюжетов, которые можно обнаружить в других тюркских эпосах.

Хотя использование фольклора в качестве исторического источника требует большой осторожности, нет никаких сомнений, что произведения, созданные в кочевнической среде, адекватно отражают основные аспекты жизни и быта общества кочевников. Безусловно, многие предания, будучи записаны сравнительно поздно, существовали длительное время в качестве устной традиции и, передаваясь из уст в уста, определенным образом трансформировались под влиянием изменений в социальной действительности. В частности, С.Г. Агаджанов отметил, что употребляемая в различных версиях легенды об Огуз кагане терминология, в том числе социальная, подверглась определенным корректировкам, поэтому не может быть перенесена даже на сырдарьинских

огузов [Агаджанов С.Г., 1969, с. 30]. «Огуз нām», с одной стороны, отражает быт и представления о нормах социальной жизни кочевнического общества с ее племенным коллективизмом, возрастной субординацией и доминированием обычного права, с другой – выводит на первый план образ идеального правителя, регулирующего жизнь социума путем своего законотворчества и созданием бюрократического аппарата. Последнее, несомненно, связано с влиянием оседло-земледельческой культуры, а конкретно – иранской традиции. Поэтому справедливо считать, что этот эпос отражает, скорее, состояние кочевнического, – огузского, – общества в период его адаптации к оседло-земледельческой среде [Mustafaev Sh., 2013]. Другой пример – когда в дастане об Огуз кагане Огуз каганом на *той* приглашаются его дружинники (*nöker*) и весь народ (*il kün*), в то время как в «Китаб-и Дэдэм Коркут» хан созывает на той только *бегов* [Duymaz A., 2005, s. 42].

Вместе с тем фольклор донес до нас базовые ценности кочевнического общества, ведь единство определенных традиций, находящих отражение в этнографическом материале, обнаруживается при сопоставлении огузского эпоса «Китаб-и Дэдэм Коркут» и кыргызского «Манас», в свою очередь, тесно связанного с алтайским «Алп Манаш», казахским «Алпамыс» и узбекским «Алпамыш». Сюда же могут быть привлечены данные эпоса монгольских народов, как, например, калмыцкий «Джангар». Многими исследователями уже проделана огромная работа по анализу сведений и выявлению исторических и этнографических сюжетов в тюрко-монгольском эпосе, мы будем следовать за ними [Ögel B., 1993; 1995; Абрамзон С.М., 1947; Ауэзов М.[О.], 1961; Жирмунский В.М., 1961; Мелетинский Е.М., 2004, с. 247–375; Короглы Х.Г., 1975; Липец Р.С., 1983; 1984; Трепавлов В.В., 1989; Рахманов Н.А., 1991; Кичиков А.Ш., 1992; и др.].

В значительной степени все вышесказанное относится и к другой группе источников, которую мы, тем не менее, также можем с условными оговорками определить как внутренний источник. Речь идет о *сравнительно-исторических и этнографических материалах*. Например, в турецкой историографии со времен подъема национального самосознания во второй половине XIX в., т.е. еще в Османской империи, складывалась традиция восприятия истории тюркских народов в едином контексте – как различных этапов истории народа *türk*, имя которого после провозглашения в 1923 г. Республики было принято в качестве самоназвания тюркоязычного населения Малой Азии<sup>13</sup>. Соответственно, для турецкой историографии, которая изначально сформировалась как национали-

---

<sup>13</sup> Это обстоятельство повлекло за собой фонетическое и, следовательно, семантическое неразличение термина с обобщающим родовым лингвистическим значением (рус. *тюрк* ~ *тюрк*, *тюркский*, англ. *Turkic*) и термина с видовым этнолингвистическим значением (рус. *тюрк*, англ. *Turkish*). Таким образом, их фонетическое различие между собой в русском и западных языках искусственно и обосновано целесообразностью разграничения смысловой нагрузки [Благова Г.Ф., 1970, с. 135, 137–138].

стическая, характерно использование материалов о тюркских племенах, народах и их политических образованиях самых различных эпох даже не столько в сравнительно-историческом, сколько в сравнительно-сопоставительном аспекте. Иными словами, для выводов касательно социальной истории могут в равной степени безоговорочно привлекаться и памятники древнетюркской рунической письменности, и поэма Йўсуфа ал-Бālāsāgūnī «Кутадгу билик», и различные эпосы, и данные этнографии, т.е. материалы и о кочевнических, и об оседло-земледельческих народах и племенах, которых объединяет, прежде всего, принадлежность к тюркской языковой группе. С другой стороны, например, А.М. Хазановым [1975, с. 68–69, 73–76, 81, 85–86, 92–93, 95–96, 105, 106, 110, 127–130, 141, 142–147, 149–150, 151, 154, 160–163, 178–179, 184, 190–191, 192–193, 194, 196, 252–263, 268–270, 271] была адекватно показана и методологически обоснована возможность использования в качестве материала для реконструкции тех или иных сторон жизни конкретного исторического кочевнического общества евразийских степей, недостаточно освещенного источниками, данных о номадах других эпох. Хотя исследователь и отмечал опасность применения таких аналогий касательно переноса данных, например, о тюркоязычных и монгольязычных кочевниках на ираноязычных [Хазанов А.М., 1975, с. 3, 271], именно подмена внутренней критики аутентичных источников сравнительно-историческими и этнографическими параллелями из истории других кочевнических обществ Евразии вызвала критику его работы со стороны Э.А. Грантовского [Грантовский Э.А., 1980, с. 131, 133, 134, 135–136, 137–138, 140–141, 142, 144]. Последний справедливо призывал к непосредственному источниковедческому анализу в работах подобного плана [Грантовский Э.А., 1980, с. 153], однако сам впал в другую крайность, при изучении социальных институтов скифов беря за основу результаты терминологического анализа индо-иранского материала, в том числе и оседлых народов [Грантовский Э.А., 1980, с. 151, 152]. Безусловно, в рамках исследования конкретного кочевнического общества следует в равной степени опасаться как безоговорочного механического экстраполирования на него исторического и этнографического материала о номадах одних эпох и географических регионов, так и поиска аналогий в социальной жизни обществ, принадлежащих к одному этнокультурному и языковому кругу, однако характеризующихся иными формами хозяйства и быта.

В настоящем исследовании авторы привлекают материалы источников о древних монголах, таких как, например, «Тайная история монголов», – столь же уникальный памятник кочевнической культуры, как и древнетюркские рунические тексты, – или сведения китайских, арабских, персидских, западноевропейских и др. авторов (См., напр.: [Трепавлов В.В., 1993, с. 7–13; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 4–9]). Кроме того, используются также данные о номадах евразийских степей более поздних времен, попавших в поле



зрения российских и европейских исследователей XVIII – начала XX вв., имевших возможность наблюдать жизнь кочевников непосредственно – путешественников, дипломатов, военных и гражданских чиновников и т.д. Эти источники уникально раскрывают подробности быта, содержат записанные из уст самих скотоводов предания, пословицы, поговорки, объяснения тех или иных социальных явлений и т.д.

Что касается *внешних источников* о тюрках, здесь речь идет о сочинениях авторов, принадлежавших к оседло-земледельческим обществам, имевшим в той или иной форме контакты с ними.

Особый подтип источника, находящийся на стыке выделенных групп, представляют *китайские тексты эпитафий древнетюркской элиты*.

Прежде всего здесь нужно отметить китайские надписи на Хушо-Цайдамских памятниках – на стеле Кюль тегина, названного в китайском тексте Цюэ тэ-цинъ 闕特勤 (д.б. Цюэ тэ-лэ 闕特勒?), потому что надпись на стеле Бильге кагана сохранилась плохо. Китайские версии Хушо-Цайдамских текстов были изданы на русском языке В.П. Васильевым с замечаниями ученых «китайского Цзунь-ли ямыня» (совр. чтение Цзун-ли я-мэнь 總理衙門, организация, выполнявшая функции министерства иностранных дел) [Васильев В.П., 1897]<sup>14</sup>. Можно также назвать англоязычный перевод Э.Х. Паркером надписи Кюль тегину, изданный в качестве приложения к работе В. Томсена [Parker E.H., 1896]<sup>15</sup>. Новый перевод надписи на турецкий язык недавно предложил Т. Йалынкылыч [Yalınkılıç T., 2013].

Китайский текст близок к тюркскому содержательно, но не идентичен стилистически. Характерна передача смысла тюркских текстов о преемственности нынешних правителей первым правителям тюрков, а также достаточно нейтральный тон касательно тюрко-китайских отношений, но все же заметно завуалированное оттеснение тюрков на второй план в сравнении с китайской империей [Бернштам А.Н., 1946б, с. 55–56].

Выше также отмечались китайские надписи на памятнике уйгурского периода – стеле из Карабалгасуна и эпитафии Кары чор тегина.

В 1912 г. французским исследователем Э. Шаванном были опубликованы факсимиле и французский перевод двух эпитафий из Си-ань 西安: эпитафии некоей «супруги господина ша-то, [происходящей] из рода А-ши-на» (*ша-то гун фу-жэнь а-ши-на ши* 沙陀公夫人阿史那氏), принцессы (*цзунь* 君) территории (*ду* 都) Цзинь-чжэнь 金城, супруги военного губернатора (*ду-ду* 都督) округа (*чжоу* 州) Цзинь-мань 金滿 и военного уполномоченного (*цзунь да-*

<sup>14</sup> Комментарии см.: [Васильев В.П., 1897, с. 1–2, 8–10, 15–18, 27–35].

<sup>15</sup> Ср. турецкий перевод работы, выполненный Н. Erturkan: [Orkun H.N., 1994, s. 80–96], а также опубликованный Х. Намыком (Оркуном) китайский текст надписи Бильге кагана и перевод İ.N. Dilmen на турецкий язык с комментированного перевода с китайского G. Devéria: [Orkun H.N., 1994, s. 219–222].

ши 軍大使) в Хэ-лань 賀蘭, установленной в мае 720 г., и эпитафии тюркской принцессы Сянь-ли 賢力 (*сянь-ли би-цзя гун-чжу* 賢力毗伽公主), «госпожи из рода А-на» (*фу-жэнь А-на ши* 夫人阿那氏), дочери Мо-чжо 默啜 (723 г.), бывшей супругой одного тюркских вождей, А-ши-дэ Ми-ми 阿史德覓覓, скрывавшихся в Китае, носившего здесь почетную должность командира (*го-гун* 國公), державшего территорию (*ду* 都) Юнь-чжун 雲中; она умерла 12 ноября 723 г. [Chavannes E., 1912] (См. также: [Bombaci A., 1971]).

Особо следует остановиться на находке последних лет. Речь идет о эпитафии Пу-гу И-ту 僕固乙突 на двух гранитных плитах в составе мавзолея, обнаруженного в 2009 г. российско-монгольской экспедицией в местности Шороон Бумбагар Хэрмэн-дэнж (Заамар сомон, Центральный аймак, МНР). Пу-гу И-ту 僕固乙突 умер в 677 г. в возрасте 44 лет, а эпитафия датируется 678 г. [Эрдэнэболд Л., Цэрэндорж Ц., 2015]. Особое значение здесь имеет и местонахождение памятника, что интересным образом сочетается с данными китайских источников о кочевании племенной группировки *пу-гу* 僕固 [Васютин С.А., 2011б, с. 65]<sup>16</sup>.

*Китайские письменные источники* замечательны тем, что по большей части содержат сведения, восходящие непосредственно к рассматриваемой эпохе. Китай, будучи ближайшим соседом центральноазиатского кочевого мира, одним из первых вступил в непосредственный контакт с тюрками с самого начала их появления на исторической арене. Сочинения китайских авторов фиксируют различные сферы жизни кочевников, передавая их преломленными через призму собственных культурных стереотипов – прежде всего, модель взаимодействия «срединного государства» (*чжун-го* 中國) и «варваров» (*ху* 胡). Разумеется, «варвары», в том числе и тюрки (*ту-цзюэ* 突厥), наделялись стереотипными чертами, которые во многом противопоставлялись образу жизни и поведению жителей «Поднебесной империи».

Поскольку подробная характеристика этих источников в той или иной степени дана в специальных работах [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 19–21, 29–30; Hirth F., 1896; Кюннер Н.В., 1950, с. LXXII–LXXXI; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 473–483; Зуев Ю.А., 1967, с. 35–46; Таскин В.С., 1984, с. 10–13; Twitchett D., 1979/2008, р. 38–46; Тазағұл А., 2003а, с. 2–5; 1999, с. 111–113; Кучера С.Р., 2004, с. 170–195; Қазақстан тарихы, 2006б, 9–13 б.; Ганиев Р.Т., 2010], мы ограничимся здесь достаточно беглым обзором.

Информация о тюрках встречается, главным образом, в официальных династийных историях. Жанр официальных династийных историй (*чжэнь-ши* 正史), хотя и продолжает традицию китайского историописания с ханьского времени, берет свое начало в танскую эпоху. Приказом императоров новой династии

---

<sup>16</sup> Нет сомнений, что дальнейшее изучение данного комплекса позволит получить значительный объем новой информации. Некоторые результаты интерпретации эпитафии отражены в вышедшей недавно монографии монгольского исследователя Г. Батболда [2017].

создавалась специальная комиссия из ученых, которой поручалось составление сочинений, содержащих сведения об их предшественниках.

За основу брались так называемые «императорские хроники» (*ци цзюй-чжу* 起居注), заполнявшиеся ежедневно и фиксировавшие события, происходившие в период правления того или иного императора. Помимо этого, привлекались протоколы обсуждений текущих административных дел, проводившихся императором и министрами (*ши-чжэнь цзи* 時政紀). Они редактировались в конце каждого года и ложились в основу «хроник царствований» (*ши-лу* 實錄), составлявших впоследствии каркас для будущей династийной истории, но также и сочинений иных жанров, типа энциклопедий (см. ниже). В упомянутые хроники включали биографии важнейших деятелей, обычно умерших к концу правления того или иного императора [Twitchett D., 1979/2008, p. 39–40; Кучера С.Р., 2004, с. 175–176]. Касательно данных о тюрках можно говорить о том, что источниками становились также донесения различных ведомств, гражданских и военных, соответствующие их характеру, сообщения китайских послов к тюркам и сведения от прибывавших тюркских дипломатов, и др. [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 479–480; Ганиев Р.Т., 2010, с. 176].

Как правило, официальные династийные истории состояли из четырех разделов: прежде всего, это «основные записи» (*бэнь-ци* 本紀), представляющие собой биографии императоров, точнее – хроники правления; «биографии» (*ле-чжуань* 列傳) выдающихся личностей, отдельных семей и отдельных «варварских» народов; а также хронологические «таблицы» (*бяо* 表) и «трактаты» (*чжи* 志). При этом в отдельных случаях два последних названных раздела (или один из них) могли отсутствовать.

Это следующие сочинения: (1) истории династии Северное Чжоу (Бэй Чжоу 北周, 556–581 гг.) «Чжоу шу» 周書 Лин-ху Дэ-фэнь 令狐德芬 (завершена в 629 г.); (2) истории династии Северное Ци (Бэй Ци 北齊, 550–577 гг.) «Бэй Ци шу» 北齊書 Ли Бай-яо 李百藥 (завершена в 638 г.), (3) истории династии Суй 隋 (581–618 гг.) «Суй шу» 隋書 Вэй Чжэн 魏徵 (составлена в 629–636 гг., окончательно завершена в 641–656 гг.). Они были собраны вместе с более ранней (4) «Вэй шу» 魏書 («История [династии] Вэй», завершена 554 г.) Вэй Шоу 魏收, – которая интересна с точки зрения сведений в цз. 103 о *гао-цзюй* 高車, – в (5) труде Ли Янь-шоу 李延壽 «Бэй ши» 北史 («История северных [династий]»), написана в 643–659 г.). Отдельные сочинения – это, во-первых, (6) официальная история династии Тан 唐 (618–907 гг.) «Цзю Тан шу» 舊唐書 («Старая история [династии] Тан», завершена в 945 г.), Лю Сюй 劉昫, переписанная в 1044–1060 гг. Оу-ян Сюй 歐陽修 (Юн-шу 永叔) и Сун ци 宋祁 как (7) «Синь Тан шу» 新唐書 («Новая история [династии] Тан») [Флуг К.К., 1959, с. 227–230]. В новой редакции некоторая информация была дополнена, но при этом и содержание разделов старой редакции, систематизированных здесь в ином порядке, было сокращено. Оба источника считаются классическими и взаим-

но дополняют друг друга, хотя официальной историей долгое время считалась лишь вторая редакция, почему иногда применительно к ней можно встретить название «Тан шу» 唐書. Несколько особняком стоит написанная в сунский период, но долго также не имевшая официального статуса династийная история (8) «Цзю У Дай ши» 舊五代史 («Старая история [периода] Пяти династий») Сюэ Цзю-чжэн 薛居正 (завершена в 974 г.), которая была составлена на основе, прежде всего, «хроник царствований» (ши-лу 實錄), посвященных периодам правления отдельных императоров, из-за чего сочинение отличалось подробным и точным описанием событий. Неравномерное изложение отдельных периодов в этом издании обусловило создание (9) «Синь У Дай ши» 新五代史 («Новая история [периода] Пяти династий»), в одиночку доработанной Оу-ян Сюй 歐陽修 (завершена в 1072 г.) [Флуг К.К., 1959, с. 226–227; Twitchett D., 1979/2008, р. 43–45]. Эти два последних источника интересны сведениями о восточных тюрках в период уже X в., много позже после падения каганата [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 479; Ганиев Р.Т., 2010, с. 176].

Соотношение сведений династийных историй относительно тюрков, согласно изысканиям Лю Мао-цай, следующее. Поскольку «Вэй шу» 魏書, «Бэй Ци шу» 北齊書 и «Чжоу шу» 周書 впоследствии были частично утеряны, но соответствующими частями вошли в состав «Бэй ши» 北史, с утратой лишь некоторых фрагментов, последнее произведение, за отсутствием некоторых пассажей из «Суй шу» 隋書, представляет собой наиболее полное собрание сведений о тюрках [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 474; Ганиев Р.Т., 2010, с. 175]. Современная редакция «Бэй Ци шу» 北齊書 является выдержкой из «Бэй ши» 北史 и других источников [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 473; Ганиев Р.Т., 2010, с. 174–175]. Основная часть сведений окончательной редакции «Чжоу шу» 周書 соответствует сведениям «Бэй ши» 北史, кроме 12 дополнений, взятых в последнюю из параллельной «Суй шу» 隋書 [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 473; Ганиев Р.Т., 2010, с. 174]. На основе сопоставления текстов «Чжоу шу» 周書 и «Суй шу» 隋書 Лю Мао-цай предположил, что часть информации была заимствована в «Суй шу» 隋書 непосредственно из «Чжоу шу» 周書, либо при их составлении использовались одни и те же источники. Среди названий подразделов цз.<sup>1733</sup> «Суй шу» 隋書, таких как «Бэй хуан фэн-су цзи» 北荒風俗記 («Записки о северных обычаях») – два *цзюаня*, «Чжу фань фэн-су цзи» 諸蕃風俗記 («Записки об обычаях чужеземцев») – два *цзюаня*, «Ту-цзюэ со чу фэн-су ши» 突厥所出風俗事 («Дела и обычаи, распространенные среди тюрков») – один *цзюань*, – могут быть названия самостоятельных источников для данной династийной истории [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 474; Ганиев Р.Т., 2010, с. 175] (Ср.: [Hirth F., 1896, S. 228]).

Самостоятельное значение имеет группа источников, которые условно можно отнести к географической литературе. Здесь следует указать истори-

<sup>17</sup> Здесь и далее: *цзюань* 卷 – глава.

ко-географический труд Юэ Ши 樂史 «Тай-пин хуань-юй цзи» 太平寰宇記 («Описание мира в период Тай-пин»), составленный в 976–983 гг. и содержащий подробное описание Китая и некоторых сопредельных областей, находящихся в фактической или номинальной зависимости. В целом, «в книге приводятся сведения об их границах, топографии, народонаселении, налогах, быте и нравах, переправах, мостах, храмах, памятниках древности, а также биографии знаменитых людей и др.» [Флуг К.К., 1959, с. 202]. К этой же группе источников могут быть отнесены описания путешествий, о которых будет сказано ниже.

Формально относящееся к жанру *ци цзюй-чжу* 起居注 («императорские дневники») сочинение «Да Тан чуан-е ци-цзюй чжу» 大唐創業起居注 («Императорский дневник [времен] основания великой [династии] Тан»), составленное Вэнь Да-я 溫大雅 в 618–626 гг., представляет собой своего рода хронику первых лет танской династии, т.е. периода правления Гао-цзу 高祖. Сочинение интересно значительным объемом сведений о внутренней жизни танского дома, не совпадающими с данными официальных хроник. Для изучения тюрков источник важен с точки зрения подробного описания военных кампаний первого танского императора.

К разряду «политической литературы» (*чжэн шу лэй* 政書類), – неоднородной группе сочинений, которые едва ли можно классифицировать как жанр, – относится трактат «Чжэнь-гуань чжэн яо» 貞觀政要 («Основы управления [в период] Чжэнь-гуань»). Он составлен У Цзином 吳兢 в 708–710 гг. на основе бесед императора Тай-цзуна 太宗 с различными министрами. Это сочинение, идеализирующее императора, стало пособием для многих будущих управленцев и дошло до нас в ряде списков, самые ранние из которых датируются XII в.

Следует выделить так же в разряде «политической литературы» (*чжэн шу лэй* 政書類), но относящееся уже к новому, зачинающемуся тогда энциклопедическому жанру, первое в этом роде сочинение «Тун дянью» 通典 («Общие установления»), составленное в 801 г. Ду Ю 杜佑. Оно является наиболее ранним источником, созданным в собственно танскую эпоху. Это сочинение действительно энциклопедического характера, включающее в себя самые разнообразные сведения по Китаю и сопредельным территориям, отраженные в разделах: «Народное хозяйство», «Экзаменационная система», «Служащие», «Правила поведения», «Музыка», «Армия», «Законы», «Административное деление», «Охрана границ» [Кучера С.Р., 2004, с. 171, 172]. Как отметил, например, Ю.А. Зуев, определяя один из разделов источника как «дорожник»: «Он не дублирует ни одного из существующих сейчас географических документов, а племенные названия, содержащиеся в нем, становятся известны много позже середины VII в., когда он был составлен. Предельно лаконичный характер сведений, сообщаемых им, свидетельствует о том, что автор дорожника сам никуда путешествовал, а пользовался информацией, доставленной ему,

по-видимому, посланниками или купцами северных стран» [Зуев Ю.А., 1962, с. 104]. Ф. Хирт указал в качестве задействованных здесь источников упомянутые выше сочинения «Чжу фань фэн-су цзи» 諸蕃風俗記 и «Ту-цзюэ со чу фэн-су ши» 突厥所出風俗事 под измененным названием «Ту-цзюэ бэнь мо цзи» 突厥本末記 («Основные и второстепенные записки о тюрках») [Hirth F., 1896, s. 228]. По мнению А. Ташагыла, сведения из этого источника позже были заимствованы в энциклопедии «Цэ фу юань гуй» 冊府元龜 и «Вэнь сянь тун као» 文獻通考 [Taşağıl A., 2003a, s. 3] (см. ниже), а также в «Синь Тан шу» 新唐書 [Taşağıl A., 2003a, s. 4].

Остальные сочинения китайской историографии являются, как правило, более поздними и носят компилятивный характер.

Близкие к «Тун дянь» 通典 по энциклопедическому характеру сведений сочинения были созданы в последующем. Речь идет о жанре так называемых хуэй яо 會要 (досл. «собрание важнейших сведений») – своеобразных руководств по управлению административными делами, – в сущности, компиляций, содержащих тексты докладов и указов. Важнейшим сочинением такого рода является «Тан хуэй яо» 唐會要 («Собрание важнейших сведений [периода династии] Тан»), последовательно создававшееся на протяжении периода 804–961 гг. Первую редакцию сочинения подготовил в 804 г. Су Мянью 蘇冕, оно охватывало период 618–804 гг. В 961 г. другое подобное сочинение под названием «Сюй хуэй яо» 續會要 создала группа ученых во главе с Ян Шао-фу 楊紹復, доведя изложение до 852 г. В 961 г. Ван Пу 王溥 свел оба этих текста и довел изложение уже до 961 г. Сочинение посвящено именно периоду династии Тан 唐. Содержание текста разделено по соответствующим темам: «Генеалогическое древо правящей династии», «Этикет», «Музыка», «Школы и образование» и т.д., а также есть разделы, посвященные отношениям Китая с другими странами. В свою очередь, эти разделы состоят из более мелких частей. Сочинение дошло до нас в издании XIX в., и в дальнейшем оно стало прототипом для ряда работ подобного жанра [Флуг К.К., 1959, с. 239; Кучера С.Р., 2004, с. 176]. Ван Пу 王溥 также составил в 963 г. подобное произведение, известное под названием «У Дай хуэй яо» 五代會要 («Собрание важнейших сведений [периода] Пяти династий»), посвященное периоду Пяти династий (907–960) [Флуг К.К., 1959, с. 240; Кучера С.Р., 2004, с. 182].

В сунскую эпоху приобретает большее распространение жанр энциклопедий (лэй-шу лэй 類書類) – компилятивных сочинений, содержащих самые разносторонние сведения из более ранних источников, систематизированные в определенном порядке. Одним из крупнейших среди них является «Цэ фу юань гуй» 冊府元龜 («Изначальная черепаха императорской библиотеки»), написанное в 1005–1013 гг. Ван Цинь-жо 王欽若, включающее сведения из ранних текстов до династии Сун 宋. Наиболее подробно описан именно период Тан 唐 [Флуг К.К., 1959, с. 151–152; Кучера С.Р., 2004, с. 187], в том числе дан

пространный раздел по взаимоотношениям Китая с соседними народами [Кюнер Н.В., 1950, с. LXXVIII–LXXIX].

В юаньскую эпоху была составлена энциклопедия «Вэнь сянь тун као» 文獻通考 («Сводное обозрение письменных источников»), завершенная Ма Дуань-линь 馬端臨 после 20-летней работы в 1317 г. В ее основе лежат как сунские, так более ранние источники, прежде всего, официальные династийные истории и «Тун дянь» 通典 [Кучера С.Р., 2004, с. 185–186]. Это оригинальный источник для сунской эпохи, но он имеет вспомогательное значение для суйско-ганского времени. Данное сочинение отличается от прежних энциклопедий – главы разбиты на тематические блоки, но помещены в хронологическом порядке.

Претенциозная работа маньчжурской эпохи «Юань-цзянь лэй-хань» 淵鑑類函 («Безбрежное зеркало собранных знаний»), составленная в 1710 г. группой авторов, среди которых Чжан Ин 張英, Ван Ши-чжэнь 王士禎, Ван Тань 王愔 и др., являет собой своеобразную антологию энциклопедических текстов.

Особый жанр китайской исторической литературы представлен хрониками или анналами (*бянь-нянь лэй* 編年類). Прежде всего, здесь следует отметить «Цзы-чжи тун-цзянь» 資治通鑑 («Помогающее управлению всеобщее обозрение»), составленное к 1084 г. группой ученых под руководством Сы-ма Гуан 司馬光, во многом опиравшегося на «Цзю Тан шу» 舊唐書 и «Цзю У Дай ши» 舊五代史. Значительное внимание в сочинении уделено именно политическим событиям. После тот же Сы-ма Гуан 司馬光 написал комментарий к названной хронике под названием «Цзы-чжи тун-цзянь као-и» 資治通鑑考異 («Исследование помогающего управлению всеобщего обозрения», комментарий), посвятив его рассмотрению событий, нашедших неодинаковое освещение в различных источниках [Флуг К.К., 1959, с. 232–236; Pulleyblank E.G., 1950, p. 448–457, 462 ff.; Кучера С.Р., 2004, с. 184]. Самый ранний из дошедших текстов «Цзы-чжи тун-цзянь» 資治通鑑 существует в сунской редакции, послесловие которой датировано 1287 г. В конце XII в. Чжу Си 朱熹 предпринял работу по сокращению и систематизации этого труда, и в итоге было издано сочинение под названием «Цзы-чжи тун цзянь ган-му» 資治通鑑綱目 или «Тун цзянь ган-му» 通鑑綱目 [Флуг К.К., 1959, с. 235–246].

При редактировании и переписывании, составлении новых редакций или компиляций обычном делом было, как уже говорилось, сокращение исходных текстов или изменение стиля. Поскольку наиболее ранние источники в том или ином виде переходили в различные сочинения, часто независимо друг от друга, есть основания говорить об их сохранении, невзирая даже на то, что исходные рукописи до нашего времени не уцелели.

Перечисленные источники имеются в нашем распоряжении в ряде переводов. Одной из первых таких работ был многотомный труд по истории Китая



иезуита Ж.-А.-М. де Майя, написанный в период 1777–1783 гг., где нас интересует лишь VI том [Mailla J.A.M., 1778]. Работа представляет собой перевод маньчжурской редакции XVI в. исторической энциклопедии «Тун цзянь ганму» 通鑑綱目 Чжу Си 朱熹 [Бернштам А.Н., 1950, с. LIV]. Подобный труд А. Гобилия по истории династии Тан, в котором для нас имеет значение лишь том XV, является переводом (точнее – пересказом) «Цзю Тан шу» 舊唐書 [Gaubil A., 1791]. Эти труды не были переводами в прямом смысле этого слова, представляя собой, по сути, лишь переложения сведений китайских авторов, с пояснениями самих переводчиков и сокращениями по их усмотрению [Козьмин Н.Н., 1937, с. IX; Алексеев В.М., 2002, с. 470, 472–473]. Как писал, например, В.М. Алексеев о сочинении Ж.-А.-М. де Майя: «Майя, конечно, не мог ни по времени, ни по подготовке сделать того, что сделал 150 лет спустя Шаванн, но, даже снисходя ко всему этому, нельзя не видеть, что этот громадный труд сделан небрежно и пользоваться им для научных целей нельзя. Зато он оказался весьма кстати для любителей пересказывать чужое и напитал собой все позднейшие учебники – эти своеобразные декокты, состоящие из собственных имен и приуроченных к ним анекдотов» [Алексеев В.М., 2002, с. 473]. Эта категоричная и, вне всякого сомнения, основанная на завышенных требованиях к науке того времени оценка тем не менее дает четкие представления о потенциале первых синологических работ XVIII в.

Только в 1779 г. вышел труд К. Видлу «История Татари», написанный более чем на полстолетия раньше и задуманный как дополнение к переизданию энциклопедии «Bibliothèque Orientale» Б. д'Эрбело (первым изданием вышедшей в 1697 г. посмертно) [Visdelou C., 1779]. Работа представляла собой именно качественный перевод китайских источников. В разделах о тюрках и уйгурах автором также была использована «Синь Тан шу» 新唐書 [Visdelou C., 1779, р. 91–109, 109–128, 128–158, 158–179]. В этом отношении данный труд получил высокую оценку Д.М. Позднеева по сравнению даже с вышедшей позже работой Н.Я. Бичурина [Позднеев Д.М., 1899, с. IX, X–XI].

Труд Н.Я. Бичурина (в монашестве – Иакинфа) «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена», увидевший свет в 1851 г., представляет собой единственный полный перевод на русский язык китайских материалов о тюрках – как восточных [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 220–279], так и западных [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 279–300]. Кроме того, в работах Н.Я. Бичурина содержатся сведения об уйгурах [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 301–339] и других *телэских* племенах, соседях тюрков [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 339–361]. Он использовал в основном официальные династийные истории: «Чжоу шу» 周書, «Суй шу» 隋書, «Вэй шу» 魏書, а также отказался от использования «Цзю Тан шу» 舊唐書, предпочитая «Синь Тан шу» 新唐書 как более новую редакцию. При этом, осуществляя перевод совпадающих мест Н.Я. Бичурин брал текст лишь одного из задействованных источников, изредка

добавляя комментарии из другого, чаще прибегая также к «Тун цзянь ган-му» 通鑑綱目 [Кюннер Н.В., 1950, с. LXVI–LXIX].

Переводная работа Н.Я. Бичурина, длительное время остающаяся основным пособием для русскоязычных исследователей, в значительной мере устарела с точки зрения современных требований к методике работы с текстами и точности переводов [Таскин В.С., 1968, с. 3–5]. В особенности это касается перевода терминологии, где Н.Я. Бичурин не был последователен, унифицируя в русскоязычном тексте различные в оригинале по смыслу слова [Бернштам А.Н., 1950, с. XL; Думан Л.И., 1977, с. 17, 18; Togan I., 2015, p. 95, 111, note 34]. Однако рассматриваемая работа объективно остается единственным наиболее полным сводом текстов китайских источников о тюрках на русском языке<sup>18</sup>.

В качестве дополнения к труду Н.Я. Бичурина в 1961 г. была посмертно издана работа Н.В. Кюннера, которая также содержит переводы как о тюрках [Кюннер Н.В., 1961, с. 182–194, 327–330], так и о племенах группы *гао-цзюй* 高車 ~ *те-лэ* 鐵勒 [Кюннер Н.В., 1961, с. 32–67, 291–306]. Исследователь дополнительно привлек сведения «Тан хуэй яо» 唐會要 и историко-географический труд Юэ Ши 樂史 «Тай-пин хуань-юй цзи» 太平寰宇記, а также два более поздних источника – энциклопедии «Вэнь сянь тун као» 文獻通考 и «Юань-цзянь лэй-хань» 淵鑑類函. Однако работу Н.В. Кюннера характеризуют те же недостатки, что и труд Н.Я. Бичурина – прежде всего, отсутствие текстологического комментария [Зуев Ю.А., 1962, с. 103].

Одной из старейших и важнейших публикаций переводов китайских материалов по истории тюрков является изданный в 1864 г. на французском языке труд С. Жюльена [Julien S., 1864, vol. III–IV]. Ученый также использовал тексты династийных историй, но почерпнутые им из компилятивного энциклопедического сочинения 1726 г. «Гу цзинь ту-шу цзи-чэн» 古今圖書集成 («Полное собрание изображений книг древности и нового времени»), начатого в 1700 г. Чэнь Мэн-лэй 陈梦雷, и опубликованного в 1726 г. Цзян Тин-си 蒋廷锡 [Taşağıl A., 2003a, s. 5], которое полностью повторяет сообщения династийных историй [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 482; Ганиев Р.Т., 2010, с. 177]. В переводах С. Жюльена имеются фрагменты, прежде не затронутые другими переводчиками, в частности, биография Чан Сунь-шэна 長孫晟. Вместе с тем отсутствие комментария не дает этой работе никаких других преимуществ.

Все эти труды, несомненно, уже устарели. Особенно это касается переводов социальной терминологии кочевников, приведенной в источниках по ана-

---

<sup>18</sup> Несколько лет назад один из авторов настоящей монографии получил непроверенную информацию о том, что В.С. Таскин не только планировал подготовку новых переводов китайских источников на русский язык, но даже сделал какую-то часть этой работы. Благодаря любезной помощи заведующего Отделом Китая ИВ РАН д.филос.н., проф. А.И. Кобзева удалось получить доступ к хранящемуся в Отделе архиву В.С. Таскина. Однако никаких материалов, связанных с тюрками, там обнаружить не удалось.

логии с китайской, а также наименований структурных единиц общественной организации, для которых использовались определенные иероглифы.

Работа Д.М. Позднеева имеет характер сводки и также содержит комментированный пересказ китайских источников об уйгурах и *телэских* племенах. Исследователь использовал, кроме того, материал К. Видлу и Н.Я. Бичурина, исправив и прокомментировав некоторые недочеты в работе последнего, а также перевел фрагменты, оставленные им без внимания [Позднеев Д.М., 1899]. Вместе с тем сам Д.М. Позднеев взял за основу своих сведений позднюю компиляцию «Гу цзинь ту-шу цзи-чэн» 古今图书集成, что при наличии рассматриваемых им источников в более ранних списках значительно снижает ценность проделанной работы [Камалов А.К., 2001, с. 13].

Компетентные комментированные переводы на английский язык фрагментов о тюрках из «Чжоу шу» 周書, «Суй шу» 隋書, «Бэй ши» 北史, «Цзю Тан шу» 舊唐書 и «Синь Тан шу» 新唐書 были подготовлены Э.Х. Паркером [Parker E.H., 1899–1901с], издавшим также на их основе работу об истории кочевников Центральной Азии, в т.ч. тюрков [Parker E.H., 1895; Паркер Э., 2008]<sup>19</sup>. При изложении материала Э.Х. Паркер предпринял попытку реконструкции звучаний имен собственных и оригинальных терминов, передаваемых китайской транскрипцией, но этот опыт не был признан удачным [Мелиоранский П.М., 1898, с. 265, прим. 1; 1899а, с. 8, прим. 1; Hirth F., 1899, S. 7; Бартольд В.В., 1901, с. 0112].

Этим же путем последовал немецкий синолог Ф. Хирт, однако ограничившийся публикацией и критическим комментарием несколько более узкого источникового материала с реконструкцией встречающейся ономастики, этнонимии и топонимии. Его статья, вышедшая как синологическое приложение к изданию В.В. Радловым памятника Тоньюкука, содержит перевод одного раздела цз. 215 «Синь Тан шу» 新唐書 о восстановлении суверенитета восточных тюрков, а также пространный и подробный историко-филологический комментарий [Hirth F., 1899]. Эта работа, по оценке В.В. Бартольда, не только «удовлетворяет всем требованиям исторической и филологической науки», но и во все «имеет особенное научное значение» [Бартольд В.В., 1968г, с. 313 сл.]<sup>20</sup>.

Фундаментальный труд французского сиолога Э. Шаванна, вышедший в 1903 г., представляет собой сводку материалов по западным тюркам. Э. Шаванн использовал данные из «Суй шу» 隋書, «Цзю Тан шу» 舊唐書 и «Синь Тан шу» 新唐書, сведения из официальных документов VIII в. и энциклопеди-

---

<sup>19</sup> Мы пользовались русскоязычным переводом второго издания, вышедшего в 1924 г., уже с учетом данных памятников древнетюркской рунической письменности. Сам перевод выполнен отвратительно. Однако следует отметить, что англоязычный оригинал работы также не снабжен ссылочным аппаратом, что во многом затрудняет использование указанного сочинения в научных целях.

<sup>20</sup> Подробно об изысканиях Ф. Хирта: [Бернштам А.Н., 1946б, с. 58–60].

ческого сочинения «Цэ фу юань гуй» 冊府元龜, а также отрывки из буддийских источников: «Сю гао-сэн чуань» 续高僧传 («Продолжения жизнеописаний достойных монахов»), составлявшееся Дао Сюань 道宣 в течение 645–665 гг.; «Да Тан Да-цы-энь-сы Сань Цзан фа-ши чжуань» 大唐大慈恩寺三藏法师传 («Жизнеописание наставника веры Сюань Цзана из монастыря Да-цы-энь [при] великой [династии] Тан»), биография совершившего в 626–645 гг. путешествие из Китая в Индию через Среднюю Азию буддийского паломника Сюань Цзана 玄奘, составленная монахом Хуэй Ли 慧立 в 664 г. и изданная в 688 г. в пяти книгах с исправлениями и пояснениями монахом Янь Цзуном 彦棕; «У-кун жу Чжу цзи» 悟空入竺记 («Записки о поездке У-куна в Индию»), путевые записки монаха У-куна 悟空 во время его путешествия в Индию в 751–790 гг., обработанные и изданные Юань Чжао 圓照 в 799 г. [Chavannes E., 1903]. В 1904 г. Э. Шаванном было опубликовано дополнение к предыдущему изданию с привлеченными отрывками из «Цэ фу юань гуй» 冊府元龜 [Chavannes E., 1904]. Критическая часть основного труда Э. Шаванна встретила весьма суровую оценку В.В. Бартольда [Бартольд В.В., 1968з], однако все-таки едва ли справедливую.

В 1942 г. вышел труд немецкого синоведа и историка культуры В. Эберхарда «Культура и расселение пограничных с Китаем народов», представляющий собой нечто вроде сводки разрозненных источниковых данных относительно каждой из этнических общностей домонгольской эпохи по определенной схеме [Eberhard W., 1942b]. Эту работу нельзя назвать переводом источников, а, скорее, подборкой сведений. Сочинение аналогичного плана вышло на турецком языке под названием «Книга источников о северных соседях Китая», где содержалась информация о различных степных племенах Центральной и отчасти Средней Азии до примерно X в., не касающаяся собственно тюрков [Eberhard W., 1942a]. А.Н. Бернштам, критикуя данную работу, отметил, что в качестве источников брались не оригиналы династийных историй, а позднейшие компиляции, сама же информация черпалась из общих разделов, а не специальных. Кроме того, по мнению А.Н. Бернштама, представленный материал был неоднозначно систематизирован и, кроме того, фактически отсутствовал критический аппарат. Поэтому работа получила невысокую оценку со стороны советского ученого, охарактеризовавшего ее как «скорей аннотированный путеводитель по китайским источникам (главным образом сводкам), а не комментированный перевод, позволяющий неспециалисту-синологу делать собственные выводы и заключения» [Бернштам А.Н., 1946а]. Полностью соглашаясь с данным определением и замечаниями А.Н. Бернштама, мы не во всем можем принять его критику. Обращение к этому материалу возможно, но следует учитывать, что исследователь будет иметь дело с результатом субъективного обобщения источниковых данных и, в некоторой степени, упрощения. Безусловно, данные труды В. Эберхарда имеют определенное справочное зна-

чение, но не источниковедческое, учитывая, что и сам автор такой задачи перед собой не ставил.

Важнейшим событием является выход в 1958 г. в свет двухтомной работы западногерманского ученого Лю Мао-цая [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I–II], содержащей переводы китайских источников о восточных тюрках, комментарии и справочные материалы. Исследователь свел в работе тексты всех официальных династийных историй «Чжоу шу» 周書, «Бэй Ци шу» 北齊書, «Суй шу» 隋書, «Бэй ши» 北史, «Цзю Тан шу» 舊唐書, «Синь Тан шу» 新唐書, «Цзю У дай ши» 舊五代史, «У Дай ши цзи» 五代史記, хроники (*бянь-нянь лэй* 編年類) «Да Тан чуан-е ци-цзюй чжу» 大唐創業起居注 и «Цзы-чжи тун-цзянь» 資治通鑒, комментарий к последней «Цзы-чжи тун-цзянь као-и» 資治通鑒考異, руководства (*чжэн шу лэй* 政書類) «Тун дян» 通典, «Тан хуэй яо» 唐會要, «У Дай хуэй яо» 五代會要, «Чжэнь-гуань чжэн яо» 貞觀政要, а также буддийские источники, официальные императорские письма, отчеты военных и гражданских чиновников, извлечения из «хроник царствования» (*ши-лу* 實錄) и т.д. Лишь в качестве дополнений привлекались извлечения из энциклопедий – «Цэ фу юань гуй» 冊府元龜 и поздней компиляции «Гу цзинь ту-шу цзи-чэн» 古今圖書集成.

В работе Лю Мао-цая тексты сгруппированы в разделы, выделенные в соответствии с определенной китайской династией, внутри разделов они приведены в определенной последовательности: фрагменты из основного повествования о тюрках, затем из «основных записей» (*бэнь-цзи* 本紀), т.е. императорских хроник, затем – фрагменты из «биографии» (*ле-чжуань* 列傳), в отдельных случаях имеются дополнительные разделы<sup>21</sup>. Э.Дж. Пуллиблэнк среди недостатков труда Лю Мао-цая отметил лишь неиспользование некоторых изданий китайских текстов, отсутствие работы по текстологическому сравнению некоторых источников, – в частности Цзю Тан шу» 舊唐書 с «Тан хуэй яо» 唐會要, как одного из наиболее ранних танских сочинений, – и недостаточную критическую составляющую исследования [Pulleyblank E.G., 1959]. А. Ташагылом также отмечено ограниченное использование в этой работе и отсутствие переводов «Цзы-чжи тун-цзянь» 資治通鑒, «Тун дян» 通典 и «Цэ фу юань гуй» 冊府元龜 [Таҗағил А., 2003а, с. 6].

Работу по сведению материалов проделал китайский исследователь Цэнь Чжун-мянь (岑仲勉), издавший в 1958 г. два труда: двухтомное «Исторические записки о тюрках» («Ту-цзюэ ши-цзи» 突厥集史) и «Материалы по истории западных тюрков. Дополнения и исправления» («Си ту-цзюэ ши-ляо. Бу-цзюэ цзи као-чжэн» 西突厥史料補闕及考證). Обе книги содержат не только критическое издание текстов, но и обширный источниковедческий комментарий, и снабжены обширным справочным аппаратом. Сведения, почерпнутые из тру-

---

<sup>21</sup> Сравнительно недавно был издан перевод на русский язык отдельных частей труда Лю Маоцая [Лю Маоцай, 2002]. По-видимому, это более удачная попытка, чем предпринимались позднее (См.: [Леус П.М., 2006, с. 277–278]).

дов Цэнь Чжун-мяня, были широко использованы Ю.А. Зуевым и А.Г. Малявкиным, однако сами работы остаются недоступными для несинологов.

Ю.А. Зуевым в 1960 г. издан комментированный перевод цз. 72 пекинского издания «Тан хуэй яо» 唐會要 (стр. 1305–1308) под названием «Тамги лошадей из вассальных княжеств» [Зуев Ю.А., 1960]. Фрагмент представляет собой перечень видов лошадей, поставляемых от тех или иных племенных группировок Центральной и Средней Азии в танскую армию, сопровождающийся изображением тамг этих группировок. Однако, как показали последующие исследования, эти начертания форм тамг, взятые Ю.А. Зуевым из издания «Тан хуэй яо» 唐會要 1955 г., разнятся с таковыми в самом раннем издании 1884 г. Кроме того, технические трудности при издании статьи также внесли искажения в приведенные изображения [Рогожинский А.Е., 2012, с. 99, табл. 9, с. 102–102].

Ю.А. Зуевым также были переведены отрывки с упоминанием г. Суяб из следующих сочинений. Во-первых, «Да Тан си-юй цзи» 大唐西域記 («Записки о Западном крае при великой Танской династии») Сюань Цзана 玄奘, составленное последним в период путешествия 626–645 гг., затем отредактированное Бянь Цзи 辯機 и изданное в 646 г. Во-вторых, «Да Тан Да-цы-энь-сы Сань Цзан фа-ши чжуань» 大唐大慈恩寺三藏法師傳 («Жизнеописание наставника веры Сюань Цзана из монастыря Да-цы-энь [при] великой [династии] Тан»), биография Сюань Цзана 玄奘, составленная монахом Хуэй Ли 慧立 в 664 г. и изданная в 688 г. в пяти книгах с исправлениями и пояснениями монахом Янь Цзуном 彦棕. В-третьих, отрывок сочинения «Ду Хуань Цзин-син цзи» 杜環經行記 («Записки о переходах и путешествиях, составленные Ду Хуанем»), написанного в 762 г. и принадлежавшего, соответственно, перу Ду Хуаня 杜環, сопровождавшего полководца Гао Сянь-чжи 高仙芝 в походе в Среднюю Азию в 751 гг. Сочинение не сохранилось полностью, но данный фрагмент был помещен в цз. 193 «Тун дянь» 通典. В-четвертых, «Ду ши фан-юй цзи-яо» 讀史方輿紀要 («Объяснение географических наименований, встречающихся при чтении истории»), географическое сочинение минской эпохи в 130 главах, составленное группой авторов во главе с Гу Цзу-юй 顧祖禹 между 1630 и 1660 гг. [Зуев Ю.А., 2002, с. 262–277].

Особенно важным для изучения социальной структуры раннего периода существования Восточного каганата представляется опубликованный Ю.А. Зуевым так называемый отрывок «о чинах и званиях», включенный в цз. 197 энциклопедии «Тун дянь» 通典, цз. 194 историко-географического труда Юэ Ши 樂史 «Тай-пин хуань-юй цзи» 太平寰宇記, а также в цз. 962 энциклопедии «Цэ фу юань гуй» 冊府元龜, данный в переводе и с комментариями самого Ю.А. Зуева [Зуев Ю.А., 1998а; 2002, с. 280–291].

Выдержки из танских историй («Цзю Тан шу» 舊唐書, «Синь Тан шу» 新唐書) касательно территорий Центральной и Средней Азии с обширными

историко-географическими комментариями содержатся в работах А.Г. Малявкина [Малявкин А.Г., 1981; Малявкин А.Г., 1989].

В 1990 г. Э.Дж. Пуллиблэнк впервые издал англоязычный перевод фрагмента о *гаоцзюйцах*, помещенного в цз. 103 «Вэй шу» 魏書 и цз. 98 «Бэй ши» 北史 [Pulleyblank E.G., 1990, p. 23–25].

Турецкий синолог Ахмет Ташагыл, автор труда в трех частях о Тюркском каганате, а также работы о соседствующих кочевнических племенах Центральной и Средней Азии, написанных на основе китайских источников, приложил к своим книгам переводы разделов о тюрках из «Тун дянь» 通典, «Цэ-фу юань-гуй» 冊府元龜, «Цзы-чжи тун-цзянь» 資治通鑑, «Цзю Тан шу» 舊唐書, «Синь Тан шу» 新唐書, и более поздних «Цзю У Дай ши» 舊五代史, «Синь У Дай ши» 新五代史, «Вэнь сянь тун као» 文獻通考 [Taşağıl A., 2003a, s. 95–176; 1999, s. 84–105; 2004b, s. 63–92], а также о телэских племенах – «Тун дянь» 通典, «Вэнь сянь тун као» 文獻通考, «Синь Тан шу» 新唐書 [Taşağıl A., 2004a, s. 131–166]. Можно сказать, что наличие у А. Ташагыла переводов из «Тун дянь» 通典, «Цэ-фу юань-гуй» 冊府元龜, «Цзы-чжи тун-цзянь» 資治通鑑 компенсирует недостаток внимания к этим источникам со стороны Лю Мао-цая.

Новая публикация переводов китайских источников была осуществлена на казахском языке. Четвертый том серийного издания «Қазақстан тарихы туралы деректемелері» содержит переводы текстов цз. 103 «Вэй шу» 魏書 о *гаоцзюйцах*, цз. 84 «Суй шу» 隋書 о *телэсах* и восточных тюрках, цз. 50 из «Чжоу шу» 周書, цз. 215 «Синь Тан шу» 新唐書 о восточных тюрках, сделанные Б. Еженханұлы, а также цз. 84 «Суй шу» 隋書, цз. 215 «Синь Тан шу» 新唐書 о западных тюрках и также цз. 217 «Синь Тан шу» 新唐書 об уйгурах, выполненные Ж. Ожан [Қазақстан тарихы, 2006]. «Минусом» этой работы, несмотря на наличие пространных комментариев, следует признать отсутствие ссылок на научную литературу, откуда черпаются приводимые там сведения.

Из последних работ следует отметить публикацию турецкого перевода цз. 50 «Чжоу шу» 周書, осуществленного Гюльнар Кара [Kara G., 2016].

Отдельные моменты, связанные с переводами и интерпретацией китайских источников касательно истории Тюркских каганатов, можно почерпнуть из работ А. Кордые, П. Пельо, Л. Вигера, О. Франке, А.Н. Бернштама, Б. Огеля, Дж.Р. Гамильтона, Э.Дж. Пуллиблэнка, В.С. Таскина, К. Маккераса, В.М. Крюкова, Э. Шефера, Л.А. Боровковой, Е.И. Кычанова, М.Р. Дроммпа, Э. Экрэма, П. Лун, С. Штарка и др.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Необходимо отметить, что значительная часть источниковых материалов на китайском языке остается непереведенной, а следовательно, доступной лишь для узкого круга специалистов-китаистов. В данном исследовании мы используем преимущественно введенные в оборот китайские источники, но поскольку варианты выполненных специалистами переводов отдельных фрагментов зачастую отличаются, в дальнейшем мы будем постранично ссылаться на упомянутые работы, в отдельных случаях специально отмечая расхождения в переводах. В определенных ситуациях, когда ни один из имеющихся переводов не будет признан удовлетворительным, мы будем давать собственный вариант перевода оригинального китайского текста.



*Византийские источники.* Византийцы также достаточно рано столкнулись с тюрками, прежде всего с их политическими амбициями. За исключением нескольких текстов, содержащих чрезвычайно важные детали социальной жизни кочевников, сочинения византийских авторов в большей степени являются важным источником по этнонимике и ономастике тюрков. Значительные трудности при работе с византийскими источниками представляет традиция сохранения античного наименования окружающих империю народов. Так, например, под этническими названиями *скифы*, *массагеты* или *гунны* в различные периоды и сочинениях отдельных авторов могут выступать совершенно разные народы, порой даже не имеющие друг с другом ничего общего. Кроме того, «традиционное» наименование может применяться к подразделениям одного политического объединения. Работа по сбору и анализу этих материалов уже была осуществлена Дьюлой Моравчиком [Moravcsik Gy., 1983] и Йаношем Харматтой [Harmatta J., 1962].

В рамках настоящего исследования наибольшее значение имеют два сочинения. Во-первых, это «История» Менандра Протектора, составленная в 583–584 гг. и дошедшая до нас фрагментарно. В данной работе собраны различные сведения, в том числе от участников двух византийских посольств к тюркам. Прежде всего, это посольство во главе с киликийцем Зимархом в ставку тюркского кагана, названного Дизабул (*Διζαβουλοσ*), или в другом месте – Сильзибул (*Σιλζιβουλοσ*), состоявшееся в 569 г.<sup>23</sup> Эти сведения были обстоятельно изложены Менандром. Подробно описано и второе византийское посольство к тюркам в 576 г.,<sup>24</sup> возглавляемое мечником Валентином, которому выдалось лицеизреть похороны кагана [Византийские историки, 1860]<sup>25</sup>.

Вторым важным источником может быть названа «История» Феофилакта Симокатты, написанная ок. 630 г. [Феофилакт Симокатта, 1957]. В книге VII данного сочинения помещена очень важная информация о внутренней жизни

---

При написании транслитерации китайских иероглифов мы пользуемся традиционно принятой в российском Китаеведении системой транскрипции Палладия, несмотря на ряд ее недостатков, при необходимости также давая написание транслитерации по распространенной системе *Hàn-yǔ Pīn-yīn* 漢語拼音. Поскольку некоторые цитируемые авторы использовали различные системы (*система Палладия*, *Wade-Giles* и др.), мы приводим их транскрипцию без изменений в написании.

Реконструкция среднекитайского звучания отдельных иероглифов производится в основном по методике Э.Дж. Пуллиблэнка [Pulleyblank E.G., 1991], эффективность которой была продемонстрирована в работах Касаи Юкиё [Kasai Y., 2012; 2014].

<sup>23</sup> О датировке посольства Зимарха см.: [Dickens M., 2016, p. 113–114].

<sup>24</sup> Менандр называет датой второй год правления Тиберия, имея в виду его регентство, начавшееся в 575 г. Не учтя этого, Н.В. Пигулевская датировала посольство Валентина 579 г. [Bury J.V., 1897, p. 420, note 3a; Chavannes E., 1903, p. 240, note 1; Пигулевская Н.В., 2000, с. 280].

<sup>25</sup> Недавно был издан новый русскоязычный перевод фрагмента о посольстве Зимарха [Жданович О.П., 2014]. О посольстве Зимарха см. также: [Dobrovits M., 2011].

тюрков, а также о посольстве от кагана к императору Маврикию. На сегодняшний день эти события не получили общепризнанной интерпретации [Hauszig H.W., 1953; La Vaissère É. de., 2010a].

Поскольку в настоящем исследовании не затрагиваются аспекты отношений тюрков с оседло-земледельческими обществами, а также по возможности обходятся вопросы политической истории, в значительно меньшей степени авторами используются данные согдийских, хотано-сакских и тибетских источников<sup>26</sup>.

*Согдийские источники*, кроме названных выше текстов Бугутской надписи, надписи Нири кагана, Сэврэйской и Первой Карабалгасунской надписей, привлекаются попутно и чаще для сравнительного анализа ономастики и этнонимии. Лучшую сводку по ономастике, встречающейся в согдийских текстах, представляет на сегодняшний день работа П.Б. Лурье, больше сконцентрированная на иранской ономастике в целом [Lurje P.B., 2010]. Самостоятельное значение имеют каталоги монет Средней Азии с согдийскими легендами [Смирнова О.И., 1963; Babayar G., 2007]. Отдельные источниковедческие вопросы тюрко-согдийских контактов затрагивались О.И. Смирновой [Смирнова О.И., 1970].

Достаточный материал имеется по *хотано-сакским текстам* [Henning W.B., 1948; Bailey H.W., 1985]. Эти источники относятся по большей части к IX–X вв. и, следовательно, касаются в основном уйгурского периода, но это не снижает значимости столь уникального материала для исследования этносоциальной истории тюрков.

*Бактрийские источники* представляют собой достаточно новый материал и, учитывая довольно раннюю датировку источников, где упоминается тюркская ономастика, титулатура и этнонимика – конец VI – VIII вв. [Sims-Williams N., 2011], имеют определенное значение ввиду аутентичности приводимых ими сведений.

Из *тибетских источников* наиболее значимым является манускрипт № 1283 из коллекции П. Пельо (*Pelliot Tibétain 1283*), часть сведений которого может вне всякого сомнения относиться к VIII в. Документ имеет огромную важность для изучения племенной организации и административно-территориальной структуры Восточно-тюркского каганата [Vacot J., 1956; Clauson G., 1957a] (см. также: [Камалов А.К., 2001, с. 56–57]).

Лишь некоторую косвенную информацию, касающуюся отчасти Средней Азии, но прежде всего, Кавказа, предоставляют *сирийские источники* (Захария Ритор, Иоанн Эфесский, «анонимная хроника времени Сасанидов», анонимная хроника 1234 г., Михаил Сириец) [Пигулевская Н.В., 2000, с. 185–212, 322–339; Dickens M., 2016, p. 103–112], а также *источники кавказских народов* (тексты

---

<sup>26</sup> Данные источники имеют гораздо большую ценность для изучения истории Западно-тюркского каганата, привлечение материалов о котором в настоящей работе имеет вспомогательное значение.

на древнеармянском языке, грузинские источники), которые по большей части связаны с историей хазар [Golden P.B., 1980, p. 119–121].

В особую группу материалов могут быть выделены *арабо-персидские источники*. Значимость приводимых в них сведений для изучения политической истории тюрков в контексте событий, происходивших в Средней Азии, очевидна [Бартольд В.В., 1968б; Кляшторный С.Г., 2003, с. 4–5]. Однако поскольку непосредственные контакты арабов-мусульман с тюрками Средней Азии начинаются лишь в VIII в., на самом деле немногие из источников отражают реалии данного периода.

Одним из наиболее ценных ранних источников, повествующих также о Центральной Азии, является отчет путешественника Тамūма ибн Баҳра, в 821 г. побывавшего в ставке уйгурского кагана. Эти сведения сохранились у ряда арабских авторов, однако наиболее подробно представлены у Абū Бакра Аҳмада ибн Муҳаммада ибн ал-Фақīха ал-Хамадāнū [Minorsky V., 1948]. Его сочинение «Қитāб Аҳбар ал-Булдāн» («Книга известий о странах»), написанное ок. 903 г., дошло до нас в сокращенной редакции, выполненной в 1022 г. ‘Алū ибн Джа‘фаром ибн Аҳмадом ал-Шайзари, но помимо всего прочего содержит очень много почерпнутых из различных источников довольно ранних сведений о тюркских племенах [Арабские источники, 1993, с. 44–56]. В свою очередь, главы о них были написаны под влиянием специального трактата, принадлежащего перу Абū ‘Усмана ‘Амр ибн Баҳра ал-Кинāнū ал-Басрū ал-Джāҳиза «Послание ал-Фатху бен Хāқāну о достоинствах тюрков и остального халифского войска». Этот документ был создан в период правления халифа ал-Му‘тасима (833–842 гг.), когда отряды *гулямов*, состоявшие из выходцев из тюркской среды, становились доминирующей силой не только в армии, но и в политической жизни Халифата. Это сочинение содержит оценку образа жизни, нрава и быта тюркских воинов [Арабские источники, 1993, с. 56–103].

Остальные сведения мусульманских авторов, как было уже сказано, имеют отношение по большей части к Средней Азии. Среди них важнейшее значение имеет так называемая арабоязычная хроника иранского происхождения автора Абū Джа‘фара Муҳаммада ибн ат-Табарū (ум. 923 г.) «Тā’рīх ар-русул ва-л-мулūk» («История пророков и царей»), начинающая повествование с сотворения мира, «от Адама», и доводящая его до 303 г. х. / 915 г. н.э. Сочинение дошло до нас частями в сокращенной редакции, составившей 13 томов. Автор несомненно пользовался более ранними источниками, в частности, у него подробно описан период VII–VIII вв., в который происходило проникновение арабов-мусульман в Среднюю Азию [История ат-Табари, 1987].

Среди персидских источников выделяется поэма «Шāхнāмэ» («Книга царей») – сборник героико-мифологических преданий и исторических сюжетов. Прозаический вариант «Шāхнāмэ» был написан еще в конце IX в. После про-

должительных попыток переложить ее на стихи эта задача, наконец, была решена Абӯ’л-Қасимом Фирдоусӣ, собравшим в дополнение к имевшемуся своду ряд исторических сведений [Гафуров Б.Г., 1989, с. 94, 99–102; Бертельс Е.Э., 1960, с. 193–197]. Созданная Фирдоусӣ где-то в период в 976–1011 гг. как панегирическое эпическое произведение для последнего сāmāнидского правителя и после, по легенде, не оцененная султаном Махмӯдом Газнавӣ [Бертельс Е.Э., 1960, с. 178–180], поэма является одним из первых ираноязычных источников (написана на дари), повествующих о тюрках. Однако одно из прекраснейших произведений таджико-персидского фольклора, в принципе, содержит мало достоверной информации о них, если не считать сообщения о взаимоотношениях шаха Хосрова Анӯшӣрвāна с «чинским хаканом» [Фирдоуси Абулькасим, 1989, с. 117–142]. Й. Марквартом было предпринято сопоставление противника Бахрāма Чӯбӯна – пришедшего со стороны Герата с войском Сāvэ шāха شاه ساوه [sāwā šāh] – с одним из тюркских каганов [Marquart, J., 1898, S. 188–189; 1901, S. 65, 83], что соответствует повествованию ат-Табарӣ, где здесь назван некий предводитель тюрков Шāба شابه [šābā], также убитый в 588/589 г. стрелой [Marquart J., 1901, S. 65, 83; Markwart J., 1938, S. 142]. С.П. Толстов указал на параллели в китайских летописях, где говорится о гибели от стрелы во время похода на запад Чу-ло-хоу 處羅侯, носившего прежде титул шэ-ху 葉護, затем – Мо-хэ 莫賀 кагана, в 588 г. [Толстов С.П., 1938в, с. 10; 1948, с. 252]<sup>27</sup>. К. Цегледи обнаружил косвенные аргументы в пользу этого отождествления в независимых друг от друга среднеперсидских, армяноязычных и византийских источниках [Czeglédy K., 1958, p. 23–25].

В содержании поэмы «Шāхнāmэ» явно прослеживается характерная для иранского мировосприятия тенденция противопоставления оседлого Ирана кочевому Турану, который, по мнению некоторых исследователей, представляют как раз тюрки. Однако речь идет об обобщающем образе кочевнических народов Средней Азии, а традиция противостояния с ними явно имеет еще авестийские корни [Kowalski T., 1939–1949; Бертельс Е.Э., 1960, с. 200, прим. 43].

В этом же аспекте одним из важных источников представляется написанная Абӯ Бакром Мухаммадом ибн Джа‘фаром Наршахӯ (899–959) «Гārӯх-и-Бухārā», т.е. «История Бухары», известная также как «История Наршахи» [Мухаммад Наршахи, 1897], источник X в., дошедший до нас в персидском переводе XII в. Первоначально текст также был написан на арабском языке для

<sup>27</sup> Й. Харматта ошибочно транскрибирует имя Чу-ло 處羅 как \*Āor [Harmatta J., Litvinsky V.A., 1996, p. 361]. Однако последний термин транскрибируется как *чжо* 啜 [Hirth F., 1899, S. 6], а сочетание Чу-ло 處羅, как теперь ясно после находки надписи Нири кагана, передает звучание, близкое к \*ċuri, отраженное в согд. *swru* (стк. 21) [Ôsawa T., 2006b, p. 476]. Именно эту транскрипцию предлагал в свое время С.П. Толстов [Толстов С.П., 1938в, с. 7–8; 1948, с. 251]; ср.: < \*ċura? \*ċira? [Кляшторный С.Г., 1985, с. 168].

одного из сāmāнидских правителей ок. 933 г. В первой четверти XII в. сочинение было переведено на персидский Абӯ Насром Аҳмадом ибн Муҳаммадом ал-Қубāvī. В третьей четверти XII в. (1177–1179 гг.) перевод Қубāvī был сокращен и переработан Муҳаммадом бен Зуфаром для бухарского правителя. Позднее изложение событий продлено неизвестным автором до времени вторжения монголов. Поэтому становится ясным, что труд дошел до нас в измененном (сокращенном и дополненном) издании [Смирнова О.И., 1965, с. 158].

Й. Маркварт и затем С.П. Толстов обратили внимание на упоминание некоего правителя тюрков по имени Қарā Джўрїн-и Турк [Marquart J., 1901, S. 308; Markwart J., 1938, S. 145; Толстов С.П., 1938в, с. 7–10; 1948, с. 251–252]. Это сочетание Й. Маркварт истолковывал как ‘der schwarze Čur der Türk’ [Markwart J., 1938, S. 145] и, как указала О.И. Смирнова, написание этого имени ترك قرآ جورنی [qra čwryn twrk] в тексте может пониматься как «Қарā-чўрин тюрк», так и как «Қарā-чўр, сын тюрка» [Смирнова О.И., 1970, с. 32]. Записанное Наршахū имя может быть калькой какого-то услышанного и не понятого им или его информатором сочетания. Сам титул (*ār atī*) *Q(a)ra čor* известен по таласской эпитафике (Тал II, стк. 2, 5, 6) [Джумагулов Ч., 1982, с. 12; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 285, 286]. Форма *čor(i)η* встречается в надписях Кюли чора и Кюль тегина как образование родительного падежа исходной формы (КТб, стк. 32; КЧ, стк. 26 (= Южн., стк. 1))<sup>28</sup>.

Произведения арабской географической литературы, – сочинения так называемой «школы ал-Джайхāнī», – также важны для данной работы. Благодаря тому, что арабской историографической традиции было характерно компилирование текстов, до нашего времени в работах позднейших писателей сохранились свидетельства, восходящие к достаточно ранним периодам.

Для изучения Средней и Центральной Азии большое значение представляет такой источник, как анонимный географический трактат «Қитāб Худūd ал-‘āлам мин ал-Машриқ илā-’л-Мағриб» («Книга о пределах мира от востока к западу»), датируемый 982–983 гг. [Hudūd al-‘Ālam, 1937]. Составленный в сāmāнидских владениях этот памятник преследует именно географические цели. В нем подробно изложена вся информация об окружающих эмират Сāmāнидов землях. Важно, что в этом произведении в поле зрения автора попадают не только ближайшие кочевые соседи, печенеги и тюрки-огузы, но также далекие енисейские кыркызы и уйгуры, чьи земли описываются гораздо подробнее, чем в других географических сочинениях мусульманских авторов [Бартольд В.В., 1963б, с. 58].

---

<sup>28</sup> Также С.П. Толстов отождествил упомянутого предводителя восстания в Бухаре Абрўя с известным по китайским источникам тюркским Да-ло-бянем 大邏便 – А-бо 阿波 каганом [Толстов С.П., 1938в, с. 6 сл.; 1948, с. 253 сл.], однако, это предположение не получило поддержки [Очерки Истории СССР, 1958, с. 351; Marshak B.I., Negmatov N.N., 1996, p. 240–242].

В этом отношении следует отметить также сочинение персидского автора Абӯ Са'ида Абд ал-Хайа ибн аз-Заххāка ибн Махмӯда Гардӯзӣ «Зайн ал-ахбār» («Украшение известий»), составленное в 60-х гг. XI в. Специалистами отмечается совпадение некоторых сведений Гардӯзӣ с «Худӯд ал-'āлам» [Бартольд В.В., 1963б, с. 58]. Главы о тюркских племенах имеют особое значение [Бартольд В.В., 1973; Martinez A.P., 1982]. По мнению К. Цегледи, Гардӯзӣ черпал свои данные о них из сочинения автора по имени Абӯ 'Амр 'Абд 'Аллāх ибн ал-Муқаффа' (720 – ок. 757) «Kitāb руб' ад-дунйā» («Книга об обитаемой четверти мира»), завершеного сыном последнего [Czeglédy K., 1973, p. 259, 260–261, 263]. Потому ряд сведений Гардӯзӣ может относиться к событиям, имевшим место в промежутке 745–766 гг. [Czeglédy K., 1973, p. 263–267]. Датировка, предложенная венгерским исследователем, в целом, как показал П.Б. Лурье, подтверждается некоторыми косвенными данными [Lurje P.V., 2007, p. 189–190]. Впрочем, сам П.Б. Лурье считает, что источником этих сведений был все-таки не сохранившийся до нашего времени труд Абӯ 'Абд 'Аллāха ибн Ахмада ал-Джайхāнӣ (первая половина X в.) «Kitāb ал-масāлик ва ал-мамāлик» («Книга путей и государств»), или даже одноименный труд Абӯ'л-Кāсима Убайд 'Аллаха ибн 'Абдāллаха ибн Хурдāдбиха (IX в.) [Lurje P.V., 2007, p. 189–190], первое из дошедших до наших дней арабских географических сочинений.

Общая характеристика арабо-персидских источников в различных аспектах дана в работах исламоведов-арабистов и иранистов [Бартольд В.В., 1963б, с. 45–84; Крачковский И.Ю., 1957; Беляев В.И., 1939; Ромаскевич А.А., 1939; Агаджанов С.Г., 1969, с. 8–26; Bosworth C.E., 2000a, p. 142–147; Frye R.N., 2000]. Перечень исламских источников по тюркам представлен А.З. Велиди (Тоганом) [Zeki Velidi Togan A., 1981, s. 184–188, 243–246], а также имеется у С. Гёмеча [Gömeç S., 2000, s. 82–86]. Представления арабов о тюркских племенах, их расселении и их культуре также хорошо описаны в работах специалистов [Арабские источники, 1993, с. 3–27; Frenkel Y., 2005; Калинина Т.М., 2007].

Помимо письменных источников значительный пласт информации по различным аспектам социальной истории тюрков предоставляет анализ материалов исследований **археологических памятников**. Наиболее информативными из них являются *погребальные комплексы*. Изучение этой группы объектов стало основой для многих реконструкций и наблюдений, представленных в очерках данной монографии. Результаты раскопок захоронений довольно фрагментарно использовались ранее в рамках рассмотрения организации общества тюрков, поэтому имеет смысл кратко охарактеризовать имеющиеся материалы, источниковедческие особенности которых определяют и возможности их исследования.

Погребальные памятники тюрков исследованы, главным образом, на территории Алтая, Тувы и Минусинской котловины. Раскопки таких объектов осуществляются начиная с середины XIX в., и почти каждый год появляются новые материалы. К настоящему времени наиболее хорошо изученным с этой точки зрения регионом следует считать Алтай. На данной территории раскопано около 200 тюркских захоронений, демонстрирующих развитие культуры кочевников начиная с конца V – начала VI вв. н.э. и вплоть до XI в. н.э. [Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2016, с. 251–271]. Результаты исследований раннесредневековых могильников Алтая представлены в значительном количестве статей, а также в ряде монографий [Захаров А.А., 1926; Грязнов М.П., 1940; Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941; Гаврилова А.А., 1965; Савинов Д.Г., 1982; Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т., 1985; Кубарев В.Д., 1985; Могильников В.А., 1990; Мамадаков Ю.Т., Цыб С.В., 1993; Бородовский А.П., 1994; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997; Худяков Ю.С., Кочеев В.А., 1997; Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998; Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003; Молодин В.И. и др., 2004; Кубарев Г.В., 2005; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005; Кирюшин К.Ю. и др., 2013; и мн. др.]. Несколько меньшее количество погребальных комплексов тюрков известно на территории Тувы. К настоящему времени в данном регионе раскопаны около 85 захоронений [Серегин Н.Н., 2013, с. 197–201]. Большая часть этих материалов введена в научный оборот [Вайнштейн С.И., 1954; 1958; 1966; Грач А.Д., 1960а–б; 1966; 1968; Трифонов Ю.И., 1966; 1967; 1968; 1975; 2000; Мандельштам А.М., 1967; Комарова М.Н., 1973; Кызласов Л.Р., 1979; Грач В.А., 1982; Овчинникова Б.Б., 1982; 2004; Длужневская Г.В., 2000; Древние тюрки в Центральной Туве ..., 2013; Дорога длиной ..., 2015; Садыков Т.Р., 2017; и др.]. Особую группу тюркских некрополей, отражающих специфику локального варианта культуры кочевников, демонстрируют результаты исследований в Минусинской котловине [Худяков Ю.С., 2004; Серегин Н.Н., 2009; 2014; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2016, с. 174–182]. К настоящему времени в данном регионе известно более 100 тюркских захоронений, характеризующихся рядом специфических черт, но несомненно относящихся к рассматриваемой общности кочевников [Киселев С.В., 1929; Евтюхова Л.А., 1948; Левашова В.П., 1952; Зяблин Л.П., Кривонос А.А., 1968; Комплекс археологических..., 1979; Нестеров С.П., 1982; 1999; Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988; Митько О.А., 1992; 1999; Тетерин Ю.В., 1992; 1999; 2000; Худяков Ю.С., 1998; 1999; 2004; Поселянин А.И., Киргиников Э.И., Тараканов В.В., 1999; и др.].

По сравнению с накопленными материалами раскопок в Алтае-Саянском регионе довольно незначительным выглядит количество погребений раннего средневековья, исследованных в центре каганатов тюрков – Монголии, особенно если принимать во внимание размеры данной территории. На сегодняшний день в различных частях страны раскопаны около 50 тюркских за-

хоронений [Боровка Г.И., 1927; Евтюхова Л.А., 1957; Erdelyi I., Dorjsuren С., Navan D., 1967; Сэр-Оджав Н., 1970; Наван Д., Сумьябаатар Б., 1987; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., Шкода В.Г., 1990, 1999; Худяков Ю.С., Цэвендорж Д., 1986; 1997; 1999; Турбат Ц., 1998; 2014; Худяков Ю.С., Турбат Ц., 1999; Худяков Ю.С., Лхагвасурэн Х., 2002; Төрбат Ц., Амартүвшин Ч., Эрдэнэбат У., 2003; Хурэлсүх С., Мунхбаяр Л., 2004; Гүнчинсүрэн Б. и др., 2005; Кубарев Г.В. и др., 2007; Олзийбаяр С., 2007; Хүрэлсүх С., 2008; Цэвендорж Д. и др., 2008; Турбат Ц., Батсүх Д., Батбаяр Т., 2010; Эрдэнэболд Л., Одбаатар Ц., Анхбаяр Б., 2010; Баярхүү Н., 2015; 2016; Мөнхбаяр Ч. и др., 2016; Баярхүү Н., Төрбат Ц., Жискара П.Х., 2017; Ероол-Эрдэнэ Ч., Гантулга Ж., Бросседер У., 2017; Энхтор А. и др., 2017; Эрдэнэболд Л. и др., 2017; и др.]. Большая часть объектов раннего средневековья изучена в центральных и северных районах Монголии (Архангайском, Баянхонгорском, Булганском, Селенгинском, Уверхангайском, Центральном аймаках). Кроме того, известна довольно представительная серия памятников на западе страны (Баян-Улэгейский, Убсунурский и Ховдский аймаки), а также зафиксированы отдельные объекты на северо-востоке. При этом очевидно, что такая локализация тюркских погребальных комплексов лишь отчасти объясняется объективными причинами и спецификой расселения кочевников. В большей мере территориальные рамки распространения известных памятников обусловлены степенью интенсивности полевых исследований в разных областях страны. Потому в ходе будущих археологических работ в Монголии зафиксированная ситуация может измениться. Анализ выявленных закономерностей в расположении и локализации курганов тюрков Монголии показывает, что традиции погребальной обрядности кочевников этого времени не предполагали сооружения больших отдельных некрополей. Чаще всего объекты второй половины I тыс. н.э. были исследованы в ходе раскопок памятников более раннего времени. Дисперсное расположение курганов периода раннего средневековья определенным образом осложняет массовые раскопки таких комплексов и, возможно, является одной из причин небольшого количества известных погребений. Вместе с тем учет выявленных ситуаций дает дополнительные возможности для обнаружения захоронений в ходе дальнейших полевых исследований.

К настоящему времени накоплен определенный опыт анализа различных характеристик погребального обряда тюрков Монголии. В большинстве случаев имеющиеся наблюдения носят отрывочный характер и связаны с рассмотрением конкретных объектов. Вместе с тем в последние десятилетия начинают появляться работы обобщающего плана. Серия обзорных публикаций подготовлена монгольскими археологами [Төрбат Ц., 2005; 2014; Баярхүү Н., 2015а–б; 2016]. Результаты систематизации сведений о захоронениях тюрков Монголии и опыт изучения обрядовой практики номадов представлены



в ряде статей одного из авторов монографии [Серегин Н.Н., 2014; 2016б–в; 2017; и др.]. С каждым годом объем имеющихся данных увеличивается, что не только позволяет более подробно рассматривать характеристики погребальных комплексов кочевников, но и предоставляет возможности для разноплановой интерпретации памятников. Однако очевидно, что в настоящее время результаты раскопок некрополей тюрков Монголии не могут являться основой для исследования социальной истории номадов, выступая в большей степени в качестве сравнительного материала. Такое же значение имеют относительно немногочисленные тюркские погребальные комплексы, изученные на территории Тянь-Шаня [Москалев М.Н., Табалдиев К.Ш., Митько О.А., 1996; Табалдиев К.Ш., 1996; Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., 2009], а также единичные объекты в Казахстане [Кадырбаев М.К., 1959; Курманкулов Ж.К., 1980] и Узбекистане [Спришевский В.И., 1951].

Анализ погребальных комплексов тюрков Центральной Азии позволяет обозначить некоторые их источниковедческие характеристики, с одной стороны, осложняющие осуществление социальных реконструкций, а с другой – определяющие методы и подходы исследования.

Одной из трудностей, возникающих при изучении структуры общества тюрков Центральной Азии по материалам погребальных памятников, является то, что значительная часть объектов ограблена или потревожена. По нашим подсчетам, до 30% курганов кочевников на рассматриваемой территории подверглись полному или частичному разрушению. Очевидно, что данное обстоятельство в некоторой степени усложняет проведение реконструкций не только обряда, но также и социальной структуры. При этом если первоначальный вид погребального сооружения и некоторые элементы ритуала после разрушения в той или иной степени восстанавливаются по сохранившимся деталям, то набор сопроводительного инвентаря, являющийся одним из наиболее значимых показателей, представить почти невозможно.

Добавим, что имеющаяся источниковую базу ограничивает не только ограбленность ряда объектов, но, в большей степени, немногочисленность исследованных погребений. В настоящее время на территории Центральной Азии раскопано около 450 тюркских захоронений. Незначительность этой цифры особенно очевидна, если сравнить ее с количеством погребений скифо-сакского или хуннуско-сяньбийского времени, исследованных на Алтае, в Туве, Минусинской котловине и Монголии. Кроме того, в настоящее время материалы исследований ряда раннесредневековых памятников не опубликованы или введены в научный оборот лишь частично, что не позволяет привлекать данные комплексы в полной мере.

В целом, обозначенные обстоятельства определяют незначительность количества погребений, используемых в ходе анализа. Это, в свою очередь, существенно ограничивает возможности применения методов статистического

анализа, так как известно, что небольшие выборки в данном случае непрезентативны [Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 31].

Социальная организация кочевников характеризуется динамичностью, степень которой различна на конкретном этапе истории. Данное утверждение в полной мере справедливо и для объединений номадов второй половины I тыс. н.э., статус которых, в силу постоянно меняющейся ситуации в регионе, мог варьировать. Следует учитывать и специфику межплеменного (а также межкланового и межродового) взаимодействия внутри различных политических образований кочевников, что также определяло статус конкретных групп скотоводов. В связи с этим при рассмотрении социальной структуры и организации населения на основе результатов раскопок погребальных комплексов целесообразным является выделение хронологических групп объектов. Однако данное требование сложно выполнимо на материалах тюркских некрополей Центральной Азии. В первую очередь, необходимо указать на дискуссионность датировки многих комплексов. Во-вторых, важным обстоятельством является то, что большинство исследованных объектов относится к небольшому периоду (вторая половина VII – первая половина IX вв.), а другие этапы развития культуры представлены в гораздо меньшей степени. Наконец, определяющим моментом в данном случае является невозможность дробления и без того ограниченной источниковой базы. Более целесообразным представляется осуществление социальной интерпретации всех погребений в рамках анализа одной выборки. Вместе с тем такой подход не исключает возможности последующего определения тенденций, характерных для объектов, относящихся к каждому из известных хронологических периодов.

Согласно современной методике палеосоциальных реконструкций, одним из начальных этапов работы при анализе материалов раскопок погребальных памятников является учет половозрастных определений [Ольховский В.С., 1995, с. 97; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 105; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004, с. 29; Гуляева Н.П., 2006, с. 112]. Это связано, главным образом, с различным положением в обществе представителей мужского и женского пола, а также детей и пожилых людей, что отражается и в погребальной обрядности. При изучении курганов тюрков и Центральной Азии половозрастные определения в разные годы осуществлялись целым рядом специалистов [Алексеев В.П., 1960; Богданова В.И., 1980; Поздняков Д.В., 2004, 2006; и др.], однако антропологическая серия далека от того, чтобы признать ее представительной. Несомненно, несколько улучшает ситуацию тот факт, что в большинстве случаев наборы сопроводительного инвентаря маркируют женское или мужское погребение [Длужневская Г.В., 1976]. Однако при этом существенным образом ограничиваются возможности детализации комплекса показателей обряда, характерных для представителей различных возрастных групп. Кроме того, за рамками исследования остаются многочисленные во-

просы, связанные с определением степени влияния миграций на этнический состав населения, изучением демографической ситуации на территории Центральной Азии, детализацией влияния этнической неоднородности кочевников на социальную структуру.

Существенным показателем, который был выявлен в ходе анализа погребальной практики тюрков Центральной Азии, является значительная нивелировка обряда. Причем это проявляется не в полной унификации и стандартизации сооружений, ритуала и предметного комплекса, а в стирании резких границ между погребениями, которые по ряду других признаков можно отнести к различным социальным группам.

В настоящее время в специальной литературе представлено значительное количество теоретических разработок в области анализа погребальных комплексов для определения различных характеристик общества [Массон В.М., 1976; Алекшин В.А., 1981; 1986; Добролюбовский А.О., 1982; Генинг В.Ф. и др., 1990; Ольховский В.С., 1995; Васютин С.А., 1998; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009; и др.]. Накоплен и практический опыт в этом направлении [Матвеева Н.П., 2000; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004; Матренин С.С., 2005; и мн. др.]. В основном эти работы связаны с изучением общественного устройства кочевников раннего железного века, однако имеются отдельные исследования, посвященные анализу и интерпретации материалов эпохи средневековья [Коробов Д.С., 2003; Кондрашов А.В., 2004а, с. 16–23; Кондрашов А.В., 2004б; Ковтун С.П., 2006; и др.]. Учет этих работ, а также специфики источниковой базы позволяет осуществить социальную интерпретацию тюркских некрополей Центральной Азии<sup>29</sup>. Некоторые результаты этой работы представлены в отдельной книге [Серегин Н.Н., 2013а]. Продолжение исследований в указанном направлении отражено в очерках настоящей монографии.

Возвращаясь к характеристике источниковой базы исследования, кратко остановимся на определении возможностей привлечения других групп археологических памятников.

Определенный объем информации об особенностях устройства тюркского общества предоставляют материалы раскопок *«номинальных» комплексов* раннего средневековья. К настоящему времени в научной литературе достаточно широко освещены различные аспекты изучения таких объектов, раскопанных в центрально-азиатском регионе [Евтюхова Л.А., 1952; Грач А.Д., 1961;

<sup>29</sup> Для осуществления детального социального анализа материалов была сформирована выборка, насчитывающая 204 погребения, раскопанных на Алтае (95 объектов), в Туве (48 объектов) и Минусинской котловине (61 объект). Основным фактором при отборе памятников из общего количества исследованных на сегодняшний день могил стала возможность определения пола умершего, что является необходимым условием для полноценной интерпретации погребений. Выделены 133 мужские могилы, 40 женских захоронений и 31 погребение детей и подростков [Серегин Н.Н., 2013а, с. 49–50].

Кызласов Л.Р., 1964; Кубарев В.Д., 1984; 2001; Войтов В.Е., 1996; Килуновская М.Е., 2004; Шелепова Е.В., 2009; Кубарев В.Д., Кубарев Г.В., 2013; Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015; и мн. др.]. Несмотря на развернутое обоснование концепций исследователей, многие вопросы, связанные с интерпретацией «поминальных» памятников, остаются дискуссионными. Очевидно, что данное обстоятельство серьезным образом осложняет привлечение рассматриваемых комплексов для изучения конкретных сюжетов социальной истории номадов. Отметим также практически полное отсутствие специальных исследований, посвященных анализу памятников с этой точки зрения. Тем не менее имеется возможность для обозначения ряда показателей объектов, использование которых возможно при осуществлении социальных реконструкций. При этом целесообразным является рассмотрение памятников в рамках двух основных групп – «рядовых» и «элитных» комплексов.

Важнейшей характеристикой *рядовых* тюркских «поминальных» комплексов являются особенности конструкции, что позволило исследователям выделить типы объектов [Гаврилова А.А., 1965, с. 99–100; Кубарев В.Д., 1979, 1984; Матренин С.С., Сарафанов Д.А., 2006; Шелепова Е.В., 2011, с. 18; Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015, с. 46–71]. Различия между «поминальными» сооружениями определяются также их размерами [Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2003, с. 513–514]. При исследовании некоторых тюркских оградок были обнаружены предметы инвентаря, довольно редко встречающиеся в погребальных комплексах и представлявшие, по всей видимости, определенную ценность: панцирные пластины [Гаврилова А.А., 1965, табл. V–1; Соенов В.И., Эбель А.В., 1996, рис. 3; 1997, рис. 3.-2; и др.], серебряный сосуд [Кубарев В.Д., 1979, рис. 7–9], палаш, наконечник копья [Соенов В.И., Эбель А.В., 1996, с. 116, рис. 3] и др. В то же время абсолютное большинство «поминальных» объектов почти не содержало вещей. Что касается тюркских изваяний, то основным направлением в их изучении является рассмотрение предметов вооружения, одежды и украшений, зафиксированных на скульптурах. Многие из вещей имеют аналогии в погребальных комплексах, что позволяет в ряде случаев определить примерную датировку изображений [Кубарев В.Д., 1984, с. 22–47]. При этом следует обратить внимание на некоторые отличия в оформлении изваяний, что проявляется в степени их реалистичности, в количественном и качественном составе изображенных предметов.

Обозначенные характеристики «рядовых» каменных оградок и изваяний могут объясняться сложной этнической ситуацией на территории Центральной Азии в раннем средневековье, наличием большого количества различных культовых практик [Кубарев В.Д., 2001, с. 42] и т.д. Однако не следует исключать и социальной обусловленности особенностей «поминальных» объектов. В частности, необходимо обратить внимание на соотношение отдельных типов

оградок с наиболее реалистичными, «богато» оформленными изваяниями [Кубарев В.Д., 1979, с. 153].

«Рядовые» тюркские оградки и изваяния распространены на территории Центральной Азии неравномерно. Одной из главных особенностей в этом отношении является их редкость в Минусинской котловине [Поляков А.С., 1983; Скобелев С.Г., 2000]. Данное обстоятельство отмечается исследователями как одна из особенностей развития культуры тюрков на этой территории и связывается с кратковременностью господства номадов обозначенной общности в данном регионе [Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 397].

Особого рассмотрения заслуживают «элитные» мемориальные комплексы, исследованные, главным образом, на территории Монголии. Данные памятники также традиционно интерпретируются как объекты поминального характера, сооруженные в честь представителей высшей знати тюркских каганатов. Эти комплексы не столь многочисленны, как «рядовые» тюркские оградки и изваяния, однако высокая степень информативности памятников определила пристальное внимание со стороны исследователей к различным аспектам их изучения и интерпретации [Войтов В.Е., 1996; Коренько В.А., 2001; Жолдасбеков М., Сарткожаулы К., 2006; Bazylkhan N., 2011; Drompp M.R., 2011; Самашев З.С. и др., 2016; и мн. др.]. Анализ мемориальных объектов Монголии позволяет рассматривать различные аспекты социальной истории номадов. Материалы этих комплексов отражают состояние элиты каганатов в различные периоды существования общества тюрков, демонстрируют серьезное влияние китайской культуры, показывают существование различных уровней военно-политической иерархии кочевников и др.

На сегодняшний день одной из главных проблем исследования «элитных» мемориалов тюрков Монголии, серьезным образом ограничивающих возможности интерпретации памятников, является незначительное количество полноценно раскопанных объектов. При этом информация, полученная в ходе полевого изучения единичных комплексов [Баяр Д. и др., 2003; Баяр Д., 2004; Amartuvshin Ch., Gerelbadrah Zh., 2009], демонстрирует очевидные перспективы дальнейших раскопок.

Таким образом, тюркские «рядовые» и «элитные» «поминальные» комплексы имеют определенное значение при исследовании социальной истории кочевников. Выступая в качестве вспомогательных материалов, результаты изучения подобных объектов позволяют детализировать отдельные аспекты существования общества номадов, иллюстрируя сюжеты, по разным причинам не получившие отражения в погребальных комплексах, значительно более информативных в такого рода исследованиях. Также в качестве дополнительного источника могут рассматриваться петроглифы раннего средневековья, в значительном количестве известные в различных частях центрально-азиатского региона [Новгородова Э.А., 1981; Горбу-

нов В.В., 1998; Мухарева А.Н., 2007; Кубарев Г.В., 2004; Черемисин Д.В., 2004; Тишкин А.А., Горбунов В.В., Мухарева А.Н., 2012; Серегин Н.Н., Мухарева А.Н., 2016; и мн. др.].

Этот достаточно краткий обзор, как нам кажется, дает достаточное представление о широте и разнообразии источников, которые могут быть использованы для реконструкции социальной истории тюрков.

### *Историография*

Парадоксально, но до сих пор единственной специальной монографической работой по социальной истории тюрков остается книга А.Н. Бернштама «Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрков VI–VIII вв. Восточно-тюркский каганат и кыргызы» [Бернштам А.Н., 1946б], написанная на основе защищенной в 1935 г. кандидатской диссертации «Социально-экономический строй древнетурецкого общества VI–VIII вв. н.э. Турки в Монголии» [Бернштам А.Н., 1935в].

В свое время книга вызвала много нареканий со стороны оппонентов. В частности, С.В. Киселев критиковал А.Н. Бернштама за недостаточное и избирательное использование и произвольное толкование данных археологии, полагая также, что он переоценил уровень развития тюркского общества [Киселев С.В., 1947]. Исследователю ставилась упрек искусственность социальных построений на основе привлечения материала, не имеющего непосредственного отношения к орхонским тюркам, как, например, использование древнеуйгурских документов из Восточного Туркестана X–XIV вв. [Киселев С.В., 1947, с. 87, 88]. Подобного рода критику со стороны С.В. Киселева и позже других оппонентов вызвала также искусственная конструкция А.Н. Бернштама «орхоно-енисейского общества» и попытка сведения в единую целостную социальную систему собственно тюрков и енисейских кыргызов [Киселев С.В., 1947; 1951, с. 8; Обсуждение, 1953, с. 322 (С.В. Киселев); Кызласов Л.Р., Мерперт Н.Я., 1952, с. 105; Кызласов Л.Р., 1979, с. 140; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 229]. А.З. Велиди (Тоган) вовсе назвал все выполненные в марксистской парадигме построения А.Н. Бернштама «чистым плодом воображения» [Zeki Velidi Togan A., 1981, s. 116].

Действительно, исследователем не была использована многочисленная научная литература, выходящая, начиная со второй половины 30-х гг. XX в., в частности, немецкая и турецкая, что отчасти может быть объяснено и политическими причинами, а затем – войной 1941–1945 гг. Вместе с тем, несмотря на все недочеты, следует повториться, что обозначенная работа остается единственным специальным исследованием социальной истории тюрков.

На самом деле и до А.Н. Бернштама и после – как в советской, так и зарубежной историографии – отдельные вопросы социальной жизни орхонских тюрков и населения Тюркских каганатов вообще не раз становились предме-

том изучения различных авторов – историков, востоковедов, филологов, археологов, этнографов, антропологов. Однако это были либо исследования узких частных проблем, либо о тюрках говорилось в контексте истории тюркских народов или кочевнических обществ в целом. Во многом это было обусловлено как объективными обстоятельствами (сложность источникового материала), так и субъективными (особенности конкретной научной школы, целеполагание отдельных авторов).

Как уже было сказано выше, открытие и расшифровка памятников древнетюркской рунической письменности сделали возможной работу непосредственно со сведениями, исходившими из уст самих кочевников, чтобы понять особенности их социальной жизни, углубляясь в эту проблематику через понимание самого современника той эпохи и члена исследуемого общества. Деятельность первых исследователей древнетюркских памятников, преимущественно филологов, коими были В.В. Радлов, В. Томсен, Г. Шлегель, В. Банг, Г. Вамбери, П.М. Мелиоранский, Ф. Хирт и др., несмотря на попытки А.Н. Бернштама найти у них какие-либо выводы социально-исторического характера (см.: [Бернштам А.Н., 1934, с. 93–94; 1936, с. 885, прим. 2; 1946б, с. 27–28, 139, прим. 2]), была направлена преимущественно на критику источника. Поэтому в их работах следует видеть, выражаясь словами самого А.Н. Бернштама, скорее, «отдельные замечания» [Бернштам А.Н., 1946б, с. 19].

Вместе с тем значение трудов В.В. Радлова для изучения кочевнических обществ остается непревзойденным. Это тот пример, когда ученый одинаково хорошо владел разнородным материалом, будучи филологом и состыковывая данные письменных и этнографических источников. «Только изучение быта казахов могло разъяснить современному исследователю такой важный фактор мировой истории, как образование, процветание и распадение кочевых империй...», – писал по этому поводу В.В. Бартольд. – В этом – значение бытовых и исторических исследований Радлова, и этого, конечно, вполне достаточно, чтобы обеспечить за ним право на благодарность этнографов и историков...» (Цит. по: [Умняков И.И., Туманович Н.Н., 1976, с. 315]).

В.В. Радловым были блестяще вскрыты механизмы функционирования кочевнического обществ. Как и Г. Вамбери, и В.В. Радлов, наблюдая соответственно за узбеками и казахами, независимо друг от друга отметили *аул* (кочевая группа от одной до нескольких семей) в качестве основной социальной единицы в степи, как правило, отождествляемой с одним лицом и носящей его имя [Vámbéry H., 1885, S. 181–185; Radloff W., 1893, S. 513; Радлов В.В., 1989, с. 337; 1893а, с. 68; 1893б, ч. 1, стб. 74; Вайнштейн С.И., Кляшторный С.Г., 1972, с. 25]. Именно указание на слияние и разделение, а также выделение новых аулов в связи с экологическими, демографическими, социальными, политическими факторами как постоянный процесс социальной жизни кочевых скотоводов позволило Г. Вамбери доказать отсутствие этнической

основы у кочевнических объединений различного уровня при сохранении наименований у отдельных кочевых групп. Отметим, что Н.А. Аристов не согласился с этим [Аристов Н.А., 1894, с. 393; 1896, с. 288–289, прим. 1], сведя всю интерпретацию этих процессов к родовой теории [Аристов Н.А., 1896, с. 283–284, 285]. В.В. Радлов, исходя из понимания принципа старшинства как основы социальной жизни кочевников на всех уровнях, начиная с семьи, и учитывая обусловленную особенностями хозяйства гибкость их социальных объединений, предложил модель политогенеза для степных кочевников, которая к тому же подтвердилась после обнаружения и расшифровки Хушо-Цайдамских памятников [Бартольд В.В., 1977б, с. 678]. Ее суть состояла в сплочении нескольких кочевых групп вокруг богатого и влиятельного скотовода, который мог привести их к улучшению условий жизни путем справедливых решений и обогащения за счет удачливых походов. Объединение кочевников, получавшее, как правило, название по его имени или названию его кочевой группы, разрасталось за счет включения в него новых групп, а власть основывалась на удачных действиях предводителя, которого поддерживали соплеменники, кроме обогащения, получавшие от него социальные привилегии. После смерти правителя такое объединение могло распасться, а кочевые группы – вернуться к прежнему состоянию до тех пор, пока новый влиятельный лидер (из той же или другой группы) вновь не сплотит их. Название бывшего объединения исчезало, заменяясь названием новой доминирующей группы [Радлов В.В., 1893а, с. 68–75; Ахсанов К.Г., 1997, с. 258–267] (См. также: [Radloff W., 1893, S. 515–517; 1895, S. 207–208; 1899, S. XIV–XLV; 1911, S. 310; Радлов В.В., 1989, с. 338–340]).

Дело в том, что уже выделение В.В. Радловым в качестве главной опоры власти кагана его родственников (*Verwandte*), друзей (*Freunde*) и клиентов (*nahestehende Klienten*) дает основание для понимания им особенностей социальной структуры. Однако, В.В. Бартольд, говоря о работах В. Томсена, указывает, что тот «знал социальный строй среднеазиатских кочевников и их верования по превосходным очеркам Радлова, к которым он вполне справедливо отсылал своих читателей; но Радлов наблюдал жизнь кочевников в то время, когда среди них уже не было резкой социальной дифференциации» [Бартольд В.В., 1977г, с. 763]<sup>30</sup>. Сам же В. Томсен, по замечанию В.В. Бартольда, «говорит о резкой противоположности (*scharfe Trennung*) между дворянством и простым народом, но не отмечает значения этого факта для рассказываемых в надписях событий» [Бартольд В.В., 1977г, с. 763] (см.: [Thomsen V., 1924, S. 130; 1935, s. 88]).

---

<sup>30</sup> Уже в письме В.В. Радлову 29 ноября 1893 г., через четыре дня после расшифровки древнетюркских рун, В. Томсен писал: «Что касается толкования и перевода самих надписей, то я только сожалею, что я не Радлов» (Цит. по: [Самойлович А.Н., 2005б, с. 148, прим. 10]; ср.: [Щербак А.М., 1971, с. 56, прим. 8]).



По-видимому, В.В. Бартольд был первым, кто по-настоящему обратил внимание на проблему социальной дифференциации в тюркском обществе. Принимая в целом концепцию социогенеза номадов, предложенную В.В. Радловым, В.В. Бартольд попытался добавить туда именно факт «социальной борьбы» у кочевников, который, по его мнению, ни В.В. Радловым, ни В. Томсеном замечен не был [Бартольд В.В., 1968а, с. 23; 1977г, с. 763]. Интерпретации В.В. Бартольда, писавшего о противостоянии аристократического и демократического начал с победой последнего в тюркском обществе, изначально вызвали определенную дискуссию в историографии [Бартольд В.В., 1968а, с. 22–23; 1968б, с. 284–285; 1968е, с. 261; 1968ж, с. 278; Barthold W., 1897, S. 4–5, 6–8, 18; Bang W., 1898а, S. 121; Vámbéry H., 1898, S. 4–6; Мелиоранский П.М., 1899б, с. 0161].

Детальное рассмотрение последствий высказываний В.В. Бартольда в контексте проблемы социогенеза тюрков не входит в задачи настоящего исследования и не является здесь необходимым. Вместе с тем следует отметить то обстоятельство, что его замечание о социальной борьбе в тюркском обществе возымело концептуальное значение и позже оказывало влияние на интерпретации различных специалистов, делавших свои выводы если не в прямой полемике с В.В. Бартольдом, то, по крайней мере, с оглядкой на его мнение [Бернштам А.[Н.], 1934, с. 93; 1935в, с. 5; 1946б, с. 27, 28; Козьмин Н.Н., 1934а, с. 269, 270; 1934б, с. 20, 22–23, 139–140, прим. 20; Köprülü M.F., 1967, S. 338; László F., 1967, 14. o.; Krader L., 1963, p. 184, note 15; 1966, p. 154; Giraud R., 1960, p. 87; Кляшторный С.[Г.], 1968, с. 15; Кляшторный С.Г., Ромодин В.А., 1970, с. 151; Вайнштейн С.И., Кляшторный С.Г., 1972, с. 25; Turan O., 1969, s. 415; Кононов А.Н., 1980, с. 49; Барфилд Т.Дж., 2009, с. 38–39; Beşirli H., 2011, s. 149–150]. При этом, говоря в том или ином виде о социальной борьбе, В.В. Бартольд также был осторожен в обобщениях, отмечая недостаток источников [Бартольд В.В., 1968а, с. 24]. Даже при упоминании уже в поздний период своей деятельности понятия «классовая борьба», В.В. Бартольд [1968к, с. 471] не вкладывал в него тот смысл, который позже встречается в работах марксистских ученых. В целом, можно сказать, что В.В. Бартольду марксизм остался чужд [Якубовский А.Ю., 1947, с. 79; Кляшторный С.[Г.], 1968, с. 15; Кляшторный С.Г., Ромодин В.А., 1970, с. 151; Лунин Б.В., 1981, с. 197; Писаревский Н.П., 1989, с. 32; Ахсанов К.Г., 1999, с. 24, 42, 147].

В том или ином аспекте учеными отмечалось противопоставление в памятниках древнетюркской рунической письменности категорий *bäg* и *bodun* или конкретнее – *qara bodun*, обычно интерпретирующееся в значении социальной оппозиции [Бартольд В.В., 1968и, с. 243; 1977г, с. 763; Мелиоранский П.М., 1898, с. 272; Thomsen V., 1924, S. 130; 1935, s. 88; László F., 1967, 25–26. o.; Zeki Velidi Togan A., 1946, s. 289; Gabain A. von, 1953, S. 546; Györffy G., 1960, S. 175; Spuler B., 1966, S. 140; Szűc J., 1971, 20–21. o.; 1984, 352–353. o.;

Golden P.B., 1980, p. 163; Sinor D., 1990, p. 310], хотя предлагалось и косвенное указание на разграничение военно-административной (*бегов*) и родоплеменной (территориальной) организации [Kafesoğlu İ., 1997, s. 242], либо подчеркивание дифференциации родоплеменных единиц [Divitçioğlu S., 2005, s. 169–171; Bastug Sh., 1999, p. 99–100].

В работах именно советских ученых впервые была предпринята попытка рассмотрения социальной истории тюрков через призму теории классового антагонизма.

С.П. Толстов, искавший в кочевнических обществах элементы рабовладельческого строя, определял *эль* как «“государство” в античном понимании этого слова – в политическом, а отнюдь не территориальном значении», т.е. «гражданская община», сопоставляя данное понятие с греческим *πολις* или среднеперсидским *šahr* в значении «община активных граждан», в то время как слово *budun* толковалось ‘народ’, соотносимый с лат. *populus*. Согласно заключениям ученого, тюркская община была социально неоднородна. В ней выделяется слой родоплеменной знати, «во многом напоминающий по своему социальному профилю ранне-античных базилиевсов» – беги (*bäg*), связанные, по мнению С.П. Толстова, с енисейским *bay* «подразделение народа», «племя». Несколько ниже располагались *tarqan*’ы – «своеобразный патрициат каганата», вожди родов. Каган выступает как «военный вождь конфедерации», *jabyu* и *šad* – «высшие магистраты каганата», наместники кагана в покоренных областях из его ближайших родственников; наместники в менее значительных областях носили титул *tudun*, возможно, также *tutuq*, они не были родственниками кагана и назначались для «наблюдения за сбором дани и контроля над местными правителями»; правители подчиненных племенных союзов носили местные титулы: *ältäbär*, *udyqut* и др.; были также рабы (*qul*) [Толстов С.П., 1938в, с. 42–44; 1948, с. 259–260].

Н.Н. Козьмин писал, что у орхонских тюрков существовало четкое разделение на два противоборствующих класса: беки – феодалы со структурированной иерархией, и «черный» народ – неопределенная масса, выполнявшая различные повинности (*кара будун*) [Козьмин Н.Н., 1934а, с. 14, 22–23, 56–57; К истории Бурято-Монголии, 1935, с. 62]. Беги – это, по его мнению, «однородная компактная группа»; вся территория государства распределена между бегами «разной хозяйственной и политической мощи», притом каган – самый сильный бег, он распределял земли, фактически, однако, будучи, «первым среди равных»; каган окружен *огланами* и *огушами* (дружинниками и вассалами) [Козьмин Н.Н., 1934а, с. 270]. Кроме того, в древнетюркском обществе существовали рабы и крестьяне (*кул*, *кара будун*) [Козьмин Н.Н., 1934а, с. 270].

Основываясь на указании В.В. Радлова к переводу слова *будун* ‘народ (люди одного племени), подданные’, что он противопоставлял *äl* ‘Gemeinwesen, Staat’ [Радлов В.В., 1911, ч. 2, стб. 1861], А.Н. Бернштам, интерпрети-

ровавший тюркское общество с позиции существования у них феодальных отношений, развил гипотезу об антагонизме господствующего класса, обозначение которого он видел в термине *äl*, понимая его как союз знати – каганского рода и примкнувших к нему родоплеменных бегов, именовавшихся в Хушо-Цайдамских надписях *kök türk* и являвшихся своеобразной «белой костью», – «черному народу» (*budun, qara budun*), по сути, плебсу [Бернштам А.Н., 1933б, с. 565–567; 1935а, с. 167–168; 1935в, с. 18; 1936, с. 888–891; 1946б, с. 84, 100–103, 111, 142–143, 145, 146, 179, 184; История СССР, 1939, с. 93, 94]. А.Н. Бернштам *budun* по контексту толковал как ‘племя’, ‘народ’, «смотря по смыслу текста» [Бернштам А.Н., 1933б, с. 565, 566; 1946б, с. 102], но при этом указывал на семантическую эволюцию от значения конкретно своего племени к общему ‘народ’, в том числе для «общего названия всякой общественной группы» [Бернштам А.Н., 1933б, с. 567; 1946б, с. 102–103, 107, 108]. В этом отношении, также пытаюсь преодолеть полисемантическую древнетюркскую терминологию, А.Н. Бернштам, отмечал, что тюркский *äl* – это «не община первобытно-общинного типа, а примитивная форма феодального устройства», «совокупность племен, входивших в состав государственного образования» [Бернштам А.Н., 1933б, с. 565; 1946б, с. 100]. Ученый также указал на организационный характер *äl*, который выше, чем *budun* (см. ниже), имеет законы и обычаи (*tögü*), т.е. термин *äl*, подобно арабскому *خلق* [*halq*], заменил понятие ‘народа’, приобретя еще значение ‘государства’ [Бернштам А.Н., 1933б, с. 565–566; 1946б, с. 101].

Исследователями уже был отмечен важный момент, разнящийся в ранних и более зрелых работах А.Н. Бернштама: если в работах 30-х гг. XX в. главное внимание уделялось борьбе каганства – родовой аристократии, основывающейся на рабовладении – и феодализирующегося бегства, – то в монографии 1946 г. определяющая роль отводилась борьбе бега с общиной [Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 230]. Важным в этом аспекте является и другое замечание о том, что неоднозначная оценка общественного строя Тюркского каганата, которую А.Н. Бернштам давал в своих работах разных лет, связана с тем, что «ученый пришел к выводу о сосуществовании государства и родоплеменного деления, что не соответствовало идеальной модели феодализма» [Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 227]. Эти противоречия упирались в истолкование форм эксплуатации, точнее – роли рабства.

А.Н. Бернштам исходил из понимания развития феодализма в ходе распада патриархальной общины, членами которой были и рабы, труд которых был ограничен [Бернштам А.Н., 1935в, с. 16–17, 19; 1946б, с. 139, 145–146, 147]. Одним из источников их пополнения был институт клиентелы (*оуул, оуиш*) [Бернштам А.Н., 1946б, с. 103, 116, 117, 124, 125 (прим. 3), 127 (прим. 1); История СССР 1939, с. 485]. Поэтому основной эксплуатируемой группой являлась община – массы, черный народ (*qara budun*) [Бернштам А.Н., 1935в,

с. 17, 19]. Каганство и бегство, согласно А.Н. Бернштаму, имеют различную природу: каган как представитель родовой аристократии основывает власть на рабовладении, т.е. клиентеле, и за счет нее узурпирует власть в общине, а бегство появляется в результате имущественного расслоения общины, хотя бег также эксплуатирует рабов [Бернштам А.Н., 1935в, с. 17, 20; 1936, с. 885, 878–878, 888–891; 1946б, с. 109, 111, 114, 132–133, 139]. Патриархальные рабы и отпущенники формировали дружину знати [Бернштам А.Н., 1935в, с. 17; 1946б, с. 145–146]. В то же время А.Н. Бернштам отметил терминологическое и содержательное неразличение тех форм эксплуатации, которые он именовал рабством [Бернштам А.Н., 1935в, с. 17; 1946б, с. 115–117, 121, 124–125, 126, 129, 175], и в этом плане неоднозначным представляется разграничение взглядов А.Н. Бернштама на эксплуатацию внутри общины и эксплуатацию покоренных племен [Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 229–230]. Уже в ходе завоеваний возникает новая знать – наместники над покоренными племенами (йабгу, шады, буюрку, тарханы и т.д.), назначенные из родственников и дружинников кагана, т.е. представителей родовой знати [Бернштам А.Н., 1936, с. 878, 882–883, 884; 1946б, с. 111–115, 133, 137–138].

С.В. Киселев, которому была ближе позиция С.П. Толстова, рассматривал тюркский *эль* как объединение родовой аристократии, господствующей над народом (будун) [Киселев С.В., 1951, с. 503]. К примеру, у енисейских кыркызов, которых С.В. Киселев видел на более высокой ступени развития, *эль* он толковал в широком смысле как «организацию степной аристократии, возглавляемую каганом», откуда после развился «эль-государство», в узком – как «аристократический род того или иного народа “будун”» [Киселев С.В., 1951, с. 595]. С.В. Киселев попытался обосновать эволюцию понятия *эль* как организации аристократии, хана и бегов, противопоставляющейся массам, т.е. организации, уже не связанной с родоплеменными институтами, но использующей их пережитки в своих целях, что, по его мнению, «явление, обычное при переходе к классовому строю». Но такая организация, подчеркивал он, существенно отличается от государства. На этой стадии государство и господствующий слой, т.е. аристократия, сливаются: государство, прежде всего, выступает не как орган, а как форма организации. Таким образом, *эль* – это именно аристократический слой [Киселев С.В., 1951, с. 503–504].

Интерпретацию содержания термина *эль* как обозначения класса оспорил Л.Н. Гумилев, обнаруживавший большую склонность к трактовке С.П. Толстова [Гумилев Л.Н., 1967, с. 102]. Л.Н. Гумилев [1961, с. 23–24; 1967, с. 61], как и позже Л.П. Лашук [1967а, с. 34; 1968, с. 100] пытались видеть в эле форму политической организации. В настоящей работе у нас нет возможности остановиться на этой проблеме подробнее, поэтому мы можем лишь ограничиться замечанием о том, что, в действительности, семантический спектр слова *äl* Y ~

*el* Үӧ ~ *il* ҮГ весьма широк и к тому же, по-видимому, смещение значений в ту или иную сторону несколько отличается в орхонских и енисейских текстах [Bazin L., 1955, p. 6; 1994, p. 23; Roux J.-P., 1979; Zimonyi I., 2003, p. 74–77]. Это же касается и слова *bodun*, контексты которого более разнообразны (см.: [Şirin User H., 2009b, s. 285–291]), но группируются вокруг семантики обозначения некоей общности людей [Zimonyi I., 2003, S. 69–71].

Тем не менее полемика С.В. Киселева с А.Н. Бернштамом, пытавшимся связать очевидно читающиеся в рунических текстах значения термина *эль* одновременно как некой совокупности народа или племен и как некой «надстроечной», государственной организации, имеет большое значение как историографический факт, поскольку демонстрирует попытки этих ученых, непосредственно работавших с источниковым материалом, увязать очевидное несоответствие с привычным представлением о формах организации общества, основанном на материале оседлых народов, с необходимостью вместить картину древнетюркского общества в универсальную схему марксистской парадигмы.

Так или иначе, в последующем почти все исследователи выделяли в той или иной интерпретации три основных социальных категории в обществе тюрков: каган, его родственники и бегство, затем – рядовые скотоводы и невольники / рабы, отмечая также прослойку дружинников [История СССР 1939, с. 93, 94; Вяткин М.П., 1941, с. 45–46; Юшков С.В., 1947, с. 53–57, 60–61; История Казахской ССР, 1952, 49; 1957, с. 58–59; 44; Потапов Л.П., 1953, с. 90, 92, 93; История Киргизии, 1956, с. 87–88; Очерки Истории СССР, 1958, с. 388; История Тувы, 1964, с. 93; История Сибири, 1968, с. 280; История Узбекской ССР, 1955, с. 124; История Киргизии, 1963, с. 92, 97; История Киргизской ССР, 1968, с. 104, 107; Лашук Л.П., 1967б, с. 118; Маннай-оол М.Х., 1984, с. 104; Маннай-оол М.Х., 1986, с. 54–55; Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүх, 1966, 128–129 дугаар тал.; Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүх, 1984, 128–129 дугаар тал.; История Монгольской Народной Республики, 1983, с. 112–113; Сэр-Оджав Н., 1970, 14 дугаар тал; 1971, с. 19, 24; и др.]. Японский ученый-марксист Мори Масао также выделял в тюркском обществе три класса (*kaikyū* 階級): беги (*bäg*)-феодалы, простые скотоводы (*budun*) и рабы (*qul*, *kün*). Согласно концепции ученого, на вершине государства (*kokka* 國家) (*il* ~ *el*) стоял каган (*qaγan*) и аппарат чиновников [Mori M., 1967; Мори М., 1970]<sup>31</sup>. В этом русле не так интересна китайская историография, характеризующаяся спорами вокруг интерпретации социального строя Тюркского каганата в рамках классической марксистской пятиступенчатой схемы (Обзоры см.: [Линь Гань, 1985; Жэнь Бао-лэй, 2011; Тишин В.В., 2015г]).

---

<sup>31</sup> Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность В.К. Терентьевой за возможность работы с японским текстом [Mori M., 1967].

Безусловно, все интерпретации, хотя и основывались на интерпретации преимущественно социальной терминологии, встречающейся в памятниках древнетюркской рунической степени, определялись исключительно теоретико-методологическими установками, характерными для марксистской школы.

Вместе с тем Р. Жиро, обращаясь к социальной структуре тюрков, после приведения цитаты В.В. Бартольда о демократической природе власти кагана, писал: «Тюркские тексты не так ясны, но, в целом, истина должна быть там. Этот вопрос имеет такое большое историческое и социальное значение, что мы считаем необходимым рассмотреть все касающиеся его пассажи, как в памятниках Кюль тегины, так и в других эпиграфических памятниках, где народ называется *qara bodun*» [Giraud R., 1960, p. 87]. Р. Жиро трактовал *qara qamïy bodun*, где *qamïy* ‘весь, совокупность’ (‘tous, l’ensemble’), как ‘черная масса, весь народ’ (‘l’ensemble noir, c’est-à-dire le peuple’), считая синонимичным с *qamïy* термин *igil* памятника Могойн Шинэ Усу [Giraud R., 1960, p. 87], он выделил оппозицию *örün bæg* ‘белые беги’, обозначению из памятника Могойн Шинэ Усу, и *qara bodun* ‘черный народ’ [Giraud R., 1960, p. 88]<sup>32</sup>. Однако в целом данный вопрос Р. Жиро оставил открытым, так и написав: «Это объяснение было бы очень слабо для того, чтобы обрело смысл, социальный и исторический, такое противопоставление как *örün bæg* и *qara bodun*. Вероятно, решение надо искать в другом направлении. Проблема остается нерешенной» [Giraud R., 1960, p. 88]. Памятники, по замечанию исследователя, не говорят ничего конкретного о положении народа [Aksarayli Z.A., 2011, s. 732].

Турецкий исследователь Б. Öгел прямо критиковал советских ученых, видевших в понятии *kara budun* социальный оттенок и пришедших на этом основании к мнению о классовой борьбе (*sınıf mücadelesi*), которой, по его мнению, быть не могло, поскольку народ и каган взаимно поддерживали друг друга [Ögel B., 1971, с. II, s. 36–37]. Кроме того, по замечанию специалиста, в источниках каган и беги никогда не противопоставляются народу [Ögel B., 1971, с. II, s. 43].

Не останавливаясь на некоторой категоричности последних утверждений, также обусловленных традициями турецкой республиканской историографии, отметим лишь тот факт, что очевидное кардинальное различие в интерпретации источниковых данных и, следовательно, логика рассуждений и характер выводов о социальной стратификации тюркского общества обнаруживают полную зависимость от субъективных трактовок, вариативность которых, в свою очередь, часто оказывается детерминирована теоретико-методологическими установками того или иного исследователя и, не в последнюю очередь, его специализацией.

---

<sup>32</sup> Любопытно, что А.М. Щербак отметил возможность перевода сочетания *ürün kara* в памятнике Бегре (Е 11, стк. 10) ‘моя знать и моя чернь’, но сам воздержался от этого [Щербак А.М., 1964, с. 146].

Очевидная необходимость обращения к непосредственному источниковому материалу затрудняется объективной общей ограниченностью исследовательских методик, так или иначе предполагающих одностороннее рассмотрение факторов, определяющих характеристики социальной структуры тюрков. Возможность привлечения значительного фонда данных в совокупности с расширением методологической и методической базы, позволяющей учитывать особенности кочевнических обществ, дают возможность выявить факторы, выходящие за рамки узкого понимания социальной структуры, и вносящие дополнительные параметры в систему определения положения индивида в общества. В этом аспекте необходимо обратить внимание на тесную связь социальной структуры с социальной организацией, что неизбежно возвращает исследователей к необходимости понимания сущности социальных процессов в обществах кочевников, то есть – к работам В.В. Радлова.

Развитие теории и методологии исторической науки предоставляет исследователям лишь теоретические модели, в рамках которых можно варьировать толкование одних и тех же социальных процессов, описанных В.В. Радловым, а введение в оборот новых источников способствует не более, чем уточнению некоторых деталей, позволяя говорить об инновациях только в сферах, не затронутых В.В. Радловым.

Сам установленный Г. Вамбери и В.В. Радловым факт надэтнической сущности политических объединений кочевников, обусловленной особенностями кочевнического хозяйства и образа жизни, был концептуально оформлен К.А. Инностранцевым и закреплен в рамках понятия «политическая классификация» [Инностранцев К.А., 1926, с. 2–3, 8, 16, 91–92]. Ее совершенно не принял В.В. Бартольд, не понявший неразрывной связи этнической и социальной истории кочевнических народов и придерживавшийся чисто позитивистского отношения к первой [Бартольд В.В., 1901, с. 0110], и ко второй [Бартольд В.В., 1963а, с. 815–816]. После выхода в свет концептуальной книги Д. Немета «Формирование венгров в эпоху “обретения родины”», где рассмотрена специфика образования кочевнических единиц и происхождения их наименований [Németh Gy., 1991, 28–44. о.; Akin H., 1982]<sup>33</sup>, в политическом характере крупных объединений кочевников не остается никакого сомнения. Д. Немец выделил три фактора образования тюркских племен: (1) естественное увеличение и разделение (вокруг одной семьи); (2) желание или нежелание отдельных племен или групп племен образовывать новое объединение (возвышение одного племени над другими или объединение на основе какого-то взаимного интереса); (3) выделение частей внутри самих этих племенных групп [Németh Gy., 1991, 29–30. о.; Akin H., 1982, s. 2].

---

<sup>33</sup> Второе ее издание – переработанное, дополненное, а где-то сокращенное – вышло в 1991 г., спустя 16 лет после смерти автора; тем не менее в нем сохранены основные положения, высказанные им еще в 1930 г.

Много концептуальных идей содержала и изданная в 1938 г. монография Йожефа Деера [Deér J., 1938, 10–19. о.] (См. также: [Deér J., 1954, s. 162–167]). По сути, он емко обобщил результаты кочевниковедческих исследований предыдущих лет и развил идеи В.В. Радлова<sup>34</sup>. Как писал позже Питер Голден, заимствовавший его схему, «Деер на основе разрозненных данных, имеющихся в нашем распоряжении, попытался проследить механизм формирования кочевнического государства и возвышения харизматического клана» [Golden P.B., 1982, p. 49]. Описывая ситуацию, когда покоренные племена занимают место внизу социальной организации образующегося кочевнического объединения, что вызывает перегруппировку в иерархии племен, Й. Деер также ввел понятие «переупорядочивание» („rendbeszedése”) [Deér J., 1938, 15. о.; 1954, s. 165], или «суперстратификация» (superstratification) [Golden P.B., 1982, p. 50].

Большинство специалистов приняли модель образования кочевнических политических объединений как сложных и эфемерных сегментарных структур, возглавлявшихся конкретной племенной группировкой, по имени которой все объединение, как правило, получало название. Какие-либо политические катаклизмы приводили к перегруппировке сегментов, влияя на количество включенных в нее племенных подразделений, их численность и положение в общей иерархии вплоть до смены правящей группы, что, в свою очередь, обуславливало смену названия всего объединения, как это произошло, например, в случае с группировкой *türk* [László F., 1967, 9–12. о.; Ligeti L., 1986, 321, 324. о.; 1998, s. 205; Váczy P., 1940, 108–109. о.; Orkun H.N., 1946, s. 136; Kotwicz W., 1949, p. 160–165; Eberhard W., 1949; Pritsak O., 1952, S. 51; 1954, S. 179; 1981, p. 14–15; 1983, p. 359–360; 2007, p. 62; Прицак О., 1997, с. 80; Clauson G., 1957a, p. 21; 1962, p. 11–12; Caferoğlu A., 1958, s. 56 vd.; Sinor D., 1958, p. 427–428, 434; 1969, p. 111; 1970, p. 99–100; Grønbech K., 1959, p. 53, 55; Doerfer G., 1965, S. 485; Spuler B., 1966, S. 127; Czeglédy K., 1969, 78–79. о.; 1983, p. 87–88; Rásonyi L., 1971, s. 54–56; Cuisenier J., 1971, p. 124–125; p. 933; Ecsedy H., 1972, p. 245–247; Göckenjan H., 1980, S. 72–73; Golden P.B., 1980, p. 27–28; 1982, p. 49–52; 1992, p. 146; Cannata P., 1981, p. 25; Drompp M., 1989, p. 149–156; 2005, p. 108; Togan I., 1998, p. 115–117, 155; и др.]<sup>35</sup>. В дальнейшем исследова-

---

<sup>34</sup> Хотя его работа и не содержит ссылочного аппарата, но автор указывает, что, кроме книги В.В. Радлова, использовал также и концепцию Д. Немета [Deér J., 1938, 270. о.].

<sup>35</sup> Характерно, что идеи о надэтническом характере кочевнических политических объединений находили отражение и в ранней советской историографии [Букшпан А.С., 1928, с. 59–61; Бернштам А.Н., 1933а, с. 49, 50; 1935б, с. 46, 47, 48, 49, 54; 1935в, с. 14; 1946б, с. 147; 1951, с. 129; Толстов С.П., 1935, с. 214–215; 1938б, с. 193, 203; История СССР, 1939, с. 89, 90; Батманов И.А., 1947, с. 12, 17, 22, 23; Потапов Л.П., 1952а, с. 21, 28; 1952б, с. 235; Абрамзон С.М., Потапов Л.П., 1975, с. 35; Материалы, 1955, с. 27 (Л.П. Потапов)]. Ср. позже концепцию С.В. Дмитриева [Дмитриев С.В., 1989; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 245–246].



тели несколько модифицировали концепцию В.В. Радлова, корректируя лишь отдельные ее стороны.

Большое значение, в том числе и для понимания специфики социальной структуры, имеют попытки выявления иерархического деления племенных единиц, входивших в Тюркский каганат на том или ином этапе его истории по схеме: (1) правящее племя, дающее имя всему объединению; (2) союзные, в том числе брачующиеся с главным племена; (3) «внутренние» племена, добровольно вошедшие в объединение, как правило, родственные по языку и культуре главенствующему, часто сохраняющие своих вождей и имеющие определенную автономию; (4) «внешние» племена, т.е. находящиеся в подчиненном положении, как правило, покоренные силой и управляющиеся либо контролирующиеся ставленниками от главного племени, и оседло-земледельческие народы, находящиеся на правах данников [Eberhard W., 1949; 1965, p. 118; Pritsak O., 1952, S. 52–53; 1981, p. 17–18; 2007, p. 62–64; Прицак О., 1997, с. 83–84; Golden P.B., 1980, p. 40; 1981, p. 50–51; Bastug Sh., 1999, p. 94–95; и др.]. Насколько эта схема универсальна – другой вопрос. Для нашего исследования имеет значение тот факт, что разработки подобной модели делают необходимым учет принадлежности племен к той или иной категории для выделения этого факта в качестве критерия социальной стратификации.

В настоящее время продуктивное изучение вопросов социальной структуры тюркского общества на основе письменных источников не может происходить в отрыве от понимания специфики механизмов социальной организации. Примером проявления лучшего из того, что сделано профессионалами на основе письменных источников, могут служить работы С.Г. Кляшторного, в частности, изыскания, обобщенные в статье «Формы социальной зависимости в государствах кочевников Центральной Азии (конец I тысячелетия до н.э. – I тысячелетие н.э.)» (1986 г.). Даже будучи ограниченным рамками марксистской теории, подведя характеристику обществ древнетюркской эпохи под условные параметры раннеклассовых образований, исследователь показал наличие двуступенчатой структуры социальной оппозиции «каган – беги – народ», установив при этом существование ряда факторов, определяющих характер социальной мобильности и, соответственно, размытость границ между второй и третьей категориями, характеризующимися, скорее, как «сословия» [Кляшторный С.Г., 2003, с. 460–489; 2006, с. 454–488]<sup>36</sup>. Несмотря на то, что публикация была подготовлена еще в советское время, хотя позже в качестве отдельных разделов перекочевала в коллективные труды с участием ученого (См., напр.: [Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 139–150; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005,

---

<sup>36</sup> Многочисленные статьи С.Г. Кляшторного, выходявшие в разные годы, сведены в двух книгах [Кляшторный С.Г., 2003, с. 231–489; 2006]. В настоящей работе мы цитируем их преимущественно по данным изданиям.

с. 149–158; Kljaštornyj S.G., 2000; и др.]), если отбросить марксистскую оболочку всех рассуждений автора, можно уверенно сказать, что в настоящее время этот материал можно лишь дополнять и конкретизировать, исходя из расширения источниковой базы<sup>37</sup>.

В последние десятилетия можно отметить появление ряда работ, посвященных частным вопросам социальной истории тюрков, касающихся в том числе социальной организации, но, как правило, узко и опосредованно. Выводы и заключения, представленные в этих исследованиях, рассматриваются далее в очерках монографии.

В целом же для характеристики всего имеющегося на сегодняшний день фонда исследовательской литературы (наверное, по любым аспектам социальной истории тюрков), по-видимому, остается актуальным высказывание Д. Синора, который подвел итог изысканиям европейской и американской историографии на конец 80-х гг. XX в.: «Вопреки непрекращающимся усилиям, четкого представления о внутренней структуре Тюркского государства не появилось, мы действительно не знаем ни точного значения титулов различных сановников, не можем определить связи общности, которая объединила вместе – по крайней мере, на некоторое время – пестрое население этой великой империи. Это остается задачей будущих исследователей, дать достоверное, достаточно полное, лишенное клише описание тюркской цивилизации» [Sinor D., 1990, p. 315].

Несмотря на возросший в количественном отношении фонд исследовательских работ, – в том числе и за счет повышения интереса к тюркской проблематике в суверенных республиках бывшего Советского Союза и открытия доступа к монгольским и среднеазиатским памятникам для зарубежных исследователей, – сложно говорить об изменении ситуации в лучшую сторону.

Отдельно остановимся на имеющемся фрагментарном опыте использования археологических материалов при исследовании социальной истории тюрков Центральной Азии. Одним из первых попытку реконструкции структуры общества кочевников на основе изучения результатов раскопок погребений предпринял С.В. Киселев [1951, с. 530–544]. Материалы, использованные исследователем, оказались немногочисленными. Археолог учел только раскопанные на тот момент погребения раннего средневековья на территории Алтая. Однако ограниченность источниковой базы не помешала ему сделать ряд достаточно обоснованных наблюдений. Важным представляется вывод С.В. Киселева о том, что структура социума кочевников Алтая второй половины I тыс. н.э. может быть сопоставлена с тем устройством общества, которое представлено в письменных источниках и характерно для скотоводов Центральной

---

<sup>37</sup> Остается только сожалеть, что с тех пор этот крупнейший в России специалист по памятникам древнетюркской рунической письменности не сказал ничего нового по данным вопросам, специально к ним не возвращаясь [Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 256].

Азии. Известные археологу тюркские погребения, главным образом из его собственных раскопок, были разделены на три группы и скоррелированы с основными слоями социума кочевников [Киселев С.В., 1951, с. 530–544].

Как это ни парадоксально, до недавнего времени рассматриваемая работа оставалась единственным опытом в той или иной степени комплексного анализа погребальной практики тюрков для реконструкции структуры социума кочевников. Обратим внимание на то, что выделение трех групп в кочевом обществе было характерно для отечественной археологии второй четверти – середины XX в. [Васютин С.А., Крадин Н.Н., Тишкин А.А., 2005, с. 14–15]. Работа С.В. Киселева, отражая общие тенденции развития исторической науки, на тот момент являлась основой для дальнейшего, более подробного и детализированного изучения специфики устройства общества тюрков Центральной Азии. Однако в последующие годы целенаправленных исследований в этой области не предпринималось. Только начиная с конца 1950-х – начала 1960-х гг. в специальной литературе появились фрагментарные замечания о том, что неоднородность погребального обряда тюрков может объясняться причинами не только хронологического и этнокультурного характера, но также особенностями социальной и имущественной дифференциации общества кочевников [Длужневская Г.В., 1976, с. 57; Трифонов Ю.И., 1971, с. 122; 1975, с. 193]. Активизации научных поисков в указанном направлении способствовали раскопки на территории Тувы и Алтая, в ходе которых был накоплен значительный материал по периоду раннего средневековья.

Анализ исследованных памятников позволил археологам сделать ряд наблюдений о специфике погребальных сооружений и ритуала тюрков второй половины I тыс. н.э. В публикации, посвященной введению в научный оборот материалов одного из наиболее ярких памятников кочевников на территории Тувы, А.Д. Грач [1958, с. 34] подчеркнул, что степень «богатства» комплекса должна определяться особо для различных территорий. Исследователь обратил внимание на то, что одним из показателей в этом отношении являются параметры курганной насыпи при наибольшем значении сопроводительного инвентаря. А.А. Гаврилова [1965, с. 39], рассматривая наборы вещей из различных могил некрополя Кудыргэ, предположила, что у раннесредневекового населения Алтая традиция ношения двух поясов (для колчана и для меча) была привилегией знатных слоев общества.

Весьма последовательно была представлена точка зрения Б.Б. Овчинниковой [1983; 1984], выделившей в составе памятников тюрков Тувы особую группу могил с подбоями. Кроме нестандартного устройства погребальной камеры, археолог отметила «богатый» сопроводительный инвентарь. Она предположила, что такие объекты, являясь результатом уйгурского влияния, могли сооружаться для мужчин-воинов, занимавших высокое положение в небольшой племенной группе [Овчинникова Б.Б., 1983, с. 65; 1984, с. 220–221]. Об-

ратим внимание на то, что в данном случае отмечено сложное влияние на погребальную обрядность этнокультурного и социального факторов.

Результаты анализа наборов вещей из памятников номадов раннего средневековья представлены в специальной публикации Г.В. Длужневской [1976], а также в ее совместной статье с Б.Б. Овчинниковой [1980, с. 83–85]. Для выявления различных характеристик половозрастной дифференциации в тюркском обществе Г.В. Длужневская рассмотрела погребения, раскопанные на тот момент на Алтае и в Туве. Изучение сопроводительного инвентаря позволило археологу выделить несколько групп объектов, включавших стандартные наборы вещей. Одним из основных признаков стало присутствие предметов вооружения. По мнению Г.В. Длужневской, в наибольшем количестве они представлены в погребениях мужчин-воинов, отнесенных к первой группе. В двух других группах оружия было мало или оно отсутствовало. Г.В. Длужневская [1976, с. 197] подчеркнула, что некоторые могилы с незначительным количеством предметов вооружения не могут быть отнесены к рядовому населению, так как содержат другие вещи. В особую группу были выделены погребения женщин и девочек, в ряде случаев содержавшие разнообразный сопроводительный инвентарь. В качестве дополнительных маркеров половозрастной дифференциации Г.В. Длужневская [1976, с. 199] назвала количество стремян, а также наличие в могиле каменного ящика. Важным является ее заключение о неоднородности выделенных групп, что демонстрирует сложность процессов дифференциации в тюркском обществе.

Дальнейшее рассмотрение социально-диагностирующих признаков погребальной обрядности тюрков также основывалось, главным образом, на анализе сопроводительного инвентаря. При этом вопросы дифференциации общества номадов затрагивались специалистами далеко не в первую очередь. Более важными для ученых оставались проблемы хронологической и этнокультурной атрибуции предметов, реконструкция этнографического облика кочевников и др. Тем не менее в рамках традиционного вещеведческого подхода в ряде случаев были сделаны весьма ценные наблюдения.

Развернутая характеристика социальной значимости пояса в обществе кочевников раннего средневековья представлена В.Н. Добжанским [1990, с. 73–80]. По мнению исследователя, престижность этой категории предметов в значительной степени определялась материалом, из которого были изготовлены бляхи-накладки и наконечники [Добжанский В.Н., 1990, с. 77]. Не менее показательными являлись особенности декоративного оформления пояса. К примеру, изображения животных на наконечниках, являвшиеся показателем определенного статуса владельца, могли быть связаны с мифологическими представлениями номадов [Добжанский В.Н., 1990, с. 74; Кубарев Г.В., 1996, с. 81]. Интересным является наблюдение В.Н. Добжанского [1990, с. 79] о том, что в тех погребениях, где не зафиксированы поясные

наборы, однако присутствует достаточно «богатый» инвентарь, могли быть похоронены представители чиновничьей аристократии, не занимавшиеся непосредственно военным делом.

Частные замечания высказаны исследователями о престижности плетей и стеков [Кызласов Л.Р., 1951; Бородовский А.П., 1993], некоторых предметов вооружения [Худяков Ю.С., 1986; Овчинникова Б.Б., 1990; Кубарев Г.В., 2002; и др.], а также других сравнительно редких находок [Кубарев Г.В., 1998] из захоронений тюрков Алтае-Саянского региона и Центральной Азии. Отметим также наблюдения С.П. Нестерова [1988] и С.В. Неверова [1998] об особой роли стремян, которые могли являться дополнительным показателем социального статуса погребенного.

Определенные результаты в рамках работы по изучению и социальной интерпретации предметного комплекса тюрков в последние годы получены барнаульскими археологами, рассмотревшими различные категории вещей. Системный анализ украшений конского снаряжения периода раннего средневековья, проведенный Т.Г. Горбуновой [2003; 2004, с. 18], позволил сделать вывод о том, что они являлись одним из показателей социального статуса и имущественного положения человека. Отметив, что учитывались особенности погребального обряда номадов Алтая и видовой состав инвентаря, археолог выделила три группы памятников, в которых зафиксированы украшения конской амуниции. Обозначенные объекты были соотнесены с такими слоями тюркского общества, как правящая элита, служилая знать и дружинники.

Итоги изучения военного дела средневекового населения Алтая представлены в работах В.В. Горбунова [2003; 2006а–б; 2007]. Помимо обобщения сведений письменных источников о военной организации тюрков, исследователь обозначил устойчивые наборы предметов вооружения из археологических памятников указанного региона. В итоге были выделены семь групп объектов, сопоставленных с основными ступенями в иерархии ранне-средневековых номадов. В ходе реконструкции военной организации тюрков Алтая В.В. Горбунов [2007, с. 86] учитывал также и общий состав сопроводительного инвентаря, что позволило археологу обоснованно продемонстрировать профессиональную и имущественную дифференциацию в обществе кочевников.

В рамках публикации материалов раскопок, а также анализа исследованных комплексов, археологами представлены дополнительные замечания о социальной значимости таких элементов обряда тюрков, как планиграфия некрополей [Кубарев В.Д., 1992, с. 28], количество лошадей и их возможная замена на овцу [Нестеров С.П., 1990, с. 83–84], отдельные особенности ритуала [Кубарев В.Д., 1985, с. 146–147]. По мнению Г.В. Кубарева [2005, с. 21], о низком статусе умершего свидетельствует впускной характер захоронения. С другой стороны, отмечено, что параметры погребальных сооружений не

могут выступать определяющим признаком в этом отношении; более существенным показателем является сложность внутримогильных конструкций [Васютин С.А., Васютин А.С., 2005, с. 225]. Учет этих и других характеристик позволил исследователям поставить вопрос о выделении «элитных» объектов на различных территориях [Тетерин Ю.В., 1999; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003].

Значение археологических материалов при характеристике социальной истории раннесредневековых тюрков неоднократно подчеркивалось С.А. Васютиным [2006; 2007б, с. 55]. Несмотря на то, что выводы, представленные в большинстве публикаций исследователя, основываются, главным образом, на анализе письменных источников, он сделал ряд наблюдений, связанных с рассмотрением результатов раскопок погребальных комплексов. По мнению С.А. Васютина [2007, с. 269], одной из проблем при изучении социальной истории кочевников раннего средневековья по данным археологии является отсутствие захоронений элиты номадов на территории Монголии. Исследователь обратил внимание на материалы некоторых показательных погребений второй половины I тыс. н.э., представив возможности реконструкции отдельных элементов возрастной структуры общества номадов [Васютин С.А., 2007, с. 270–271; 2009, с. 200–201].

Важно отметить, что приведенные выше наблюдения исследователей о специфике социальной структуры тюркского общества по данным археологии были сделаны, главным образом, на основе анализа материалов раскопок на Алтае и в Туве. Особая ситуация сложилась в области исследования памятников указанной общности на территории Минусинской котловины. В настоящее время наиболее последовательно представлена позиция Ю.С. Худякова [1979, 2004], который считает, что погребения тюрков в рассматриваемом регионе датируются VIII–IX вв., и их появление связано с известными событиями военной истории. Такая датировка в целом поддержана в статье С.П. Нестерова [1985, с. 119], однако археолог назвал иные причины миграции носителей обряда погребения с конем в Минусинскую котловину. Некоторые специалисты, полагая, что памятники тюрков в указанной части Алтае-Саянского региона не столь однородны в хронологическом отношении, выделяют более ранние объекты VI–VII вв. [Гаврилова А.А., 1965, с. 59; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 232; Савинов Д.Г., 2008; Серегин Н.Н., 2014; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2016]. Нет единой точки зрения и в определении статуса номадов рассматриваемой общности на новой территории. Согласно концепции Ю.С. Худякова [2004, с. 94–95], логичной представляется потеря тюрками в Минусинской котловине своего привилегированного положения после крушения империи кочевников в середине VIII в., и их последующая ассимиляция в кыргызском обществе. При этом Д.Г. Савинов [Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 234] отметил, что

в IX–X вв. некоторые этнокультурные группы, связанные с «минусинскими» тюрками, занимали высокое или даже доминирующее положение на рассматриваемой территории.

В целом, изучение погребальных памятников позволило выделить социально-диагностирующие признаки обряда тюрков Центральной Азии. К ним отнесены отдельные особенности планиграфии некрополей, а также некоторые элементы погребального ритуала. Отметим важность определения маркеров среди предметов сопроводительного инвентаря. Существенным является заключение специалистов о том, что социальная дифференциация была тесным образом связана с этнической, что отмечалось при изучении памятников Тувы и Минусинской котловины. При этом приходится констатировать, что в настоящее время в большинстве работ археологов представлены лишь отрывочные замечания, не позволяющие представить общую характеристику социальной структуры и организации кочевников. Зачастую памятники, исследованные на различных территориях, рассматривались отдельно, что также не способствовало формированию цельной картины общества кочевников.

Недостаточное внимание археологов к изучению вопросов социальной истории тюрков на основе анализа погребальных комплексов обусловлено целым рядом обстоятельств. Важным моментом является то, что долгое время внимание специалистов было сосредоточено в большей степени на рассмотрении вопросов этнокультурной истории, определении хронологии некрополей и построении периодизации развития культуры на различных территориях [Гаврилова А.А., 1965; Вайнштейн С.И., 1966; Кызласов Л.Р., 1969; Савинов Д.Г., 1984, 2005; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2002; 2005; Кубарев Г.В., 2005; Тишкин А.А., 2007; и др.]. Незавершенность многих положений в рамках обозначенной тематики определила приоритетность указанных направлений и отодвинула на второй план другие вопросы. К тому же долгое время важным оставалось накопление материалов и введение их в научный оборот, что, впрочем, актуально и в настоящее время.

Редкость обращения археологов к реконструкции социальной организации тюрков в значительной степени связана со спецификой источниковой базы. Как это ни парадоксально, негативную роль сыграло наличие письменных документов, позволявших представить основные характеристики общественного устройства кочевников почти без использования материалов раскопок [Кызласов Л.Р., 1969, с. 52–55]. В таких случаях погребальные комплексы привлекались лишь в качестве иллюстрации сведений, приведенных в китайских династийных хрониках и тюркских рунических текстах.

Таким образом, на сегодняшний день многие вопросы, связанные с изучением социальной истории тюрков Центральной Азии, остаются открытыми. Отсутствуют обобщающие исследования в указанном направлении, позволяющие не только суммировать сделанные ранее выводы, но и существенным образом

продвинуться в понимании тенденций развития общества кочевников во второй половине I тыс. н.э. Круг имеющихся источников и материалов, а также значительный опыт палеосоциальных реконструкций позволяют приступить к рассмотрению общественного устройства тюрков на качественно новом уровне.

Как уже отмечалось, в настоящей работе авторы четко разделяют понятие *тюркский* в узком, этническом, смысле и понятие *древнетюркский* – в широком этнокультурном значении, как научной дефиниции, подразумевающей рассмотрение тюркоязычных народов VI–X вв. в едином культурном контексте, характеризующемся общностью языка, а также духовной и материальной культуры, однако с локальными особенностями, имеющими историческую обусловленность [Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 80–81; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 87–88]. Вместе с тем понятие *древнетюркский*, принятое в тюркской филологии по отношению к этапу истории тюркских языков, не вполне коррелирует с общеисторической периодизацией, а также не соответствует принятым критериям характеристики археологических материалов. Как известно, общество тюрков Центральной Азии существовало в период раннего средневековья. Авторы не предпринимают попытку решить проблему соотношения используемых дефиниций, вполне корректных с точки зрения соответствующих дисциплин, но оказывающихся противоречивыми в рамках комплексного исследования. В настоящей монографии понятие *древние тюрки* ~ *древнетюркский* употребляется в именно культурологическом и лингвистическом аспекте, когда речь идет не только конкретно о тюрках, но также об уйгурах, кыргызах и других племенных группировках тюркоязычного круга. Понятие *раннесредневековый* используется исключительно в археологическом контексте<sup>38</sup>.

Данная монография является продолжением целенаправленных исследований различных аспектов истории тюрков Центральной Азии, реализуемых авторами на протяжении довольно длительного времени. Своеобразный формат книги, в которой материал излагается в виде очерков, определяется, с одной стороны, неоднородностью привлекаемых источников, которые нередко сложно сочетаются в рамках одной системы координат, а с другой – многоаспектностью рассматриваемых вопросов. Нет сомнений, что работа, посвященная целостной реконструкции социальной истории тюрков Центральной Азии, еще далека от своего завершения.

---

<sup>38</sup> Авторы хотели бы особо подчеркнуть, что употребление понятия средневековый является вынужденной мерой в условиях объективного отсутствия иных подходов к периодизации истории кочевнических обществ евразийских степей в контексте Всеобщей истории [Тишкин А.А., 2007, с. 5–7]. Это не является отражением каких-либо теоретических или методологических установок авторов и никак не коррелирует с их представлениями о путях социогенеза.



Книга представляет собой опыт кооперации исследователей, специализирующихся в различных научных областях и объединенных общим предметом исследования. В основе соображения о создании работы подобного плана лежит глубокая убежденность авторов в том, что давно и безвозвратно прошло время одиночек-энциклопедистов, способных создать качественный научный труд, претендующий на всестороннее рассмотрение предмета исторического исследования и удовлетворяющий всем требованиям современной науки. С развитием научного знания все более очевидным становится процесс сужения специализации отдельных научных отраслей, сопровождающийся усложнением соответствующих исследовательских методик в рамках конкретных специальностей и непомерным разрастанием объема научной литературы на самых разных языках. В случае с историческими дисциплинами речь идет прежде всего о расширении источниковой базы и появлении новых методик работы с источниковым материалом, требующих от исследователей наличия особой подготовки. В условиях современной науки трудно предполагать наличие соответствующих разносторонних компетенций у одного исследователя и владение им всей научной литературой. Иными словами, любые попытки создать обобщающую работу силами одного специалиста обречены на неудачу в силу объективной ограниченности его возможностей. Несмотря на то, что подобные публикации появляются из года в год, они пополняют фонд историографии лишь в количественном, но отнюдь не в качественном отношении, являясь в сущности переложением в рамках различных теоретико-методологических схем уже известных фактов, почерпнутых из давно введенных в оборот письменных источников, используемых преимущественно в устаревших переводах. По крайней мере, трудно ожидать от таких исследователей каких-либо существенных прорывов в соответствующей проблематике. Тем более некорректно говорить об их преимуществах по сравнению с работами подобного плана, созданными учеными прошлых лет, когда задача обобщения имеющегося фактического материала действительно была актуальной.

Единственным возможным выходом из обозначенной ситуации видится объединение усилий специалистов различных отраслей, владеющих известным им материалом на достаточно высоком уровне. По-видимому, только такой подход может сегодня способствовать продуктивному продвижению вперед на пути решения исследовательских задач.

Несмотря на вышесказанное, авторы настоящей монографии далеки от мысли, что их работа лишена недостатков. Тем не менее они исполнены надеждой, что представленный опыт реконструкции структуры тюркского общества на основе комплексного исследования источникового материала позволит если не предложить решение отдельных проблем, то, по крайней мере, обозначить круг вопросов, требующих углубленной разработки в рамках новых методик.

В основе монографии лежат как итоги более ранних исследований авторов по тем или иным частным вопросам, опубликованные в виде отдельных статей, исправленных, расширенных и дополненных в настоящем издании, так и результаты новых изысканий.

Выражаем искреннюю признательность коллегам из различных учреждений России и зарубежья, без которых данная книга не могла бы состояться. Отдельные слова благодарности исследователям, чьи консультации и дискуссии с которыми имели огромное значение при изучении истории и археологии тюрков Центральной Азии – Т.Д. Анисеевой, Ф.М. Асадову, Г.Б. Бабаярову, Д.Д. Васильеву, С.А. Васютину, В.Е. Войтову, П.Б. Голдену, В.В. Горбунову, М.В. Горелику, С.Вас. Дмитриеву, С.Викт. Дмитриеву, М. Добровичу, Ю.И. Дробышеву, А.В. Дыбо, Ю. Ёсида, А.Ш. Кадырбаеву, А.К. Камалову, С.Г. Кляшторному, И.В. Кормушину, Н.Н. Крадину, И.Л. Кызласову, П.Б. Лурье, Д.Е. Мишину, А.Е. Рогожинскому, Д.Г. Савинову, Т.Д. Скрынниковой, Т.И. Султанову, А.А. Тишкину, В.В. Трепавлову, И.С. Якубовичу.

Введение, заключение, а также очерки «Возрастная дифференциация социума тюрков Центральной Азии», «Статус женщины в тюркском обществе», «Вопрос о дружине у тюркских кочевников Центральной Азии», «Формы социальной зависимости в тюркском обществе», «Служители культа у тюрков: возможности интерпретации письменных и археологических источников» подготовлены обоими авторами, работавшими в соответствии со своей компетенцией над частями, связанными с письменными и археологическими источниками. Очерки «Древнетюркская система родства», «Характер общины тюрков Центральной Азии» и «Форма семьи у кочевников тюркского времени» написаны В.В. Тишиным. Очерки «Символы власти в тюркском обществе (по материалам раскопок погребальных комплексов)» и «Динамика структуры социума тюрков Центральной Азии (опыт интерпретации археологических материалов)» подготовлены Н.Н. Серегиним. Значительная часть этих материалов уже была ранее опубликована авторами [Серегин Н.Н., 2013а–б; 2015б–в; 2017; Серегин Н.Н., Тишин В.В., 2016; Тишин В.В., 2012а–б; 2013; 2014а; 2014в; 2015б–в; Тишин В.В., Серегин Н.Н., 2015; 2016, 2017]. При этом в настоящей монографии представлены серьезным образом обновленные варианты текстов – внесенные в них исправления и дополнения учитывают как невозможность дать развернутую аргументацию в рамках статей ввиду технических ограничений, так и ознакомление авторов с новым источниковым материалом и научной литературой.

## ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ СИСТЕМА РОДСТВА

Изучение системы родства имеет исключительно вспомогательное значение для вопросов социальной структуры общества. Система родства подразумевает совокупность терминологии, обозначающей те или иные категории родственников, сгруппированной в определенном порядке. Как отмечал М.В. Крюков, «терминология родства является отражением определенных социальных институтов и поэтому может служить источником для изучения социальной структуры общества» [Крюков М.В., 1972, с. 3]. Как содержание отдельных терминов, так и их соотношение друг с другом в общей номенклатуре отражают особенности социальных отношений в рамках конкретной общности. Система родства имеет свойства трансформироваться во времени, отражая соответствующие изменения в социальных отношениях в той культурно-языковой среде, продуктом которой она изначально являлась. Как изменение семантического спектра зафиксированных терминов, так и изменения в самом составе лексики, маркирующей родственные отношения, позволяют косвенно проследить те или иные социальные трансформации, даже когда прямых данных об этих процессах нет.

Непосредственным источником для изучения терминологии родства могут служить памятники древнетюркской рунической письменности азиатского ареала. Несмотря на то, что отдельные группы памятников связаны с различными политическими объединениями, существовавшими на территории Центральной и Средней Азии в период их создания – VIII–X вв., общность языка и единство социальной терминологии делают возможным использование материалов данных источников не просто в совокупности, но в сравнительно-сопоставительном и даже сравнительно-историческом аспекте. Озвученные моменты позволяют нам рассуждать именно о *древнетюркской* системе родства, а привлечение лексического материала других тюркских языков, собранного в различных словарях и обобщенного, в частности, в работе корейского лингвиста Ли Ёнг-Сонга [Li Yong-Sŏng, 1999], вместе с результатами этимологических изысканий, представленных в ряде соответствующих пособий, дают возможность вычленить характеристики системы родства, присущей именно общности *тюрк*, выявив ее особенности в контексте сопоставления с данными о других тюркоязычных общностях заявленного исторического периода с учетом различий в их хозяйственно-культурном типе и формах социальных отношений.

Полезность полученных данных определяется возможностью дополнения и конкретизации за счет них сведений о характеристиках, определяющих положение индивида в общей структуре социума, наряду с другими, более очевидными критериями. Выявление особенностей терминологии родства позволяет рассуждать о заданной модели функционирования социальной системы, соответствующей тому уровню социального взаимодействия, границы которого очерчиваются диапазоном степеней родства, зафиксированных в известном наборе терминологии и в равной степени широтой семантического поля каждого конкретного термина. Именно на этом уровне социального взаимодействия изначально детерминировались поведенческие рамки индивида и регулировался как общий спектр его правовых возможностей в рамках социальной системы в целом, так и формат взаимодействий с другими индивидами как элементами данной системы в зависимости от определения положения каждого из них по отношению к другому в общей системе номенклатуры родства. Кроме того, несомненным является тот факт, что в рамках минимальной ячейки социальной организации – нуклеарной семьи, в состав которой всегда входят представители ближайшей степени родства, – происходит первичная социализация и закладываются представления о нормах социального поведения, в том числе и понятия о взаимоотношениях с другими индивидами, впоследствии неизбежно распространяющиеся на все уровни социальных взаимодействий и в общем счете подвергающиеся генерализации, выходя, соответственно, за рамки родственных отношений [Мёрдок Дж.П., 2003, с. 119–123].

Попытка подробного изучения родовой терминологии и системы родства древних тюрков уже была предпринята А.Н. Бернштамом [Бернштам А.Н., 1933б, с. 560–570; 1946б, с. 87–93]. Важен его вывод об описательном характере древнетюркской системы родства, к которому позже также, вероятно, пришел К. Грёнбек [Grønbech K., 1953]. Однако уже Л.А. Покровская отметила, что лексика говорит в пользу классификационного характера системы родства у тюркских народов [Покровская Л.А., 1961, с. 12]. Л. Крэдер также обращался к древнетюркской терминологии, осторожно отметив особенности, присущие системе Омаха [Krader L., 1963, p. 186–187, 188]. К такому же заключению пришел С.М. Абрамзон [Абрамзон С.М., 1973, с. 300]. Как он указал в другой работе, А.Н. Бернштам рассматривал термины лишь по старшинству и полу, но не затронул родства по матери и свойства [Абрамзон С.М., 1976, с. 205]. Отдельно выделил древнетюркскую систему родства Г. Айдаров, не сказав при этом ничего конкретного [Айдаров Г., 1971, с. 75–77]. Л.П. Потапов на примере алтайцев определил систему родства у тюркских народов как классификационную [История Тувы, 1964, с. 101; 2001, с. 102; История Сибири, 1968, с. 279]. Французский этнограф Ж. Кюзенъ, взяв за основу работы Р. Жиро и Л. Крэдера, также попытался разобраться в социальной организации древних тюрков. Он использовал более широкий сравнительно-исторический и этнографический

материал по тюркским народам, и более удачно, нежели Л. Крэдер. По крайней мере, он адекватно изучил древнетюркскую терминологию родства, придя к выводу, что в ней нет разграничения старших и младших по поколению и возрасту, но есть распределение по полу, притом что так распределены самые близкие, единокровные родственники: отец и мать, сын и дочь, специальными терминами обозначены брат и сестра, но также терминологически разделены родственники по отцовской и материнской линии, при этом по последней специально определяются лишь члены мужского пола [Cuisenier J., 1971, p. 109–110; 1972, p. 924–925]<sup>39</sup>. Ш. Баштуг, предприняв специальную попытку изучения древнетюркской системы родства, в итоге отнесла ее к системам типа Омаха [Baştuğ Sh., 1993]. Рассматривал соответствующую терминологию родства также С. Дивитчоглу [Divitçioğlu S., 2005, s. 137–139], но, по-видимому, не смог разобраться в ней до конца.

Оригинальна точка зрения С.А. Угдыжекова, который замечает: «Исследователи обращали внимание на наличие у многих из тюркских систем родства некоторых особенностей подтипа “омаха”. Однако явление “поколенного скашивания” наблюдается в тюркских системах родства специфическим образом (каждое из поколений делится на две части) и кардинально отличается от принципа относительного возраста.

СР [т.е. система родства – *Авт.*] сближает с “описательными” системами арийского (по Л.Г. Моргану), семейного (по У. Риверсу) и линейного (по Р. Лоуди) типа выделение прямой линии родства в первых восходящих и нисходящих поколениях. Имеются специальные термины: *og* и *qaŋ* для матери и отца, *oŋul* и *qiz* для сына и дочери.

Однако в реконструируемой СР боковые линии родства не были объединены с прямой, разграничивались отцовская и материнская линии, что не позволяет отнести систему родства кыргызов к “описательным”.

Тюркский тип СР в общем не входит в рамки критериев господствующих типологий, его глубокие особенности явственно выступают и в реконструируемой системе» [Угдыжеков С.А., 2000, с. 14]<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Так же было у огузов XI в. и туркмен XIX в., что позволило ученому прийти к выводу о существовании у них одинаковой системы родства [Cuisenier J., 1971, p. 111, 112; 1972, p. 926, 927].

<sup>40</sup> Главный аргумент исследователя в том, что «различение поколений получило отражение в выделении первого нисходящего поколения терминами *oŋul* и *qiz*, которые конкретизировали положение родственника и в линейном разрезе, отделяя ребенка эго и от внуков, и от племянников. Идея поколения присутствует также и в существовании специализированных названий для родителей: *og* и *qaŋ*. У рассматриваемой СР наблюдается “стушевание” принципа поколений, смешение поколений» [Угдыжеков С.А., 2000, с. 13]. Речь идет о присущем для системы типа Омаха явлению, когда «дети сестер отца здесь классифицируются с племянниками и племянницами – детьми сестер, а дети братьев матери – с дядями и тетями по матери» [Мёрдок Дж.П., 2003, с. 128].

Сегодня в связи с расширением источниковой базы и появлением новой научной литературы некоторые доводы названных исследователей требуют дополнения и конкретизации<sup>41</sup>.

По А.Н. Бернштаму, для обозначения конкретных групп родственников в Хушо-Цайдамских памятниках встречается два термина: *ini jügün* и *arqayun*. Ученый полагал, что они, будучи равнозначными, маркировали *патриархальную семью*, выступая как «два обозначения одного и того же явления, рассматриваемого только с двух разных позиций – с точки зрения патриарха по отношению к своей семье и с точки зрения групп родственников, входящих в нее» [Бернштам А.Н., 1933б, с. 570; 1946б, с. 89]. Однако первый термин основан на некорректном отождествлении сочетания последовательности знаков  $j^2gw^2n^2M \text{ } \text{ᠵᠢᠭᠦᠨᠢᠮ}$ , дававших бы прочтение *\*jägün-im* (степень лабиализации гласного в аффиксе не рассматривается), отнюдь не связанное с термином родства *jigin ~ jigen ~ jägin ~ jägän* [Erdal M., 2004, p. 160 note 277]. Существование второго основано на недоразумении, последовавшим в результате неверного прочтения этого слова В.В. Радловым, который поместил его в словарь издания переводов рунических надписей Монголии 1897 г., где термин *арка-гүн* в значении ‘Familie, Verwandte’ сравнивался с *inijigün* [Radloff W., 1897, S. 161]; ср.: *арка-гүним* ‘meine Verwandten’ [Radloff, 1895, S. 29], ‘моих родственников’ [Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1897, с. 35]; ср. в написании А.Н. Бернштама *arqayun* – с велярным аффиксом.

Начиная с В. Томсена, ученые традиционно давали чтение *inijigün-üm ~ inijigün-im* (степень лабиализации аффикса не рассматривается) и примерную трактовку ‘мои младшие братья’ [Thomsen V., 1896, p. 113, 114; Bang W., 1896a, S. 4, 18; Gabain A. von, 1950, S. 60; Pritsak O., 1952, S. 69; 2007, p. 85; Giraud R., 1960, p. 140; Насилов В.М., 1960, с. 18; Menges K.H., 1968, p. 112; Tekin T., 1968, p. 231, 261 (*ini yägün-üm*); 1998, s. 34, 52, 56, 35, 53, 57; 2003, s. 58, 101, 148, 157, 219, 245 (*iniygün-üm*); Clauson G., 1972, p. 170 (*ini-gün-im*); Ergin M., 2002, s. 12, 21, 32; Bazin L., 1994, p. 321; Базылхан Н., 2005, 76, 78, 100 б.; Şirin User H., 2009b, s. 250], ‘мои младшие братья и племянники (по мужской линии)’ [Thomsen V., 1924, S. 140, 156; 1935, p. 96, 106; Orkun H.N., 1994, s. 22, 52, 188, 805; Айдаров Г., 1971, с. 163 (*ini, йегиним*), 251 (*ini – йигүнүм*), 286 (*ini-йигүнүм*)], ‘моя семья’ [Radloff W., 1895, S. 31; Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1897, с. 37], ‘племянники (сыновья младших братьев)’ [Gülensoy T. 1974, s. 303], или ‘мои младшие родичи’ [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 60, 76, 77, 79; Бернштам А.Н., 1933б, с. 569; 1946б, с. 88–89; Малов С.Е., 1951, с. 33, 43; Spuler B., 1966, S. 144; Древнетюркский словарь, 1969, с. 210–211, 363 (*ini jegün (?)*); Кондратьев В.Г., 1970, с. 59–60; Айдаров Г., 1971, с. 302 (*ini-йигүнүм*), 358 (*ini, йигүнүм*); Кононов А.Н., 1980, с. 220; Базен Л., 1986б, с. 356]; по С. Дивитчиоглу, термин

<sup>41</sup> В статье С. Гёмеча приведен лишь поверхностный обзор терминов родства [Gömeç S., 2001].

*iniyigün* в своем значении охватывает все мужское родство, происходящее от брата EGO, т.е. боковую ветвь мужского потомства [Divitçioğlu S., 2005, s. 144, 145–147, на s. 146 şekil 10, 11]<sup>42</sup>.

Г. Вамбери читал *injkünim* ‘Meine Familie’, выводя из *inji* (ср. чаг. *inči* ‘Fran, Dame’) (Ср.: [Севортян Э.В., 1974, с. 361–362]) и показателя собирательности *kün* [Vámbéry H., 1898, S. 69 (Anm. 4)]. Во втором случае он так же неверно прочел **ᠶᠡᠶᠢᠭᠦᠨ** *arkiškünim* ‘meine Verwandtschaft’ [Vámbéry H., 1898, S. 66, 67, Anm. d]. Некоторые специалисты предполагают исходное *iniy* ‘младший брат’ [Giraud R., 1960, p. 133; Erdal M., 1979, S. 87–88, Anm. 13; 2004, p. 160], являющейся, по мнению М. Эрдаля, архаичной формой *ini* [Erdal M., 1979a, S. 88–89, Anm. 14; 2004, p. 160, note 277]. По поводу второй части сочетания существует две основных гипотезы: здесь видят аффикс множественной собирательности *-gün* ~ *-γun*, *-kün* ~ *-qun* [Pritsak O., 1952, S. 65; 2007, p. 82; Насилов В.М., 1960, с. 18; Кононов А.Н., 1969, с. 21–22; Сравнительно-историческая грамматика, 1988, с. 16], либо связывают вторую часть *\*jigün* с *jägin* ~ *jägän* ‘племянник’ [Малов С.Е., 1951, с. 381], ‘племянник’, ‘внук’ [Кононов А.Н., 1969, с. 21–22; Сравнительно-историческая грамматика, 1988, с. 16], ‘племянник’, ‘племянница (по женской линии)’ [Щербак А.М., 1977, с. 37; 1997, с. 36], *yägün* ‘younger brother’ [Tekin, 1968, p. 399].

М. Эрдадь читает *iniy-ägün-üm* [Erdal M., 1979a, S. 87–88, Anm. 13; 2004, p. 160]. Он справедливо отмечает, что форма обозначения племянника *yegän*, а не *yägün*. Но попытка в доказательство правильности своего прочтения истолковать написание в сочетании стк. 8 (по И.В. Кормушину) памятника Алтын-Кöль  $I^2w^2r^2t^2n^2l^2gw^2$  **ᠶᠡᠶᠢᠭᠦᠨ** (E 28, стк. 8) [Orkun H.N., 1994, s. 512; Малов С.Е., 1952, с. 54; Васильев Д.Д., 1983б, с. 25, 64, 102; Кормушин И.В., 1997, с. 81; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 83, 502] шестого знака  $l^2$  **ᠶ** как ошибку вместо предполагаемого  $j^2$  **ᠶ**, давшее бы прочтение *tört injigü*, представляется натянутой<sup>43</sup>. Все выдвигавшиеся до этого варианты прочтения также наталкивались на определенные сложности (см.: [Aydın E., 2009, s. 105]). Однако, поиск здесь формы *ini* ‘младший брат’ (Х. Намык (Оркун), Э. Айдын) или фонетического варианта *äni* (С.Е. Малов) безоснователен, поскольку, как указывает И.В. Кормушин, по правилам рунической орфографии должны вписываться оба гласных /i/ [Кормушин И.В., 1997, с. 88], что также снимает попытку С.Г. Кляшторного читать как *tört inelgü* ‘четверо высокородных’

<sup>42</sup> При этом, следуя А.Н. Бернштаму и Л. Крэдеру, С. Дивитчиоглу повторяет заблуждение о термине *arka gün* [Divitçioğlu S., 2005, s. 145, dipnot 44].

<sup>43</sup> Т. Текин приводит *(i)niligü* [Tekin T., 2003, s. 233]. М. Эрдадь принимает транскрипцию Т. Текина, оговариваясь, однако, что аффикс собирательности (комитатива)  $+lXgU$ , предполагающий перевод фразы *tört (i)n(i)l(i)gü (ä)rt(i)m(i)z* как ‘we were with four brothers’ не вписывается в контекст. По мнению М. Эрдаля, здесь следует предполагать ошибочное написание в источнике *inil+ägü* вместо *iniy+ägü*, что давало бы перевод ‘We were four brothers’ [Erdal M., 2004, p. 160, note 277, p. 180].

[Кляшторный С.Г., 2006, с. 335, 336]. Сам И.В. Кормушин предложил прочтение *tört(i)nl(i)gü* ‘четверо’ [Кормушин И.В., 1997, с. 81; 2008, с. 119] с тем же самым аффиксом собирательности  $+(A)gU$ , который видел здесь М. Эрдаль, сочетающимся с числительными (см.: [Древнетюркский словарь, 1969, с. 650; Tekin T., 1968, p. 148; 2003, s. 132; Сравнительно-историческая грамматика, 1988, с. 188–190]). По мнению О. Нэдима (Туны), наличие долготы у второго гласного в форме *inī* подтверждается рядом спорадических случаев его графического изображения в написании вторичных форм термина [Tuna O.N., 1988b, s. 242], однако, это не характерное явление для орхонских памятников (см.: [Şirin User H., 2009b, s. 249–250]. У Махмұда ал-Қашғарұ термин *ini* в значении ‘младший брат’ (*al-ah-u'l ašğar fi'l-sinn*) фиксируется, по-видимому, с долготой во втором слоге, где из двух случаев употребления во втором гласный обозначен удлинением *īāīem* [Divanü, 1985, с. I, s. 92; Divanü, 1985, с. III, s. 7; Clauson, 1972, p. 170; Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 126; 1984, s. 149; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 124, 745; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 121]. (См. также: [Радлов В.В., 1899, ч. 2, стб. 1444; Li Yong-Sōng, 1999, s. 154–156; Gömeç S., 2002, s. 136]).

Гипотеза о существовании какой-то архаической формы термина *ini*, проявляющейся как *inij*, по мнению исследователей, коррелируется с якутским *inī* [Tekin T., 2003, s. 58, 101; Erdal M., 2004, p. 160, note 277]. Уже Г.Й. Рамстедт рассматривал *ini* как звательную форму от гипотетических *inā*, *inijä* [Рамстедт Г.Й., 1957, с. 63]. Однако в алтайском языке термин ‘младший брат’ фиксируется в форме *инн* с долгим начальным гласным, но без второго гласного, появляющегося лишь в притяжательной форме 3-го лица; ср. каз., ккалп., кырг. *агайын* (< *ага* + *ини*) ‘братья’, ‘сородич’, ‘родня’ и др. собирательные значения. Это позволяет предполагать вторичность формы со вторым гласным [Покровская Л.А., 1961, с. 37]. Э.В. Севортян в приводимой А. фон Габэн форме *iniyi* (см.: [Gabaïn A. von, 1950, S. 311] считал возможным видеть сращение форм *ini* и *iyi*, где вторая коррелируется с узб. диал. *ийә~йя* [Севортян Э.В., 1974, с. 363]. О.Ф. Серткайя также предложил рассматривать конечный -у как показатель звательной формы [Sertkaya O.F., 2008, s. 152–153]. Таким образом, в науке пока нет достаточно убедительного прочтения и объяснения сочетания *In<sup>2</sup>j<sup>2</sup>gw<sup>2</sup>n<sup>2</sup>M* » **ИИГЭГНТ**.

В Хушо-Цайдамских текстах младший брат (*ini*) всегда неявно противопоставляется старшему (*eči*) (КТб, стк. 5, 6 = БК, X, стк. 5, 6; КТб, стк. 21 = БК, X, стк. 18). В памятнике Алтын-Коль I термины употреблены в сочетании *ini eči* [E 28, стк. 4, 9]<sup>44</sup>. Если он датирован С.Г. Кляшторным верно (1-я половина VIII в.) [Кляшторный С.Г., 2006, с. 334], то можно говорить о соответствии системы родства у тюрков и кыркызов на определенном хронологическом этапе. В тех местах Хушо-Цайдамских надписей, где упоминается сочетание *eči*

<sup>44</sup> Стк. 9, 3 по С.Г. Кляшторному.



*qayan*, т.е. речь о Капгане, термин *eçi* имеет значение ‘дядя’ (КТб, стк. 16–17 = БК, X, стк. 14–15; КТб, стк. 24 = БК, X, стк. 20; КТб, стк. 31; Кб, стк. 3; БК, Xб, стк. 9) (Ср.: [Radloff W., 1898, с. 76; Grønbech K., 1953, p. 135; Кормушин И.В., 2008, с. 277]). В енисейке термин употребляется в двух формах: *eçi* **𐰽** (Е 22, стк. 2; Е 28, стк. 7; Е 43, стк. 5; Е 52, стк. 1) и *içi* **𐰽𐰺** (Е 3, стк. 6; Е 17, стк. 12; Е 28, стк. 6; Е 32, стк. 6, 10, 11, 13, 14), где особо нужно отметить памятник Уйбат-III (Е 32), датированный С.Г. Кляшторным примерно той же эпохой, что и Хушо-Цайдамские стелы [Кляшторный С.Г., 2003, с. 267–270; 2006, с. 303–304]. В тексте помимо *içi* (стк. 6), о котором мемориант, рано потерявший деда (*ataçimqa adirıldim-a atasız*, стк. 11) и затем отца (*qansiradim*, стк. 13), очень сожалеет, встречается еще одно упоминание родственников этой степени. Если в первом случае *içi*, также именующийся *qansız*, похоже, был старшим братом автора надписи, то названные в последней строке вряд ли представляли эту же степень родства (Ср.: [Кормушин, 1997, с. 117]). Так или иначе, первичность во встречающейся формуле *ini eçi* (стк. 15) именно термина *ini* свидетельствует в пользу того, что все родственники, входившие в группу *eçi*, имели меньшее значение для говорящего. Очевидно, это связано с тем, что к группе *ini* принадлежат все подчинявшиеся ему согласно его старшинству, группа *eçi* же состояла из отделившихся старших братьев и братьев отца (см.: [Бернштам А.Н., 1933б, с. 572; 1946б, с. 91])<sup>45</sup>. В татарском и туркменском языках, где термин сохранился, он носит именно эти значения [Li Yong-Söng, 1999, s. 131]. Это подтверждает мнение о том, что *eçi* – общее название старшей генеалогической ветви родственников мужского пола (Ср.: [Grønbech K., 1953, p. 125; Ögel V., 1993, s. 252, dipnot 122].)<sup>46</sup>. Уже в эпоху Махмұда ал-Кāшгарū термин *eçi* означал только старшего брата (*al-aḥ-u'l akbar sinna(n)*) [Divanü, 1985, с. I, s. 87; Divanü, 1985, с. III, s. 7; Maḥmūd al-Kāšḡarī, 1982, p. 122; 1984, s. 149; Махмұд ал-Кāшгарū, 2005, с. 119, 745; Махмұд ал-Кāшгарū, 2010, с. 118; Gömeç S., 2002, s. 135–136]. Позже в значении ‘старший брат’ термин был вытеснен из тюркских языков монгольским синонимом *aqa* [Clauson G., 1972, p. 20; Кляшторный С.Г., 1980, с. 97].

И.В. Кормушин считает, что позиционная перестановка в енисейских текстах *eçi* и *ini* является показателем изменения иерархии, то есть порядка старшинства, связанного с тем, что входившие в группу *eçi* родственники уда-

<sup>45</sup> Такое распределение терминов, по указанию Ш. Баштуг, соответствует системе родства типа Оаха [Baştuğ Sh., 1993, p. 10].

<sup>46</sup> Китайские источники различают употребление терминов со значением ‘старший брат’ (*сюн* 兄) и ‘дядя’ (*бо-шу* 伯叔), что просматривается в соответствующем фрагменте «Чжоу шу» 周書 об обычае левирата у тюрков [Бичурин Н.Я., 1950, т. 1, с. 230; Julien S., 1864, vol. III, p. 334–335; Parker E.H., 1899, p. 122, 129, note 49; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 10; Bd. II, S. 500, Anm. 57; Лю Маоцай, 2002, с. 22; Қазақстан тарихы, 2006, 124 б; Kara G., 2016, s. 553]. В эпитафии Кары чор тигина, бывшего самым младшим сыном своего отца, его брат А-бо-чжо 阿波啜 обозначен как *сюн* 兄 [Luo Xin, 2013, s. 66, 77].

ляются, создавая собственные родовые подразделения. Поскольку на ранних этапах тюркского языка не зафиксировано термина для абстрактного обозначения понятия ‘брат’, термин *eçi* был автоматически перенесен на двоюродных братьев, сыновей дядьев и утратил значение старшинства. Поэтому ученый склонен рассматривать *eçi* в енисейке как двоюродных братьев или же старших родственников, но не по прямой линии [Кормушин И.В., 1997, с. 87, 116–117; 2008, с. 277–278]. При этом значения двоюродных братьев для данного термина нигде не зафиксировано, кроме, как указывает И.В. Кормушин, диалектов хакасского языка, где наблюдается сдвигание в сторону значения ‘двоюродный брат’ [Кормушин И.В., 2004, с. 210].

Однако, судя по всему, и в енисейских текстах вторичность позиции термина *eçi* объясняется тем, что маркируемые им родственники не входили в конкретную семью [Бернштам А.Н., 1933б, с. 572; 1946б, с. 91]. Уже А. фон Габэн, исходя из того, что в турфанских древнеуйгурских текстах сделки заключаются не от имени отца, но старшего брата, который при этом он должен был получить согласие младшего брата и других членов семьи, а также из того, что в этих текстах термины, обозначающие *içi* ‘старшего брата’ и *ini* ‘младшего брата’, упоминаются в одной конструкции в порядке *ini içi*, сделала вывод, что уйгуры в Кочо перешли к большой семье (Großfamilie) из трех поколений с общим имуществом и местом жительства. В этом факте она видит свидетельство сужения круга родственников, поскольку «для степных империй были характерны широкие родственные связи» [Gabain A. von, 1982, S. 191]. При этом в части памятников турфанских текстов оседлых уйгуров порядок терминов не меняется (см.: [Rybatzki V., 2006, S. 19]). Очевидно, различия в формах семейной организации кочевнических и оседлых народов обусловили сужение семантики термина.

В Хушо-Цайдамских памятниках встречается сочетание *qaŋ-imiz eçi-miz* ‘[наши] отец [и] дядя’ (КТб, стк. 26 = БК, X, стк. 21–22; БК, Xб, стк. 9). *Qaŋ* **Чл** в значении ‘отец’ употребляется и в орхонских (см.: [Şirin User H., 2009b, s. 250–251]),<sup>47</sup> и в енисейских текстах [Кормушин, 2008, с. 276]<sup>48</sup>. К.М. Мусаев указывает основное значение термина ‘родитель-мужчина’ [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 304; 2006, с. 538]. Вероятно, он связан

---

<sup>47</sup> С. Гёмеч приводит здесь сочетание *kangım бага tengriken* из Онгинского памятника (О, стк. 5) [Gömeç S., 2001, s. 2] неверно (См.: [Ōsawa T., 2011a, p. 169, 173, 185–186]).

<sup>48</sup> В. Томсен, В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, Х. Намык (Оркун) читали *aqaŋ*. Кажется, последним впервые было предложено чтение слова как *qaŋ* (см. отдельные примечания в кн.: [Orkun H.N., 1994, s. 401–405]). Но *aqaŋ* мы встретим у Л. Крэдера [Krader L., 1963, p. 186]. Обсуждалось это Г. Айдаровым, в целом дававшим *aqa* ‘название старшего родственника’ [Айдаров Г., 1971, с. 75], но в словаре указавшего также *qaŋ* ‘старший родственник, брат’ [Айдаров Г., 1971, с. 362]. Сегодня *aqaŋ* продолжает читать Н. Базылхан [Базылхан Н., 2005, 56 б., 111 нұск.]. См. возражения Т. Осавы: [Ōsawa T., 2011a, p. 185].

с корнем \**qa-* с семантикой родства [Древнетюркский словарь, 1969, с. 399; Clauson G., 1972, p. 578; Li Yong-Söng, 1999, p. 46]. В нескольких енисейских текстах встречается термин *qañsiz* ‘без отца’ (Е 6, стк. 1; Е 8, стк. 3; Е 98, стк. 2). В стк. 2 памятника Кёжээлиг-Хову упомянуты термины *qañsiz* и *ögsüz* (‘без матери’) (Е 45, стк. 2). Характерно, что термин *qañsiz* в надписи Уйбат VI употреблен по отношению к воинам-эрам (Е 98, стк. 2), что дает основания толковать его значение как ‘без покровительства’. И.В. Кормушин добавляет переносное значение для *qañ* ‘отец-покровитель своей дружины’ [Кормушин И.В., 2008, с. 276]. Таким образом, отец семейства выступает как патриарх и по отношению к своим зависимым людям.

Употребляющийся наравне с ним термин *eçi* применяется для старшей ветви родственников, но ниже, чем *qañ*. И.В. Кормушин полагает, что термин *qañ*, имея двойное значение ‘дед (отец отца)’ и ‘старший брат отца’, со временем вышел из употребления, и был заменен *ata*, сохранив лишь древнюю семантику ‘старшие родители’, ‘дед’ [Кормушин И.В., 2008, с. 276–277]. В Онгинском памятнике *ata* употребляется в ласкательной форме *ataçim* (Оа, стк. 4; Об, стк. 1, 3, 4, 7) [Древнетюркский словарь, 1969, с. 650]<sup>49</sup>, кроме того, он встречен в енисейке в надписи Уйбат III (Е 32, стк. 11). А. фон Габэн, а вслед за ней С.Г. Кляшторный переводят как ‘teurer Vater’ [Gabaïn A. von, 1953, S. 54]), ‘мой батюшка’ [Кляшторный С.Г., 2003, с. 79, 269, прим. 64; 2006, с. 303, 308, прим. 64], И.В. Кормушин – как ‘дедушка’ [Кормушин И.В., 1997, с. 116], Т. Текин ‘beloved... father’ [Tekin T., 1968, p. 292], ‘babaçik’ [Tekin T., 2003, p. 73, 81, 103, 111, 238], как и Э. Айдын [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 94]. И.А. Батманов трактует *ata* здесь ‘отец; покровитель (мифическ.)’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 210]. В восточно-туркестанской уйгурике термин *qañ* упоминается лишь в ранних манихейских текстах VIII–IX вв., а затем вытесняется синонимичным *ata* [Кляшторный С.Г., 2006, с. 253]. Термин характеризуется более поздним временем возникновения и распространения [Clauson G., 1972, p. 40; Севортян Э.В., 1974, с. 201; 1978, с. 11–12; Rybatzki V., 2006, S. 19]. По некоторым данным, приводимым китайскими авторами, уйгурским каганом употреблялось слово *a-ma* 阿多 в значении ‘отец’ [Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., 1984, с. 289]. По мнению И.В. Кормушина, термином *ata* обозначались самые старшие родственники, в отличие от *eçi*, по прямой линии [Кормушин И.В., 1997, с. 117]. По-видимому, термин *qañ*, связанный непосредственно с кровным родством, уступает место термину *ata*, обозначавшему в древнетюркский период старшего родственника по прямой линии, уже в оседлых обществах – так, ср. у Махмұда ал-Қашғарй: *qañdaş* ‘братья по отцу’, *qañsiq ata* ‘неродной отец’ [Древнетюркский словарь, 1968, с. 419].

<sup>49</sup> А.А. Раджабовым было предложено неправомерное исправление на *ata äçim* [Rajabov A.A., 2008, s. 230].

В позднейших тюркских текстах термин *ata* означает именно ‘отец’ [Древнетюркский словарь, 1968, с. 65–66]. Также он используется в составе титулов [Rybatzki V., 1997, S. 229, Anm. 86].

Э.В. Севортян и следовавший ему А.Н. Кононов пытались объяснить смену значений тюркских терминов родства во времени, исходя из общих представлений об эволюционном характере социальных процессов [Севортян Э.В., 1974, с. 55, 56; Кононов А.Н., 1980, с. 103, 104]. Однако в орхоно-енисейских текстах мы наблюдаем *не изменения в системе родственных отношений, а лишь текучесть терминов с сохранением той же структуры общества*. Причину подобных процессов, безусловно, следует искать в социально-экономической сфере, но с учетом кочевнического характера экономики тех обществ, к которым принадлежали авторы древнетюркских текстов. Важно понимать, что *система родства кочевников не может быть описательной*, так как у них не может существовать род как социальная единица, а терминология родства не может быть устойчивой ввиду текучести сегментов общества [Першиц А.И., Хазанов А.М., 1979; Khazanov A.M., 1994, p. 119–123; Хазанов А.М., 2002, с. 218–221].

Возвращаясь к младшей ветви родства, следует обратить внимание на Суджинский памятник, где в стк. 8 встречается фраза *jegenimin atimin körtim* (С/Е-47, стк. 8). Существует фактически два варианта перевода: ‘детей моих дочерей и сыновей я видел’ [Ramstedt G.J., 1913, S. 5; Бернштам А.Н., 1946б, с. 52; Кляшторный С.Г., 1959, с. 163; Clauson G., 1972, p. 40; Bazin L., 1990, p. 55; Sertkaya O.F., 2001, s. 311; Baştuğ Sh., 1993, p. 7] (Ср.: [Aydın E., 2007a, s. 151]) и ‘я видел моих племянников и внуков’ [Orkun H.N., 1994, s. 157; Малов С.Е., 1951, с. 77; 1952, с. 85; Древнетюркский словарь, 1969, с. 67 (В.М. Наделяев); Tekin T., 2003, s. 108; Айдаров Г., 1971, с. 354; Базылхан Н., 2005, 163 б.; Кормушин И.В., 2008, с. 77–81; 2009, с. 182]. Ср. также у А.Н. Бернштама вариант ‘детей моих сестер и братьев’ [Бернштам А.Н., 1946б, с. 52, прим. 7] (Ср.: [Clauson, 1972, p. 40]).

В приложенных к переводам словарях авторы в основном также приводят одинаковые толкования: *jägän, jägin* ‘Eigename’ [Radloff W., 1895, S. 172], *jägin* ‘племянник, внук’ (по В.В. Радлову) [Малов С.Е., 1951, с. 387] (ср.: [Малов С.Е., 1952, с. 106], ‘родственник (внук?)’ [Малов С.Е., 1959, с. 96], *йегин* ‘племянник, внук’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 220], *yeğän* ‘yeğen’ [Orkun H.N., 1994, s. 890; Tekin T., 2003, s. 259], *йегин, йигин* ‘племянник’ [Айдаров Г., 1971, с. 76], *йеген* ‘внук’ [Айдаров Г., 1971, с. 359], и вовсе *yeğen* ‘kişi adı veya unvanı’ [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 512].

Л.А. Покровская указала на распространение преимущественного значения для термина родни по женской линии для современных языков, что говорит о его принадлежности к классификационной системе родства [Покровская Л.А., 1961, с. 51]. Исходя из первичного значения ‘племянник, внук’, по

ее мнению, расширение семантики пошло по двум направлениям: ‘племянник’ и, соответственно, ‘внук’, конкретизируясь потом до ‘племянник по женской линии’ > ‘племянник вообще’, ‘внук по женской линии’ > ‘внук вообще’ [Покровская Л.А., 1961, с. 52, 78]<sup>50</sup>.

Сэр Дж. Клосон вполне обоснованно считал первичным значением термина *jegin* ~ *jegin* ‘сын младшей сестры или дочери’ [Clauson, 1972, P. 912–913; Севортян Э.В., Левитская Л.С., 1989, с. 166]. Во многих тюркских языках, начиная со среднеуйгурского, различные фонетические варианты слова используются для обозначения племянника по сестре или внука по дочери [Li Yong-Söng, 1999, s. 211–215]. По мнению К.М. Мусаева, \**jegen* может восходить к *jek* ‘чужой’, откуда значение ‘ребенок от чужого рода’ [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 293; 2006, с. 555]. Г.Ф. Благова полагает, что расширение специализированного значения ‘племянник, внук’ определено патриархальным самосознанием тюрков и стремлением держать в поле родства широкий круг младших родичей [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 658–659], что связано с отмиранием экзогамии [Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 747–748]. Т. Гюленсой выводит *ueğen* от *yé/(ä/i)ğ* ‘üst, üstün, daha iyi’ + *(e)n* [Gülensoy T., 2007, с. II, s. 1108].

В Суджинской надписи мы наблюдаем форму *j(e)g(ä)n* **ҖҖҖ**. В тексте Ихэ Хушоту читается титул *jig(ä)n čor* **ҖҖҖ ҖҖҖ** (КЧ, стк. 21 (= Вост., стк. 9)) [Orkun H.N., 1994, s. 139; Малов С.Е., 1959, с. 26, 28; Айдаров Г., 1971, с. 338; Clauson G., Tryjarski E., 1971, p. 19; Hayashi T., Osawa T., 1999, p. 152]<sup>51</sup>, в тексте Кюль тегина имя *j(e)g(i)n sil(i)[g] b(ä)g* (КТб, стк. 33) [Thomsen V., 1896, p. 109; 1924, S. 151; 1935, s. 103; Vámbéry H., 1898, S. 53; Radloff W., 1895, S. 20, 21; Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1897, с. 26; Мелиоранский П.М., 1899а, с. 72; Orkun H.N., 1994, s. 44; Малов С.Е., 1951, с. 24, 31; Tekin T., 1968, p. 235, 263; 1998, s. 46, 47; 2003, s. 106, 259; Айдаров Г., 1971, с. 298]. В памятнике Могойн Шинэ Усу мы видим косвенную форму в плохо сохранившейся строке ...*q(a) tun jig(ä)n-i*..., т.е. букв. ‘племянник супруги’ (МШУ, стк. 47 (= Зап., стк. 8)) [Orkun H.N., 1994, s. 182, 183; Малов С.Е., 1959, с. 38, 43; Moriyasu T., 1999, p. 182, 185; Tekin T., 2003, s. 259; Aydın E., 2007с, s. 32, 55, 63; Şirin User H., 2009b, s. 478; Кляшторный, 2010, с. 59, 66].

---

<sup>50</sup> С.М. Абрамзон, принимая ошибочную традиционную трактовку *inijigün*, сделал следующее заключение: «В этом термине объединены младшие родственники по мужской и женской линии, а это вызывает законное предположение о том, что в древнетюркском обществе сохранялись черты матрилокального брака: в семью могли входить не только потомки главы семьи, имевшей уже патриархальный облик, но и потомки его сестер, что служит свидетельством совместного проживания женатых братьев и замужних сестер, отголоски явления характерного для более раннего этапа развития семейных отношений» [Абрамзон С.М., 1976, с. 206].

<sup>51</sup> Судя по пунктуации, это именно титул (см.: [Şükürlü E.C., 1995, s. 124; Rybatzki V., 1999, p. 216]).

В енисейке термин *jig(ä)n* 𐰇𐰺𐰏𐰤 упомянут в сочетании *öz jigän*, т.е. букв. ‘собственный племянник’, ‘родной племянник’ или сочетание ‘сам Йиген’ (Е 5, стк. 2) [Orkun H.N., 1994, s. 471; Малов С.Е., 1952, с. 20, 21; Кормушин И.В., 1997, с. 210; Кормушин И.В., 2008, с. 95], также встречается вариант *j(e)g(ä)n* 𐰇𐰺𐰏𐰤 как составляющая часть имени (Е 59, стк. 1) [Кормушин И.В., 1997, с. 244, 245; 2008, с. 147]. С.Е. Малов сближал термины надписей Барык I (Е 5) и Суджи [Малов С.Е., 1959, с. 106]. Форма *j(e)g(ä)n* предстает в титулах *Yegen Irkin* в седьмой надписи Хойто-Тамир (ХТ VII, стк. 3) [Sertkaya O.F., Narsavbay S., 2001, s. 327, 328; Aydın E., 2017a, s. 5] и первой надписи Ихэ Асхэтэ [Ünal O., 2015, s. 273], а также *ton jegen irkin* в Чойренской надписи [Şirin User H., 2009b, s. 467; Kormuşin İ., 2011, s. 514, 516], и *jigän b<sup>l</sup>w<sup>l</sup>t<sup>l</sup>w<sup>l</sup>r<sup>l</sup> irkin* в Архананской надписи [Баттулга Ц., 2005, 115–121 дугаар тал.; Базылхан Н., 2005, 128 б.].

В качестве части имени компонент *Yägän ~ Yigän* встречается и в древнеуйгурских буддийских надписях [Zieme P., 1981, S. 86]. В одном из дуньхуанских текстов читается имя *apa ygän*, в другом фиксируется *ygän apa* [Rybatzki V., 2006, S. 8, 187]<sup>52</sup>.

Неясным остается термин *čiqan* 𐰇𐰺𐰏𐰤, дважды упомянутый в орхонике: в надписи Кюль тегина без контекста (Кб, стк. 12) и в стеле Кюли чора как часть имени~титула [КЧ, стк. 1 (= Зап., стк. 1)]<sup>53</sup>. В первом случае В. Томсен и Х. Намык (Оркун) оставляли его без перевода [Thomsen V., 1896, p. 114; 1924, p. 157; 1935, s. 106; Orkun H.N., 1994, s. 52, 53.], П.М. Мелиоранский переводил ‘каменотес (?)’ [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 77, 136]. Ср.: ‘Steinmetzen’ [Bang W., 1898а, S. 141, Anm. 1 (Г. Шлегель)], С.Е. Малов ‘чиновники’ [Малов С.Е., 1951, с. 377, 43, 33, 27.], Т. Текин ‘nephew, son of one’s aunt’ [Tekin T., 1968, p. 80, 323, 237, 272], ‘yeğen’ [Tekin T., 1998, s. 52, 53.] или ‘teyzezade, kuzen’ [Tekin T., 1998, s. 101; 2003, s. 66, 242], М. Эргин так же ‘yeğen’ [Ergin M., 2002, s. 21], Л. Базен ‘cousin’ [Bazin L., 1974, p. 167], Г. Айдаров ‘землей’ [Айдаров Г., 1971, с. 303], ‘титул’ [Айдаров Г., 1971, с. 365], А.Н. Кононов ‘племянник’ [Кононов А.Н., 1980, с. 215]. Во втором случае термин всеми учеными рассматривается как имя или титул [Самойлович А.Н., 2005г, с. 168–169, 171, 172; Orkun H.N., 1994, s. 136, 907; Малов С.Е., 1959, с. 106, 28, 27, 25; Tekin T., 1968, p. 323, 257, 293; 263; 2003, s. 242], который некоторые из них считали китайским [Thomsen V., 1896, p. 166; Orkun H.N., 1994, s. 790; Gabain A. von, 1950, S. 307; Малов С.Е., 1951, с. 377; 1959, с. 106]. Также термин читается в тексте Ихэ Хушоту в титуле *İşbara Čiqan Küli čor* (КЧ, стк. 2 (= Зап., стк. 1)) [Tekin T.,

<sup>52</sup> Об употреблении термина в других тюркских памятниках см.: [Rybatzki V., 1997, S. 229, Anm. 86; Rybatzki V., 2006, S. 295–297].

<sup>53</sup> О последнем случае см. оригинальное мнение Ю.А. Зуева: [Зуев Ю.А., 2004, с. 20].

1968, p. 257, 293; Clauson G., Tryjarski E., 1971, p. 13; Hayashi T., Osawa T., 1999b, p. 151; Şirin User H., 2009b, s. 470]<sup>54</sup>.

По Махмұду ал-Қāшғарū, *čiqan* ‘Yiğen, hala oğlu’ [Divanü, 1985, с. I, s. 402; Gömeç S., 2002, s. 136], ‘племянник (по женской линии)’ [Древнетюркский словарь, 1968, с. 150], ‘the son one’s maternal aunt’ (*ibnu’l hāla*) [Clauson G., 1972, p. 409], ‘mother’s sister’s son’ [Махмұд ал-Қāшғарū, 1982, p. 306], ‘сын тети по материнской линии’ [Махмұд ал-Қāшғарū, 2005, с. 379], ‘сын тети (со стороны матери)’ [Махмұд ал-Қāшғарū, 2010, с. 302]. В этом же значении термин принимает для древнетюркского периода сэр Дж. Клосон [Clauson G., 1971, p. 126; Clauson G., 1976, s. 142], а также Ш. Баштут, добавляя сюда и значение племянника по матери [Baştuğ Sh., 1993, p. 12–13]<sup>55</sup>.

Оба термина с разделением значений сосуществовали в очень давний период, о чем могут свидетельствовать, например, материалы долганского языка, где есть термин *сиен* для обозначения детей (как мужского, так и женского пола) сестры отца и термин *сыган* – детей (обоего пола) сестры матери [Попов А.А., 1946, с. 74]<sup>56</sup>. У казахов слово *жиен* маркировало именно детей, рожденных девушкой из близких или дальних родственников. А. Инан указывает, что поскольку внутри племени браки не заключались, наименование этим термином членов племени было, соответственно, исключено [Inan A., 1968a, s. 288].

Для слова *ati* авторы словарей дают толкование ‘ein Verwandtschaftsgrad’ [Radloff W., 1897, S. 161], ‘племянник (?), внук (?)’ [Малов С.Е., 1951, с. 362], ‘родственник (племянник)’ [Малов С.Е., 1959, с. 91], ‘внук, племянник’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 210], ‘внук’, ‘племянник’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 67], ‘nephew, son of one’s brother’ [Tekin T., 1968, p. 305], ‘yeğen’ [Tekin T., 1998, s. 98], ‘yeğen, kardeş oğlu’ [Tekin T., 2003, s. 239], ‘the son of one’s younger brother or of one’s own son’, ‘(junior) nephew’, ‘grandson’ [Clauson, 1972, p. 40], ‘neveu’ [Bazin L., 1974, p. 177]. В десятом памятнике из долины р. Талас (Тал X, стк. 3) термин *ati-si* ᠠᠲᠢᠰᠢ переведен Ч. Джумагуловым как ‘племянник’ [Джумагулов Ч., 1963, с. 29; 1982, с. 16], А.С. Аманжоловым как ‘племянник... (по материнской линии)’ [Аманжолов А.С., 2010, с. 92]. Р. Алимов переводит ‘Onun adı’ [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 292],

<sup>54</sup> М. Добрович, исходя из собственной интерпретации памятника, полагает, что Кюли чор был племянником Эльтериш кагана [Добрович М., 2005, с. 89].

<sup>55</sup> Ф.Г. Исхаков попытался сравнить формы чыган со значением ‘бедный’ и омонимичную форму, обозначающую степень родства, обосновывая семантическую связь между ними: как будто изначально этот термин маркировал некую группу родственников, на которых смотрели как на бедных и помогали, либо, наоборот, им обозначались бедные, к которым относились как к родственникам [Исхаков Ф.Г., 1961, с. 194–195]. Но эта гипотеза кажется фонетически необоснованной.

<sup>56</sup> Ш. Баштут отмечает, что древнетюркский *yeğen* семантически не связан прямо с турецким *yeğen* и якутским *sien*, а ближе к казахскому *dzien* [Baştuğ Sh., 1993, p. 8].

что, однако, не может быть принято ввиду употребления предполагаемого им слова в форме 3 л. ед. ч. *atī* (Тал X, стк. 2, 4). В одной из новых таласских надписей *ati-si* ᠠᠲᠢᠰᠢ переведено Р. Алимовым как ‘son of the younger brother’ [Alimov R., Tabaldiev K., 2001, s. 122, 123], ‘kardeşinin oğlu’ [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 299]. С.А. Угдыжеков, исследовавший систему родства древних кыркызов, полагает, что термин *jegin* имел значение ‘сын сестры, племянник со стороны сестры’, а *atī* – ‘дети младшего брата’, ‘дети сына’, ‘потомство братьев отца и деда’ [Угдыжеков С.А., 2000, с. 12].

Термином *ati-si* ᠠᠲᠢᠰᠢ именуется себя автор Хушо-Цайдамских текстов Йоллыг тегин (Кб, стк. 14; КТ, Хб, стк. 13; БК, Ха, стк. 17). На его неопределенность обратил в свое время Х. Нихаль (Атсыз) [Atsız H.N., 1992, s. 106]. В. Томсен переводил ‘son cousin (?)’, ‘cousin (?)’, ‘cousin’ [Thomsen V., 1896, p. 84–85, note 2, p. 119, 120, 134], позже – ‘Schwestersohn (?)’ [Thomsen V., 1924, S. 134, 158, 159], ‘kız karbaşı oğlu’, ‘hemşirezadesi (?)’, ‘hemşire zadesi’ [Thomsen V., 1935, s. 98, 108, 109], В.В. Радлов переводил ‘Neffe’ [Radloff W., 1895, S. 37, 38], или нейтральным ‘ein Verwandtschaftsgrad’ [Radloff W., 1897, S. 161], ‘родственник’ [Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1897, с. 41, 43], П.М. Мелиоранский допускал как ‘племянник (?)’ [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 63, 78, 136], так и ‘двоюродный брат’ [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 94, прим. 19], Х. Намык (Оркун) следовал за В. Томсеном, переводя ‘kız kardeşinin oğlu’, ‘hemşirezadesi (?)’, ‘hemşire zadesi’ [Orkun H.N., 1994, s. 28, 54, 72], А. фон Габэн ‘männlicher Verwandter, Schwestersohn (?)’ [Gabain A. von, 1950, S. 296], А.Н. Бернштам толковал термин как ‘племянник либо внучатые племянники’ [Бернштам А.Н., 1946б, с. 35], С.Е. Малов переводил ‘внук’ [Малов С.Е., 1951, с. 36], ‘родственник (?)’ [Малов С.Е., 1959, с. 24], С.Г. Кляшторный не решился дать перевода и следует за С.Е. Маловым [Кляшторный С.Г., 2003, с. 65, прим. 84], Р. Жиро называет Йоллыг тегина ‘à son neveu’ по отношению к Бильге кагану [Giraud R., 1961, p. 156], В.М. Насилов ‘племянник’ [Насилов В.М., 1960, с. 58], Т. Текин переводит ‘nephew’ [Tekin T., 1968, p. 263, 272, 281], ‘yeğen’ [Tekin T., 1998, s. 30, 53, 81], М. Эргин ‘yeğen’ [Ergin M., 2002, s. 14, 22, 35], в переводе сэра Дж. Клосона ‘nephew’ [Clouston, 1972, p. 40], с чем согласилась Ш. Баштуг [Baştuğ Sh., 1993, p. 9], у В.Г. Кондратьева ‘его внук’ [Кондратьев В.Г., 1970, с. 54], у Л. Базена ‘neveu’ [Bazin L., 1974, p. 177], у Г. Айдарова ‘родственник(?)’ [Айдаров Г., 1971, с. 317], у А.Н. Кононова ‘племянник’, ‘внук (~ племянник?)’, ‘родственник’ [Кононов А.Н., 1980, с. 214, 223], у Н. Базылхана ‘аталыгы’ [Базылхан Н., 2005, 77, 81, 99 б.], у И.В. Кормушина ‘внучатый племянник’ [Кормушин И.В., 2008, с. 228], у Ф. Рыбацки ‘nephew’ [Rachewiltz I., Rybatzky V., 2010, p. 41].

Некоторые авторы выдвинули гипотезы о личности Йоллыг тегина, основанные на иных соображениях, без учета терминологии родства [Козьмин Н.Н., 1934а; Гумилев Л.Н., 1967, с. 326 и др.; Дмитриев С.В., 2003].



Сэр Дж. Клоусон отметил, что он мог быть сыном кого-то из их младших братьев, но не *их* (!) внуком [Clauson G., 1972, p. 40]. И. Кафесоглу, исходя из значений терминов *ati* и *yeğen* в интерпретации сэра Дж. Клоусона, полагал, что Йоллыг тегин, названный *ati*, не мог быть племянником Кюль тегина и Бильге кагана по мужской линии, поскольку из источников неизвестны другие их братья, однако непременно должен был принадлежать к правящей династии. Поэтому, учитывая взрослый возраст Йоллыг тегина, ученый вслед за Н.Н. Козьминым рассматривал его как атабега, опекуна братьев [Kafesoğlu İ., 1997, s. 126–127, dipnot 412]. Также приведя довод, что Йоллыг тегин не мог быть одновременно внуком Бильге кагана и Кюль тегина, а других их братьев из источников неизвестно, Ш. Баштуг предположила, что он должен быть либо двоюродным братом, либо племянником [Baştuğ Sh., 1993, p. 10]. Но она приводит выражение *eçim atım*, встреченное в стк. 4 Онгинского памятника – групповой термин, означающий членов данного patrilineage [Baştuğ Sh., 1993, p. 14], объединяющий родственников раздела «дядя по отцу – старший брат», и, по логике, второй термин как раз должен объединять двоюродных братьев и племянников по мужской линии. Ш. Баштуг ссылается здесь на чтение Х. Намыка (Оркуна) [Orkun H.N., 1994, s. 128]. Из последних попыток такое же чтение и толкование *atı* именно как ‘nephews’ было подтверждено Т. Осава, М. Эрдалем, а также А.С. Аманжоловым как ‘родной племянник; внучатый племянник, внук’ [Osawa T., 1999a, p. 135; 2011a, p. 169, 173; Erdal M., 2011, p. 365, 372; Аманжолов А.С., 2010, с. 176, 177], хотя по-другому прочитано Э. Айдыном, считающим, что *at-im* в данном случае – ‘мое имя’ [Aydin E., 2008c, s. 24, 27]. У С.Е. Малова такое чтение трактовалось как ‘предки’ [Малов С.Е., 1959, с. 9, 10]. Тот же рисунок, позволяющий читать *t'im* ➤ **18**, встречается у А.А. Раджабова и Ю.Г. Мамедова, но в транскрипции почему-то значится *anam* [Рэчэбов Э., Мэммэдов J., 1993, с. 51, 53].

Э. Айдын [Aydin E., 2007a, s. 151] обратил внимание на то, что слово *ati* в первоначальной форме сохранилось только в сарыг-югурском языке в значении ‘küçük çocuk; erkek torun’ [Li Yong-Söng, 1999, s. 207]. Различные фонетические варианты термина сегодня в тюркских языках обозначают именно внука [Севортян Э.В., 1974, с. 78; Li Yong-Söng, 1999, s. 216]. К тюркскому *atı* восходит также монгольская форма *açi* ‘внук’ [Clauson, 1972, p. 40], но только по младшей мужской линии [Севортян Э.В., 1974, с. 79; Li Yong-Söng, 1999, s. 207]. Это значение, по-видимому, стоит считать вторичным. Источники не называют больше братьев Бильге кагана и Кюль тегина, однако они могли быть просто молоды и ничем не проявить себя в период, о котором повествуют рунические тексты. Э. Айдын обратил внимание на сообщение «Цзю Тан шу» 舊唐書 о существовании у Дэн-ли 登利 кагана, второго сына и наследника Бильге кагана, двух дядьев, пользовавшихся большим расположением его матери (см.: [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I,

S. 179, 229–230; Taşağıl A., 2004a, s. 56, 74, 75]). Именно их ученый считает младшими братьями Бильге кагана и Кюль тегина и на этом основании полагает, что Йоллыг тегин, названный *ati*, может быть сыном кого-то из них [Aydın E., 2007a, s. 151–152]<sup>57</sup>.

В оригинальном тексте «Цзю Тан шу» 舊唐書 оба этих дяди Дэн-ли 登利 кагана обозначены сочетанием *цзун шу-фу* 從叔父 (Цзю Тан шу, цз. 194а, с. 346), где первый иероглиф означает двоюродную степень родства, но со стороны отца, сочетание двух других – ‘дядя (младший брат отца)’ [Большой китайско-русский словарь, 1984, т. 3, с. 940, 974], хотя известно и сочетание *цзун-шу* 從叔 со значением ‘двоюродный дядя’ [Васильев В.П., 1897, с. 17]. Э. де Ла Вассер отмечает употребление термина *цзун-фу* 從父 ‘двоюродный дядя’ по отношению к Тарду (Да-тоу 達頭) относительно Нивар кагана (Ша-бо-люэ 沙鉢略) [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 49; Bd. II, S. 526, Anm. 262; Қазақстан тарихы, 2005, 73, 100–101 б., 117 түсін.]<sup>58</sup>, которые в действительности были соответственно двоюродными дядей и племянником, а также употребление термина *шу-фу* 叔父 ‘младший дядя по отцу’ к Шэ-гуй 射匱 в отношении Да-мань 達漫 (Чу-ло 處羅) кагана, хотя на самом деле он был четверюродным дядей для последнего [La Vaissère É. de, 2010b]. Кроме того, если бы дяди Дэн-ли 登利 кагана были родственниками по матери, тогда Озмыш тегин, сын одного из них, стал каганом, будучи не из рода А-ши-на 阿史那, что маловероятно.

Однако в орхонике есть еще одно упоминание термина *ati*. В Хушо-Цайдамских текстах он следует за *oγul: inisi qaγan bolmīs ārinč oγli atī qaγan bolmīs ārinč* ‘младшие братья [их] каганами стали, оказывается, сыновья [их] [и] внуки [их] каганами стали, оказывается’ (КТб, стк. 4–5 = БК, X, стк. 5). Формула *w'γl'lt'I ~ w'γl'lt'A 𐰽𐰺𐰍𐰏𐰤* была прочитана В. Томсеном как *oγli atī* [Thomson V., 1916, p. 98; 1924, S. 145; 1935, S. 99]. Другие исследователи основывали свое чтение на попытках видения различных форм лексемы *oγli*, перевода как букв. ‘младшие братья [их] каганами стали, оказывается, сыновья [их] каганами стали, оказывается’ [Radloff W., 1895, S. 6, 7; Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1897, с. 17; Bang W., 1898a, S. 122; Vámbéry H., 1898, S. 30–31, Anm. 5; Мелиоранский П.М., 1899а, с. 65; Orkun H.N., 1994, s. 30; Малов С.Е., 1951, с. 29, 34; Tekin T., 1968, p. 209, 233–234, 264; Айдаров Г., 1971, с. 290; Рэчэбов Э., Мэммэдов J. 1993, с. 72, 78] (Ср.: [Кононов А.Н., 1980, с. 147]. Сначала В.В. Радлов перевел как ‘leurs fils et leurs neveux’, однако В. Томсен обратил внимание на отсутствие падежных аффиксов в этом случае и предложил перевод ‘leus fils (au moins) de nom’, слабость которого сам же признавал


<sup>57</sup> См. также об отождествлении Дэн-ли 登利 дядьев кагана как младших братьев Бильге кагана и Кюль тегина: [Osawa T., 2011b, s. 620].

<sup>58</sup> Н.Я. Бичурин пишет здесь, что Дянь-цзюэ 玷厥 был «вотчимом», т.е. отчимом Шэ-ту 攝圖 (Ша-бо-люэ 沙鉢略 кагана) [Бичурин Н.Я., 1828, с. 111].

(см.: [Thomsen V., 1896, p. 98, 141, note. 10, p. 222]). Читая как *оҗлы аты(сы)* ‘Seine Söhne und Nefen’, В.В. Радлов все же не отрицал и варианта *оҗлыты*, подразумевающего множественное число для *оҗлы* [Radloff W., 1895, S. 141, 227–228] (Ср.: [Radloff W., 1897, S. 67]). Читая как *оҗлыты*, П.М. Мелиоранский выступил за наличие здесь аффикса местного падежа, все же осознавая шаткость этой гипотезы [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 80–81]. Натянутой выглядит и попытка видеть здесь форму множественного числа слова *оҗли*, наиболее четкое обоснование которой было предложено впервые, кажется, В. Бангом [Bang W., 1896а, S. 334–335] (Ср.: [Radloff W., 1897, S. 76]. О. Прицак приводит *оҗлиiti* < *оҗи* + *li* + *ti* как форму с коллективными аффиксами [Pritsak O., 1952, S. 77, 78; 2007, p. 97, 98]. В.М. Насилов, А.Н. Кононов, А.А. Раджабов и Ю.Г. Мамедов, А.С. Аманжолов предполагали также здесь наличие союза *ta* ‘и’, ‘да’, ‘же’: *оҗли ta* [Насилов В.М., 1960, с. 18; Кононов А.Н., 1980, с. 206; Рәчәбов Ә., Мәммәдов Ј., 1993, с. 72, 78; Аманжолов А.С., 2010, с. 159, 167]. Н. Базылхан читает *оҗули ати* ‘ұлы аты (атаулысы)’ [Базылхан Н., 2005, 65, 86 б.]. И.В. Кормушин считает, что следует читать *оҗлиiti* так же, как и в стк. 2 памятника Очуры ~ Ачуры (Е 26, стк. 2) [Кормушин И.В., 2008, с. 19] (Ср.: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 77]), где, однако, на снимке четко просматривается словоразделитель *оҗли : ати* [Orkun H.N., 1994, S. 546; Васильев Д.Д., 1983б, с. 102]. Сэр Дж. Клосон следует именно чтению *оғли ати* ‘his son and grandson’ [Clauson G., 1972, p. 40] (Ср.: [Benzing J., 1980, S. 120]). Х. Ширин Усер выступает за чтение *оғлиti* как падежной формы множественного числа [Şirin User H., 2009а, s. 162, 163, 164–165; 2009b, s. 251].

В отсутствие показателя принадлежности третьего лица у обоих слов в сочетании нет ничего необычного: термин *ini-si* употреблен по отношению к умершим каганам, а *оҗли ати*, вероятно, следует привязывать к обеим категориям и рассматривать как общее обозначение потомков по мужской линии второго поколения – сыновей и племянников.

Мемориант Суджинской надписи вначале повествует, что имеет лишь младших братьев (*ini-m*), затем сыновей (*uri-m*) и дочерей (*qiz-im*) (С/Е-47, стк. 6). Он не сообщает о сестрах, поэтому слово *jägin* может быть употреблено только по отношению к детям дочерей. Под термином *ати* здесь можно видеть как племянников, так и внуков, поскольку выше сообщается, что сыновья имели семьи.

В орхонских памятниках есть сочетание *äcü-m ara-m*  с общим переводом ‘[мои] предки’ [Bang W., 1896а, S. 327], встречаемое в начале Хушо-Цайдамских текстов и затем повторяющееся в моментах, где автор текстов обращается к далеким историческим временам (КТб, стк. 1 = БК, X, стк. 3; КТб, стк. 13 = БК, X, стк. 12; КТб, стк. 19 = БК, X, стк. 18], а также присутствующее в Онгинском памятнике (О, стк. 1) и Терхинской стеле (Тер, стк. 18 (= Вост., стк. 3), 28 (= Южн., стк. 4) (*äcü ara*)) [Кляшторный С.Г., 2006, с. 135,

136; 2010, с. 39, 40; Tekin T., 1983, p. 46, 47; Şirin User H., 2009b, s. 479]<sup>59</sup>. Ли Ён-Сонг у каждого из этих терминов в отдельности отмечает значение ‘ata, ecdat’ [Li Yong-Söng, 1999, s. 108]. Слово *eçü* сегодня сохранилось только в якутском и долганском языках в значениях ‘dede; ayı’ [Li Yong-Söng, 1999, s. 91]<sup>60</sup>.

Термин *apa* ᠠᠯ в орхонских памятниках ни разу не встречается в самостоятельном употреблении по отношению к родственникам мужского пола. Ср. у В.В. Радлова ‘der Grossvater, Vorahr’ [Radloff W., 1895, S. 351]. Согласно Г. Айдарову, *ana* ‘старший родственник’ [Айдаров Г., 1966, с. 25; 1971, с. 75, 141, 355]. Для древнеуйгурских памятников отмечается толкование ‘abla, büyük kız kardeş’ [Caferoğlu A., 1968, s. 18]. В современных тюркских языках он вообще не имеет «мужских» значений [Севортян Э.В., 1974, с. 158–159, 220–222]. Этот же факт отмечает И.В. Кормушин [Кормушин И.В., 1997, с. 189], используя его для обоснования своих переводов енисейских текстов. У танского историка Хань Юя 韩愈 встречается употребление слова *apa* для обозначения матери [Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., 1984, с. 289]. Тем не менее Ли Ён-Сонг указывает употребление термина *apa* в «Кутадгу Билик» в значении ‘adem; insân’ [Li Yong-Söng, 1999, s. 108].

Термин читается в енисейском памятнике Барык II (Е 6, стк. 4), интерпретированном И.В. Кормушиным как женская эпитафия [Кормушин И.В., 1986, с. 170–171; 1997, с. 187–189; 2008, с. 97, 111], где его переводят как ‘старшая сестра’ [Orkun H.N., 1994, s. 472; Малов С.Е., 1952, с. 102; Кормушин И.В., 1997, с. 207; 2008, с. 97; Tekin T., 2003, s. 238]<sup>61</sup>. Однако с этим согласны не все исследователи [Кызласов И.Л., 2005, с. 432; Şirin User H., 2011, s. 286–287]. Контекст также не дает возможности для каких-либо обоснованных выводов. Здесь важно отметить, что И.В. Кормушин ошибочно читает там термин *iş-im* ᠶᠰᠢᠮ в значении ‘жена’, но там, по-видимому, *içi-m* ᠶᠢᠴᠢᠮ [Erdal M., 2002, S. 62] (Ср.: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 33, 34]), т.е. старший кровный родственник по мужской ветви – дядя или старший брат. Это дает, кстати, до-

<sup>59</sup> С. Гөмеч, не отрицая общего значения сочетания *eçü-ara* как ‘предки’ (‘ata, ced’), считал, что, например, в Хушо-Цайдамских текстах здесь имеются в виду соответственно *İl-teris Kagan* и *İl-bilge Katun*, т.е. предки мужского и женского пола (erkek ve kadın ataları) [Gömeç S., 2001, s. 3–4].

<sup>60</sup> Г. Айдаров неверно объединял термины *eçü*, *eci* в значении ‘бабушка’ [Айдаров Г., 1971, с. 75]. См. также: [Покровская Л.А., 1961, с. 28–29], где эти термины объединены с основным значением ‘старший родственник’. А.Н. Кононов выводил их из монгольского [Кононов А.Н., 1980, с. 67]. С. Дивитчиоглу отождествляет термины *qang* и *eçü ara* в значении ‘отец’ [Divitçioğlu S., 2005, s. 139–140, 141 şekil 7], притом полагает, что термины *eçü ara* ‘отец’ и *eçi* ‘брат отца’ восходят к одному термину со значением ‘предок’ [Divitçioğlu S., 2005, s. 142–143]. Но это совсем не так, поскольку в основе первого лежит дериват с широким инициальным гласным, во втором случае мы имеем более закрытый звук.

<sup>61</sup> Ср. в EDAL, где для енисейских текстов отмечается \**apa* ‘mother, elder sister, aunt (мать, старшая сестра, тетя)’ [Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A., 2003, pt. I, p. 513]. См., однако, у Э. Айдына *apa-m* как ‘atalar-ım’ [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 34].

полнительное свидетельство в пользу того, что старшие заботились о младших, поскольку мемориант надписи Барык II рано остался сиротой<sup>62</sup>.

Самостоятельную роль термин *apa* выполняет, по-видимому, в испорченном фрагменте памятника Чаа-Холь VI: ...*t čur apasi* (E 18, стк. 1) [Orkun H.N., 1994, s. 530; Малов С.Е., 1952, с. 40; Васильев Д.Д., 1983б, с. 22; Кормушин И.В., 2008, с. 110; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 59]. В надписи Тепсей XI встречается имя *öz apa* (E 126) [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 217]. Также термин обнаружен в надписи из местности Рашаан хад в Восточной Монголии в сочетании *ata-m apa-m* [Гэрэлмаа Н., Баттулга Ц., 2007, 65, 66 дугаар тал.]. У Махмұда ал-Қашғарұ *apa* фиксируется как карлукская диалектная форма термина *äbä* ‘мать’ [Maǰmūd al-Qāshǰarī, 1982, p. 122; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 117]. Первичной является именно форма *apa* [Севортян, 1974, с. 54, 55–56, 221; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 300]<sup>63</sup>.

Также в енисейских текстах *apa* встречается как часть имен или титулов (E 11, стк. 1; E 20, стк. 2) [Orkun H.N., 1994, s. 481, 532; Малов С.Е., 1952, с. 29, 41; Кормушин И.В., 1997, с. 271, 188; 2008, с. 103, 111; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 45, 62, 498]. С.Е. Малов во втором случае переводил *külüg apa* ‘именитый отец’ [Малов С.Е., 1959, с. 42]. У И.А. Батманова дается следующий перечень значений: ‘мать, старшая сестра, отец, дедушка, предок’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 209]. В орхонике мы видим термин в титуле Тоньюкука *apa tarqan* (Тон, стк. 34 (= I, Сев., стк. 10)) (> кит. *а-бо да-гань* 阿波達干 ‘великий тархан’, ‘главнокомандующий’ [Hirth F., 1899, S. 16, 22, 56; Orkun H.N., 1994, s. 903; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 158, 213; Clauson G., 1972, p. 5], встреченном также в надписи Бильге кагана (БК, Ха, стк. 13), а также в титулах *inanču apa jaryan tarqan* в памятнике Кюль тегина (Кб II) и *ibris apa čor* (или, скорее, *bars apa čor*) в пятом тексте Хойто-Тамира (ХТ V, стк. 1) [Sertkaya O.F., Narçavbay S., 2001, s. 324; Aydın E., 2017a, s. 4], а в семнадцатой надписи встречено сочетание *säkiz qut apa* (ХТ XVII, стк. 1) [Sertkaya O.F., Narçavbay S., 2001, s. 342; Aydın E., 2017a, s. 10], где Э. Айдын интерпретирует его как ‘kişi adı veya unvanı’ [Aydın E., 2017a, s. 12]. В этих же функциях термин фиксируется в более поздних памятниках (см.: [Донук А., 1988, s. 2–3; Rybatzki V., 1997, S. 112, Anm. 291; 2006, S. 8])<sup>64</sup>. Термин явно содержит семантику старшинства, превосходства<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> Так, по мнению О. Франке, То-бо 佗鉢 каган мог выступать в качестве опекуна Шэ-ту 攝圖 [Franke O., 1936, S. 237].

<sup>63</sup> Ср.: [Покровская Л.А., 1961, с. 29–32], где *aba* и *apa* рассматриваются отдельно.

<sup>64</sup> Б.Я. Владимирцов связывал его с монгольским *ebüge* – общим предком агнатных родов [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 344]. См., однако: [Севортян Э.В., 1974, с. 494].

<sup>65</sup> Ср. также гипотезу О.Ф. Серткайя о чтении (*a*)*p*(*a*) *urum* 𐰽𐰺𐰍 (КТб, стк. 4 = БК, X, стк. 5) ‘великий Рим’, т.е. Византия в Хушо-Цайдамских надписях [Sertkaya O.F., 1986–1993; Aydın E., 2006, s. 4].

Видимо, сюда же следует относить и титул одного из правителей Первого каганата *А-бо кэ-хань* 阿波可汗 [Taşağıl A., 2003a, s. 35, 99, 150], первая часть которого соответствует зафиксированному в тюркской иерархии чину *а-бо* 阿波 (Цзю Тан шу, цз. 140, с. 16) [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 9, Anm. 49; Bd. II, S. 498], и, как верно предполагали, например, Э.Х. Паркер, Р. Жиро и Л.Н. Гумилев [Thomsen V., 1896, p. 193; Giraud R., 1961, p. 77; Гумилев Л.Н., 1967, с. 104], соответствует тюркскому слову *ара* со значением ‘старший’ [Baştuğ Sh., 1993, p. 14; İneyet A., 2006, s. 83; 2008, s. 280]. Э. Айдын вслед за Х. Ширином Усер считает его эпитетом [Şirin User H., 2009b, s. 271; Aydın E., 2016, s. 11].

Следует также обратить на некоторые термины родства по женской линии.

Эта терминология также представлена целым рядом самых разнообразных лексических единиц. В памятнике Кюль тегина перечисляется вся женская половина, находившаяся в ставке (*ordo*): вначале выделяется *ög-īm qatun* 𐰽𐰺𐰍𐰏𐰤𐰠𐰪, а за ней (в тексте *ulaju* ‘идушие] за [ней] (по знатности?)’) перечисляются *ög-lärim* 𐰽𐰺𐰠𐰤, *äkä-lärim* 𐰽𐰺𐰠𐰤𐰠, *käliñ-ünim* 𐰽𐰺𐰠𐰤𐰠𐰪𐰠, *qunčuj-larim* 𐰽𐰺𐰠𐰤𐰠𐰪𐰠𐰪𐰠 (Кб, стк. 9).

Термин *ög* 𐰽𐰺 ‘мать’<sup>66</sup> в орхонских тестах термин часто употребляется в паре с *qañ*, особенно в случаях упоминания титулатуры правящей четы: *qañ-īm qağan-iy ög-īm qatun-iy* (КТб, стк. 25 = БК, X, стк. 21–22). Т. Текин считает оба выражения устойчивыми [Tekin T., 2003, s. 200]. Слово часто встречается как в орхонских, так и в енисейских текстах [Şirin User H., 2009b, s. 252; Кормушин И.В., 2008, с. 277]. В турфанских древнетюркских текстах термин *ög* также употребляется в паре с *qañ* [Древнетюркский словарь, 1969, с. 378; Clauson G., 1972, p. 99]. В памятнике Кёжээлиг-Хову (Е 45, стк. 2) встречается утверждение, что в пять лет мемориант остался без отца (*qañ-süz*), в девятнадцать – без матери (*ög-süz*), что соответствует зафиксированному у Махмұда ал-Қашғарұ *ögsüz* ‘сирота’ (*al-yaṭīm*), ‘растерянный’ (*al-ḥayrān*) [Clauson G., 1972, p. 116–117; Maḥmūd al-Kāšġarī, 1982, p. 128; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 127; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 124]<sup>67</sup>. Термин *ög*, в памятнике Кюль теги-на приведенный в форме множественного числа, означает в данном случае, по-видимому, мачех, то есть других жен главы рода [Бернштам А.Н., 1933б, с. 574; 1946б, с. 90; Толстов С.П., 1938в, с. 32, прим. 1; 1948, с. 264, прим. 4]. Ср.: *öge:yu* ‘realated through one parent only; step-(father, etc)’ [Clauson G., 1972, p. 119]. Так, у Махмұда ал-Қашғарұ *ögäj ata* ‘отчим’ (*al-rab*), *ögäj oγul* ‘пасынок’ (*al-rabib*), *ögäj kız* ‘падчерица’ (*al-rabība*) [Divanü, 1985, с. I, s. 123; Древнетюркский словарь, 1969, с. 379; Maḥmūd al-Kāšġarī, 1982, p. 148; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 151; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 143; Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 539] (См. также: [Покровская Л.А., 1961, с. 54–57; Doerfer G., 1965, S. 159–160; Li Yong-Söng, 1999, s. 79–83]).

<sup>66</sup> У Л. Крэдера неверно *ögä* [Krader L., 1963, p. 187].

<sup>67</sup> Ср. также в других тюркских языках [Кормушин И.В., 2004, с. 209–210, 243].

Термин *äkä*, кроме указанного фрагмента надписи Кюль тегина<sup>68</sup>, обычно виделся ученым среди плохо читаемого сочетания в стк. 3 первого памятника Алдыы-Бель  $\text{𐰉𐰺𐰠𐰽𐰚}$ , часто транскрибируемого как *äkä-m qatun-um* (E 12, стк. 3). Это давало некоторым специалистам повод рассуждать о том, что *ekä* может означать ‘тетя’ [Radloff W., 1897, S. 158; Бернштам А.Н., 1946б, с. 156; Малов С.Е., 1952, с. 34–35; Батманов И.А., 1959, с. 57, 63; Древнетюркский словарь, 1969, с. 167]. Ср. чтение *ökäm* [Radloff W., 1895, S. 317], (*ö*)*küm katunim...* ‘Annem (?), hatunim...’ [Orkun H.N., 1994, s. 463, 464. И.В. Кормушиным установлено, что в памятнике Алдыы-Бель I написано *käm qatun* [Кормушин И.В., 1997, с. 182]. Возможно, он читается в стк. 1 в надписи из Минусинского музея (E 51) в сочетании *j<sup>2</sup>t<sup>2</sup>ICkMA*  $\text{𐰇𐰽𐰚𐰠𐰽𐰚𐰠𐰽𐰚}$ , т.е. *jäti (ä)či(?) (ä)k(ä) m-ä*, где встречается оформленная единым падежным аффиксом устойчивая конструкция *äči äkä*, обозначающая старших родственников мужского и женского пола [Erdal M., 2002, s. 64].

Если изначально исследователям сложно было определенно интерпретировать термин в тексте Кюль тегина [Thomsen V., 1896, p. 113; Radloff W., 1895, S. 28; Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1899а, с. 34; Vámbéry H., 1898, S. 65, Anm. с; Мелиоранский П.М., 1899а, с. 76; Малов С.Е., 1951, с. 42], то ситуация изменилась с введением в оборот словаря Махмұда ал-Қашғарұ. По Махмұду ал-Қашғарұ, это значит ‘старшая сестра’ (*al-uh<sup>h</sup>u’l-kubrā*) [Divanü, 1985, с. I, s. 86, Divanü, 1985, с. III, s. 7; Древнетюркский словарь, 1969, с. 379; Clauson G., 1972, p. 100; Маһмүд ал-Кәшғарі, 1982, p. 124; Маһмүд ал-Кәшғарі, 1984, p. 149; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 119, 745; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 120]. Видимо, исходя из этого значения, так толкуют данное слово большинство исследователей [Thomsen V., 1924, S. 155; 1935, p. 106; Orkun H.N., 1994, s. 792; Gabain A. von, 1950, S. 298; Doerfer G., 1965, S. 91; Tekin T., 1968, p. 325; 1998, s. 101; 2003, s. 243]. Но, по-видимому, все же следует относить сюда и теток, поскольку для обозначения младших сестер используется отдельная лексика. Ш. Баштуг считает, что термин означает ‘member of mother’s patrilineage’, что подразумевает, прежде всего, сестер матери, но в эту группу входят еще и старшие сестры субъекта, выделявшиеся с замужеством в другой patrilineage [Baştuğ Sh., 1993, p. 11]<sup>69</sup>. В противовес ему Махмұд ал-Қашғарұ

<sup>68</sup> Р. Жиро осторожно переводил ‘mes Aînées’ [Giraud R., 1961, p. 133], у Г. Айдарова ‘старший родственник’ [Айдаров Г., 1971, с. 76].

<sup>69</sup> У Махмұда ал-Қашғарұ также фиксируется для *äkä* форма *äčä* и огузский вариант *äzä* [Divanü, 1985, с. I, s. 86–87, 90; Древнетюркский словарь, 1969, с. 161, 192, 647; Маһмүд ал-Кәшғарі, 1982, p. 122, 124; Маһмүд ал-Кәшғарі, 1984, p. 149; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 401; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 117, 120]. С. Гөмеч видел в памятниках Хемчик–Чиргакы (E 41, стк. 6) и Алтын Көль II (E 29, стк. 6) термин *eze* ‘Teuze’ (тетя по матери) [Gömeç S., 2001, s. 4]. Не совсем ясно, на какие места он ссылается, но в новом прочтении памятников прецедентов для такой транскрипции нет [Васильев Д.Д., 1983б, с. 29, 67, 106, 25, 65, 103]. Следует обратить внимание на принимаемое большинством исследова-

указывает слово *siñil* [Clauson, 1972, p. 839]. В орхонских памятниках он встречается в одном случае: в форме *siñil-im* ᠰᠢᠨᠢᠯᠢᠮ (КТ, X6, 20 = БК, X, 17) [Şirin User H., 2009b, s. 252]. Также слово известно по одному из таласских текстов *siñil-in'* ᠰᠢᠨᠢᠯᠢᠨ (Тал II, стк. 3) [Малов С.Е., 1959, с. 60; Orkun H.N., 1994, s. 326; Джумагулов Ч., 1982, с. 12; Аманжолов А.С., 2010, с. 87; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 285, 286].

Термин, судя по всему, так и означает младшую сестру<sup>70</sup>. По мнению К.М. Мусаева, он может восходить к глагольной основе *\*siñ-* ‘укрываться, прятаться’ (+ аффикс *-il*), что подразумевает, будто «младшие сестры укрывались от посторонних глаз (в особенности – от мужчин)» [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 311; Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 547]. В ряде языков (баш., каз., кырг.) термин в различных фонетических формах означает младшую сестру по отношению к старшей, но не к брату, что является чертой классификационной системы родства. Интересна также зафиксированная у долган форма *hiñil* в значении ‘молодой (-ая)’ [Покровская Л.А., 1961, с. 33] (ср. примечание Т. Гюленсоя “büyük kız kardeşe nisbetle olup, erkek kardeşe nisbeten değildir” [Gülensoy T., 1974, s. 293]).

Термин *kälin* ᠬᠠᠯᠢᠨ достаточно прост – во многих тюркских языках и сегодня *kelin* означает новобрачную [Li Yong-Söng, 1999, s. 314–317]. Слово образовано от глагола *käl-* ‘приходить’ [Покровская Л.А., 1961, с. 64; Doerfer G., 1967, S. 667; Clauson G., 1972, p. 719; Севортян Э.В., 1980, с. 17]. Само по себе это понятие неконкретное и обозначает женщину из чужого рода по отношению к членам данного рода, то есть под ним подразумеваются все женщины, взятые в род извне. При этом следует учитывать, что это именно младшая невестка, то есть жена кого-то из младших родственников [Угдыжеков С.А., 2000, с. 12]. В различных тюркских пословицах прекрасно прослеживается, что от *kälin* в первую очередь ждут двух вещей: богатого приданного и того, что она станет работницей по дому [Древнетюркский словарь, 1969, с. 296]. В памятнике Кюль тегина термин употреблен в редкой форме множественного числа *käliñün-im* (Кб, стк. 8): < *käl-* + *-(ä)gü(n)* + *-üm* [Erdal M., 2004, p. 160], но в енисейских надписях известна и более привычная форма множественного числа

---

телей прочтении стк. 6 надписи Кемчик–Чиргакы (Е 41, стк. 6): *(ä)r (ä)rd(ä)m(i)m (a)d(a) qī (ä)g(ä)č(i)m[g]e (a)na (ä)g(ä)m (ä)či (ä)g(ä)t j(i)r(i)lt(i)m* [Orkun H.N., 1994, s. 490, 491; Малов С.Е., 1952, с. 74, 75; Tekin T., 1999, s. 7, 10–11; Sertkaya O.F., 2008b, S. 223–224; Useev N., 2011, s 392, 393] (Ср.: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 109]), где мы могли бы видеть написание терминов *ägä* ‘тетя (по матери)’, *ana ägä* ‘мачеха’. Однако это вызывает определенные сомнения ввиду наличия иного прочтения, предпринятого И.В. Кормушиным [Кормушин И.В., 2008, с. 50, 56–57]. Н. Усеев вслед за отметившим такую возможность И.В. Кормушиным читает *eçe* в сочетании *eçeli* в памятнике Хербис-Баары (Е 59, стк. 8) [Кормушин И.В., 1997, с. 245; Useev N., 2012, p. 59].

<sup>70</sup> У Л. Крэдера неверно *siñli* и добавлено значение ‘younger daughter’ [Krader L., 1963, p. 187]. Г. Айдаров также читал *siñli* ‘младшая сестра’ [Айдаров Г., 1971, с. 77, 142].



*kälinlär-im* 皇妃 (Е 3, стк. 6) [Orkun H.N., 1994, s. 40; Малов С.Е., 1959, с. 19; Васильев Д.Д., 1983б, с. 15; Кормушин И.В., 1997, с. 193; 2008, с. 93; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 26, 27].

Большой интерес представляет термин *qunčuj* 𐰇𐰺𐰽. Большинство ученых традиционно принимается гипотеза о его китайском происхождении (< *gōng zhǔ* 公主 ‘принцесса’, букв. ‘дочь императора’) (см.: [Ölmez M., 1999, s. 59–60; Aydın E., 2008a, s. 103; 2017b, s. 52]). Тем не менее М. Эрдал нашел вероятный источник в бактр. *kinžuy* ‘queen, consort’ (царица, супруга), которое гораздо древнее среднекитайского [Erdal M., 2004, p. 4, note 6]. Н. Симс-Уиллиамс также оспаривает китайское происхождение термина ввиду зафиксированной бактрийской формы *χινζωιο* [*xinzōio*], передающей более вероятное *qinjōy* [Sims-Williams N., 2011]. Если исходить из китайской этимологии, скорее всего, он, занесен к тюркам с первыми китайскими принцессами и княгинями – женами каганов Бумына и Татпара (ср.: [Clauson G., 1972, p. 635]).

В.В. Радлов толковал данный термин как ‘prinzessin’ [Radloff W., 1897, s. 196], ‘родственница хана, принцесса’ [Радлов В.В., 1899, ч. 1, стб. 915], но ниже для енисейских надписей давал значение ‘знатная дама (так называют знатные люди своих родственниц)’ [Радлов В.В., 1899, ч. 1, стб. 916]. По мнению А.Н. Бернштама, им обозначалась вся женская половина рода, включая женское потомство [Бернштам А.Н., 1933б, с. 575; 1946б, с. 93]. С.Г. Кляшторный считал, что данным термином обозначались именно жены главы семьи [Кляшторный С.Г., 2003, с. 480; 2006, с. 475]. Д.М. Насилов толкует термин как ‘принцесса, младшая родственница ханской крови, женщина знатного происхождения’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 466]. С.Е. Малов просто переводит как ‘княжна’ [Малов С.Е., 1951, с. 415]. Другие ученые также ограничивались прямым переводом китайского термина [Orkun H.N., 1994, s. 845; Gabain A. von, 1950, S. 331; Tekin T., 1968, p. 347; 2003, p. 249]. Г. Айдаров писал: «сначала обозначало жену важного человека, затем – жена» [Айдаров Г., 1971, с. 76]<sup>71</sup>. По мнению И.В. Кормушина, именно с тем, что для закрепления дружественных политических отношений, в том числе с Китаем, тюркские каганы брали в жены родственниц правителей, поэтому в тюркских языках слово получило значение ‘супруга, жена знатного лица’ [Кормушин И.В., 2004, с. 193].

Именно этим словом назван мемориант надписи Бомбогор – некая [*q*]/*utl(u)[γ] qunč(u)j*, *il bilg[ä] qunč(u)j*, вероятно, дочь Эльтериш кагана, выданная замуж карлукам [Şirin User H., 2010, s. 64–65; 2011, s. 287; 2015, p. 3–4]. Надо полагать, что у тюрков *qunčuj* обозначаются все входящие в род женщины, являющиеся родственницами главы рода. Так, в надписи Бильге кагана восстанавливается форма винительного падежа *qiz(i)t qunč(u)juγ* (БК, Ха, стк. 9), где речь идет о дочери Бильге кагана, выданной замуж за тюркешского кагана

<sup>71</sup> Орфография оригинального издания сохранена.

[Şirin User H., 2009b, s. 70]. В обоих Хушо-Цайдамских памятниках младшая сестра Бильге кагана, выданная за кыргызского кагана Барс бега, маркируется как *siñil-im qunčuj-um* (КТб, стк. 20 = БК, X, стк. 17). В тот же период, по видимому, слово пришло к енисейским племенам, но у них уже имело значение ‘жена’ [Кормушин И.В., 2008, с. 260]. Термин всего два раза встречается в орхонских памятниках, но широко распространен в енисейских [Şirin User H., 2009b, s. 265–266; Кормушин И.В., 2008, с. 258]: см., в особенности, ласкательную форму *qunčuj-īm-γa* (Е 7, стк. 4) [Кормушин И.В., 2008, с. 208; Tekin T., 2003, s. 73; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 35].

Можно конкретизировать родственников, входящих в данную категорию: мать и мачехи названы отдельными терминами и относятся к колену отца, тетки и старшие сестры также обозначены особым термином, и они принадлежат к другим семьям, как и невестки, которые являются выходцами из другого рода и принадлежат к семьям сыновей. Следовательно, к рассматриваемой категории мы можем отнести жен главы рода, а кроме того, незамужних сестер и дочерей и, видимо, племянниц. В пользу возможности отнесения к этой группе последней категории говорит тот факт, что выдача за Барс бега сестры Бильге кагана была осуществлена в правление Капгана, их дяди, т.е. он решал судьбу племянницы на правах отца. В одной из надписей Хойто-Тамира термин встречается дважды в форме **ᠳᠵᠢᠨ** там называется *jüzlüg qunčuj* ‘güzel hanım’ (ХТ III, стк. 1) и *tarduš qunčuj* ‘tarduş hanım’ (ХТ III, 2) [Sertkaya O.F., Harcavbay S., 2001, s. 322; Aydın E., 2017a, s. 4], что, видимо, говорит о значении ‘жена, супруга’. В «Ырк битиг» названа *üçünç qunčuj-i* ‘третья жена’, родившая мальчика (*urilänmiš*) (ЫБ, V) [Orkun H.N., 1994, s. 266; Tekin T., 1998, p. 9, 10; 2003, s. 236] (Ср.: [Малов С.Е., 1951, с. 80, 85; Древнетюркский словарь, 1969, с. 614]).

Возможно, заимствованный из китайского языка термин изначально нес в себе семантику принадлежности к царственному роду, а позже спектр значений сузился до ‘жена, супруга’, о чем косвенно говорят названные выше материалы.

Рассмотрим термины, встречающиеся в других памятниках.

В двух енисейских текстах упомянут термин *jotuz-uma* (**ᠵᠣᠲᠤᠵᠤᠰᠤᠮᠤ** или **ᠵᠣᠲᠤᠵᠤᠰᠤᠳᠤ**) (Е 43, стк. 1; Е 120, стк. 1) ‘жена’ [Кормушин И.В., 1997, с. 199; 2008, с. 259; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 115] (Ср., однако: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 212])<sup>72</sup> по более поздним аналогиям [Малов С.Е., 1951, с. 390; Древнетюркский словарь, 1969, с. 282; Clauson G., 1972, p. 894–895; Li Yong-Söng, 1999, p. 254]<sup>73</sup>. В орхонике термин встречается в падежной форме *jotuz-ün* **ᠵᠣᠲᠤᠵᠤᠰᠤᠨ** и употребляется неопределенно: три раза вслед за терми-

<sup>72</sup> У Г. Айдарова *йотаз* ‘жена, женщина’ [Айдаров Г., 1966, с. 85; 1971, с. 75], ‘жена’ [Айдаров Г., 1971, с. 306].

<sup>73</sup> С. Гёмеч также использует более поздние аналогии из древнеуйгурских текстов для перевода термина как ‘eş’ (жена, супруга) в орхонских памятниках [Gömeç S., 2001, s. 4–5].

ном *oyul*: *oylin jotuzin jilqisin barimin anta altim* (БК, X, стк. 24) ‘детей, женщин, скот, имущество тогда [я] приобрел’, в контексте повествования о захваченной добычи, второе упоминание значится в сочетании *oylin jotuzin anta altim*, что, очевидно, нужно переводить как ‘детей [и] женщин там [я] приобрел (т.е. взял в плен)’ (БК, X, стк. 38). Третье упоминание термина фиксируется в аналогичном сочетании, но вне контекста из-за плохой сохранности надписи: *oylin jotuzin jilqisin barimin* (БК, Xa, стк. 3). Четвертый случай употребления отмечается в плохо сохранившемся фрагменте в следующей строчке (БК, Xa, стк. 4) [Şirin User H., 2009b, s. 253]. Возможно, слово присутствует в одном из текстов Хойто-Тамира в форме **𐰽𐰺𐰍** (ХТ XIX, стк. 1) [Sertkaya O.F., Narsavbay S., 2001, s. 344; Aydın E., 2017a, s. 11]. Судя по всему, термин *jotuz* прошел обратную семантическую эволюцию: ‘женщина вообще’ > ‘жена’.

Другой необычный термин для обозначения супруги *eş* **𐰽𐰺** традиционно употреблявшийся со значением ‘друг, приятель, сподвижник’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 184–185; Clauson G., 1972, p. 253–254; Севортян Э.В., 1974, с. 314]. Однако, по мнению И.В. Кормушина, в енисейских памятниках (Е 2, стк. 1; Е 41, стк. 1) он, судя по всему, обрел новую семантику в связи с изменением норм общественной жизни, когда супруга стала считаться неотъемлемой половиной мужчины [Кормушин И.В., 2008, с. 265–266; Sertkaya O.F., 2011, s. 29]. Так, у Махмұда ал-Қашғарұ приводится слово *eşlär* ‘женщина’ с указанием первичной формы *eşilär* ‘знатная женщина’, где гласный второго слога опущен для легкости в употреблении. «У этого слова долгая история», – писал Махмұд ал-Қашғарұ [Divanü, 1985, с. I, s. 117–118; Махмұд ал-Қашғарұ, 1982, p. 143; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 146; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 139].

Интересна попытка С.Е. Малова и И.В. Кормушина видеть еще один уникальный термин, единично зафиксированный в енисейке, – *ninä* в форме **𐰽𐰺𐰍** в контексте *on ninäsi* (Е 30, стк. 4) [Малов С.Е., 1959, с. 59; Кормушин И.В., 1997, с. 94–95] (Ср. также: [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 53, 67, 229]). Как отмечает И.В. Кормушин, в современных языках огузской группы, азербайджанском и турецком, есть аналогичный термин *ninä* ~ *nine* со значением ‘бабушка’, но может также означать ‘мать, когда она стала бабушкой и/или пожилой женщиной’ или ‘довольно пожилая женщина’. Также подобные значения фиксируются в других огузских языках [Li Yong-Söng, 1999, s. 101–102]. По мнению И.В. Кормушина, в памятнике Уйбат I под данным термином подразумеваются жены (десять) героя эпитафии, являющиеся матерями его упомянутых далее девяти сыновей (*toquz oyli*). Несмотря на то, что гипотеза объяснить отсутствие этого слова в современных тюркских языках других лишь тем, что, возможно, в них оно когда-то вышло из употребления [Кормушин И.В., 1997, с. 24–25; 2008, с. 265–266] содержит значительные натяжки, попытки опровергнуть данное чтение вообще не имеют внятной аргументации (см.: [Aydın E., 2007a, s. 155–156]).

Таким образом, мы обнаруживаем, что термин *qaŋ* единственный обладает конкретным значением – отец семьи, старший над всем семейным хозяйством. Его жены маркируются словом *ög*. Термин *ečĭ* маркирует ветвь старших родственников по боковой мужской линии – дядьев и старших братьев, *ini* – соответственно младших родственников, так же как *äkä* старших родственников по линии женского родства, *siŋil* – соответственно, младших. Лексема *ata* только входит в лексикон для обозначения самых старших родственников по мужской линии. Исходя из сочетания *äčĭ ara*, можно говорить, что слово *äčĭ* является достаточно старым и когда-то, видимо, служило для маркировки старшего поколения мужского пола. Упоминание термина *ara*, также очень старого, в контексте данного сочетания указывает на его аналогичную функцию обозначения старших родственников, но уже женского пола, что подтверждает и сочетание *ata ara*. Термином *jegän* ~ *jegän* маркировались племянники и внуки по женской линии, *atĭ* – племянники и внуки по мужской линии. Под лексемой же *čĭqan*, по-видимому, скрывались двоюродные братья и племянники со стороны матери<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Остроумная гипотеза А. Вовина и Д. МакКроу о заимствовании в ранний среднекитайский терминов родства из древнетюркского, – в частности, *zə* 哥 ‘старший брат’ (< *aqa*), *niän* 娘, 孃 ‘мать’ (< *anaŋ*), *de* 爹 ‘отец’ (< *ata*), *e* 爺 ‘дед, отец’ (< *uqa*), *uze* 姐 ‘сестра’ (< *ečä*) [Vovin A., McCraw D., 2011] (ср.: [Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., 1984, с. 289]), – не находит подтверждения в фактическом материале.

## ХАРАКТЕР ОБЩИНЫ ТЮРКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Община как хозяйственная и социальная единица у тюрков еще не становилась объектом специального исследования. Невыявленными остаются как хозяйственные функции, так и состав общины. В целом у кочевников минимальная община представлена неустойчивыми семейно-родственными группами, формирующимися из нескольких, как правило, родственных семей, или неродственными, но объединенными на основе общих интересов взаимопомощи и кооперации труда [Масанов Н.Э., 1995, с. 134–141; Khazanov A.M., 1994, p. 128, 135, 139; Хазанов А.М., 2002, с. 229, 238, 244].

Для изучения тюркской общины мы располагаем сведениями собственно об орхонских тюрках и населении енисейской долины, которые следует использовать осторожно, так как если о первых известно, что они были кочевниками, то хозяйственно-культурный тип вторых (условных енисейских кыркызов) еще не может считаться точно установленным (См., напр.: [Худяков Ю.С., 1984]).

Обратимся к фрагменту из китайских источников, описывающему похороны тюрка. У К. Видлу по «Синь Тан шу» 新唐書: «Toute la parenté, tant hommes que femmes» [Visdelou C., 1779, p. 127]. По переводу Н.Я. Бичурина фрагмента из «Синь Тан шу» 新唐書, на похоронах тюрка собираются его «сыновья, внуки и родственники обоего пола» [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 230]. В переводе С. Жюльена по «Бэй ши» 北史 – “ses fils, ses neveux, ses parents des deux sexes” (“его сыновья, его внуки, его родители обоего пола”) [Julien S., 1864, vol. III, p. 333], по «Суй шу» 隋書 – “ses parents et ses proches” (“его родители и его родственники») [Julien S., 1864, vol. III, p. 352]. Переводы Э.Х. Паркера наиболее точны: в «Чжоу шу» 周書 – “descendants and various relatives and dependants of both sexes” (“потомки и различные родственники и подчиненные обоих полов») [Parker E.H., 1899, p. 122], в «Бэй ши» 北史 – “descendants, relatives and dependants of both sexes” (“потомки, родственники и подчиненные обоих полов») [Parker E.H., 1900a, p. 166], в «Суй шу» 隋書 – “familiares (家人), relatives and dependants” (“члены семьи, родственники и подчиненные”) [Parker E.H., p. 171] (см. также: [Parker E.H., 1900a, p. 173, note 124]). У Лю Мао-цай соответственно “Alle Kinder und Kindeskind, männliche und weibliche Verwandte” (“все дети и дети детей, мужского и женского пола родственники») [Liu Maotsai, 1958, Bd. I, S. 9], «все дети и дети детей, родственники умершего по муж-

ской и женской линии» («Чжоу шу» 周書) [Лю Маоцай, 2002, с. 21], “Seine Familienangehörigen und Verwandten” («его члены семьи и родственники») [Liu Mau-tsai, 1958, S. 42], «члены его семьи и родственники» («Суй шу» 隋書) [Лю Маоцай, 2002, с. 23]. А. Ташагыл переводил на турецкий язык соответствующий отрывок в «Тун дьянь» 通典: “ogulları, torunları bütün akrabaları kadın-erkek hepsi” («сыновья, внуки [и] все родственники мужчины и женщины») [Taşağıl A., 2003a, s. 98], в «Цэ-фу юань-гуй» 冊府元龜: “ogulları torunları ve bütün akrabaları kadın-erkek hepsi” («сыновья, внуки и все родственники мужчины и женщины») [Taşağıl A., 2003a, s. 112]. В переводе Б. Еженханұлы на казахский язык: «Суй шу» 隋書 – «отбасындағылар мен туыс-туғандарының барлығы» [Қазақстан тарихы, 2006, 67 б.], по «Чжоу шу» 周書 – «ұрпақтары мен туған-туысқан ер-әйелі» [Қазақстан тарихы, 2006, 123 б.]. В переводе Г. Кара по «Чжоу шу» 周書: «Oğulları, torunları ve kadın-erkek akrabaları» [Kara G., 2015, s. 552].

На самом деле в оригинальном тексте «Чжоу шу» 周書 написано: *цзи сунь цзи чжу цинь шу нань ню гэ* 子孫及諸親屬男女各 (Чжоу шу, цз. 50, с. 5а), т.е. букв. “[из] детей, внуков и различных родственных категорий мужчин и женщин каждый”, в «Суй шу» 隋書: *цзя жэнь цзинь шу до* 家人親屬多 (Суй шу, цз. 84, с. 2б) – “членов семьи [и] различных родственников [по крови] множество”. И. Эчеди полагала, что в этом фрагменте «Чжоу шу» 周書 иероглиф *цзи* 及 здесь разделяет членов семьи (расширенной) и свойственников, что как будто подтверждается текстом «Суй шу» 隋書, где в сочетании *цзя жэнь цзинь шу* 家人親屬, по мнению исследовательницы, шла речь о “the household”’s “family members”» (членах одного семейного домохозяйства) [Ecsedy H., 1977, p. 11]. Линь Гань видел здесь патриархальную семью [Lin Gan, 2000, s. 361, 362–363]. Наиболее вероятно полагать, что китайский источник очерчивает именно круг членов одной семейно-родственной группы [Абрамзон С.М., 1973, с. 297].


В этом плане интересна строка 3 енисейского памятника Уюк-Туран: *qanım tölbäri qara bodun külüg qadašim äsizim içčim är üküš är oylan är küdägülärim qiz kälänlärim bökmädim* (Е 3, стк. 6)<sup>75</sup>, где следует обратить внимание на сочетание *oylan är küdägülärim qiz kälänlärim*. Переводится эта конструкция всеми учеными различно. Так, у В.В. Радлова “...den Soldaten (Jünglingen), Helden, meinen Schweigersöhnen, Töchtern und Schweigertöchtern” («...солдаты (юноши), герои,

<sup>75</sup> О слове *tölbäri* 𐰣𐰆𐰇𐰏 см.: [Боргояков М.И., 1970, с. 89; Потапов Л.П., 1972]. Мы не можем принять ни критику, ни поправки М. Эрдаля, вслед за Л. Базеном предлагающим читать *töl-böri* [Erdal M., 2002, S. 61–62 Anm. 29] (см. также: [Aydın E., 2012b, s. 163–164]), потому что, согласно нормам памятников древнетюркской рунической письменности, губной гласный должен был выписываться в этом случае, поскольку предполагалась бы изафетная конструкция, где *\*böri* выступало бы самостоятельной лексемой. У Т. Текина также безосновательно *Töl Böri* [Tekin T., 2006, s. 232]. Ср. *böri* 𐰣𐰆𐰇 в других енисейских (Е 11, стк. 6; Е 12, стк. 1; Е 98, стк. 4) и орхонских текстах (КТб, стк. 12 = БК, X, стк. 11).

мои зятья, дочери, и невестки») (Цит. по: [Vámbéry Н., 1898, S. 92]), у Х. Намыка (Оркуна) – “...er; genç adamlar, güveğilerim kız (ve ?) gelinlerim...” («...мужчины; молодые люди, мои зятья, дочери (и?) невестки...») [Orkun Н.Н., 1994, s. 450], у А.Н. Бернштама – «...всех мужчин, сыновей и зятей, невесток...» [Бернштам А.Н., 19466, с. 155], у С.Е. Малова – «...моих народных героев, многих мужей, солдат и моих зятьев, моих молодухек...» [Малов С.Е., 1952, с. 19], у И.В. Кормушина – «...молодые воины, мои зятья, мои невестки...» [Кормушин И.В., 1997, с. 193; 2008, с. 94]. Г. Вамбери пытался видеть на месте лексемы *är* аффиксы множественного числа [Vámbéry Н., 1898, S. 92]. По мнению А.Н. Кононова, в сочетании *är oylan* первая лексема является специальным словом, обозначающим принадлежность к полу, ввиду чего все сочетание следовало бы переводить ‘мужское потомство’ [Кононов А.Н., 1980, с. 163], а по поводу *är küdägülärim qiz kälänlärim* он высказался, что *är* и *qiz* в данном случае могут играть роль определителей [Кононов А.Н., 1980, с. 145, прим. 4]. В переводе Э. Айдына ‘...erkek çocuklarım, erkek güveyleirim, kızlarım ve gelinlerim...’ [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 28]. В оригинале каждая лексема отделена словоразделителем:  $\text{ÄR YÜYÜĞ: HİH: ÄR YÜYÜĞ: QIZ KÄLÄN LÄRİM}$  [Orkun Н.Н., 1994, s. 450; Малов С.Е., 1952, с. 19; Васильев Д.Д., 19836, с. 15 (транслитерация), 59 (прорисовка), 84 (фотография); Кормушин И.В., 1997, с. 192; 2008, с. 93; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 27]. Перед *oylan* нет лексемы *är*, она относится к предыдущей конструкции, так же, как и *är*, следующая за *oylan*, относится не к следующей *küdägülärim*. Предпочтительнее смотрелся бы перевод: ‘...молодые воины, [мои] зятья, дочери и [мои] невестки...’.

Перед перечисленными здесь категориями названы *qanım tölbäri qara bodun küliüg qadaşım äsizim içiçim är üküš är*, то есть хан, рядовой народ *tölbäri*, известные лица категории *qadaş-ım*, затем дядья и старшие братья, многочисленные воины. Служебный послелог *äsiz-im* разделяет две группы объектов, с которыми прощается мемориант: в первую входят находящиеся выше или равные ему по статусу (хан, народ, знаменитые *qadaş*), во вторую – родственники.

Термин *qadaş*  $\text{ÄR H}$  не встречается в орхонских памятниках, хотя фиксируется в более поздних уйгурских текстах. У Махмұда ал-Қашғарү *qadaş* ‘kardeş gibi yakın olan hısım’ (‘как брат, близкий родственник’) [Divanü, 1985, с. I, s. 369], ‘kinsman’ (*al qarīb mina’l-iḥwān*) [Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 284], ‘близкий родственник’ [Махмұд ал-Қашғарү, 2005, с. 351], ‘близкий родственник, как брат’ [Махмұд ал-Қашғарү, 2010, с. 308], аналогичная форма в «Кутадгу билиг» [Древнетюркский словарь, 1969, с. 404]. В большинстве современных тюркских языков он представлен в значении ‘брат’ [Радлов, 1899, ч. 1, стб. 202]. Х. Намык (Оркун) переводил как ‘hısım, akraba’ (‘родня, родственник’) [Orkun Н.Н., 1994, s. 832]. По мнению А.Н. Бернштама, так именуются члены общины [Бернштам А.Н., 19466, с. 111]. Он буквально переводил термин как ‘сообщник’, возводя его к *qat* ‘сторона, бок’ и *aş* ‘товарищи’, и пола-

гал, что это были зависимые люди меморианта [Бернштам А.Н., 1946б, с. 119, 126, 155, 160]. А. фон Габэн переводила как ‘Verwandter durch Heirat, Freund, Bruder’ (‘родственник по браку, друг, брат’) [Gabain A. von, 1950, S. 325, 63], С.Е. Малов – как ‘товарищ, родной’ [Малов С.Е., 1951, с. 409]. А.М. Щербак переводил его как ‘родич, родственник, представитель того же самого рода’ [Щербак А.М., 1964, с. 146], позже на основе употребления термина в современных тюркских языках – ‘родственник, брат’ [Щербак А.М., 1997, с. 36]. И.А. Батманов переводил ‘друг, приятель’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 223]. И.В. Кормушин переводил в енисейских текстах как ‘родич, родственник, родной, родные’, в более поздних памятниках – ‘брат’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 401]. Сэр Дж. Клосон приводит значение ‘member of the same family, kinsman’ (‘член той же семьи, родственник’), дополняя, что “sometimes used more vaguely for ‘neighbour, comrade, friend’” («иногда использовалось более широко в значении ‘сосед, товарищ, друг’»), для енисейских памятников он предлагает толкования ‘kinsfolk, fellow, clansmen’ (‘родня, сообщники, члены клана’) [Clauson G., 1972, p. 607]. У. Йохансен поддерживает именно второе значение [Johansen U., 1994, S. 75]. А.Н. Кононов перевел *qadaš* как ‘родственник’ [Кононов А.Н., 1980, с. 87]. Т. Текин переводит ‘akraba, arkadaş, yoldaş’ (‘родственник, друг, соратник’) [Tekin T., 2003, s. 245]. И.Л. Кызласов полагает, что этим термином именовали друг друга воины-соратники, представители одного поколения [Кызласов И.Л., 1994, с. 85–86]. В последних работах И.В. Кормушин осторожно указывает, что *qadaš*, видимо, изначально обозначало родственников обоего пола из рода отца [Кормушин И.В., 1997, с. 194, 195]. С.А. Угдыжеков полагает, что в енисейских текстах у термина может быть отмечена семантика ‘такие же, как я; подобные, равные мне’. По мнению исследователя, «данное название применялось мемориантами енисейской руники к представителям своего социального слоя» [Угдыжеков С.А., 2000, с. 20]. М. Эрдал переводит ‘Verwandten’ [Erdal M., 2002, S. 57], Э. Айдын – ‘akraba’ [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 503]. Некоторые авторы возводят термин к лексеме \**qa-* ‘семья’ < кит. *jiā* 家 id. [Gabain A. von, 1950, S. 63; Кононов А.Н., 1980, с. 99, прим. 68; Tekin T., 2003, s. 81], другие предлагают этимологизировать от *qat* [Radloff W., 1897, S. 54–55; Doerfer G., 1967, S. 566]<sup>76</sup>. Ср. более позднее *qa qadaš* ‘родственники’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 399; Clauson G., 1972, p. 578], похоже, представленное в енисейских надписях единственный раз в памятнике Хемчик–Чиргакы в стяженной форме *qayadaš-īm*  (Е 41, стк. 3) ‘родственник, родич’ [Orkun H.N.,

<sup>76</sup> Ср. у В.В. Радлова вариант *kadaui* ‘die gemeinsame Gefährte’ < *kada* + *äš* [Radloff, 1897, S. 54]. Этимология Махмұда ал-Қашғарұ от *qa* ‘сосуд’ + афф. *-daš*, где сосуд фигурально подразумевает утробу матери, кажется в большей степени народной [Divanü, 1985, I, s. 407; Maḥmūd al-Qāshğarī, 1982, p. 309; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 383; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 335].



1994, s. 489, 490; Малов С.Е., 1952, с. 73, 74; Древнетюркский словарь, 1969, с. 405; Tekin T., 1999, s. 7, 9; 2003, s. 245; Кормушин И.В., 2008, с. 132, 133; Useev N., 2011, s. 392, 393; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 109].

Вообще термин *qadaş* встречается в самых разнообразных ситуациях. Наравне с ним в енисейских надписях фигурируют старшие и младшие родственники, *eşi* и *ini* соответственно. Бег именуется *qadaş-ım* своих *är*'ов (Е 10, стк. 2). От лица другого меморианта называются *küliüg qadaş-ım* '[мои] славные товарищи' (Е 3, стк. 6). В памятнике Чаа-Холь Х упомянуты в падежной форме *bäg-imkä qadaş-imqa* '[мой] бег [и] [мои] товарищи' (Е 22, стк. 2). В памятнике Бай-Булун II упомянуты *jüz qadaş-ıma* 'сто [моих] товарищей' (Е 49, стк. 1), в тексте памятника из Минсусинского музея *tört qadaş-ım* 'четверо [моих] товарищей' (Е 50, стк. 3). В памятнике Бегре при перечислении идет сначала *qadaş-ım*, потом *qunčuj* (Е 11, стк. 1), в памятнике д. Означенное идет сочетание *qunčuj-ım qadaş-ım* (Е 25, стк. 1). Х. Намык (Оркун) перевел 'prensесim, arkadaşım' ('моя принцесса, мой товарищ') [Orkun H.N., 1994, s. 514], С.Е. Малов трактовал как 'с моими принцессами и моими товарищами' [Малов С.Е., 1952, с. 46]. По И.В. Кормушину, выражение следует переводить как 'мои супруги, мои соратники' [Кормушин И.В., 1997, с. 38]. У Э. Айдына здесь 'eşimden, akrabalarımдан...' [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 74]. В памятнике Алтын-Кöль II термины начертаны наоборот: *qadaş-ıma qunčuj-ıma* (Е 29, стк. 5). Последнее сочетание Х. Намык (Оркун) переводил 'arkadaşımдан, prensесimден' ('[от] моих товарищей, [от] моих принцесс') [Orkun H.N., 1994, s. 514], С.Е. Малов – 'от приятелей (лучше приятельниц?) и принцесс' [Малов С.Е., 1952, с. 56], С.Г. Кляшторный переводит как 'подруг-княжен' [Кляшторный С.Г., 2006, с. 337], Э. Айдын – 'akrabalarımдан, eşimден' [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 87]. И.В. Кормушин не читает первого слова [Кормушин И.В., 1997, с. 71]. Детерминатив *quj-da*, стоящий перед сочетанием в тексте, указывает на то, что оно является не сочетанием однородных членов, а представляет собой случай препозиционного примыкающего определения [Кононов А.Н., 1980, с. 214], в функции которого выступает лексема *qadaş-ım*.

Есть еще интересные выражения *eş-ım qadaş-ım* (Е 18, стк. 4) и *eş-ım qadaş-larım* (Е 16, стк. 2), в последнем из которых представлен единственный случай употребления термина *qadaş* во множественном числе, а *eş* в обоих – 'друг, приятель, сподвижник' [Древнетюркский словарь, 1969, с. 184–185; Clauson G., 1972, p. 253–254]. Возможно, этот же термин упомянут в тринадцатой надписи на р. Талас: *iş qulı(a) siz özüm(a)* 𐰽𐰺𐰍𐰏𐰚𐰏𐰚𐰚𐰚𐰚𐰚𐰚𐰚 «О его сподвижники и слуги! О вы, мои кровные!» (Тал XIII, стк. 2) [Джумагулов Ч., 1982, с. 20] (Ср.: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 298]). У Махмұда ал-Кāшғарū здесь значение 'eş, arkadaş' ('приятель, товарищ') [Divanü, 1985, с. I, s. 61], 'companion' (*sāhib*) [Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 96], 'товарищ'





[Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 85; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 89]. Речь идет о лексеме *eš* ‘друг, приятель, сподвижник’ и т.п. со вторичными значениями ‘подобный’, ‘равный’, а также ‘близкий’ и др. [Древнетюркский словарь, 1969, с. 184–185, 214; Clauson G., 1972, p. 253–254; Севортян Э.В., 1974, с. 313–315; Rybatzki V., 2006, S. 171]; ср. ‘друг, товарищ, опора’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 246]. Интересным видится предположение о возможности смещения семантики в сторону значения ‘союзный’ [Кормушин И.В., 2004, с. 170; Кляшторный С.Г., 2013, с. 227, 228]. К.М. Мусаев предполагает возможную связь термина с *\*eš* ‘быть таким же’ [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 314; Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 519]. Г.Ф. Благова полагает, что «в период первобытных общественных отношений» термин *eš* обозначал «лиц, связанных узами родства в составе одной родоплеменной группы», впоследствии же стал употребляться в значении ‘сотоварищ’, ‘спутник’ [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 660].

Интересно встреченное в тексте Кара-Булун I сочетание *jüz inal qadaš-ım* (E 65, стк. 2). Ынал, по Махмұду ал-Қашғарұ, «у кого мать хатун, отец из простых людей, всем молодым дают имя» [Divanü, 1985, с. I, s. 122; Махмұд ал-Қашғарұ, 1982, p. 147; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 151; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 142–143]. Скорее всего, обозначает людей знатного происхождения (ср.: [Древнетюркский словарь, 1969, с. 209, 218]): ‘somebody trusted by the ruler (an office at court)’ < *\*inā-* \*‘to trust’ + *-(X)l* [Bosworth C.E., Clauson G., 1965, p. 10; Erdal, 1991, vol. I, p. 331; Şirin User H., 2009b, s. 89]. И.В. Кормушин перевел как ‘высокородные товарищи’ [Кормушин И.В., 1997, с. 143]. В тексте Чаа-Холь XI *inal* выступает как часть титула (E 23, стк. 2). Это имя известно в таласских (Тал IX, стк. 2) [Джумагулов Ч., 1963, с. 20] и в древнеуйгурских буддийских текстах [Zieme P., 1978, S. 72–73]. А. фон Габэн переводит как ‘minister’, ‘hohem Beamtentitel’ (‘министр’, ‘высокое чиновничье звание’) [Gabain A von, 1950, S. 72, 309], ср. “used normally (or only?) as a title of office, ‘confidential minister’ or the like, not necessarily of very high rank; in this meaning it survived a long time and was current, for example in the Selcuk empire, sometimes for quite junior officials” [Clauson G., 1972, p. 187].

Таким образом, *qadaš* не имеет определенного значения, хотя явно намекает на условное равенство тех, по отношению к кому он употреблен, и меморианта. Видимо, термин является общим обозначением окружения последнего, в которое могут входить как родственники различной степени родства, так и товарищи, для обозначения которых существует конкретный термин *eš*. Иначе говоря, *qadaš* – скорее всего, члены одной племенной группы меморианта, соседи, сообщники.

Поэтому и строку 3 текста Уюк-Туран предпочтительнее переводить как «[мой] хан, *төлбәри* (?) простой народ, славные [мои] сообщники (или товарищи)

щи), жалко, [мои] дядя [и старшие братья], многочисленные воины, молодые воины, [мои] зятья, дочери и [мои] невестки...»<sup>77</sup>.

В паре с *qadaş* в енисейских памятниках встречается термин *kin*. В тюркских языках не фиксируется формы *kün* с «женскими» значениями. В 1964 г. А.М. Щербак исправил чтение *künimä* на *kinimä* для строки 5 памятника Кызыл-Чираа II (см.: [Малов С.Е., 1952, с. 80]), специально отметив его необычность [Щербак А.М., 1964, с. 142, 146]. Выражение *kadaşım kinimä* он перевел как ‘моих родственников и родственниц’ [Щербак А.М., 1964, с. 142]. В таком виде памятник был издан Д.Д. Васильевым [Васильев Д.Д., 1983б, с. 31 (транслитерация), 68 (прорисовка), 109 (фотография)]. По мнению внимательно изучавшего оригиналы енисейских надписей И.В. Кормушина [Кормушин И.В., 1997, с. 194; 2008, с. 281–282], на самом деле этот термин везде должен читаться как *kin-im* , а не *kün-im* , как считалось ранее (памятники Е 3, стк. 1; Е 11, стк. 6, Е 45, стк. 7) [Orkun H.N., 1994, s. 449, 482; Малов С.Е., 1952, с. 16–17, 31, 81–82; Васильев Д.Д., 1983б, с. 15, 59, 112 (Е 3, стк. 1), 20, 61, 92 (Е 11, стк. 6), 31, 69, 109 (Е 45, стк. 7)]. Так, у Дж. Клосога дается чтение *ekin* [Clauson G., 1972, p. 109], у Т. Текина *ken, kin* ‘akraba’ (родственник) [Tekin T., 2003, s. 247]. Написание с корневым закрытым /e/ фиксируется в текстах Хербис-баары и Элегест I *ken-imä*  (Е 10, стк. 12; Е 59, стк. 8) [Кормушин И.В., 1997, с. 246, 236; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 41, 140, 141] (ср.: [Васильев Д.Д., 1983б, с. 18 (транслитерация), 60 (прорисовка), 89 (фотография), 34 (транслитерация), 71 (прорисовка), 112 (фотография); Tekin T., 2003, s. 162]). Характерно, что в тексте Хербис-баары строкой выше начертана форма *kin-im* с со знаком /l/  (Е 59, стк. 7) [Кормушин И.В., 2008, с. 246; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 140, 141].

И.В. Кормушин указывает, что в енисейских текстах термин *kin* используется для женских родственников, хотя изначально, возможно, он маркировал родственников по матери. По мнению ученого [Кормушин И.В., 1997, с. 195–196], термин этимологически восходит к *kin* ‘чрево; женские половые органы’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 307] (Ср. также: *kindik* ‘пупок’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 308]). В другой работе он предложил иную этимологию слова, объясняя ее как форму термина *kelin* (*kelin* ‘невеста’ > *kenni* ‘его невеста’), видоизмененную в связи с особенностями тувинского языка (буква *-i-* в середине слова редуцируется, в результате чего происходит ассимиляция: *kinim* < \**kinnim*). Семантика термина сводится к значению ‘свойственница, женщина, принятая в наш род по браку’ [Кормушин И.В., 2008, с. 281–283]. Ср. формы также в саларском [Li Yong-Söng, 1999, s. 248] и чувашском [Doerfer G., 1967, S. 656–657] языках.

<sup>77</sup> Д.Г. Савинов считает, что речь идет о «большой неразделенной (патриархальной) семье» [Савинов Д.Г., 2013, с. 282], что, конечно, безосновательно. См. очерк «Форма семьи у кочевников Центральной Азии тюркского времени».

В строке 7 надписи Хербис-баары содержится богатая информация по составу енисейской (кыргызской?) общины: *urī qadašim üč kinim qiz qadašim üč jenčī* (Е 59, стк. 7) [Кормушин И.В., 2008, с. 246] ‘мои сообщники мужского потомства, три мои сродственницы (?), мои сородичи женского потомства, три наложницы’. Здесь *kin-im* стоят перед *qiz qadaš-im*, что в целом подтверждает их более высокое значение (близкое родство?) для меморианта, но более низкое, чем *urī qadaš-im*. А.М. Щербак полагал, что *urī qadaš* означает ‘мужчины-родственники младшего поколения’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 614], а *qiz qadaš* означает ‘сестра’ [Щербак А.М., 1997, с. 36]. Если это так, то сестры на самом деле в тот период имели меньшую социальную значимость, очевидно, уйдя в чужую семью, нежели принятые в семью женщины.

И.В. Кормушин полагает, что в целом *qadaš* должно переводиться как ‘единокровный родственник, сородич’ [Кормушин И.В., 2008, с. 279]. Тем не менее, по его наблюдениям, в енисейских текстах термин выступает в двух значениях: (1) только мужчины данного рода; (2) довольно многочисленная группа родственников. Ученый считает, что изначально термин применялся в пределах большой архаичной семьи, включавшей членов различных поколений, затем же с сокращением круга лиц, входящих в семью, перешел на братьев, тем более что в тюркском языке отсутствовал обобщающий термин для этого понятия [Кормушин И.В., 2008, с. 280–281]. Сочетание же *kin qadaš* следует рассматривать как расширенное сообщество родственников, пополнившееся за счет родичей по женской линии.

Сказать, насколько данное мнение И.В. Кормушина обосновано, возможно только после более или менее точного определения хозяйственно-культурного типа населения Тувы и Хакаско-Минусинской котловины в древнетюркский период. По отношению же к кочевникам, во-первых, ни о какой большой семье речи быть не может, во-вторых, не может быть и эволюции форм семейно-родственной организации. Например, у кумандинцев, которые не являлись кочевниками, были распространены как малые, так и большие семьи, переходящие в патриархально-семейные общины [Сатлаев Ф.А., 1975].

Термины *kin* и *qadaš* употребляются вместе в разном порядке: как *kin-im qadaš-im* (Е 3, стк. 1), *kin-imä qadaš-ima* (Е 11, стк. 5), так и *qadaš-ima kin-imä* (Е-10, 12; Е-45, 7), *qadaš-im kin-imä* (Е 44, стк. 4). В одном из памятников написано *bodun-ima kin-imä qadaš-ima* ‘[от] [моего] народа, [моих] женщин, [моих] товарищей’ (Е 11, стк. 5). Мемориант надписи Кёжээлиг-Хову прощается со своими так: *qadaš-ima kin-imä äsиз-imä oylan-im äsиз-imä* ‘[мои] товарищи [и] [мои] женщины, жаль, [мои] дети, жаль’ (Е 45, стк. 7). Исключительно на основе противопоставления *qadaš* и *kin* возможно предполагать, что он обозначал женщин-сообщниц, как полагает С.А. Угдыжеков, равных меморианту по социальному положению [Угдыжеков С.А., 2000, с. 20–21]. Косвенным подтверждением этому предположению является и наличие в строке 7 надпи-

си Хербис-баары фраз *urī qadaš-īm* и *qiz qadaš-īm* (Е 59, стк. 7), которые, видимо, в сочетании с определенными детерминативами обозначали ‘братьев’ и ‘сестер’<sup>78</sup>.

Учитывая, что мемориант прощается с *qadaš* и *kin*, вполне естественно предположить, что они присутствовали на его похоронах. С точки зрения кочевой общины в круг участников погребальных и поминальных церемоний входили лишь члены общины – семейно-родственной группы.

В таласских надписях достоверно фиксируется термин *uja* (𐰇)𐰣 (Тал II, стк. 5; Тал XIII, стк. 3) [Orkun H.N., 1994, s. 326, 327; Малов С.Е., 1959, с. 60, 61; Джумагулов Ч., 1982, с. 12; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 285, 286], в более поздних памятниках означающий ‘брат, родственник’ (*al-ah wa'l-qarīb*), ‘птичье гнездо’ [Divanü, 1985, I, s. 85; Orkun H.N., 1994, s. 877; Gabain A. von, 1950, S. 248; Малов, 1952, с. 111; Древнетюркский словарь, 1969, с. 607; Clauson G., 1972, p. 267; Maḥmūd al-Kāšġarī, 1982, p. 121; Щербак, 1997, 38; Tekin, 2003, s. 257; Махмūd ал-Қашġарū, 2005, с. 117; Махмūd ал-Қашġарū, 2010, с. 116]. Судя по всему, он встречается и в енисейском памятнике Чаа-Холь III: *elig ujamya adirildim* ‘[от] пятидесяти родственников [я] отделился’ (Е 15, стк. 3) [Orkun H.N., 1994, s. 117, 118; Малов С.Е., 1952, с. 37, 38; Насилов В.М., 1960, с. 60; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 53], а также в тексте Алтын-Кöль I (Е 28, стк. 3) [Orkun H.N., 1994, s. 511, 512; Малов С.Е., 1952, с. 53; Кляшторный С.Г., 2006, с. 335, 336; Кормушин И.В., 1997, с. 80; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 83]. Интересно его употребление в надписи Тепсей XI в контексте *öz ara ujasi* (Е 126) [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 217]. Так, в стихе, приводимом у Махмуда ал-Қашġарū, встречается сочетание *uja qadaš* ‘брат’ [Divanü, 1985, I, s. 86; Maḥmūd al-Kāšġarī, 1982, p. 121; Махмūd ал-Қашġарū, 2005, с. 118; Махмūd ал-Қашġарū, 2010, с. 117], – где первая лексема выполняет функцию детерминатива, – которое доказывает общее значение второго как обозначение сообщника (ср.: ‘родственники’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 607]). По мнению С.А. Угдыжекова, несмотря на недостаточность данных, исходя из имеющегося спектра значений, можно предположить, что речь идет о единице, связанной с кровным родством, типа клана или же семейной общины [Угдыжеков С.А., 2000, с. 15]. Например, у алтайцев *yūa* обозначает ответвление, включающее потомков одного человека, считавшееся до 7, 9, 12 колена [Тюхтенева С.П., 2011, с. 105].

В енисейских текстах встречается термин *adaš* 𐰇𐰣 (Е 11, стк. 9) [Малов С.Е., 1952, с. 31, 32; Кормушин И.В., 1997, с. 272, 273; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 45] ~ *adas* 𐰇𐰣 (Е 26, стк. 11) [Orkun H.N., 1994, s. 545; Малов С.Е., 1952, с. 50; Кормушин И.В., 1997, с. 20] (ср., однако: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 77]), ‘друг, приятель, товарищ’ [Батманов И.А.,

<sup>78</sup> См. очерк «Возрастная дифференциация социума тюрков Центральной Азии».

Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 223; Древнетюркский словарь, 1969, с. 9; Tekin T., 2003, s. 237; Кормушин И.В., 2008, с. 287]. И.Л. Кызласов считает *adaš*, как и *eš*, наименованием воинами своих сверстников («друзья») [Кызласов И.Л., 1994, с. 86]. Контекст более поздних буддийских памятников позволяет интерпретировать термин в значении ‘супруга’, т.е. ‘спутница (жизни?)’ [Zieme P., 1992, S. 309]. У Махмұда ал-Қашғарұ толкуется ‘приятель, друг’ (*al-hidn*) [Divanü, 1985, с. I, s. 61; Orkun H.N., 1994, s. 511; Clauson G., 1972, p. 72; Maḥmūd al-Kāšgarī, 1982, p. 104; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 14; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 99]. Ср. еще ‘kardeş, kardeş edinilmiş olan’ (‘брат, ставший братом’) [Ata A., 2000, s. 71]. В «Кутадгу Билиг» приводится мудрая мысль *adaš edgü bolsa bu boldi qadaš* ‘друг, когда он хорош, становится родным’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 9]. Из ее контекста следовало бы, что *adaš* был дальше, чем *qadaš*<sup>79</sup>. Но необходимо делать упор на то, что источник создан в среде оседлых тюрков, где семантика многих терминов уже была переосмыслена в связи с условиями их быта. Оба термина встречаются также в «Хуастуанифт» – памятнике, переведенном на тюркский язык в VIII в. и записанном уйгурским письмом: *adas (adaš?)* 𐰽𐰺𐰍, *qadas (qadaš)* 𐰽𐰺𐰍𐰆 (Chuast., 90), – в контексте переведенные С.Е. Маловым как ‘друзей и товарищей’ [Малов С.Е., 1951, с. 112, 118, 122]. М. Добрович склонен здесь рассматривать *qadaš* именно как ‘кровных родственников’ (‘vérokon’) [Dobrovits M., 2004, 65. o.]. Однако именно первичное положение термина *adaš* позволяет думать о его большем значении, нежели *qadaš*.

По мнению Г. Вамбери, *adaš* ‘Altersgenosse’ (‘повесник’), изначально ‘Nammensgenosse’ (‘тезка’) < *at* ‘Name’ (‘имя’) и *taš* ‘Gefährte’ (‘спутник’) [Vámbéry H., 1898, S. 100]. Ср. также у В.В. Радлова вариант *amaš* ‘die Nammensgefährte’ (‘тезка’) < *at* + *äš* [Radloff W., 1897, s. 54]. Ср. у сэра Дж. Клосона, *addaš* ‘fellow clansman’ (‘член клана’) < *a:t* ‘clan (rather than personal) name’ (‘клановое (скорее, чем личное) имя’) [Clauson G., 1972, p. 72], у Т. Текина, *adaš* < *ātdaš* [Tekin T., 1976, s. 284]. См., однако, возражения Э.В. Севортяна, указавшего на семантическую необоснованность развития значений ‘товарищ по имени’ > ‘товарищ’, ‘друг’ [Севортян Э.В., 1974, с. 204].

В этом свете важны наблюдения О. Нэдима (Туна) и И.В. Кормушина, обративших внимание на указание на существование института побратимства в енисейских эпитафиях [Туна О.Н., 1988а, s. 68–69; Кормушин И.В., 1997, с. 275; 2008, с. 20]. В тексте Бегре встречается сочетание *antliḡ adaš-īm* ‘товарищи, связанные клятвой (побратимы)’, коим противопоставляются *antsiz-da ädgü eš-īm* ‘[мои] добрые товарищи, не связанные клятвой’ (E 11, стк. 11)<sup>80</sup>. Ср.

<sup>79</sup> Неясно, из чего С.Г. Кляшторный делает вывод о «частичном совпадении семантических спектров терминов *adaš* и *qadaš*» в этой фразе [Кляшторный С.Г., 2013, с. 225].

<sup>80</sup> С.Г. Кляшторный, интерпретируя эти случаи, пишет «определенно о делении войска на княжескую дружину, состоящую из воинов-побратимов и ополчение мужей-

в «Кутадгу билиг» *andliḡ* ‘давший клятву, клятвенный’ (См.: [Древнетюркский словарь, 1969, с. 46]). Ср. также у древних монголов институт *anda* [Inan A., 1948a, s. 285–286; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 176]<sup>81</sup>. Можно привлечь материалы памятника Очуры, где противопоставляются *är adašijiz* ‘[ваши] эры-адаши’ и *är ädgüsiz* ‘[ваши] эры, не связанные добрыми [отношениями]’ (Е 26, стк. 15).

Побратимство в степи заключается в возможности останавливаться друг у друга, брать на подержание нужные вещи и скот [Гродеков Н.И., 1889, с. 40–41]. Эпические сказания тюркских и монгольских народов отразили, прежде всего, такой аспект побратимства, как взаимопомощь в военных делах [Липец Р.С., 1984, с. 96–99]. В огузском эпосе нашла отражение имевшая место в жизни традиция между близкими друзьями родниться, заключая браки между детьми [Короглы Х.Г., 1975, с. 67]. В оседло-земледельческих обществах возникновение института побратимства свидетельствовало о кризисных явлениях в общественной организации, основанной на родственных узах [Хазанов А.М., 1975, с. 107–111]. В нашем случае возможно рассматривать это явление как определенный показатель характера общества, но не уровня его развития.

Обращает на себя внимание попытка Н. Базылхана читать в стк. 7 Суджинской надписи в сочетании *Mr<sup>1</sup>MA*  $\text{𐰽𐰺𐰸𐰾}$  вместо *marim-a*, как читают обычно, толкуя как арамейское слово ‘учитель, наставник’ [Ramstedt G.J., 1913, S. 5; Бернштам А.Н., 1946б, с. 52; Кляшторный С.Г., 1959, с. 163; 165–166; Древнетюркский словарь, 1969, с. 337; Tekin T., 2003, s. 108; Айдаров Г., 1971, с. 354; Bazin L., 1990, p. 55; Sertkaya O.F., 2001, s. 311; Кормушин И.В., 2008, с. 77–81; 2009, с. 182; Şirin User N., 2009b, s. 111–112], тюркское *imirim-a* ‘ымыраласым-а (дусым-а)’ [Базылхан Н., 2005, 163 б., 255 нұсқ.]<sup>82</sup>. Так, ср. др.-тюрк. *amir-*, *amra-* ‘любить’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 41], с первичным значением ‘спасать, избавлять’, ‘защищать, заступаться’, ‘хранить, стеречь, беречь, предохранять’, ‘прятать’ < *абыр/амыр* ‘спокойствие’, ‘мир’, ‘согласие’ + глаголообразующий аффикс *-a-* [Севортян Э.В., 1974, с. 58].

---

воинов (эров)». Соответственно, из логики исследователя вытекает лишь, что дружинники в одном случае обозначаются термином *qadaš* ‘дружинники-побратимы’, в другом – *är qadaš* ‘воины-побратимы’, в третьем – *adaš* ‘соратники’, в то время как простые воины – *eš* ‘сотоварищи’ (очевидно, наравне с просто *är*) [Кляшторный С.Г., 2013, с. 224–225]. Однако такая интерпретация предполагала бы отказ от идеи существования какой-либо унификации терминологии и, соответственно, требовала бы пересмотра употребления всех этих терминов в каждом конкретном случае.

<sup>81</sup> Мнение О. Нэдима (Туны) об аналогичных корневых основах в Хушо-Цайдамских текстах [Tuna O.N., 1988a, s. 68–69], по-видимому, неверно.

<sup>82</sup> Следует отметить, что сомневался в таком чтении, похоже, и И.А. Батманов, поставивший знак вопроса после этого слова [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 64].

Впрочем, П.М. Мелиоранским еще в 1899 г. было высказано замечание о том, что «нет ни одного достоверного случая в надписях, чтобы начальное “ы” не было обозначено через Г» [Мелиоранский П.М., 1899б., с. 0153]. Интересно, что некогда Л. Базен указал, что здесь можно видеть не только *mar* ‘maitre’, но и *amir* ‘tranquillité, fait d’être sans malaise’ [Bazin L., 1964, p. 210] (ср.: [Bazin L., 1990, p. 55]; см., однако: [Clauson G., 1972, p. 159–160], где обосновывается монгольское происхождение основы \**amur*, ср.: [Кляшторный С.Г., 2007, с. 195–196]).

В этом контексте интересен другой термин. В одной из надписей из местности Дэл уул встречен термин ᠳᠡᠯᠠᠭᠤᠯᠠ, т.е. *qonit-a* с показателем вокатива [Баттулга Ц., Сүхбаатар Д., 2006, 15 дугаар тал.], возможно, близкий к зафиксированному Махмұдом ал-Қашғарұ слову *qonit* ‘близкий сородич, соплеменник’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 455; Clauson G, 1972, p. 639; Erdal M., 1991, vol. I, p. 294]. В тексте Барык I, похоже, И.В. Кормушиным читается форма *qonim* ᠳᠡᠯᠠᠭᠤᠯᠠ (Е 5, стк. 1) [Кормушин И.В., 1997, с. 210–211] (ср., однако: [Yildirim F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 32]). Так, ср.: *qōn-* ‘оседать, поселяться, избирать местом жительства’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 455] и *qonšī* ~ *qošnī* ‘сосед’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 455], в обеих формах встречающийся у Махмұда ал-Қашғарұ [Divanü, 1985, I, s. 435; Maḥmūd al-Kāšḡarī, 1982, p. 328; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 407; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 355; Древнетюркский словарь, 1969, с. 460, 461], и во второй, *košny* ‘сосед’, у Йўсуфа ал-Баласāгўнў [Радлов В.В., 1899, ч. 1, стб. 644], с обычной метатезой *nš* ~ *šn* [Кононов А.Н., 1980, с. 72], при первичной форме *qonšī* [Clauson, 1972, p. 640; Erdal M., 1991, vol. I, p. 344], сохранившейся в огузской диалектной форме [Древнетюркский словарь, 1969, с. 648]. Ср. тат. *košna* ‘сосед, соседний; сожитель’ [Радлов В.В., 1899, ч. 1, стб. 643], вост.-тюрк. *košna* ~ *košni* ‘сосед’ [Радлов В.В., 1899, ч. 1, стб. 644]. По мнению А.Н. Самойловича [Самойлович А.Н., 2005а, с. 311], термин восходит к *qon-* ‘останавливаться на ночевку во время пути, делать остановку во время кочевания, сидеть временно или навсегда’ [Радлов В.В., 1899, ч. 1, стб. 531–535]: ср. форму *qontim* в Хэн-тэйской наскальной надписи [Кляшторный С.Г., 2003, с. 277; 2006, с. 126].

Материалы об институте гостеприимства у кочевников проанализированы Абдюлькадиром Инаном. Он приводит информацию об обязанности кормить гостей и при необходимости предоставлять им лошадей, то есть давать право на *барымту*. Это опосредовано необходимостью взаимного страхования кочевников [Inan A., 1968а, s. 290–291]. Однако кроме значения ‘сосед’ в казахском языке исходный термин в соответствующей огласовке *koңsu* имеет также значения ‘человек, живущий в ауле под покровительством или подачками богатых’ и ‘бедняк’ [Радлов В.В., 1899, ч. 1, стб. 525] (См. также: [Толыбеков С.Е., 1971, с. 504]). Аналогично у тьяншаньских кыргызов *koңшу* ‘сосед’ и ‘бедный сосед (экономически зависимый от богатого)’ [Киргизско-русский словарь,



1985, т. I, с. 404]. Семантическая эволюция здесь опосредована социальными процессами.

Рассмотренная терминология енисейских текстов указывает на территориальный характер общинных связей населения долины р. Енисей в древнетюркский период. Возможно выстроить рассмотренные термины в следующий ряд, исходя из степени близости к меморианту: *uri qadaš* и *qiz qadaš* – братья и сестры, *antliŷ adaš* – побратимы, *adaš, eš* – друзья, *qadaš* и *kin ~ ken* – члены одной общины, соседи, *qoŷim-* – соседи по племени (?).

Сэр Дж. Клосон отмечает противопоставление у Махмұда ал-Қашғарұ термина *qonim* ‘a group of people living close together’ и *uŷuš* ‘a group of people related by blood, a clan’ [Clauson, 1972, p. 639].

Отдельное внимание следует уделить наличию термина *küdagü-lärim* среди родни, с которой прощается мемориант, в памятнике Уюк-Туран, что А.Н. Бернштам считал свидетельством элементов матрилокальности [Бернштам А.Н., 1946б, с. 155].

Если вновь обратиться фрагменту о похоронах тюрка, то после описания собравшихся людей китайские хронисты пишут: «В этот день и мужчины и женщины в нарядных платьях собираются на кладбище; если мужчине понравится девушка, то по возвращении в дом он посылает сватать ее, и родители редко отказывают» [Visdelou С., 1779, p. 127; Бичурин Н.Я., 1950, т. 1, с. 230; Julien S., 1864, vol. III, p. 334, 352; Parker E.H., 1899, p. 122; 1900a, p. 166; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 10, 42; Лю Маоцай, 2002, с. 21; Ташағұл А., 2003а, s. 98, 113; Lin Gan, 2000, s. 361; Қазақстан тарихы, 2006, 67, 123–124 б; Кара G., 2016, s. 552–553]. Судя по всему, брак этот заключался внутри одной родственной группы. Правда, сложно судить о степени распространенности этого явления.

В енисейских памятниках встречаются два термина свойства. Термин *küdagü* 𐰉𐰺𐰽𐰸 (Е 3, стк. 6) ‘зять’ [Gabain A. von, 1950, S. 317; Древнетюркский словарь, 1969, с. 324; Щербак А.М., 1997, с. 37], несомненно, этимологически связан с зафиксированными в более поздних памятниках словами *küdan* ‘гость’, имевшим более раннее значение ‘son-in-law’ (‘зять’) в смысле ‘daughter’s husband’ (‘муж дочери’) [Clauson G., 1972, p. 703], *küdin* ‘пиршество’ и *küdan* ‘брачная ночь’ (см.: [Древнетюркский словарь, 1969, с. 324]). По мнению К.М. Мусаева, термин может восходить к основе \**küj-* ~ \**küid-* [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 298]. Возможно, связано с *küd-* ‘беречь, стеречь, присматривать’, ‘стеречь, пасти’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 324] (см.: [Erdal M., 2015]). По мнению А.В. Дыбо, пратюркская фонетическая форма выглядела как \**küdeyü* [Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 33]. Так или иначе, здесь можно видеть отражение известного у кочевников обычая, когда зять жил в стане тестя и отрабатывал в его хозяйстве, что зафиксировано у племен *те-лэ* 鐵勒 [Бичурин Н.Я., 1950, т. I,

с. 215; Кюнер Н.В., 1961, с. 39; Материалы, 1984, с. 268, 401, прим. 14; Pulleyblank E.G., 1990, p. 24; Қазақстан тарихы, 2005, 24 б.]<sup>83</sup>.

Другой термин – *qadīn* **ᠠᠳᠢᠨ** ‘родственник со стороны мужа и жены’ [Щербак А.М., 1997, с. 37; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 309] или ‘тесть’ (Е 17, стк. 2) [Древнетюркский словарь, 1969, с. 402–403; Кормушин И.В., 1997, с. 156; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 57]. Ср. у А. фон Габэн ‘Schwiegevater’ (‘тесть’) [Gabain A von, 1950, S. 325]. Любое из значений может быть первичным [Clauson G., 1972, p. 602]. По К.М. Мусаеву, термин имел первоначальную форму \**qajīn* и мог быть связан с \**qatīn* (> *qatun*) [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 309] и, соответственно, с *qat-* ‘смешиваться’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 432]. У Махмұда ал-Қашғарұ в *qadīn* значении ‘кауын, дүнүр, һисим’ (шурин, сват, родня) [Divanü, 1985, с. I, s. 403], ‘отец жены, тесть; родственники-мужчины по браку’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 439], ‘relation by marriage’ (*sihr*) [Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 307], ‘родственники со стороны жены’ [Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 380], ‘мужская родня по браку’ [Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 332], но у него же приводится интересная пословица: *qadaş tämiş qajmaduq, qadīn tämiş qajmiş* ‘сказали: родственник [пришел] – [никто] не отозвался; сказали: [пришла] родня по браку (тесть, шурин) – отозвались тотчас’, что он поясняет: «Она употребляется в качестве совета жениху проявить уважение к родственникам по браку» (цит. по: [Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 332]; ср.: [Divanü, 1985, с. I, s. 403; Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 307; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 380; Древнетюркский словарь, 1969, с. 404]). Это важное указание на то, что родственники жены традиционно не входили в категорию *qadaş*.

В тексте Чаа-Холь V после тестя (*qadīn-im*), за которого погиб мемориант (*qadīn-im ücün öl-dim*), упомянуты *içi-m jurč-im* (Е 17, стк. 2) [Малов С.Е., 1952, с. 39; Кормушин И.В., 1997, с. 156; 2008, с. 109; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 57], где второй (**ᠶᠢᠴᠢᠮᠵᠢᠷᠴᠢᠮ**) означает младших родственников со стороны жены [Кормушин И.В., 1997, с. 156; 2008, с. 287; Древнетюркский словарь, 1969, с. 282]. У Махмұда ал-Қашғарұ под этим термином значится младший брат жены (*al-aḥ almar’a al-şağīr*) [Divanü, 1985, с. III, s. 7; Maḥmūd al-Kāšğarī, 1984, p. 149; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 745; Gömeç S., 2002, s. 142], т.е. шурин. Дж. Клосон определяет как ‘one’s wife’s younger brother; younger brother-in-law’ (‘младший брат жены кого-то; младший шурин’) [Clauson G., 1972,

<sup>83</sup> У сырдарьинских огузов подобная практика использовалась вместо уплаты калыма среди безродных и сирот, которые уплатить не могли [Агаджанов С.Г., 1980, с. 229]. Этот обычай известен также и у монголов, у которых он бытовал довольно долго [Викторова Л.В., 1983, с. 60]. Таким образом, мы имеем информацию, позволяющую нам говорить о как минимум двух формах брака: договорной и покупка невесты. Первая, видимо, распространялась в пределах одной семейно-родственной группы, что значительно облегчает условия заключения брака, а также достаточно выгодно при невозможности заплатить большой калым. Вторая форма могла быть характерна для межгрупповых связей.

р. 958]. Судя по материалам южно-сибирских тюркских языков и якутского языка [Li Yong-Söng, 1999, s. 286–287], именно значение младшего брата жены следует считать основным. Возможно, мемориант не имел никого из старших родственников ближе, чем *iči* ‘старший брат’ (?), и находился под опекой *qadın*. И.В. Кормушин, однако, считает нелогичным включение термина родства *iči* между двумя терминами свойства, отмечая, что, возможно, он употреблен как почтительный эпитет к *jurč* и это, в сочетании с выдвиганием на первый план *qadın*, является косвенным свидетельством того, что зять мог иметь подчиненное положение в семье тестя [Кормушин И.В., 2004, с. 234; 2008, с. 109] (см. выше).

Встреченный в тексте Кюль тегина термин *jurčün* 𐰇𐰏𐰪𐰩𐰰 (КТб, стк. 31) до сих пор не получил четкой интерпретации. Если исходить из толкования двух последних знаков в качестве аффикса, графическое обозначение гласного может указывать на наличие аффикса винительного падежа лично-притяжательного склонения 3-го лица [Левин М.Г., 2006а, с. 23]. Поэтому слово можно рассматривать как термин родства [Orkun H.N., 1994, s. 44, 897; Giraud R., 1960, p. 81; Tekin T., 1968, p. 268, 408; 1998, s. 47, 116; 2003, s. 260; Кормушин И.В., 2004, с. 128–129] или производное от глагола *jurī-* [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 120]<sup>84</sup>. Ср.: *jur(i)č* ‘Trabanten (?)’ (‘спутник (?)’) [Gabain A. von, 1950, S. 356], *jurčын*<sup>2</sup> ‘вожди’ [Малов С.Е., 1951, с. 40], но возможно, что это личное имя [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 120; Giraud R., 1960, p. 82; Древнетюркский словарь, 1969, с. 44, 239] (См. также: [Кляшторный С.Г., 2003, с. 134, прим. 56]).

Таким образом, на тюркском материале возможно говорить о внутригрупповых браках, на енисейском – о межгрупповых, хотя по тем же источникам тюрки и кыркызы имели схожую систему общественных отношений.

В целом возможно констатировать, что выстраиваемая на основе анализа терминологии енисейских рунических текстов структура общины вполне соответствует представлениям о характере кочевнической общины. Терминология енисейских памятников позволяет выделить несколько категорий членов общины в зависимости от их степени близости к меморианту, среди которых встречаются как непосредственно кровные родственники, братья и сестры, так и лица, видимо, не состоявшие, по крайней мере, в близком родстве с мемориантом, но иногда записываемые в категорию его ‘друзей’. Выделяется также институт побратимства, имевший особое значение в кочевнических обществах.

---

<sup>84</sup> См. также мнение В. Банга, считавшего *juruč* словом, обозначавшим ‘пешее войско, пехота’ (‘Fussarmee, Infanterie’) [Bang W., 1898b, s. 38].

## ФОРМА СЕМЬИ У КОЧЕВНИКОВ ТЮРКСКОГО ВРЕМЕНИ

В отношении проблемы социальной структуры тюркского общества вопрос о форме семьи как элемента общественной организации имеет вспомогательное значение. Однако его изучение определяется необходимостью понимания факторов распределения хозяйственных и социальных функций между индивидами в рамках определенного сообщества, начиная с семьи как минимальной социальной ячейки. Сама форма семьи, в свою очередь, в значительной степени определяется потребностью адаптации социума к хозяйственным условиям. Таким образом, речь идет о возможности использования данных о форме семьи для определения характеристик, имеющих значение для выделения критериев социальной дифференциации, таких как отношение индивидов к собственности, половое разделение труда, спектр правовых возможностей.

Вопрос о формах семьи у обществ кочевников оставался актуальным на протяжении всего периода изучения кочевничества. При этом представления о формах семьи у кочевников эволюционировали по мере расширения источниковой и методологической базы, использовавшейся для их изучения. Институт семьи у кочевников древнетюркской эпохи в целом, и тюрков в частности, не становился предметом специального исследования, однако он затрагивался исследователями в контексте общих проблем социальной истории тюрков или других кочевнических обществ.

Под влиянием марксизма в историографии утвердился эволюционистский стадийный подход к изучению общественно-экономических отношений у кочевников, форма хозяйства и структура общества которых рассматривались как один из вариантов в контексте единой схемы исторического процесса. Основываясь на классической работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», А.Н. Бернштам доказывал, что у тюрков основной хозяйственной единицей была патриархальная семья, переходящая затем в малую [Бернштам А.Н., 1946б, с. 88, 94]. Подобной точки зрения позже придерживались и другие исследователи [Абрамзон С.М., 1951, с. 152–155; Лашук Л.П., 1967б, с. 119; Марков Г.Е., 1976, с. 79; и др.]. С.П. Толстов писал о «крупных патриархальных семьях, характеризующихся многоженством, развитым институтом адопции и... сильно развитой клиентелой» [Толстов С.П., 1938в, с. 32; 1948, с. 264].

С.Г. Кляшторный также придерживается традиционной точки зрения, что «основную производственную ячейку любого кочевого общества», в том числе тюркского, составляло именно «семейное хозяйство», которое ученый, однако, характеризует как патриархальное [Кляшторный С.Г., 2003, с. 483; 2006, с. 478; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 148; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 157; и др.]. Л.Н. Гумилев полагал, что тюркам была присуща парная семья [Гумилев, 1967, с. 70, 74], хотя в другом месте, говоря о *телэских* племенах, писал о «больших семьях» и далее о разрастании «крупных семейств» в племена [Гумилев, 1967, с. 61].

По мнению Ю.А. Зуева, изначально «мельчайшей экономической единицей и основой социальной структуры древнетюркского общества была большесемейная община, обязательными атрибутами которой были общее жилище (на первых порах), общий котел и патриарх-домачин» [Зуев Ю.А., 1967, с. 71; История Казахской ССР, 1977, с. 331; История Казахстана, 1996, с. 302]. Аргументом в пользу этого было также указание на крупный рогатый скот, который требует стойлового содержания, потому речь должна идти об оседлом образе жизни тюрков [Зуев Ю.А., 1967, с. 72].

Ю.А. Зуев исходил из отрывка цз. 197 «Тун дьянь» 通典 (801 г.) с упоминанием тюркского титула *и-кэ-хань* 遺可汗, переводимого им как ‘домашний каган’ [Зуев Ю.А., 1967, с. 71–72; История Казахской ССР, 1977, с. 331; История Казахстана, 1996, с. 302]: *и ю кэ-хань вэй цзай е-ху ся хо мин цзю цзя да синь сян ху вэй и-кэ-хань чжэ ту-цзюэ ху у вэй и янь у кэ-хань е* 亦有可汗位在葉護下或有居家大姓相呼為遺可汗者突厥呼屋為遺言屋可汗也 (Тун дьянь, цз. 197, с. 7а–7б). Отождествление иероглифа *и* с тюркским словом *āb* или *āv* ‘дом’ было предложено в 1958 г. Лю Мао-цай [Liu Mao-tsai, 1958, Bd. I, S. 9, Anm. 49; Bd. II, S. 498–499; Лю Маоцай, 2002, с. 17].

Лю Мао-цай выполнил перевод этой фразы на немецкий язык<sup>85</sup>. В русскоязычной передаче Ю.А. Зуева он выглядит следующим образом: «Случалось также, что большие семьи, остававшиеся дома, то есть не имеющие должностей, называли друг друга и-кэхань. Туцзюе комнату (или дом) называли и. Титул, следовательно, значил “каган комнаты (или дома)”» [Зуев Ю.А., 1998а, с. 159; 2002, с. 289]. Ср.: «Были также каганы, имевшие более низкий ранг чем *Ye-hu* еху (ябгу). Случалось, что большие, не занимающие должности семьи, называли друг друга *и-каган*. Туцзюе называли помещение (или дом) и (древнетюрк.: *эб* или *эв*). Титул означал, таким образом, «каган помещения (или дома)» [Лю Маоцай, 2002, с. 17]<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> «Es gab auch Khagane die im Range niedriger standen als der Ye-hu (Yabgu). Es kam auch vor, dass grosse zuhausbleibende, also nicht amtierende Familien sich gegenseitig I Khagan 遺可汗 nannten. Die T'u-küe sagten für den Raum (order das Haus 屋) I [M. ywī] (alttürkisch-āb-āv). Der Titel bedeutete also Raum- (oder Haus-) Khagan».

<sup>86</sup> О значении термина *āb* см. очерк «Статус женщины в тюркском обществе».

Ю.А. Зуев отметил, что в оригинальном китайском тексте нет слов «большие семьи, оставшиеся дома, т.е. не имеющие должностей». В первоначальном переводе самого Ю.А. Зуева было: «...бывает, что живущие в домах (или семьях, кит. цзя) большими фамилиями называют друг друга “ув-каган”; дом тюрки называют ув, и это значит домашний каган» [Зуев Ю.А., 1967, с. 71–72]. После он переводил: «Бывают каганы достоинством ниже ябгу. Бывает также, что живущие в семьях большими родами (фамилиями) называют их главу уй-каган; дом тюрки называют уй; это значит домашний каган» [История Казахской ССР, 1977, с. 331; История Казахстана, 1996, с. 302]. Отличается перевод В.С. Таскина: «Имеются также *каганы*, стоящие по положению ниже *еху* (*yabu*), и имеются представители крупных фамилий, живущие дома, которые называют друг друга *и кэхань* (*каган*). *Туцзюэсцы* называют дом *и*, и это название означает *каган дома*» [Материалы, 1984, с. 68, 305, прим. 46]. В.С. Таскин указал, что иероглиф *и* 遺 имеет то же чтение, что и *юй* 于, что, по его мнению, передает тюркское *ij* ‘дом’, из чего он делает вывод, что *юй-кэ-хань* означает главу только своего рода или семьи [Материалы, 1984, с. 68, 305, прим. 46]. Надо, однако, заметить, что форма *ij* фиксируется в тюркских языках довольно поздно, являясь результатом фонетического развития (См.: [Радлов В.В., 1893б, ч. 1, стб. 1799–1800; Севортян Э.В., 1974, с. 513–515.]).

При переходе тюрков к кочеванию, согласно Ю.А. Зуеву, произошла «автономизация» отдельных семей внутри общины, что привело к ее распаду, но не утрате связей между малыми семьями. Однако поскольку общность хозяйства общины была нарушена, большесемейная община, будучи несовместимой в своем классическом виде с кочевым хозяйством, начала приобретать черты патронимии [Зуев Ю.А., 1967, с. 80–83, 194]<sup>87</sup>. В патриархальной большесемейной общине консервировался материнско-отцовский счет родства, что было связано с высокой ролью женщины в кочевническом хозяйстве или со спецификой объединения родо-племенных групп. Семья патриархального типа не успела окрепнуть, а из-за новых условий хозяйствования и характера социальных связей подверглась изменениям [Зуев Ю.А., 1967, с. 83–84].

Одним из аргументов в пользу перехода тюрков от оседлого образа жизни к кочевому, по мнению Ю.А. Зуева, является появление у них нового типа жилища – юрты (*käräkü*) [Зуев Ю.А., 1967, с. 77–79], но упоминаемые в китайских источниках жилища *цюн-лу* 穹廬 – под чем ученый понимал большие юрты, – остались как реликт от времен, когда основным типом жилища был шалаш [Зуев Ю.А., 1967, с. 74–75, 76]. Ю.А. Зуев ссылается на сведения о кочевни-

---

<sup>87</sup> О переходе тюрков от оседлого к кочевому образу жизни, по мнению Ю.А. Зуева, свидетельствуют сообщения о металлургии [Зуев Ю.А., 1967, с. 85, 138], а также данные о появлении нового типа жилища – юрты (*käräkü*) [Зуев Ю.А., 1967, с. 77–79]. При этом *цюн-лу* 穹廬, под чем ученый понимал большие юрты, остались как реликт от времен, когда основным типом жилища был шалаш [Зуев Ю.А., 1967, с. 74–75, 76].

ческих народах более ранних эпох или приводит данные «Тай-пин хуань-юй цзи» 太平寰宇記 о *кыркызах* (ся-цза-сы 黠戛斯) которые «имеют общий дом, одну кровать, одно покрывало» [Кюннер Н.В., 1961, с. 60]. Однако ранние *цун-лу* 穹廬, букв. ‘куполообразная хижина’, сюннуско-усуньского периода являли собой куполообразные плетеные шалаши с войлочным покрытием на крыше [Вайнштейн С.И., 1976, с. 46; 1993, с. 45–50; Вайнштейн С.И., Крюков М.В., 1976, с. 146–147; Восточный Туркестан, 1988, с. 234, прим. 2; Крюков М.В., Курылев В.П., 2000, с. 10–11]<sup>88</sup>. Как установлено исследованиями С.И. Вайнштейна, М.В. Крюкова и В.П. Курылева на основе письменных, археологических и изобразительных источников, изобретение юрты с разборно-складным решетчатым остовом стенок относится к I тыс н.э. и связано именно с тюрками [Вайнштейн С.И., 1976, с. 46; 1993, с. 50, 54–55; Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., 1984, с. 140–143; Крюков М.В., Курылев В.П., 2000, с. 10–17]. Об этом также косвенно свидетельствует зафиксированное уже в памятнике Бильге кагану слово *käräkü* [Şirin User N., 2009b, s. 72–74; Üstün M.C., 2010, s. 1396–1398], обозначающее решетку, поддерживающую войлочное покрытие юрты [Clauson, 1972, p. 744]. О том, что жилища тюрков разбирались и перевозились косвенно может свидетельствовать сообщение «Суй шу» 隋書 о племенах *ши-вэй* 室韋. В переводе В.С. Таскина фрагмент выглядит так: «Ездят на запряженных крупным рогатым скотом повозках с жилищем из грубой циновки (вероятно, это кошма, неизвестная китайцам – В.Т.), похожих на войлочные кибитки туцзюэсцев» [Материалы, 1984, с. 136]<sup>89</sup>. В кургане №14 могильника Аймырлыг-III (Даг-Аразы-II), по мнению Б.Б. Овчинниковой, обнаружены остатки деревянной повозки [Овчинникова Б.Б., 1990, с. 10, рис. 1, с. 11]. При этом в отдельных богатых лесом регионах, как пытается показать Л.Р. Кызласов, использовались и стационарные восьмиугольные деревянные юрты [Кызласов Л.Р., 1960б, с. 66–67, 74; 1969, с. 46]. Этому не противоречат и данные письменных источников о наличии крупного рогатого скота в составе стада тюрков [Зуев Ю.А., 1967, с. 60, 72, 85].

С.М. Абрамзон – ярый сторонник схемы стадиального развития кочевников, но в рамках патриархально-феодальных отношений – продвигая концепцию о существовании патриархальной общины, перерастающей в семейно-родственные союзы, объединявшие только что возникшие малые семьи [Абрамзон С.М., 1951; 1970, с. 64–69, 72–73; 1973, с. 297–303; 1990, с. 228, 453, прим. 1], специально выступил с рассмотрением форм семьи у тюрков.

<sup>88</sup> Э.Дж. Пуллиблэнк, предполагая, что это обозначение могло быть заимствованием какого-либо иноязычного слова признает, что его раннеханьская транскрипция *\*khijun-lio* свидетельствует более о тюркском, чем монгольском его происхождении, однако чего-либо конкретного сказать невозможно [Pulleyblank E.G., 1962, p. 242; Пуллиблэнк Э.Дж., 1986, с. 32].

<sup>89</sup> Н.Я. Бичурин перевел так: «Шалаши строят из бурьяна, в подобие войлочных тукюеских телег». В комментарии к слову «бурьян» в данном контексте переводчик написал: «Бурьян употреблено вместо неизвестных грубых трав» [Бичурин Н.Я., 1950, т. II, с. 77].

С.М. Абрамзон согласился с рассуждениями Ю.А. Зуева, отметив лишь, что описанные им процессы были характерны для более ранних времен, а под тем, что Ю.А. Зуев называет «автономизацией», следует понимать не что иное, как распад патриархальной семьи и образование семейно-родственных групп. С.М. Абрамзон также не согласился с мнением Ю.А. Зуева, что община приобретает очертания патронимии, и что патронимия обязательна при кочевании малыми семьями [Абрамзон С.М., 1973, с. 301]. По заключению С.М. Абрамзона, около середины I тыс. н.э. фиксируется процесс перехода от старого порядка с господством большесемейных общин, к новому – с постепенным укреплением малой семьи [Абрамзон С.М., 1973, с. 303–304].

В позднейших работах Ю.А. Зуев в целом изменил свое мнение. Уже в 1998 г. вышла статья Ю.А. Зуева, где исследователь дал близкий к варианту В.С. Таскина перевод того ключевого фрагмента: «Бывают также каганы достоинством ниже е-ху; еще бывает, что [предводители] больших племен, проживающих в государстве, называют друг друга и-каган. Тюрки дом называют *и*; это значит каган дома» [Зуев Ю.А., 1998а, с. 155; Зуев Ю.А., 2002, с. 289]. Ср. его, по-видимому, еще более поздний перевод: «Имеются каганы достоинством ниже йабгу. Бывает также [предводители] большой фамилии называются *эв-каган*. Дом тюрки называют *эв*; это значит *каган дома*» [Зуев Ю.А., 2002, с. 212]. Здесь он отмечал, что перевод иероглифа *цзя* 家 в значении небольшой ячейки как ‘семья’ исключен, так как этот иероглиф часто употребляется в переносном, расширительном значении, маркируя, например, народы, входящие в одно государство, а *и-кэ-хань* 遺可汗 сравнивается по значению с такой значительной должностью как *йабгу* [Зуев Ю.А., 1998а, с. 159; 2002, с. 290]. (Ср.: [Зуев Ю.А., 2002, с. 212])<sup>90</sup>. При этом Ю.А. Зуев обращается к Абу-л-Гази, который толкуя арабское выражение, переводимое как ‘в каждом иле свой правитель (*töbö*)’, комментирует: «Тюрки подобное время называют “во главе дома – черный хан” (*öj башыга қара хан*), а это значит: в каждом доме простой человек ханом становится, в каждом доме свой хан» [Кононов А.Н., 1958, с. 48] (ср.: [Кононов А.Н., 1958, с. 68]). На этом основании Ю.А. Зуев склонен полагать, что титул *и-кэ-хань* 遺可汗 не имел отношения ни к помещению, ни к моногамной семье, ни к патриархальному роду, а «на заре тюркской истории» это был титул предводителя удела [Зуев Ю.А., 1998а, с. 160]<sup>91</sup>. Однако в сво-

<sup>90</sup> Ср. подобное замечание относительно термина *цзя* 家 у И. Эчеди: [Ecsedy H., 1972, p. 249, note 6].

<sup>91</sup> Ср. у К. Видлу: «Ils donnoient quelquefois le titre de *Khan* aux Lieutenans des *Che-hou*, Ils appelloient auflü par honneur les Chefs des grandes familles *Ouei-khan*, ou Khan de maifon, car *Ouei* ou *Yi* dans cette Langue, signifioit maifon, ou famille» [Visdelou C., 1779, p. 126].

Ср. также перевод А. Ташагыла по «Тун дянью» 通典, где в первой части он ошибся, относя фразу «Onun altında Ye-hu (Yabgu) vardır» к предыдущему титулу *фу-линь кэ-хань* 附鄰可汗, далее он пишет: «Bazen belirli bir yerde ikâmet eden ailelerin büyük soyađlıları, karşıklı olarak kendi içlerinden kagan seçerlerdi. Gök-Türkler, onu İ-yen-wu diye çağırırlar» [Таşağıл А., 2003а, s. 97].



ей последней крупной работе Ю.А. Зуев четко писал о патриархальной семье с сохранившимися пережитками материнского рода – такими как коллективная собственность на землю и средства производства, а также матриликальность брака [Зуев Ю.А., 2002, с. 167–168].

В китайской историографии также встречаются похожие точки зрения. Так, Цай Хун-шэн считал, что патриархальная семья являлась «мельчайшей экономической ячейкой тюркского кочевого общества в VI–VIII вв.», и соотносит используемые в летописях соответственно для тюрков и китайцев термины *чжан* 帳 ‘палатка’, ‘юрта’ и *ху* 戶 ‘двор’, ‘семья’ (Цит. по: [Зуев Ю.А., 1967, с. 79]). Линь Гань рассматривал тюркскую семью как соответствующую переходной стадии от первобытного общества к рабовладельческому [Lin Gan, 2000, s. 362–363].

И. Эчеди считала минимальной экономической единицей у тюрков расширенную семью, обозначаемую в китайских источниках термином *чжан* 帳 ‘палатка’, ‘юрта’ [Ecsedy H., 1972, p. 251]. О расширенных семьях так или иначе писали сэр Дж. Клосон [Clouston G., 1962, p. 11], Л. Крэдер [Kraeder L., 1963, p. 185] и Л. Квантен [Kwanten L., 1979, p. 42–43]. О. Прицак оценивал численность одного домохозяйства в 5–7 чел. [Pritsak O., 1983, p. 360]. Л. Базен писал о большой семье, близкой к патриархальной («famille étendue, de type patriarcal») у тюрко-монгольских кочевников [Bazin L., 2000, p. 1104].

В турецкой историографии также были определенные дискуссии. Автор основательной работы о тюркском праве Садри Максуди (Арсал) рассматривал тюркскую семью как патриархальную [Максуди Арсал С., 2002, с. 270; Arsal S.M., 1952, s. 109–110]. Абдюлькадир Инан обратил внимание на высокую роль женщин в социальной жизни тюрков, но при этом каганы и йабгу имели свои ставки, из чего ученый сделал вывод, что у них уже были патриархальные семьи (*ataerki (pederşahi) aile*). В это же время рядом были племена, которые еще сохраняли «старые обычаи» (*ilkel âdetleri*), поскольку многое зависело

---

Его же перевод по «Цэ-фу юань-гуй» 冊府元龜:

«Kaganlığın altında yabguluk vardır. Ya da ikâmet eden ailelerin büyük soyadlıları kendilerinin İ Kağan ilân ederler.

Gök-Türkler buna İ-yen-wu Kagan derler» [Таşağıл А., 2003а, s. 114].

Приведем буквальный, не адаптированный стилистически и не подразумевающий какую-либо интерпретацию текста перевод по «Тун дянь» 通典: «Также бывает каган должностной позицией [чем] йабгу ниже. Бывает, живущие семьями (дворами) большие фамилии (роды) друг друга называют как *и-каган*. Тюрки называют дом (комнату) как *и*; говорят *дома (комнаты) каган*».

Очевидно, следует лишь немного скорректировать заключение Ю.А. Зуева: термин обозначает предводителей больших социальных единиц. Насколько оправданно именовать их «удедами», словом, по сути, обозначающим территориальную величину – вопрос, выходящий за рамки данного исследования. См. также иные мнения об *и-кэ-хань* 遺可汗: [Golden P.B., 1980, p. 200–202; 1982, p. 46, 56; 1992, p. 147; Drompp M.R., 1991, p. 94; Кычанов Е.И., 2010, с. 117, 318–319; Dobrovits M., 2010а, 137–138. о.].

от условий их проживания [İnan A., 1948, s. 136–137]. Работавший в Турции венгерский исследователь Ласло Расони также считал, что основу тюркского общества составляла моногамная большая патриархальная семья [Rásonyi L., 1971, p. 56–57]. Между тем Ибрахим Кафесоглу в своем фундаментальном труде отмечал, что тюркским кочевникам была присуща малая форма семьи, близкая к расширенной, так как бытование большой семьи невозможно в условиях кочевнического хозяйства [Kafesoğlu İ., 1997, s. 220].

Большая семья встречается в работе Догана Авджиоглу [Avcıoğlu D., 1978, 1 kitap, s. 235]. Махмут Арслан, акцентируя внимание на том, что важное значение для социальной организации тюрков имело именно осознание коллективного родства, обращаясь к форме семьи, учел подходы С. Максуди (Ар-сала) и И. Кафесоглу, попытаясь как бы примирить их. Он пишет о большой семье (*geniş aile*), управляемой домохозяином (*Pater familia*), но существующей только «юридически» (*hukuken*), на деле же состоящей из ряда малых семей, поэтому М. Арслан предлагал отказаться от термина «малая семья» (*küçük aile*) в этом случае [Arslan M., 1984, s. 37–38]. Этот факт важен еще тем, что показывает неаргументированность в целом правильного тезиса И. Кафесоглу, хотя и само утверждение М. Арслана вовсе безосновательно.

В дальнейшем точка зрения И. Кафесоглу была принята значительной частью исследователей [Donuk A., 1982; Baykara T., 2001, s. 157–158; Taşağıl A., 2003b].

В настоящее время большинство специалистов склоняется к тому, что именно нуклеарная семья в четыре–пять, иногда шесть–восемь человек является элементарной структурной величиной кочевнического общества [Хазанов А.М., 1975, с. 73–76; 2002, с. 227–231; Khazanov A.M., 1994, p. 126–130; Першиц А.И., Хазанов А.М., 1979, с. 53; Поляков С.П., 1980, с. 115–116; Шалхаков Д.Д., 1983; Масанов Н.Э., 1995, с. 133; Тортика А.А., Михеев В.К., Кортиев Р.И., 1994, с. 54; и др.]<sup>92</sup>, в том числе у тюрков [Türkdoğan O., 1992, s. 29; Güler A., 1992, s. 62; Eröz M., Güler A., 1998, s. 49–50; Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 126, 331; Батсүрэн Б., 2005, 166 дугаар тал] и енисейских кыргызов [Угдыжеков С.А., 2000, с. 14–15]. Вместе с тем еще встречаются рецидивы марксистского подхода. В частности, Д.Г. Савиновым древнетюркская семья вообще, исходя из перечисления в енисейских надписях в ее составе таких членов, как «жена (она же княжна или княгиня), мать, сыновья, старшие и младшие братья, старшая сестра, зятья и невестки», характеризуется как «большая неразделенная (патриархальная)», «вообще характерная для кочевнических обществ» [Савинов Д.Г., 2013, с. 282], с чем, однако, едва ли можно согласиться.

В пользу распространения у тюрков именно нуклеарной семьи говорят следующие факты. Во-первых, как отметил Ю.А. Зуев, в сообщении «Синь Тан

---

<sup>92</sup> В.В. Трепавлов отмечает также такую особенность алтайского эпоса, как распространение семьи с одним ребенком [Трепавлов В.В., 1989, с. 138].

шу» 新唐書 о сыне Тай-цзуна 太宗, который увлекался образом жизни тюрков и устраивал соответственные игры с товарищами, говорится, что он приказывал группе из пяти человек образовывать «орду», обозначаемую *ло* 落, на которую приходилась одна палатка (*цюн-лу* 穹廬) [Зуев Ю.А., 1967, с. 78–79] (См.: [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 283; Лю Маоцай, 2002, с. 33]). В ранних китайских источниках иероглиф *ло* 落 обозначал ‘юрту’ или ‘шалаш’ у кочевых народов, в то время как китайская семья маркировалась иероглифом *ху* 戶 ‘двор’ [Думан Л.И., 1970, с. 45, прим. 25; Таскин В.С., 1984, с. 15]. Л.А. Боровкова допускает, что *ло* 落 могло состоять «всего из пяти человек» [Боровкова Л.А., 1992, с. 67, 168, прим. 1]. Показательно, что, например, *телэсы*, по «Суй шу» 隋書, покорились тюркскому кагану в 546 г. в количестве 50 тыс. юрт (*ло* 落) [Боровкова Л.А., 1992, с. 94]<sup>93</sup> (по «Чжоу шу» 周書 – *чжун* 衆 «1) толпа, масса; народ; мир, общество... 2) множество, большинство (*обычно о людях*)» [Большой китайско-русский словарь, 1984, т. 3, с. 831])<sup>94</sup>. Во-вторых, примерно такое же соотношение получается при статистическом подсчете содержащихся в «Цзю Тан шу» 舊唐書 данных о подвластных тюркских семьях: 4,22 чел., но у племен, обитавших на Алтае, 7,5 чел. [Зуев Ю.А., 1967, с. 81–82]; см.: [Малевкин А.Г., 1980, с. 115–116; 1981, с. 28–29]).

В стк. 5 западной стороны памятника Кюли хора С.Е. Маловым впервые было правильно прочитано сочетание [...] *çuluγan* (КЧ, стк. 5 (= Зап., стк. 5)), в исходной форме которого, восстанавливаемой ученым как *ayir çoluq*, он видел выражение ‘доблестное семейство’ [Малов С.Е., 1959, с. 25, 27, 28, 30]. Ученый исходил из значений *ayir* ‘дорогой’, ‘уважаемый’ [Малов С.Е., 1959, с. 89] и *çoluq* ‘семья’, ‘дети’, опираясь словаря В.В. Радлова [Малов С.Е., 1959, с. 106], где указывается осм. *чолук чоцук* ‘дети, многочисленное потомство’ [Радлов В.В., 1905, ч. 2, стб. 2024]. Значение второго слова повторено в «Древнетюркском словаре» как ‘семейство, домочадцы (?)’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 152] и у Г. Айдарова как ‘семья, дети, помощники’ [Айдаров Г., 1971, с. 336, 365]. Но турецкое *çoluk çocuk* и, соответственно, азербайджанское *çoluk cocuq* ‘çocuklarla birlikte aile topluluğu’ является, по-видимому, доволь-

<sup>93</sup> Ср. у Н.Я. Бичурина, «50,000 кибиток» [Бичурин Н.Я., 1828, с. 110], у Ст. Жюльена «cinquante mille familles» [Julien S., 1864, vol. III, p. 350], у Э.Х. Паркера «over 50.000 families» [Parker E.H., 1900a, p. 163, 171], у Лю Мао-цай «mehr als 50.000 Familien» [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 7, Anm. 25], у Б. Еженханұлы «50 000-нан астам отбасын» по «Суй шу» 隋書 [Қазақстан тарихы, 2006, 66 б.].

<sup>94</sup> Ср. у Ст. Жюльена «cinquante mille homes» по «Бэй ши» 北史 [Julien S., 1864, vol. III, p. 329], у Э.Х. Паркера «50.000 tents» по «Чжоу шу» 周書 и «Бэй ши» 北史 [Parker E.H., 1899, p. 121, 126, note 26; Parker E.H., 1900a, p. 164], у Лю Мао-цай «50.000 Horden» по «Чжоу шу» 周書 [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 7; Bd. II, S. 492, Anm. 25], у А. Ташагыла «elli bin ailesi» по «Чжоу шу» 周書 [Таşağıl A., 2003a, s. 17], у Б. Еженханұлы «50 000-нан астам түгiнiн» по «Чжоу шу» 周書 [Қазақстан тарихы, 2006, 121 б.], у Г. Кара «50 000 civarında çadırдан oluşan bütün halkı[nı]» по «Чжоу шу» 周書 [Kara G., 2016, s. 548, dipnot 37].

но поздним образованием. Ср. также туркм. *чолук чоджук* ‘жена’, при *чолук* ‘подпасок’ [Вамбери А., 2003, с. 78, прим. 48]. По Т. Гюленсою, в *çoluk çocuk* ‘çocuklara birlikte aile topluluğu’, *çoluk* от *çol* + (*u*)*k* / *çor* [Gülensoy T., 2007, с. I, s. 249]. М. Стаховский приводит орхонское (sic!) *çoluk* ‘family; children; helpers (aile, çocuklar, usak ve hizmetçiler)’, исходя из разговорного в карском диалекте. *çol çocuk* ‘çoluk çocuk / children family’ < пратюрк. \**çōl* ‘little, small; young (küçük, ufak, genç)’ [Stachowski M., 2009, p. 118, 119, 121 / 126, 128, 130]. Т. Текин под знаком вопроса интерпретировал *çoluq* его как ‘a title (?)’ [Tekin T., 1968, p. 257, 293, 324], ‘bir unvan (?)’ [Tekin T., 2003, s. 242], сэр Дж. Клосон и Э. Трыянский, восстанавливая *sayir çoluyan*, тоже видят здесь личное имя [Clauson G., Tryjarski E., 1971, p. 21, 29], Т. Хаяси и Т. Осава аналогично реконструируют чтение сочетания как *sayir çoluyan*, указав в переводе ‘*Sayir Çoluyan* (personal name (?))’ [Hayashi T., Osawa T., 1999, p. 151, 153]. Так же, по-видимому, читают другие исследователи, которые оставляют это сочетание без комментариев (Х. Ширин Усер, М. Добрович, Э. Айдын).

Приведенный материал говорит о том, что никаких реальных оснований говорить о большой патриархальной семье у тюрков нет, и эта идея являлась умозрительной, будучи основанной лишь на теоретических установках, не учитывающих специфики кочевнического общества.

Подробно отдельные аспекты, имеющие непосредственное отношение к проблематике изучения тюркской семьи, будут рассмотрены ниже в конкретном контексте в специальном очерке о статусе женщины в тюркском обществе.

## ВОЗРАСТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИУМА ТЮРКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Возрастная дифференциация является одной из важнейших характеристик социальной структуры, в том числе у кочевнических обществ. Без выделения этапов социализации, определения тенденций динамики статуса индивида в течение жизни, а также детализации зависимости степени доступа к общественным благам людей от их возраста нельзя рассчитывать на полную и объективную характеристику организации исследуемого социума. Имеющиеся источники и материалы позволяют в различной степени решить эти вопросы на примере общества тюрков Центральной Азии VI–X вв.

В том или ином виде проблема возрастной иерархии у тюрков затрагивалась отдельными исследователями, но не находила целостного отражения в специальных работах. Уже П.М. Мелиоранский остановился на упоминании в надписи Кюль тегину о начале подвигов меморианта с шестнадцатилетнего возраста, отмечая аналогии раннего мужания мальчиков в материалах этнографии и тюркского фольклора [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 118–119]. А. фон Габэн, рассматривая личные имена и титулы, встречающиеся в древнетюркских рунических надписях, обратила внимание на такие понятия, как *är at* ‘мужское имя’, *är ärdämi at* ‘имя мужественности’, и реже *ulu at* ‘великое имя’. Означали ли они какие-то категории, ставит вопрос исследовательница, подразумевали ли какие-то обязанности и права? [Gabain A. von, 1953, S. 546]<sup>95</sup>. Сэр Дж. Клоусон отмечал *er at* как ‘имя, которое давалось человеку, или принималось им (?), после его взросления, вместо имени, которое он носил в детстве’ [Clauson G., 1972, p. 192]. В частности, исследователь сделал вывод о том, что новое имя принимали мужчины, становясь *каганами*, и, вероятно, также делали члены верхушки общества, получавшие высокую должность. Это имя состояло из трех частей: название его племени или клана, собственное имя и титул [Clauson G., 1963, p. 146]. Проблем возрастной дифференциации у тюр-

<sup>95</sup> Формулировка *är ärdämi at* у А. фон Габэн является, по-видимому, контаминацией встречающегося в енисейских надписях сочетания *är ärdämi* (E 5, стк. 1; E 46, стк. 2; E 48, стк. 2; E 51, стк. 2; E 109, стк. 3) и прочтения *ärdäm atim* в третьем памятнике с р. Уйбат (E 32), позже повторенного Л. Базеном, но теперь оно не подтверждается (см.: [Кормушин И.В., 1997, с. 112–113; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 93]). Приведенное А. фон Габэн сочетание *ulu at*, видимо, основано на прочтении в древнеуйгурском памятнике «Сутра Золотого блеска» эпитета *ulu atliḡ* ‘именитый, славный’ [Малов С.Е., 1951, с. 438].

ков Центральной Азии коснулся в связи с попыткой разбора древнетюркской ономастики Л.Н. Гумилев [1967, с. 57, прим. 20, с. 82–83]. «Тюрки не носили одного и того же имени от рождения до смерти, как европейцы. Имя тюрка всегда указывало на его положение в обществе. Мальчиком он имел кличку, юношей – чин, мужем – титул, а если это был хан – то титул менялся согласно удельно-лествичной системе», – вероятно, развивая высказанное ранее мнение сэра Дж. Клосона, писал он [Гумилев Л.Н., 1967, с. 90]. Л. Базен обозначил как ступени взросления категории *är ät* ‘мужское имя’ и предшествующее ей ‘имя мальчика’ *oglan ät(im)* (E 45). Это явление, по мнению ученого, имело социальную и военную функцию, поскольку обозначало возраст, в котором человек получает право занимать какие-либо должности [Bazin L., 1974, p. 129]. По-видимому, эти выводы нашли развитие в работах С.Г. Кляшторного. По его мнению, юноша, достигший определенного возраста и получивший *er atı* ‘мужское имя’, становился полноправным членом тюркской общины и был обязан участвовать во всех мероприятиях, устраиваемых предводителем. Вместе с тем среди факторов, определяющих положение *эра* в обществе, он называл: во-первых, степень привилегированности рода и племени, к которому он принадлежал в общей системе иерархии, во-вторых, титул и сан, предаваемые по наследству в порядке старшинства, и, в-третьих, его богатство, благосостояние его семьи [Кляшторный С.Г., 2003, с. 472–476; 2006, с. 468–471; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 153–156]. Н. Рахманов [1991, с. 26] указал и на такое явление, как прохождение обряда инициации, связанного с присвоением нового имени (*аты*). Высказывания о возрастном делении встречаются у И.Л. Кызласова [1996, с. 83–85] в рамках рассуждений о характере тюркского войска. С.А. Угдыжеков, говоря о енисейских кыргызах выделил следующие этапы – «социальные возрастъ»: 8–10, 15–16 и 40 лет, при этом промежуток между 8 и 16 годами он отметил как возраст социализации юноши и превращения в полноправного члена общины – *эра* [Угдыжеков С.А., 2000, с. 16–17]. Исследователь также обратил внимание на существование системы возрастных классов, являющейся, по его мнению, «пережитком именно военной организации» [Угдыжеков С.А., 2000, с. 19, 21], хотя в другом месте он указал, что «отношения между членами возрастных групп строились по схеме родственных взаимоотношений (фиктивного родства), истоки которой восходят к древним представлениям об единстве группы сиблингов», а далее подчеркнул, что именно «традиция выражения отношений социального ранжирования в категориях родственных отношений» оказывала влияние на ранговую структуру военной организации [Угдыжеков С.А., 2000, с. 24–25]. Н.М. Тукешева отмечает значение факта получения «ер-аты» для представителей каганского рода как признание их «воинской харизмы» [Тукешева Н.М., 2006, с. 18]. И.В. Кормушин [2008, с. 296] выделил в енисейских надписях четыре категории имен «для лиц правящего общественного слоя»: юношеское имя (*oylan at*), имя му-

жа-воина или «ратное имя» (*är at*), бегское имя и однотипное с ним, но выше рангом наименование высокопоставленных чиновников.

Археологические источники, несмотря на их информативность при исследовании различных аспектов социальной истории тюрков, для реконструкции особенностей возрастной дифференциации кочевников привлекались весьма фрагментарно. Известны лишь отдельные публикации, посвященные анализу различных сторон рассматриваемого явления.

Некоторые характеристики возрастной дифференциации в обществе тюрков Алтае-Саянского региона представлены в статье Г.В. Длужневской [1976]. При этом исследовательница обратила внимание только на специфику захоронений детей и подростков, подчеркнув, в частности, что одним из отличий детских погребений от могил взрослых людей является наличие одного стремени вместо двух [Длужневская Г.В., 1976, с. 194, 196].

Более развернутый опыт выявления признаков возрастной дифференциации в раннесредневековых комплексах этого же региона предпринят С.А. Васютиным [2009а]. Исследователь подчеркнул, что полноценная реконструкция данного аспекта социальной системы номадов по археологическим памятникам практически невозможна в связи со спецификой источниковой базы. С.А. Васютин [2009а, с. 199–200] отметил высокую степень стандартизованности рядовых тюркских погребений, анализ которых позволяет наметить лишь общие контуры возрастной структуры кочевников. Основными выводами исследователя, представленными в рассматриваемой публикации, являются заключения об особой роли в тюркском обществе женщин в возрасте от 25 до 35 лет, о возможности выделения по археологическим материалам отдельной группы представительниц слабого пола старше 55–60 лет, а также о специфике детских захоронений [Васютин С.А., 2009а, с. 200–201].

Отдельные замечания об особенностях погребений детей представлены в публикациях, посвященных введению в научный оборот результатов полевых исследований на некрополях тюрков. А.Д. Грач [1960б, с. 71], подводя итоги рассмотрению материалов комплекса Мойгун-Тайга, отметил, что зафиксированная на данном памятнике традиция сопроводительного захоронения овцы связана с символической «заменой» лошади. В последующие годы к этой точке зрения присоединились и другие археологи [Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т., 1985, с. 65; Худяков Ю.С., 2004, с. 48; и др.], объясняя «замену» лошади на овцу в погребениях детей и подростков именно возрастом умерших, которые не являлись полноправными членами социума. Г.В. Кубарев [2005, с. 22] обратил внимание на малое количество детских погребений тюрков и подчеркнул высокую степень вариативности и неустойчивости норм обрядности для таких объектов. В особую группу памятников исследователь выделил детские скальные захоронения, отметив распространение традиции сооружения подобных комплексов в рассматриваемом регионе в этнографическое время.

Дальнейшая разработка вопросов возрастной дифференциации общества тюрков Центральной Азии по археологическим материалам позволила существенно расширить и скорректировать представленные наблюдения [Серегин Н.Н., 2013а].

Нет сомнений, что возрастная дифференциация общества находила отражение в погребальной обрядности и, соответственно, может быть в разной степени реконструирована в ходе анализа материалов раскопок археологических комплексов [Берсенева Н.А., 2011, с. 48–49]. Степень достоверности и объективности полученных результатов определяется многими факторами, в том числе не в последнюю очередь – состоянием источниковой базы, имеющейся в распоряжении исследователя. Учитывая отдельные негативные характеристики археологических материалов по социальной истории тюрков (ограниченное количество антропологических определений, разграбленность значительного количества погребальных комплексов, высокая степень унификации обрядовой практики, локальное своеобразие захоронений на различных территориях и др.), приходится ограничиваться выделением лишь общих тенденций возрастной дифференциации, не имея возможности исследовать нюансы, столь значимые для целостной характеристики социальной системы кочевников.

Принимая во внимание ограниченное количество погребений, по которым имеются антропологические определения, дробление анализируемой выборки на значительное количество групп, согласно традиционному делению, принятому в антропологии [Алексеев В.П., Дебец Г.Ф., 1964, с. 39], представляется непродуктивным. Более обоснованным в такой ситуации является выделение лишь нескольких основных возрастных групп [Берсенева Н.А., 2011, с. 51]. Такой подход, направленный, главным образом, на выявление общих тенденций и закономерностей возрастной дифференциации в обществе, вместе с тем не исключает возможности рассмотрения частных нюансов, в том случае если подобные наблюдения обеспечены необходимыми сведениями.

Фрагментарность археологических материалов компенсируется наличием других групп источников, в различной степени отражающих тенденции возрастной градации у кочевников Центральной Азии во второй половине I тыс. н.э. Определенное значение имеют сведения китайских хроник и древнетюркских рунических текстов, в которых представлены сюжеты, характеризующие отдельные стороны возрастной дифференциации в обществе кочевников. Письменные источники не содержат прямой информации о возрастной дифференциации, но результаты анализа встречающейся в них лексики, по мнению авторов, удачно соотносятся с картиной, предоставляемой археологическими изысканиями.

Возрастная дифференциация социума тюрков Центральной Азии может быть рассмотрена в рамках четырех основных групп: 1) «дети» (до 14 лет, с выделением промежуточной группы «подростки» – до 18 лет); 2) «юные» или «молодые» (18–25 лет); 3) «взрослые» (25–45 лет); 4) «старшие взрослые» или «пожилые» (более 45–50 лет).



**Дети.** Представительной возрастной группой социума тюрков Центральной Азии, получившей отражение в материалах погребальных комплексов, являлись дети. Анализ материалов раскопок позволил выделить около 40 разного рода объектов, связанных с захоронением представителей рассматриваемой возрастной группы. Значительная часть детских погребений исследована в Минусинской котловине, остальные памятники обнаружены на территории Алтая и Тувы.

Обращает на себя внимание немногочисленность рассматриваемых памятников, составляющих всего около 10% от общего количества известных погребений тюрков обозначенных регионов (более 380), особенно учитывая, что для определения детского погребения в большинстве случаев не требуется заключения антрополога. Вместе с тем данная ситуация не является уникальной. Низкий процент детских захоронений отмечен в ходе исследования памятников целого ряда обществ древности и средневековья [Берсенева Н.А., 2010, с. 108]. Особенно это характерно для кочевых социумов, отличающихся высокой степенью подвижности [Балабанова М.А., 2009, с. 83–84]. Однако судя по имеющимся материалам, основным объяснением зафиксированной ситуации является специфика похоронной обрядности населения тюркской культуры, более подробно представленная ниже. Несмотря на обозначенные обстоятельства, известным образом ограничивающие возможности исследования, имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют представить не только общую характеристику детских захоронений и выделить их отличительные особенности, но также дают возможность для рассмотрения семантики объектов и определения направлений их дальнейшего изучения.

Проведенное исследование основных характеристик погребальных сооружений и ритуала тюрков Центральной Азии продемонстрировало возможность выделения нескольких групп детских захоронений.

**Первая группа**, наиболее многочисленная (20 погребений), представлена объектами, создание которых предполагало сооружение отдельной курганной насыпи, под которой находилась одна могильная яма. Специфика погребального ритуала позволяет обозначить в рамках первой группы три варианта реализации данного компонента обрядовой практики:

1) детские захоронения в сопровождении лошади (4 объекта): Аргалыкты-VIII (курган №2), Кара-Тал-IV (курган №4), Даттыг-Чарыг-Аксы (курган №2), Джолин-III (курган №2) [Трифонов Ю.И., 1967; 1968; 1975; 2013; Кубарев Г.В., 2005] (*рис. 1*).

2) детские захоронения в сопровождении овцы (11 объектов): Монгун-Тайга-57-XXXVI, Кырлык-II (курганы №2, 4), Перевозинский чагас (курганы №79, 94), Тепсей-III (курганы №15, 19, 32, 50), Капчалы-II (курганы №10, 17) [Левашова В.П., 1952; Грач А.Д., 1960б; Грязнов М.П., Худяков Ю.С., 1979; Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т., 1985; Худяков Ю.С., 2004].

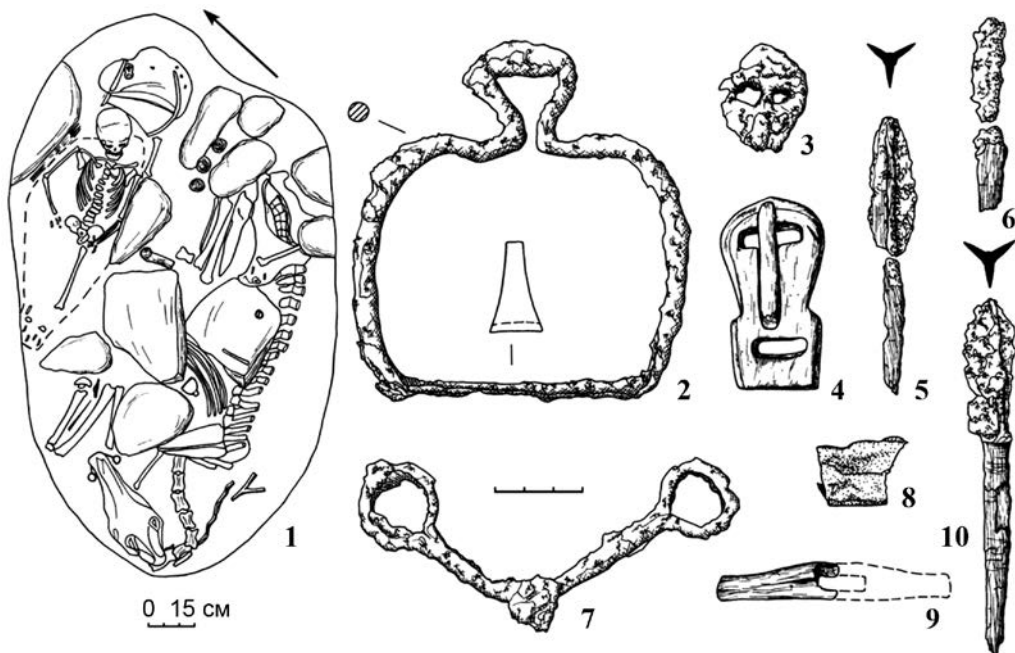


Рис. 1. Джолин-III, курган №2. 1 – план погребения;  
2–10 – предметный комплекс (по: [Кубарев Г.В., 2005, табл. 67–68])

3) «одиночные» детские погребения – без сопроводительного захоронения животного (4 объекта): Кара-Тал-III (курган №4), Аймырлыг-XX (курган №14), Катанда-III (курган №7), Белый Яр-II (курган №5), Усть-Чоба-I (курган №3) [Трифонов Ю.И., 1968, 2013; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997; Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999; Соловьев А.И., 1999; Овчинникова Б.Б., 2004] (рис. 2).

Ко *второй группе* отнесены детские погребения тюрков, отличительной характеристикой которых является расположение рассматриваемых объектов под одной курганной насыпью с другими захоронениями. При этом в ряде случаев отмечено присутствие специальной надмогильной конструкции в виде небольшой кольцевой выкладки, перекрытия и др. Погребения данной группы (11 объектов) исследованы только на некрополях Минусинской котловины: Белый Яр-II [Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999], Тепсей-III [Грязнов М.П., Худяков Ю.С., 1979]. К данной группе также следует отнести детское впускное погребение, исследованное при раскопках кургана №3 могильника Кирбинский Лог [Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988], под насыпью которого находились и другие захоронения.

*Третья группа* включает погребения детей, совершенные в одной могиле со взрослым человеком. Такие объекты раскопаны на некрополях Алтая, Тувы и Минусинской котловины: Белый Яр-II (курган №7, мог. 4, захор. 1); Бийке-IV

(курган №1), Кара-Коба-I (курган №47), Кудыргэ (курган №4), Улуг-Хову (курган №54) [Гаврилова А.А., 1965; Кызласов Л.Р., 1979; Могильников В.А., 1990; Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999; Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008]. Материалы раскопок обозначенных объектов показывают, что чаще всего ребенок был просто положен рядом со взрослым человеком. При этом в двух случаях останки детей помещены в специальный берестяной туюсок. Интересно, что рассматриваемые захоронения зафиксированы как в женских, так и в мужских погребениях.

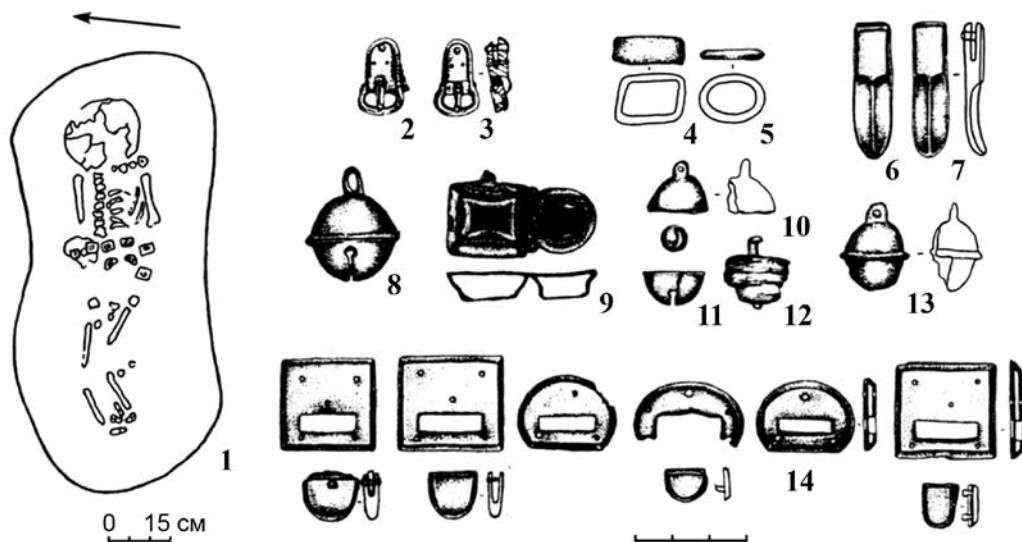


Рис. 2. Катанда-III, курган №7. 1 – план погребения; 2–14 – предметный комплекс (по: [Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. VI])

К *четвертой группе* отнесены немногочисленные скальные захоронения: Каменный Лог [Соенов В.И. и др., 2002], Юстыд [Кубарев Г.В., 2005].

*Пятая группа*, выделенная на основании материалов только одного памятника, включает детские погребения, совершенные в межкурганном пространстве. Такие объекты зафиксированы в ходе раскопок на комплексе Урочище Балчикова-III [Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002].

По имеющимся материалам представляется возможным определить стандарт погребального обряда детей, характерный для значительного количества рассмотренных памятников тюрков. Он предполагал: 1) возведение наземной конструкции в виде небольшой курганной насыпи; 2) захоронение в неглубокой могильной яме; 3) отсутствие сопроводительного захоронения лошади, в ряде случаев «замененной» на овцу; 4) ограниченный набор сопроводительного инвентаря или его отсутствие. Такие характеристики погребального обряда в разном сочетании зафиксированы при исследовании большинства объектов рассматриваемой серии. Имеющиеся отклонения,

отмеченные в ходе раскопок остальных памятников, демонстрируют вариативность обрядовой практики кочевников.

Представленный стандарт погребального обряда детей демонстрирует высокую степень схожести основных показателей с традициями, характерными для взрослого населения общества тюрков Центральной Азии. Так, не наблюдаются существенных расхождений в характеристиках наземных и внутримогильных сооружений. Погребальные конструкции детских захоронений даже выделяются своим разнообразием: каменный ящик, колода, каменная, грунтовая или деревянная перегородка, подбой, приступка, берестяной туесок и др. Вместе с тем достаточно четко фиксируются и отличительные признаки. Относительным показателем детских погребений являются уменьшенные, по сравнению с захоронениями взрослых людей, параметры наземных и внутримогильных сооружений. Кроме того, возрастная дифференциация общества тюрков получила отражение в таких элементах ритуала, как вид и количество захороненных животных, сопровождавших умершего человека. Лошадь присутствовала только в четырех детских погребениях, в то время как в могилах взрослых наличие животного является стандартным показателем. Более чем в половине детских погребений животное отсутствовало. В 11 случаях зафиксирована символическая «замена» лошади на овцу. Данный показатель обряда получил наибольшее распространение на территории Минусинской котловины.

Наиболее существенным признаком, отличающим детские погребения тюрков, является качественно-количественный состав сопроводительного инвентаря. Основная характеристика захоронений представителей данной возрастной группы – редкость или отсутствие большинства категорий предметного комплекса, распространенных в могилах взрослого населения. Наиболее частыми находками в погребениях детей являются ножи и керамические сосуды. Более чем в трети захоронений какие-либо вещи отсутствовали.

Своеобразными вариантами оформления детских погребений тюрков Центральной Азии являются захоронения в межкурганном пространстве, а также скальные объекты. Фиксация таких комплексов и немногочисленность «стандартных» памятников, связанных с представителями рассматриваемой возрастной группы, дает основания для утверждения о том, что захоронение далеко не всех умерших детей предполагало реализацию всех традиционных норм обрядовой практики. Не исключено, что определенная часть детских погребений еще неизвестна в связи с несовершенством методики раскопок (неполнотой исследования межкурганного пространства), а также очевидной сложностью обнаружения скальных объектов. Следует признать, что предположение о связи незначительного количества детских захоронений тюрков с тем, что далеко не для всех умерших сооружался «стандартный» погребальный комплекс, является лишь гипотезой, требующей подтверждения в ходе дальнейших археологических исследований.

Итак, материалы раскопок детских погребений тюрков, несмотря на их многочисленность, демонстрируют определенный уровень варибельности признаков, обусловленных, судя по всему, как возрастными и индивидуальными особенностями, так и заметной социальной дифференциацией внутри данной группы. В этом контексте важно подчеркнуть, что обнаружение «богатых» захоронений, очевидно, демонстрирует существование «предписанного» статуса, определявшегося знатностью семьи или рода. Очевидным является довольно раннее взросление детей, наиболее характерное для представителей элиты номадов.

Письменные источники не дают прямой информации, касающейся детей в обществе тюрков. В памятниках древнетюркской письменности встречается несколько терминов, семантика и грамматические функции которых позволяют сделать ряд выводов. Дети мужского пола обозначались терминами *oγul* и *urī*.

Термин *oγul* служил, как правило, для обозначения «сыновей» или «детей» [Radloff W., 1895, S. 355; Orkun H.N., 1994, s. 821; Gabain A. von, 1950, S. 320; Малов С.Е., 1951, с. 403; 1959, с. 100; Древнетюркский словарь, 1969, с. 364; Clauson G., 1972, p. 83–84; Rybatzki V., 2006, S. 56], но не «потомства» в целом, как полагали некоторые исследователи [Бернштам А.Н., 1946б, с. 90; Покровская Л.П., 1961, с. 17, 20]. Бильге каган, говоря о смерти сына, называет его *uluγ oγul* (БК, Ха, стк. 10), где первое слово – «большой», «старший» [Древнетюркский словарь, 1969, с. 610]. В стк. 6 второго таласского памятника *atasī atī tuγan-a oγlī atī qara čor* (Тал II, стк. 6), где имя *qara čor*, судя по всему, принадлежит меморианту, так как упоминается выше (Тал II, стк. 4–5), а сочетание *atasī atī* встречено также в девятом таласском памятнике (Тал IX, стк. 5), формулу *oγlī atī* следует переводить именно как ‘имя сына’, а всю фразу: ‘Имя его отца – Туган, имя сына – Кара-Чор’ [Джумагулов Ч., 1982, с. 12] (Ср.: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 286]). Аналогично во второй Карабалгасунской надписи (стк. 12) *buqa oγlīm atī* ‘Бука, имя моего сына’ [Osawa T., 1999b, p. 144, 145, pl. 6; Alimov R., 2016, s. 30, 31]. Термин *oγul* известен и как часть имен собственных, в том числе титулов [Orkun H.N., 1994, p. 912; Quliyev Ə.A., 1999, s. 70; Rybatzki V., 2006, S. 57]. Этимология термина остается невыясненной (см.: [Doerfer G., 1965, S. 81–82; Севортян Э.В., 1974, с. 416–417; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 314]).

Значение термина *urī* в древнетюркских рунических текстах [Radloff W., 1895, S. 359; Orkun H.N., 1994, s. 876; Gabain A. von, 1950, S. 347; Малов С.Е., 1951, с. 439; Древнетюркский словарь, 1969, с. 614; Clauson G., 1972, p. 197] соответствует указанному у Махмұда ал-Қашғарұ *urī* – ‘дети мужского пола’ (*al-ḡakar min ’l-awlād*), *urī oγlan* – ‘сыновья’ [Divanü, 1985, с. I, s. 88; Махмұд ал-Қашғарұ, 1982, p. 123; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 120; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 117; Gömeç S., 2002, s. 141]<sup>96</sup>. Ср. также *urī oγlanlīy* (‘имеющий сына’)

<sup>96</sup> П.А. Будберг отмечает термин *urī* ‘son’, ‘male descendant’ в языке табгачей [Boodberg P.A., 1979, p. 230].

в одном из ранних древнеуйгурских документов [Древнетюркский словарь, 1969, с. 363, 614; Clauson G., 1972, p. 87]. В орхонских памятниках встречается форма *urī oylī* в противопоставлении с термином *qiz oylī*, где оба термина употреблены как однородные члены (БК, X, стк. 7 = КТб, стк. 7; БК, X, стк. 20 = КТб, стк. 24). Именно такие случаи, когда *oγul* и *oγlan* выступают в функции определяемого, натолкнули Л.А. Покровскую на мысль, что они обладают широким спектром значений [Покровская Л.П., 1961, с. 16]. Хотя в орхонских памятниках больше нет примеров употребления терминов<sup>97</sup>, ситуацию проясняют енисейские тексты.

В памятнике Уюк-Аржаан, датированном Л.Р. Кызласовым периодом 763–840 гг. [Кызласов Л.Р., 1960а, с. 98–100, 99 (рис. 2), 119; 1969, с. 79–80], то есть одном из самых ранних енисейских текстов, лишь предварительно читается (*u*)*rim* (Е 2, стк. 1) [Васильев Д.Д., 1983б, с. 59 (прорисовка), 83 (фотография); Sertkaya O.F., 2011, s. 29–30], так как в других случаях инициальный гласный выписывается. Мемориант Суджинской надписи (840–860 гг.) говорит, что имел семь младших братьев, трех сыновей, трех дочерей (*ini-m jiti urī-m üč qiz-īm üč erti*) (С/Е 47, стк. 6): сыновья обозначены *urī*, а не *oγul*, как в Хушо-Цайдамских текстах, хотя наравне с первым термином в тексте представлен и второй (С/Е 47, стк. 2, 6, 10, 11). В памятнике Чаа-Холь I герой прощается с восемью сыновьями – *säkiz urī-m* (Е 13, стк. 1). В Абаканском тексте фигурируют *jäti urī oylī-ñizqa* – ‘семь сыновей’ (Е 48, стк. 14), но ниже сочетание *jäti urī* употребляется самостоятельно (Е 48, стк. 15), то есть в стк. 14 термин *urī* играет роль определения в изафетной конструкции. В памятнике Хербис-Баары термин предшествует слову *qadaš-īm* и в отличие от него не содержит личного аффикса, а далее следует сочетание *qiz qadaš-īm* (Е 59, стк. 7), что свидетельствует о единстве грамматических значений терминов *urī* и *qiz*, как и в Суджинской надписи (С/Е 47, стк. 6), и позволяет переводить конструкцию *urī qadaš-īm* как ‘мужского пола товарищи [мои]’. В памятнике из д. Очуры есть фраза: *oyli atī küč urī oγlan toy[dim]* (Е 26, стк. 2), где сочетание *küč urī* отделено от предшествующих знаков словоразделителем, как и от следующего дальше слова *oγlan* [Васильев Д.Д., 1983б, с. 24 (транскрипция), 64 (прорисовка), 102 (фотография)], поэтому следует читать буквально «сына [его?] имя Кюч Уры (букв. ‘сильный мужчина’), мóлодцем родился [я]»<sup>98</sup>. Здесь, как и в Суджинской надписи, мы видим употребление терминов *oγul* и *oγlan* в различных значениях (см. ниже).

<sup>97</sup> С.Е. Малов [1959, с. 37, 105] читает *urī oylin* в памятнике Могойн Шине Усу (МШУ, стк. 42 (= Зап., стк. 3)), но, по Т. Мориясу, первое слово не читается (См.: [Moriyasu T., 1999, p. 181, 185, 194]). Э. Айдын читает здесь *urī oγlan* [Ayдын E., 2007с, s. 32, 53], что менее вероятно, учитывая широту лакуны, поскольку в этом случае второй гласный не выписывался бы. Остается только *oylin*.

<sup>98</sup> Ср. иначе: [Кормушин И.В., 2008, с. 18, 19; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 77, 505], где *oylii*, однако там словоразделитель [Васильев Д.Д., 1983б, с. 102], т.е. *oyli: atī*.

Таким образом, слово *urī* имеет самостоятельное значение с преимущественной семантикой ‘мужской’<sup>99</sup>, а также выступает в новых грамматических функциях, что проявляется также в древнеуйгурских текстах и памятниках периода Караханидов [Сафегюлу А., 1968, с. 266; Клаусон Г., 1972, р. 197, там же см. примеры]<sup>100</sup>. Но позже памятников Караханидов второй половины XI в. слово *urī* не встречается [Клаусон Г., 1972, р. 197; Ли Йонг-Сюнг, 1999, р. 201]<sup>101</sup>. Характерно, что этот термин образован простым морфологическим способом как отглагольное имя: \**ur-* \*‘рожать’, \*‘зачать’, \*‘приносить потомство’, архаичная глагольная основа, + афф. *-n* [Севортыян Э.В., 1974, с. 604, 605]<sup>102</sup>.

Все это свидетельствует о более раннем происхождении самого слова, и уже в рунических текстах видно, что оно вытесняется термином *oyul*, впоследствии обрастающим новой семантикой и так же приобретающим широкий спектр лексических и грамматических значений (см.: [Radloff W., 1895, s. 355; Gabain A. von, 1950, s. 320; Orkun H.N., 1994, s. 821; Малов С.Е., 1951, с. 403; 1959, с. 100; Древнетюркский словарь, 1969, с. 364; Клаусон Г., 1972, р. 83–84; Rybatzki V., 2006, s. 56])<sup>103</sup>.

В Терхинской надписи упоминаются чины *töläs bäglär oyli biñ baši* и *tarduš bäglär oyli biñ baši* (Тер, 7 (= Зап., 7)), то есть букв. ‘начальник тысячи сыновей бегов төлес’ и ‘начальник тысячи сыновей бегов тардуш’ соответственно, однако сложно сказать, представляли ли отмеченные здесь *bäglär oyli* – ‘сыновья бегов’ какую-то социальную категорию, как думает, например, И.Л. Кызласов [Кызласов И.Л., 1996, с. 84], или специальное подразделение. Так или иначе, они были задействованы в боях. Формулировка ‘сын бега’ в падежной форме (*bäg oyli-ña*) упоминается также в третьем памятнике Уйбат (Е 32, стк. 12). Во второй надписи с р. Уйбат есть фраза *är äki oylin birlä ölti* – ‘воин с двумя [его] сыновьями вместе погиб’ (Е 31, стк. 5). Возможно, здесь же сопоставимо упоминаемая в арабских источниках категория «сыновей тарханов» (*абна ’т-тархана*) [Юнусов А.С., 1990, с. 99].

Термин *qiz* в памятниках древнетюркской письменности представлен в широком спектре семантических и грамматических значений: самостоятельно употребляется в значении ‘дочь’ (БК, Хб, стк. 9–10), выступает как детерминатив в значении ‘женский’ (БК, Х, стк. 7 = КТб, стк. 7; БК, Х, стк. 20 = КТб,

<sup>99</sup> Чтение в памятнике Элегест III (Е 53, стк. 1) сочетания *ol q(a)n ur(i)* [Кормушин И.В., 1997, с. 280–281; 2008, с. 145] неоправданно [Erdal M., 2002, S. 61].

<sup>100</sup> Ср. также его производную: *urilan-* ‘рожать мальчика’ (ЫБ, V) [Древнетюркский словарь, 1969, с. 614].

<sup>101</sup> Ср. также: [Покровская Л.П., 1961, с. 42].

<sup>102</sup> Л.А. Покровская отметила очень продуктивный корень *уруу-* в якутском, давший много глагольных образований [Покровская Л.А., 1961, с. 42–43].

<sup>103</sup> Ср. также термин из древнеуйгурских документов XIII в. *oyulluq* – ‘усыновление’, ‘усыновленный сын’ [Сафегюлу А., 1968, с. 139; Древнетюркский словарь, 1969, с. 364; Клаусон Г., 1972, р. 86].

стк. 24)<sup>104</sup>. Махмūd ал-Қашғарī дает несколько значений слова *qiz* – ‘девушка, девочка, дочь’ [Divanū, 1985, с. I, s. 326; Махмūd ал-Қашғарī, 1982, р. 260; Махмūd ал-Қашғарī, 2005, с. 319; Махмūd ал-Қашғарī, 2010, с. 282]. При этом он пишет, что первоначальное значение этого слова – именно ‘девушка’ до выхода замуж, т.е. ‘девственница’. Семантический сдвиг в сторону значений ‘дочь’, ‘служанка’ связан уже с функцией женщины в доме [Clauson G., 1972, р. 679–680; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 295, 318]<sup>105</sup>.

**Молодые люди.** Редкость определений возраста и фрагментарность археологических материалов не позволяют определить четкие этапы социализации в обществе тюрков Центральной Азии. Вместе с тем заметно выделение погребений *подростков* (от 14–15 лет), отличающихся более частым присутствием захоронения лошади и фиксацией предметов сопроводительного инвентаря, не встреченных в могилах детей и в ряде случаев демонстрирующих гендерную принадлежность умершего [Гаврилова А.А., 1965; Могильников В.А., Куйбышев А.В., Елин В.Н., 1992]. При этом для ряда объектов, связанных с погребениями лиц рассматриваемой возрастной группы, сохраняются признаки, сближающие их с захоронениями детей – замена лошади на овцу, отсутствие животного, фрагментарность сопроводительного инвентаря (в том числе полное отсутствие «престижных» предметов и показателей богатства и власти), уменьшенные параметры наземных и внутримогильных сооружений и др. [Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990; Митько О.А., 1992; и др.] (*рис. 3*).

---

<sup>104</sup> В ходе недавних полевых работ на территории Западной Монголии были раскопаны тюркские «поминальные» объекты, датировка которых на основании характерных конструкций, а также обнаруженных предметов может быть предварительно определена в рамках второй половины V – VI вв. н.э. Эти данные свидетельствуют о том, что обозначенный регион входил в область формирования культуры номадов, а также позволяют рассчитывать на получение подобных материалов в ходе будущих исследований. Благодарим проф. Ц. Турбата за возможность ознакомиться с неопубликованными результатами раскопок.

<sup>105</sup> О возрастной градации женщин говорить сложнее в целом. Это связано с их хозяйственными и социальными функциями в кочевническом обществе. Среди значимых этапов социальной жизни женщины следует отметить такие события, как выход замуж и рождение ребенка [Угдыжеков С.А., 2000, с. 18]. Например, у амударьинских узбеков: общее название детей до 9 лет *нересте, сыгыр*, девочки с 9 до 12–13 лет именуется *кызалак*, с 12–13 до 15 лет – *кыз*, с 15 до 25 лет – *бой джеткен-кыз* (ср. у казахов – *ер джеткен-кыз*, у кыргызов – *бойго жеткен-кыз*), с 25 до 30 лет – *джаш-келинчек, келинчек*, с 30 до 45–50 лет – *сары-карын*, от 50–55 лет и старше – *кемпир* [Задыхина К.Л., 1951, с. 162]. По данным Н.П. Лобачевой, в традиционном узбекском обществе женщина до замужества зовется *кыз*, потом – *келин* до первого ребенка, после чего – *жувон* [Лобачева Н.П., 1989, с. 87]. Аналогично возрастные категории (девушки, молодухи, женщины, старухи) отчетливо представлены в кыргызском эпосе «Манас» [Абрамзон С.М., 1947, с. 146–147]. В целом, исходя из имеющихся данных, мы можем судить о наличии разнообразных категорий, маркирующихся различно в зависимости от субъекта восприятия (см. также очерки «Древнетюркская система родства» и «Статус женщины в тюркском обществе»).



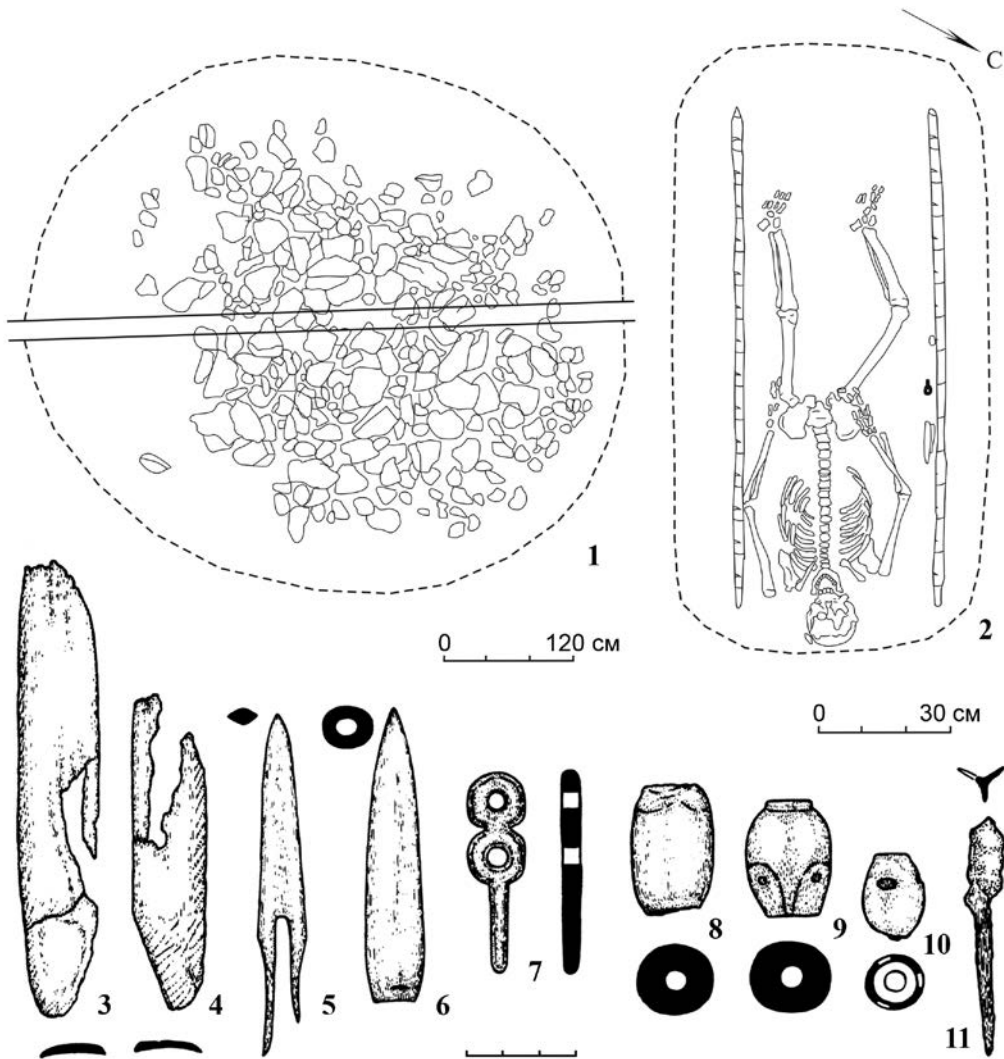


Рис. 3. Ороктой, курган №1. 1–2 – план насыпи и погребения; 3–11 – предметный комплекс (по: [Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 3–5])

Количество захоронений *молодых людей* в анализируемой выборке весьма незначительно, что, вероятно, может объясняться низким уровнем смертности в этом возрасте. Очевидно, что лица данной возрастной группы отличаются повышенной активностью и, судя по имеющимся материалам, могли занимать достаточно высокое положение в тюркском обществе. Данное утверждение представляется наиболее справедливым при характеристике статуса молодых воинов. Так, известна серия погребений молодых мужчин в возрасте 16–20 лет, очевидно, занимавших определенную ступень в воинской иерархии [Кубарев В.Д., 1992; Могильников В.А., 1997а]. Редкие погребения женщин

данной возрастной группы, в целом, подтверждают обозначенные тенденции [Могильников В.А., 1990]. С другой стороны, следует отметить, что далеко не все молодые люди имели возможность занять высокое положение в обществе. Ряд погребений мужчин в возрасте 16–20 лет [Грязнов М.П., Худяков Ю.С., 1979; Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999] демонстрируют значительную степень сходства с захоронениями подростков. В обозначенных объектах фиксируется устойчивое присутствие лошади и других показателей, отличающих рассматриваемые могилы от детских захоронений, но при этом полностью отсутствуют признаки высокого статуса и включения молодых людей в воинскую организацию.

Эти материалы хорошо коррелируются с данными письменных источников. В енисейских эпитафиях помимо термина *är atī* – ‘мужское имя’ (см. ниже) фиксируется упоминание *oylan atī* – букв. ‘юношеское имя’ (Е 45, стк. 1; Е 147, стк. 3) [Bazin L., 1974, p. 129; Кормушин И.В., 1997, с. 219; 2008, с. 267–268]. Во второй алтын-кӧльской надписи встречается фраза *oylan toydim ärin ulyatim* – ‘юношей родился, мужчиной вырос [я]’ (Е 29, стк. 1) (нумерация по С.Г. Кляшторному: [Васильев Д.Д., 1983б, с. 25]), где термины *är* и *oylan* употреблены в одной синтаксической конструкции как однородные члены.

Термин *oylan* является производной формой от *oγul* с центральным значением ‘дети’ [Севортян Э.В., 1974, с. 416–417], образованной при помощи аффикса множественности *-(A)n* с выпадением первого *-u-* (*oγ(u)lan*) [Севортян Э.В., 1974, с. 412]. В енисейском памятнике из Минусинского музея, происходящем, судя по всему, с территории Тувы (Е 51, стк. 1), встречено написание *γw<sup>l</sup>l<sup>n</sup>MA*, то есть *γulan-(i)ma*, что, вероятно, *\*(o)γulan(i)ma* [Кормушин И.В., 1997, с. 247, 263; 2008, с. 143] (ср.: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 129]). По мнению некоторых тюркологов, употребление термина *oylan* в орхонских рунических текстах VIII в. еще вполне соотносится с формой множественного числа [Erdal M., 1991, vol. I, p. 91; Li Yong-Söng, 1999, s. 195]. Так или иначе, уже в ранних памятниках он выступает в отличных от *oγul* грамматических функциях.

Уже В.В. Радлов отмечал различные значения для *оγул* – ‘das Kind, der Sohn’ и *облан* – ‘der Knabe, Sohn, Soldat’ [Radloff W., 1895, S. 355]. В.В. Бартольд толковал названный термин как ‘паж’ [Бартольд В.В., 1964, с. 394]. П.М. Мелиоранский видел в *обланах* «молодых людей из ханского рода, составлявших отборный конный отряд» [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 17, 79, прим. 5]. С.П. Толстов и А.Н. Бернштам рассматривали их как дружину, состоявшую из клиентов [История СССР, 1939, с. 93]. И.А. Батманов также разграничивал для енисейских памятников *оглан* ‘сын, юноша, молодой (витязь)’ и *оγул* ‘сын’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 227]. И.Л. Кызласов отметил употребление слова *oylan* именно в значении определенной возрастной категории, правда, он буквально рассматривал его как множественное число от *oγul* [Кызласов И.Л., 1996, с. 84, 86]. С.А. Угдыжеков считал, что *огланы* у кыр-

кызов выступали как «молодые и малоопытные воины», находившиеся под покровительством более зрелых воинов, а друг другу приходившиеся «“социальными” братьями» [Угдыжеков С.А., 2000, с. 19–20]. И.В. Кормушин обратил внимание, что термины *oylan* и *oɣul* в енисейских текстах употребляются как врозь, так и вместе, – например, в Суджинской надписи словом *oylan* назван лишь старший сын (С/Е 47, стк. 9), остальные при перечислении, в том числе и сам мемориант и тот же старший сын – *oɣul* (С/Е 47, стк. 2, 5, 6, 10, 11). Ученый заключил, что *oylan*, по-видимому, означает, «юношу раннего возрастного периода, 11–14 лет» [Кормушин И.В., 2008, с. 266–268].

В словаре Махмұда ал-Қашғарӣ, памятнике второй половины XI в., лексема *oĝla:n* используется как форма множественного числа, наравне с *oĝulla:r*, от *oĝul* в значении ‘сын’ (*al-ibn*); в поэме Йўсуфа ал-Балāсāгўнū того же периода, где также *oĝul* используется обычно в значении ‘сын’, *oĝla:n* чаще употребляется как ‘мальчик’, и даже в одном из случаев это слово возможно перевести как ‘слуга’, ‘паж’ [Радлов В.В., 1893б, ч. 2, стб. 1023; Clauson G., 1972, p. 84]. Кроме того, как указывал С.Г. Агаджанов, у Махмұда ал-Қашғарӣ термин иногда может выступать в значении ‘воин’ [Агаджанов С.Г., 1969, с. 111, прим. 3]. Характерно, что слово *oylan* имеет значение ‘сын’ во всех тюркских языках, значение ‘мальчик, парень’ только в языках юго-западного ареала [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 314]. По мнению П.Б. Голдена, термин *oĝlan* приобрел семантику слуги, притом незрелого статуса, в поздний период под мусульманским влиянием [Голден П.Б., 2005, с. 462, 477, прим. 47]. По крайней мере, наряду с другими, в значении ‘молодой раб’, или же *al-ĝulām*, он фиксируется в мамлюкском тюрко-арабском словаре [Golden P.B., 2001b, p. 52; Clauson G., 1972, p. 84; Ein türkisch-arabisches Glossar, 1894, S. 50], относящемся к середине XIV в. (См.: [Clauson G., 1972, p. xxv]). В этом свете видится поспешным приравнение Ф. Рыбацки термина *oylan* к термину *qrabaš* в значении ‘Sklave’, упомянутому в двух разных древнеуйгурских документах XIII–XIV вв., хотя, по-видимому, по отношению к одному и тому же лицу (некий *ataj tutuŋ*) [Rybatzki V., 2006, s. 58].

Косвенное подтверждение тому, что расхождение терминов *oɣul* и *oylan* произошло в период не ранее VIII–IX вв., мы находим в следующем. В.П. Юдин обратил внимание на встречающееся в таласской эпиграфике сочетание *otuz oylan* [Юдин В.П., 2001, с. 163–165], связываемое рядом ученых с институтом дружины [История Киргизии, 1956, с. 83–84; Агаджанов С.Г., 1969, с. 111, прим. 3; Maenchen-Helfen O., 1973, p. 399–400], но, скорее всего, обозначающее этноним: так, у тяньшаньских кыргызов имеет место деление народа на два крыла – *отуз уул* и *он уул*, восходящее, видимо, к древнетюркской эпохе [Karayev Ö., 2001, s. 209, dipnot 15; Dobrovits M., 2010b]. Но здесь, как видно, форма, близкая еще к *oɣul* (кыпч. *ul* < *o:l* < *oɣul*, кырг., алт. *u:l* < *oɣul*, где *ɣ* > *o*) (см.: [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 313–314]). Определенную пользу при-

несло бы уточнение датировки таласских надписей, которую ученые, исходя из разных критериев, ограничивают диапазоном VIII–XII вв. [Кызласов Л.Р., 1969, с. 44, 186, прим. 211; Vazin L., 1974, p. 256, 257; Кормушин И.В., 1975, с. 38, 47; Кызласов И.Л., 1994, с. 98–100, 163, 214; Кляшторный С.Г., 2003, с. 289–293; 2006, с. 349–254; Щербак А.М., 2001, с. 113, 127–129]. Возможно, происхождение этих этнонимов связано с какими-то социальными институтами типа молодежных или мужских союзов<sup>106</sup>. С.П. Толстов показал наличие у южных туркмен института *aq öjlü* – возрастной группы неженатой молодежи, занимающейся охраной границ [Толстов С.П., 1938а, с. 73–76]. По-видимому, этот же термин маркировал сбор ополчения для участия в набегах, а позже, в среднеазиатских ханствах XIX в., – отправляемых к их двору заложников от знатных родов кочевников [Брегель Ю.Э., 1961, с. 275, прим. 135].

В чтении Э. Айдына одного из фрагментов надписи Очуры фиксируется упоминание об атаковавших врага *jiti biñ oylan*, то есть ‘семи тысячах юношей’ (E 26, стк. 8), что, возможно, обозначает какой-то особый военный отряд [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 77].

На возможность существования таких институтов указывают сравнительно-исторические и этнографические параллели. В частности, Ибн ал-Фақіх приводит следующее сообщение о тюрках: «Если у кого-либо из них рождается сын, он воспитывает его, кормит, выполняет его желания до тех пор, пока не станет взрослым, а как достигнет зрелости, протягивает он ему лук и стрелы, выводит из своего жилища и говорит ему: “Обеспечивай себя сам!” И после этого сын становится ему как чужой, которого он и не знает. Так требует их обычай обращаться с детьми, так же поступают их юноши и девушки» [Арабские источники, 1993, с. 47]. Вероятно, Ибн ал-Фақіх несколько преувеличивает, но в общих чертах дает правильную картину. До взросления сыновья росли в семье своего отца и должны были помогать ему по хозяйству. У казахов есть пословица: «Сын перед отцом как раб перед господином» («аталы ұл, хожалы құл») [Маковецкий П.Е., 1886, с. 28; Толыбеков С.Е., 1959, с. 415]. Достигая совершеннолетия, сын покидает семью отца обязательно. По С. Болотову, «сын с шестнадцатилетнего возраста *как бы* [курсив наш – Авт.] отделяется от семьи, приискивая сам себе средства к жизни и заботясь о том, как бы скорее завестись женой» [Болотов С., 1866, с. 184]. Н.И. Гродеков пишет, что у казахов сын выделялся из семьи отца только после женитьбы [Гродеков Н.И., 1889, с. 43–44]. Выход из семьи отца означал создание собственного семейного хозяйства, то есть хозяйственной и социальной единицы.

**Взрослые мужчины.** К группе взрослых людей относится большая часть погребальных комплексов тюрков Центральной Азии, для которых имеется

---

<sup>106</sup> В частности, этот институт очень хотел видеть у различных тюркоязычных племен Ю.А. Зуев. Собранный им материал, безусловно, ценен. Однако выводы ученого базируются только на его оригинальных и порой весьма остроумных интерпретациях [Зуев Ю.А., 1998б].

подробное антропологическое определение. Материалы раскопок демонстрируют довольно высокий уровень смертности во взрослом возрасте, особенно в период после 35–40 лет. С другой стороны, на данном этапе жизни наблюдается наибольший уровень физической активности, что в традиционных обществах в значительной степени определяет высокий статус. Действительно, погребения, связываемые по комплексу признаков с представителями элиты социума тюрков Центральной Азии [Серегин Н.Н., 2013б, с. 76–78], чаще всего создавались для умерших людей зрелого возраста. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в рамках рассматриваемой возрастной группы наблюдается и наибольшая дифференциация статуса. Известны захоронения, в материалах которых отсутствуют какие-либо признаки принадлежности умершего к высшим слоям социума, а также объекты, очевидно, связанные с погребением людей, находившихся при жизни на нижних уровнях общественной иерархии. Различный статус в данном случае, очевидно, не был связан с возрастом умерших, а определялся другими факторами – знатностью, профессиональными занятиями и др.

Основное мужское население в древнетюркских памятниках именуется термином *är*, букв. ‘мужи, воины’ [Малов С.Е., 1951, с. 365; 1952, с. 103; 1959, с. 91; Древнетюркский словарь, 1969, с. 175] при первичном значении слова именно ‘мужчина’ [Clauson G., 1972, p. 192; Севортьян Э.В., 1974, с. 321–322]. К тому же корню восходит слово *ärdäm* ‘мужская добродетель’, ‘доблесть’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 176; Clauson G., 1972, p. 206] (Ср.: [Кызласов И.Л., 1996, с. 83]). В тексте Кюль тегина говорится: *kül tigin är at bolti* ‘Кюль тегин мужское имя получил’ (КТб, стк. 31); сочетание *är atı* ‘мужское имя’ или ‘геройское имя’ [Малов С.Е., 1951, с. 40; Кызласов И.Л., 1996, с. 83] часто встречается в енисейской и таласской рунике [Кормушин И.В., 2008, с. 294–295, указатель; Малов С.Е., 1959, с. 59; Джумагулов Ч., 1982, с. 12, 20]. По гипотезе Л. Базена [1974, p. 129], по-видимому, нашедшей развитие в работах С.Г. Кляшторного, получая «мужское имя», индивид становился полноправным членом социума со всеми вытекающими обязанностями [Кляшторный С.Г., 2003, с. 473; 2006, с. 468; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 144; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 153; и др.]. И.Л. Кызласов считает, что при инициации молодой человек наделялся личной *тамгой*, ему вручалась пиршественная чаша в знак права принимать участие в мужских собраниях [Кызласов И.Л., 1994, с. 202–203; 1996, с. 83; 2010, с. 38–44]<sup>107</sup>, а так-

<sup>107</sup> Последнее утверждение о чаше и тамге основано на предположительном чтении на сосуде, хранящемся в Государственном Эрмитаже, слова с корнем *in ~ en*, обозначающим ‘тавро, тамга, метка’, по мнению И.Л. Кызласова, в тот период обладающим «широким общим значением» [Кызласов И.Л., 2010, с. 45–47]. См. очерк «Тамги как источник для исследования социальной организации кочевников Центральной Азии эпохи Тюркских каганатов». Однако это не подтверждается ни лингвистическими данными, – во-первых, представленными довольно поздними временами, во-вторых, ограничивающими значение

же наборный пояс [Кызласов И.Л., 2001, с. 132–138]. Как отмечает С.А. Угдыжеков, «поскольку владение знаком собственности или гербом было связано с ведением самостоятельного хозяйства, то надо полагать, что право на личную тамгу давалось после женитьбы и выделения» [Угдыжеков С.А., 2000, с. 20].

термина толкованиями ‘метка, надрез на ухе домашних животных’ (См.: [Севортян Э.В., 1974, с. 277–278; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 329–330; *Gülensoy T.*, 2007, с. II, s. 333; Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A., 2003, pt. I, p. 600; pt. II, p. 1143]), – ни этнографическими материалами, говорящими о племенном и родовом значении тамг и более узкой сфере употребления термина *эн, ин, им* [Будагов Л.З., 1869, т. I, с. 211; Гродеков Н.И., 1889, с. 3–4; Харузин А.Н., 1889, с. 148–149; Радлов В.В., 1893б, ч. 1, стб. 728; ч. 2, стб. 1438, 1571; Вайнштейн С.И., 1972, с. 78–80; Clauson G., 1972, p. 166; Ямаева Е.Е., 2004, с. 12; Керейтов Р.Х., 2009, с. 128–135]. Корень слова впервые достоверно фиксируется у Махмұда ал-Қашғарұ: *ol qojin enätti* ‘он велел пометить свою овцу, то есть надрезать у нее ухо’ [Divanü, 1985, с. I, s. 218; Divanü, 1985, с. III, s. 256; Древнетюркский словарь, 1969, с. 173; Clauson, 1972, p. 171; Maǰmūd al-Kāšǰarī, 1982, p. 203; Maǰmūd al-Kāšǰarī, 1984, s. 283; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 230, 935; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 217], но такие надрезы известны со скифских времен [Вайнштейн С.И., 1972, с. 80]. Важность имеет свидетельство, что эти метки имели форму, аналогичную тем, что выжигались на лошадях [Харузин А.Н., 1889, с. 148].

В то же время интерес вызывает прочитанный в енисейской надписи Шаньчи (Е 152, стк. 2) эпитет *enlig* [Кормушин И.В., 1997, с. 149–150; Кормушин И.В., 2008, с. 167; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 237, 238, 502], зафиксированный, вероятно, также в надписи Алтын-Кель I в форме *(ä)nl(i)g* (Е 28, стк. 5 (стк. 2 по И.В. Кормушину)) [Васильев Д.Д., 1983б, с. 25, 64, 103] (Ср.: *inlig* [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 83]), достоверность факта бытования которого подтверждается наличием аналогичной лексемы в надписи на сосуде из Замар сомона, где она выступает в паре с *qibliy*, также как синоним *quthuy* ‘счастливым’, ‘наделенный удачей’ [Осава Т., Сүзүки К., Лхүндэв Г., 2011, 142–143 дугаар тал.]. По мнению Т. Осава [Ōsawa T., 2010, p. 194; Осава Т., Сүзүки К., Лхүндэв Г., 2011, 142–143 дугаар тал.], корневая основа *\*en* восходит китайскому *инь* [yǐn] 印 «1) печать, печатка; штамп... 2) оттиск печати; знак, клеймо, штемпель; с печатью, официальный (о бумаге)... 3) отпечаток; след, пятно; отметина... 4) медальон; табличка; таблетка; пластинка...» [Большой китайско-русский словарь, 1983, т. 2, с. 763]. Чаще ее сопоставляют со словом *\*im*, известным в различных фонетических формах ряде тюркских языков в значении ‘знак’, ‘пароль’, ‘нарек’; см. у Махмұда ал-Қашғарұ *im* в значении *al-amāra* ‘the password’ [Clauson G., 1972, p. 155, 166, 171; Севортян Э.В., 1974, с. 277–278, 632–633; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 329–330]. Как и на прочитанной И.Л. Кызласовым надписи на серебряном сосуде, так и в последних двух отмеченных надписях инициальный звук не обозначен, но если верно прочтение, предложенное Г.Б. Бабаяровым и А.В. Кубатиным для енисейской надписи из окрестностей с. Новоселово (Е 144), где ими фиксируется слово *In<sup>2</sup>l’γ* в значении ‘имеющий метку, тамгу’ [Бабаяров Г.Б., Кубатин А.В., 2016, с. 8–9], придется, во-первых, признать предложенное сэром Дж. Клосоном восстановление корневой основы с инициальным закрытым /e/ [Clauson G., 1972, p. 166, 171], во-вторых, отчасти согласиться с мнением И.Л. Кызласова, признав, что это слово имело хождение в древнетюркской среде в значении некоторой ‘метки’, ‘печати’, – возможно, общем, – однако контексты все равно не свидетельствуют в пользу существования у этого слова значения личного и родо-племенного знака.

Судя по руническим текстам, совершеннолетие у тюрков наступало в среднем в 15–16 лет [Vazin L., 1974, p. 130; Базен Л., 1986а, с. 368; Кляшторный С.Г., 2003, с. 286–287; Угдыжеков С.А., 2000, с. 16–17, 20]. По крайней мере, этот возраст отмечается как определенный рубеж человеческой жизни: Бильге каган в 14 лет стал шадом тардушей (БК, X, стк. 15), Кюль тегин в 10 лет получил в «мужское имя», а с 16 уже участвовал в походах (КТб, стк. 30–31), герой стелы Бегре женился в 15 лет, с 15 же лет ходил в походы «на табгачского хана» (Е 11, стк. 1, 3), герои других эпитафий так же участвуют в походах с 16–17 (Е 5, стк. 2; Е 68, стк. 1; Е 96, стк. 1; Е 26, стк. 5; Е 147, стк. 1), 19 (Е 60, стк. 2) или 20 лет (Е 70, стк. 1), герой Улаангомской надписи – тоже с 17 лет [Щербак А.М., 2001, с. 125–126]. Возможно с этими же явлениями перекликается сообщение танских хроник из биографии А-ши-на Шэ-эр 阿史那社爾, сына Чу-ло 處羅 кагана, что, «когда ему было 11 лет, он уже был известен среди варваров своим умом и храбростью» [Лю Маоцай, 2002, с. 91; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 263; Таşağıл А., 1999, s. 50]. Подобный же пассаж встречается в эпитафии Пу-гу И-ту 僕固乙突: «Князь с детства был ловким, энергичным и быстро научился ездить на коне и стрелять из лука. Он показал свои выдающиеся способности и таланты в стрельбе из лука и получил награды» [Эрдэнэболд Л., Цэрэндорж Ц., 2015, с. 459].

В эпосе тюркских и монгольских народов Р.С. Липец отметила период активной деятельности юного батыра в 12–15 лет, по ее мнению, «соответствующий исторической действительности (брачный возраст и гражданское совершеннолетие)» [Липец Р.С., 1984, с. 44–52]. Для примера, Манас начал свои подвиги в 12–13 лет, а в 15 лет, после первых столкновений с врагами, собрал вокруг себя дружину, по другой версии – уже стал властителем многих народов [Жирмунский В.М., 1961, с. 128; Липец Р.С., 1984, с. 46].

Сюжет наречения имени, знаменующий переход юноши в более зрелый возраст, также получил широкое распространение в тюрко-монгольском эпосе [Мелетинский Е.М., 2004, с. 329–330; Короглы Х.Г., 1975, с. 66, 71; Липец Р.С., 1984, с. 48; Кичиков А.Ш., 1992, с. 42–43]. Хрестоматийные примеры представляет «Китаб-и Дэдэм Коркут», где в повествовании о Басаме, сыне Бай Буры, говорится, что когда ему «исполнилось пять лет, после пяти лет исполнилось десять лет, после десяти лет исполнилось пятнадцать лет; он стал красивым, добрым джигитом...», но «в тот век юноше не давали имени, пока он не отрубил головы, не пролил крови»; убив разбойников, Басам получил имя Бамси Бейрек [Книга моего деда Коркута, 1962, с. 33–34; Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, s. 53] (ср.: [Inan A., 1976, s. 138–139]). Эти же сюжеты коррелируют с отмеченным С.Г. Кляшторным фрагментом стелы Ихэ Хушоту, где сообщается о том, что «в семь лет Кули-чор убил горную козу, а в десять лет – дикого кабана» (КЧ, стк. 9 (= Зап., стк. 9)) [Кляшторный С.Г., 2003, с. 473; 2006, с. 467–468; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 144; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005,

с. 153]<sup>108</sup>. Исследователи так или иначе отмечают традицию погодного перечисления подвигов героя, зафиксированную как в енисейских надписях, так и в упомянутом выше повествовании о Кюль тегине и в данном фрагменте надписи Кюли чору, как черту, характерную для жанра эпических сказаний [Ауэзов М.[О.], 1961, с. 54; Липец Р.С., 1984, с. 47; Рухлядев Д.В., 2005, с. 66]<sup>109</sup>.

Сообщение о Кюли чоре, по мнению С.Г. Кляшторного, должно вместе с тем свидетельствовать об охотничьем или воинском подвиге, предшествующем обряду инициации. При этом в знатных семьях инициация могла следовать раньше, уже после первых успехов юноши, например, на охоте [Кляшторный С.Г., 2003, с. 473; 2006, с. 467–468; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 144; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 153]. Данные фольклора и этнографии подтверждают и конкретизируют это мнение. Так, дед Коркут нарек 15-летнего удальца, победившего быка, именем Вугаџ, а затем отец наделил его имуществом [Книга моего деда Коркута, 1962, с. 15–16; Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, s. 27–28].

По-видимому, продвижение человека в значительной степени зависело от личных качеств, проявляемых в той или иной ситуации, связанной с условиями кочевнического быта, но также и с традициями конкретной общности. Например, у казахов совершеннолетним юноша мог считаться с 15 лет, иногда с 14 лет – «смотря по уму», в исключительных случаях – с 12 [Гродеков Н.И., 1889, с. 36–37, 43]. В «Китаб-и Дэдэм Коркут» в сюжете про Иекенка, сына Казалак коджи, говорится, что «ему исполнилось пятнадцать лет» и «он стал джигитом» [Книга моего деда Коркута, 1962, с. 73; Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, s. 119]. Огуз каган «пас табуны, взбирался на лошадей, охотился на кийиков и [много] дней и ночей спустя стал юношей» (*j(i)zim*) [Щербак А.М., 1959, с. 23]. По туркменской редакции дастана об Огуз кагане, отец впервые женил Огуз кагана, когда тот достиг возраста *йигита* [Кононов А.Н., 1958, с. 41]. Известно, что у туркмен для мальчиков уже в 14–15 лет наступала пора женитьбы, после чего новобрачные три года жили каждый у своих родителей, потом год у отца мужа, и только после этого отец выделял сыну его собственную юрту [Валиханов Ч.Ч., 1985, с. 166].

Основное значение термина *йигит* в тюркских языках, начиная со среднетюркской эпохи – ‘юноша’ [Агаджанов С.Г., 1969, с. 119, прим. 2]. Махмūd ал-Кāшгарī приводит слово *yigitlik* – ‘молодость, юность’ [Divanü, 1985, с. III, s. 51; Махмūd ал-Кāшгарī, 1984, p. 175; Махмūd ал-Кāшгарī, 2005, с. 781]. По наблюдениям Т.И. Султанова, в тюркских литературных памятниках период жизни человека делится на семь возрастных этапов, соответствующих его зрелости, но они имеют два основных обозначения: *бала* (‘дитя’) и *йигит* (‘мо-

---

<sup>108</sup> Обоснование такого перевода см. также: [Добрович М., 2005, с. 88].

<sup>109</sup> Л. Базен, отмечая такую «живую» хронологию в енисейских текстах, связывает ее с определенным типом исторического мышления, трактуя это явление в стадийном ключе [Базен Л., 1986а, с. 367–368].



лодец'). Им соответствуют следующие этапы: *емчек бала* – грудной младенец (до 10–12 мес.), *кичик бала* – маленький ребенок до отрочества (до 8 лет), *боз бала* – отрок, подросток (до 16–18 лет), *йаши йигит* – юноша (с 16 до 20 лет), *йигит* – мужчина в расцвете сил (после 20 лет), *йигит агасы* – мужчина зрелого возраста (после 40 лет), и *аксакал* – старик (после 60 лет). Достигая возраста *йаши йигита*, юноша получал от отца имущество – землю, людей и скот [Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 272–273]<sup>110</sup>. В древнетюркских текстах мы подобных слов, по-видимому, не встречаем<sup>111</sup>. Однако категория *är* в понимании тюрков VI–X вв. могла соответствовать по значению более позднему среднетюркскому *йигит*.

**Пожилые мужчины.** В рамках анализируемой выборки выделяется достаточно представительная серия погребений, демонстрирующих положение *пожилых людей* в социуме тюрков Центральной Азии. Судя по зафиксированным показателям, мужчины в возрасте более 45 лет нередко имели весьма высокий статус в обществе кочевников. В рассматриваемых материалах присутствует группа захоронений пожилых людей, относящихся к различным уровням элиты номадов [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941; Трифионов Ю.И., 2000; Кубарев Г.В., 2005]. С другой стороны, не менее очевидным является сокращение даже в «богатых» захоронениях мужчин после 45 лет количества предметов вооружения, в том числе редких и «престижных» изделий (главным образом, клинкового оружия). Случаи фиксации обозначенных находок в таких погребениях единичны [Гаврилова А.А., 1965; Нестеров С.П., Худяков Ю.С., 1979]. Вероятно, данная ситуация демонстрирует общую тенденцию, связанную с сохранением пожилыми мужчинами высокого статуса в обществе, но снижением, в силу объективных обстоятельств, их положения в воинской иерархии. Такая ситуация была обусловлена, прежде всего, ограничением с возрастом физических возможностей людей, что также нашло отражение в материалах погребальных комплексов и было зафиксировано антропологами [Нестеров С.П., Худяков Ю.С., 1979, с. 88; Кирюшин К.Ю. и др., 2005, с. 340] (*рис. 4*).

---

<sup>110</sup> «Ши цзи» 史記 косвенно сообщает о возрастном делении у сюн-ну 匈奴 на мальчиков, подростков, взрослых воинов или работников и стариков [Кычанов Е.И., 2010, с. 30]. Подобные возрастные периоды известны у монголов [Викторова Л.Л., 1983, с. 56].

<sup>111</sup> Т. Текин читает слово *yigit* в тексте Абаканской надписи (Е 48, стк. 8 (по Т. Текину стк. 2)) в значении 'молодой' [Tekin T., 2003, s. 141, 178], у И.В. Кормушина там значится *j'g* и словоразделитель (:), а *t* относится к другой лексеме [Кормушин И.В., 1997, с. 54, 55; Кормушин И.В., 2008, с. 138, 139], но словоразделитель отсутствует на фотографии и прорисовке Д.Д. Васильева (См.: [Васильев Д.Д., 1983б, с. 32 (транслитерация), 70 (прорисовка), 110 (фотография)]. Известны также попытки видеть термин *йигит* у тюркских народов в более ранние периоды в различных транскрипциях в византийских источниках [Moravcsik Gy., 1983, S. 313; Benzing J., 1959, S. 688; Бенцинг Й., 1986, с. 15] или в древнеболгарских надписях [Benzing J., 1959, S. 690; Бенцинг Й., 1986, с. 16–17].

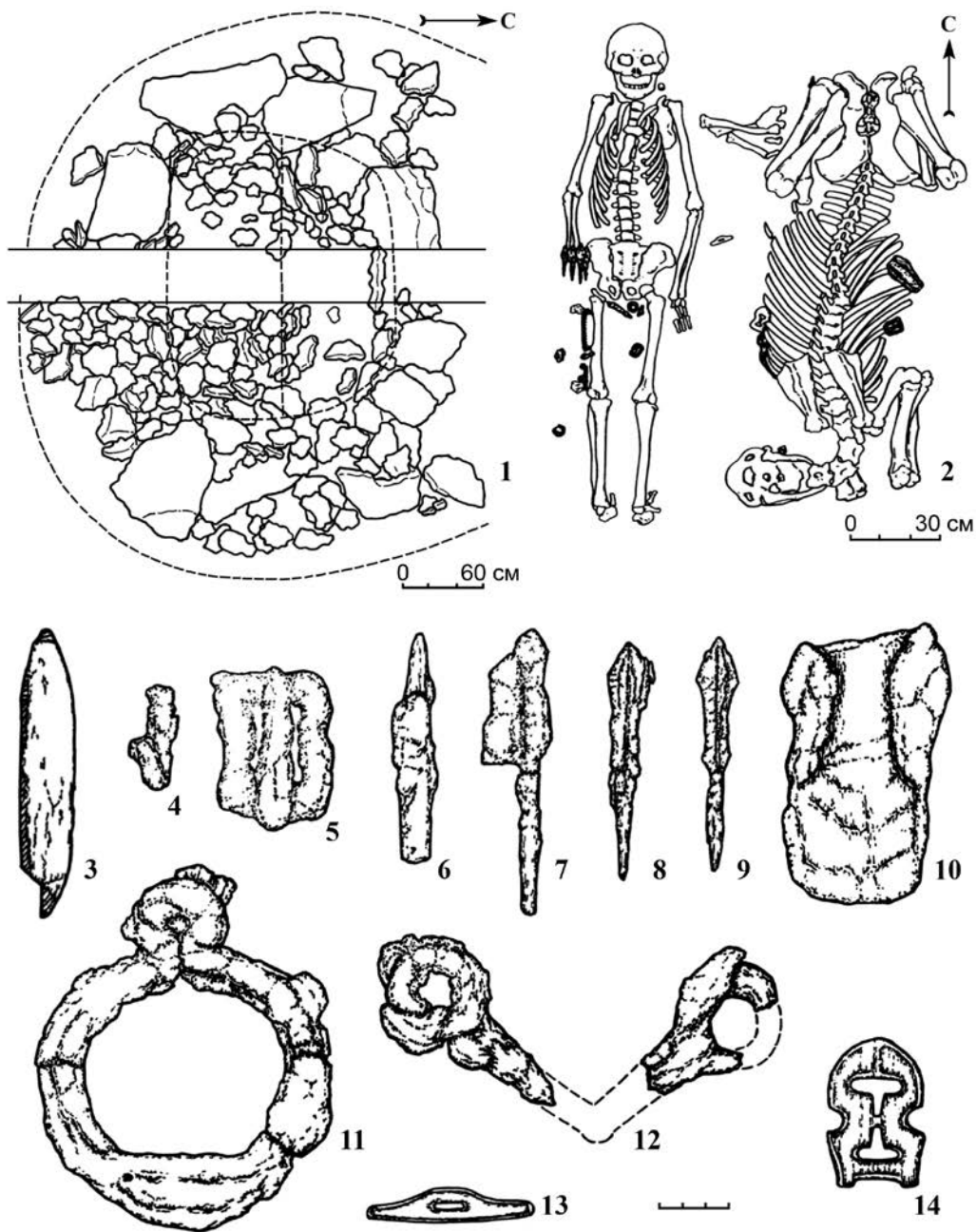


Рис. 4. Тепсей-III, могила 67. 1–2 – план насыпи и погребения;  
3–14 – предметный комплекс (по: [Нестеров С.П., Худяков Ю.С., 1979, рис. 1–2])

Весьма высоким был статус в обществе тюрков и пожилых женщин. В данном случае не наблюдается снижения статуса с возрастом. Материалы раскопок погребальных памятников демонстрируют не только сохранение, но

даже повышение роли пожилых женщин в обществе номадов. Очевидно, неизбежное снижение физической активности и ограничение степени участия в трудовых операциях нивелировалось накопленным опытом и авторитетом<sup>112</sup>.

Письменные источники содержат фрагментарные, но конкретные и поэтому чрезвычайно важные сведения о роли людей преклонного возраста в социальной жизни тюрков.

В одном из отрывков цзюань 197 исторического сочинения «Тун дянь» 通典, (сост. к 801 г.) говорится: *ю вэй-лао вэй гэ-ли гу ю гэ-ли да-гуань* 又謂老為哥利故有哥利達官, букв. ‘Еще говорят о старцах *гэ-ли*, поэтому бывают *гэ-ли да-гуань*’ (Тун дянь, цз. 197, с. 7а) (Ср.: [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 498; Лю Маоцай, 2002, с. 16; Taşağıl A., 2003a, s. 96; Зуев Ю.А., 1998а, с. 154; 2002, с. 280]). В ином написании этот участок приводится в «Цэ фу юань гуй» 冊府元龜 (закончена в 1013 г.): *вэй-лао вэй гэ-ли гу-ю да-гуань* 謂老為哥利故有達官 ‘говорят о старцах *гэ-ли*, поэтому бывают *да-гуань*’ (Цэ фу юань гуй, цз. 962, с. 126). Ср. перевод и комментарий А. Ташагыла, считавшего, что втором случае пропущено первое *гэ-ли* 哥利 [Taşağıl A., 2003a, s. 114, dipnot 591].

Имеющиеся попытки видеть в комбинации *да-гуань* 大官 транскрипцию тюркского титула *tarqan* [Chavannes E., 1904, p. 19, note 3; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 498; Лю Маоцай, 2002, с. 16; Pulleyblank E.G., 1962, p. 257; Зуев Ю.А., 1998а, с. 155–156; 2002, с. 282], по-видимому, должны быть отвергнуты ввиду того, что все варианты реконструкции китайского звучания сходятся в наличии лабиализации в передаче второго иероглифа как *kwân*, что создает определенные сложности для толкования его в качестве транскрипции /kan/ [Eberhard W., 1945, S. 322–323; Pulleyblank E.G., 1991, p. 299, 113]. В текстах танской эпохи термин *tarqan* транскрибировался сочетанием *да-гань* 達干 [Hirth F., 1899, S. 6], однако встречаются случаи, когда в позднетанских источниках отмечено написание *да-гуань* 達官 во фрагментах, взятых из более ранних источников, где фиксируется *да-гань* 達干 [Taşağıl A., 1999, s. 73, 74, 97]. По-видимому, наше *да-гуань* 達官 вовсе не стоит никак транскрибировать. Первый иероглиф *да* 達 имеет одним из значений ‘мудрый, проницательный, эрудированный’ [Большой китайско-русский словарь, 1984, т. 4, 105], второй, *гуань* 官, как раз означает ‘чиновник; официальное лицо; служащий; мандарин, чин’, ‘должность, чин; ранг’, и др. [Большой китайско-русский словарь, 1983, т. 2, с. 543]. Ср., например, другой фрагмент китайского источника, где перечисляются высшие чины тюрков, все они именуются *да-гуань* 大官, т.е. букв. ‘высшие чины’ (Тун дянь, цз. 197, с. 16)<sup>113</sup>.

<sup>112</sup> Более подробно о положении женщин в обществе тюрков см. в соответствующем очерке «Статус женщины в тюркском обществе».

<sup>113</sup> Ср. у Е.И. Кычанова [Кычанов Е.И., 2010, с. 123], где, однако, *да-гуань* 大官 сравниваются с тарканами. Далее ученый указывает на происхождение тюркского *таркан*, транскрибирующегося как *да-гань* 達干, от *да-гуань* 大官 ‘большой чиновник’ [Кычанов Е.И., 2010, с. 145, 239].

Получается, что старцы (*лао* 老), называвшиеся *гэ-ли* 哥利, что Ю.А. Зуев [Зуев Ю.А., 1998а, с. 155; 2002, с. 281–282] (Ср: [Pulleyblank E.G., 1991, p. 105, 188]) верно связал с тюркским *qarī* ‘старый’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 426; Clauson G., 1972, p. 644] (ср.: *qarī* (Тон, стк 56 (= II Вост., стк. 6)), *qarī-p* (КЧ, стк. 3 (= Зап., стк. 3))), считались *да-гуань* 達官 букв. ‘мудрыми чиновниками’. Один из таких «мудрых старцев», знаменитый Тоньюкук, бывший советником кагана (*ajyuči*) [Donuk A., 1988, s. 2–3; Rybatzki V., 1997, S. 92–94, Anm. 243; Şirin User H., 2006, s. 223–225; Aydın E., 2008b, s. 51] и имевший некоторое время должность главнокомандующего, *apa tarqan* (> кит. *а-бо да-гань* 阿波達干) [Hirth F., 1899, S. 16, 22, 56], сыграл важнейшую роль в восстановлении суверенитета Тюркского каганата в конце VII – начале VIII вв.

Таким образом, выделенные на основе археологических материалов возрастные группы тюркского общества находят отражение в зафиксированной письменными источниками терминологии: 1) дети (*oγul*) – мальчики (*uri*) и девочки (*qiz*)<sup>114</sup>; 2) молодые люди (*oγlan*); 3) взрослые мужчины (*är*); 4) пожилые мужчины (*qarī*). В отдельных случаях комплексные данные позволяют предположить наличие конкретных характеристик или реконструировать определенные процессы в рамках выделенных групп. Так, дети с «богатым» инвентарем, которые фигурально могут быть обозначены *bäg oγul*, в силу «предписанного» статуса, вероятно, по достижении определенной возрастной грани обладали привилегией получения «мужского имени» и обретения, таким образом, полноценного статуса члена социума. Это означало необязательное участие в боевых действиях в статусе *oγlan*, когда юноша должен был доказывать свое «мужество» (*ärdäm*) и, вероятно, «добывать» (*qazyan-*) в походах первое имущество. Категорию *är*, куда он затем переходил, составляла основная часть тюркского общества, включавшая все свободное взрослое мужское население, способное носить оружие. В зависимости от ряда факторов социальное положение внутри этой группы могло различаться [Кляшторный С.Г., 2003, с. 474–476; 2006, с. 469–471; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 144–146; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 154–156; Васютин С.А., 2009б]. Пожилые люди – члены социума, не способные носить оружие и, следовательно, «добывать» имущество – пользовались почтением и уважением ввиду своего жизненного опыта и, вероятно, былых заслуг перед *элем* и народом, перечисление которых, как правило, составляет основную часть древнетюркских эпитафийных текстов.

---

<sup>114</sup> Не *oγul* и *qiz* соответственно, вопреки С.А. Угдыжекову [2000, с. 13, 14].

## СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ТЮРКСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Одним из важных аспектов реконструкции социальной истории древних и средневековых обществ является анализ гендерных отношений. Гендерный подход предполагает проведение исследования, направленного на изучение и реконструкцию роли мужчин и женщин в различных сферах жизнедеятельности (хозяйственной, политической, военной, культовой и др.). Перспективность реализации такой работы на материалах конкретных социумов кочевников очевидна, так как ее результаты представляют интерес не только для историков и археологов, но также имеют большое значение для социологов, этнографов и специалистов других областей знания [Здравомыслова Е.А., Темкина А.А., 2000, с. 15].

Известно, что в каждом обществе существуют гендерные стереотипы – социально разделяемые представления о личностных качествах и поведенческих моделях мужчин и женщин. Обычно они весьма устойчивы, но при определенных условиях могут изменяться. Гендерные стереотипы являются одним из факторов, формирующих систему социальных отношений, поэтому их изучение имеет большое значение для реконструкции организации конкретных обществ [Рябова Т.Б., 2001, с. 4; 2003, с. 132].

Устоявшимся является представление о том, что центральной фигурой в социумах кочевников являлся мужчина-воин. Данное утверждение выглядит вполне логичным и подкреплено сведениями многочисленных археологических, этнографических, письменных, иконографических и других источников. Вместе с тем в последние десятилетия стали появляться материалы, в свете которых такая картина гендерной истории представляется не столь однозначной. Введены в научный оборот и интерпретированы результаты раскопок целого ряда памятников скифо-сарматского периода, включавшие захоронения «выдающихся» женщин, которые, очевидно, занимали достаточно высокое место в обществе, а их социальная роль явно не ограничивалась ведением домашнего хозяйства [Полосьмак Н.В., 2001, с. 275–276, 279; Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р., 2004; и др.]. Отмечено, что женские погребения этнографического времени, исследованные в различных районах Алтае-Саянского региона и Центральной Азии, по составу сопроводительного инвентаря значительно «богаче» мужских [Дьяконова В.П., 1975, с. 129; Кубарев Г.В., 2007, с. 296–297]. Имеются и другие примеры, свидетельствующие о гораздо более слож-

ной картине социальных отношений в обществах кочевников различных исторических периодов [Кильдюшева А.А., 2005; Китова Л.Ю., 2005; Тутаркова Н.В., 2007; Белинская К.И., 2009; Берсенева Н.А., 2011; и др.]. Решение многих дискуссионных вопросов в этом направлении связано с детальным исследованием конкретных социумов.

Вопрос о роли и месте женщины в обществе тюрков Центральной Азии VI–X вв. в историографии находил отражение в контексте более широкой проблематики, связанной с социальной структурой, формами социальной зависимости, характером древнетюркской семьи и др.

В основном в работах исследователей с самого начала изучения памятников рунического письма тюрков утвердилось мнение о довольно высоком положении женщины в их обществе, прежде всего, ввиду ее роли в домашнем хозяйстве [Мелиоранский П.М., 1898, с. 276]. Этот аспект отмечался А.Н. Бернштамом при попытке обосновать наличие пережитков матриархата, а также институтов левирата и минората в сконструированной им на основе анализа социальной терминологии патриархальной семейной общине у тюрков [Бернштам А.Н., 1946б, с. 91–93, 95–98]. Зачастую исследователи, исходя из понимания патриархального (домашнего, семейного) рабства как основной формы внутренней эксплуатации в древнетюркском обществе, констатировали использование, прежде всего, труда женщин и девушек в семейном хозяйстве [Бернштам А.Н., 1946б, с. 121–122; Зуев Ю.А., 1967, с. 140–142; Гумилев Л.Н., 1967, с. 53–54, 55; Кляшторный С.Г., 2003, с. 479–485; 2006, с. 474–479]. В целом же, в историографии встречается мнение о высокой роли женщин у кочевников Центральной Азии второй половины I тыс. н.э. [Gabain A. von, 1944, s. 688; 1949, s. 37, 38; Spuler B., 1966, S. 144; Зуев Ю.А., 1967, с. 83–84; Гумилев Л.Н., 1967, с. 74–75; Rásonyi L., 1971, s. 57–58; Roux J., 2007, s. 138–139; Johansen U., 1994, s. 75; Угдыжеков С.А., 2000, с. 18, 19; и др.], исключения будут указаны далее.

Выдающийся турецкий социолог Мехмет Зийя (Гёк Алп) считал, что у доисламских тюрков женщины имели право участия в собраниях знати (той, курултай), а каган принимал решения вместе со своей супругой хатун [Gökalp Z., 1981, s. 90–91]. Ученый отмечал отцовский, патриархальный характер традиционной семьи у тюрков [Gökalp Z., 1976, s. 293–295, 326–327]. Подобные идеи так или иначе нашли отражение в работах турецких историков последующих поколений [Zeki Validi Togan A., 1939, S. 127–128; Максуди Арсал С., 2002, с. 270–276; İnan A., 1948b, s. 136–137; Ögel B., 1971, с. II, s. 22–23, 24–25, 73; Turan O., 1969, s. 220; Kafesoğlu İ., 1997, s. 228–229, 241; Donuk A., 1982, s. 162–167].

Следует сказать также о работах, затрагивающих отдельные аспекты в рамках обозначенной проблемы. Прежде всего, это вопросы, связанные с ролью женской родни в социальной жизни тюрков, не раз привлекавшие внимание

ученых [Киселев С.В., 1951, с. 276; Потапов Л.П., 1953, с. 137–138; Ögel B., 1957, s. 109; Кляшторный С.Г., 2003, с. 158; Зуев Ю.А., 1967, с. 33–34, 47–48, 68, 26–127, 144–145, 151–152, 162–169, 172–177; Зуев Ю.А., 2002, с. 10, 33–34, 74–75, 85–88, 167–169, 217–218, 226–229; Cuisenier J., 1971, p. 97, 98–99; Es-sedy H., 1972, p. 250–252; Абрамзон С.М., 1973, с. 297; Kwanten L., 1979, p. 42; Торланбаева К.У., 2007, с. 55, 58–60]. Однако они остаются не разработанными в целом виду ряда трудностей методологического характера.

Как отмечено в соответствующем очерке<sup>115</sup>, для тюрков была характерна в основном нуклеарная семья из 4–5 человек, что соответствует данным о других кочевнических обществах [Хазанов А.М., 1975, с. 73–76; 2002, с. 227–231; Khazanov A.M., 1994, p. 126–130; Тортика А.А., Михеев В.К., Кортиев Р.И., 1994, с. 55].

Следует отметить, что ни один источник не говорит прямым текстом о многоженстве у тюрков. Однако еще А.Н. Бернштам на основе данных о монголах отмечал такой характерный факт, как расселение жен по разным юртам, когда каждая из них имеет свою ставку [Бернштам А.Н., 1946б, с. 94]. Это явление, кроме монголов [Путешествие в восточные страны, 1957, с. 36, 92], известно, например, у казахов [Андреев И.Г., 1998, с. 64; Левшин А.И., 1996, с. 338] и у алтайцев [Дыренкова Н.П., 1926, с. 255]. А.Н. Бернштам полагал, что упомянутое рассредоточение жен по разным юртам отражало разделение патриархального (родового) хозяйства на ряд индивидуальных, семейных хозяйств, каждое из которых подчинялось женщине и через нее опосредованно управлялось главой рода [Бернштам А.Н., 1946б, с. 94–98]. Таким образом, каждая юрта с принадлежащим хозяйством под ответственностью женщины являлась сегментом общего хозяйства, принадлежащего одному мужчине. Надо полагать, что подобная мера имела *исключительно практическое значение* ввиду неустойчивости имущественного положения в условиях экологически зависимого кочевнического хозяйства. Распределение ставок по разным участкам хозяйственной территории семьи, во-первых, облегчало уход за большим поголовьем (Ср.: [Толыбеков С.Е., 1971, с. 536]), во-вторых, увеличивало шансы на сохранение поголовья скота в случае каких-то бедствий локального характера (Ср.: [Потапов Л.П., 1975, с. 123]).

Так, упомянутый в Суджинской надписи термин *ayil* имеет значение не ‘шатер, кибитка’ и не ‘загон для скота’, а именно ‘селение’, как и монгольский *ayil* [Кляшторный С.Г., 1959, с. 163; Pritsak O., 1981, p. 13; 1982, s. 31]. Меморинант хвалится десятью «селениями» (*ayil*), – очевидно, стоянками, – и множеством скота (*jüiqi*) (С/Е 47, стк. 5). В «Ырк битиг» («Гадательной книге») встречается пожелание *ayiliñta jülqin bolzun* (ЫБ, стк. XLVII) [Tekin T., 1993, p. 20; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 373], которое традиционно переводится как ‘пусть в твоём загоне будет [многочисленный] скот’, но возможен

<sup>115</sup> См. очерк «Форма семьи у кочевников Центральной Азии тюркского времени».

и вариант с предложенной С.Г. Кляшторным интерпретацией термина<sup>116</sup>. Приведенный ниже сравнительно-исторический и этнографический материал показывает справедливость такой трактовки.

Как отмечал А. Рона-Таш, у халха-монголов *аилом* называется «деревня из юрт», или же место, на котором стоят юрты. Но даже одну юрту можно именовать *аилом* [Рона-Таш А., 1964, с. 178]. Кроме юрт к *аилу* относятся загоны для скота и прочие хозяйственные сооружения [Рона-Таш А., 1964, с. 179]. А. Рона-Таш писал, что монгольская семья имеет три юрты: сами живут в большой чистой юрте, располагающейся в центре стойбища, обнесенного изгородью из жердей (двор – *хаиша*), в маленькой покрытой рваным войлоком юрте держат приплод скота, в третьей юрте хранятся различные инструменты, и она служит мастерской [Рона-Таш А., 1964, с. 101]. Иначе говоря, *аил* – хозяйство одной семьи.

По данным А. Рона-Таш, в одной юрте вообще могут жить представители нескольких поколений [Рона-Таш А., 1964, с. 116]. Здесь уместно вспомнить бедняка Сорхан-шира из «Тайной истории монголов», жившего с семьей в одной юрте, в которой они и пахтали кумыс. Кроме того, с ним жили два взрослых, но, судя по всему, неженатых сына (§ 85) [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 350]. Так что явление, когда число проживающих в юрте больше одной малой семьи, очевидно, зависит более всего от субъективных факторов и не является нормой.

Термин *äb* ‘дом’ в памятниках древнетюркской рунической письменности употребляется в самом широком спектре значений [Tuna O.N., 1988a, s. 66–67] (см. также: [Дыбо А.В., 2008, с. 251–253]), но первичным является именно значение ‘палатка’, ‘дом’ [Clauson G., 1972, p. 3–4]<sup>117</sup>. В Суджинской надписи

---

<sup>116</sup> По Г.И. Рамstedту, обе, тюркская и монгольская, формы восходят к праязыковой *\*agil* (осм. *\*агыл* ~ каз. *\*аул* < *\*agil* > монг. *\*ajil*) [Рамstedт Г.Й., 1909, с. 551]. Г. Дёрфер и сэр Дж. Клосон считают первичным именно значение ‘загон’ [Doerfer G., 1965, S. 82–84; Clauson G., 1972, p. 83]. По Э.В. Севортыану, между *avul* ‘юрты’, ‘стоянка’, ‘селение’, ‘племя’ и др. [Севортыан Э.В., 1974, с. 65–66] и *ajil* ‘загон’, ‘стойло’, ‘двор’ [Севортыан Э.В., 1974, с. 83–85] нет этимологической связи. И.Г. Добродомов рассматривает *айыл* ~ *агыл* как монголизм [Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 438]. А.В. Дыбо считает первичной формой *\*āgyl* со значением ‘загон’ > ‘поселение кочевников’, полагая, что этимологический ряд может быть представлен следующим образом: ‘загон’ > ‘надворная постройка’ > ‘дом с надворными постройками’ > ‘дом и окружающее пространство’ > ‘дом и соседние дома’. Кроме того, исследовательница не исключает возможности заимствования из монгольского (< *ajil*) [Дыбо А.В., 2008, с. 224–225], хотя переход *ayul* > *ajyl* обоснован с точки зрения законов тюркской фонетики [Сравнительно-историческая грамматика, 1984, с. 201].

<sup>117</sup> Особенно в сочетании со лвом *barq* ‘Emlâk’ (‘недвижимость’), также ‘Türbe’ (‘гробница’): *äb barq* ‘ev, barınak, konut’ (‘дом, пристанище, жилище’) [Şen S., 2004, s. 152–154]. Вместе с тем для конкретного обозначения кочевого жилища, видимо, служил термин *käräkü* «‘the lattice-work wonden frame’, which supports the felt covering of a yurt» > ‘a tent’ [Clauson, 1972, p. 744; Севортыан Э.В., 1980, с. 21–22], встречающийся уже в памятнике



встречается фраза *äblädim oꝟulimîn*, что буквально переводится как ‘одомовил (то есть наделил домами) [я] сыновей [моих]’ (С/Е 47, стк. 6), то есть дал им юрты. В недавнее время получила обоснование гипотеза об уточнении прочтения второй лексемы как *bayladim* (с продолжением в следующей строке), что меняет лишь объект действия: юртами наделяются дочери меморианта, выданные замуж [Şirin User H., 2008; 2009b, s. 110–111]. Контексты употребления слова *äb* в памятнике Могойн Шинэ Усу в трех местах подряд (МШУ, стк. 29, 30, 31 (= Вост, стк. 5, 6, 7) наглядно демонстрируют, что оно обозначает и стационарную стоянку как отдельных семей, так и в целом, и в то же время самих членов домохозяйств, которые могут передвигаться [Tuna O.N., 1988a, s. 66; Кляшторный С.Г., 2010, с. 57, 64–65].

Таким образом, термин *äb* маркирует минимальную хозяйственную единицу, коей является юрта, то есть одно домохозяйство (ср.: [Gabain A. von, 1944, s. 688; 1949, S. 38; Ögel B., 1971, с. II, s. 133])<sup>118</sup>.

В связи с этим следует обратить внимание на употребление в енисейских памятниках термина *qunčuj* ‘жена’, которому в некоторых случаях предшествует падежная форма слова *quj-da* [Кормушин И.В., 2008, с. 258–261], то есть букв. ‘в доме’<sup>119</sup>, т.к. *quj* < кит. *zuy* 厩 ‘помещение, где живет женская часть семьи, женская половина дома; покои’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 464; Clauson G., 1972, p. 674; Aydın E., 2017b, s. 52]. Т. Байкара высказал мнение, что *kuu* означает оседлые ставки [Başkara T., 1995, s. 25–26, 28–29]. Также термин *qunčuj* в енисейских эпитафиях в большинстве случаев предшествует *oꝟul* ‘дети’ когда они попадают в одной синтаксической конструкции (Е 1, стк. 1; Е 3, стк. 1; Е 13, стк. 1; Е 14, стк. 2; Е 16, стк. 1) (исключения: Е 68, стк. 4; Е 70, стк. 2). В памятнике Уюк-Туран вслед за *qujda qunčuj-im* следуют *öz-dä oꝟli-m* (Е 3, стк. 1) – в данном контексте буквально ‘свои сыновья’. О.Ф. Серткайа и И.В. Кормушин связали детерминатив *özdä* с приложенным к выше упомянутой группе *qunčuj* детерминативом *qujda*, верно отметив, что *öz oꝟli* являются, по-видимому, потомством тех самых *qujda qunčuj* [Sertkaya O.F., 1995, s. 71; 2011, s. 28; Кормушин И.В., 1997, с. 193–194; 2008, с. 260–263] (ср.: [Бернштам А.Н., 1946б, с. 92])<sup>120</sup>.

---

Бильге кагану (БК, X, стк. 1) [Tekin T., 1968, p. 243; 1998, s. 62], позже в «Гадательной книге» («Ырк битиг») (ЫБ, XVIII) [Tekin T., 1993, p. 94, 12, 13; 2003, s. 125, 236; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 367].

<sup>118</sup> К такому же заключению пришел С.А. Угдыжеков, говоря о енисейских кыркызах [Угдыжеков С.А., 2000, с. 15].

<sup>119</sup> А.Н. Бернштам толковал это сочетание *qujda qunčuj* как ‘гарем’ [Бернштам А.Н., 1946б, с. 50]. По С.А. Угдыжекову, это знатные женщины, у которых «была возможность иметь особые женские покои» [Угдыжеков С.А., 2000, с. 17].

<sup>120</sup> См. также интерпретацию некоторых исследователей, видящих в *öz* обозначение долины [Mori M., 1962; 1967; Tekin T., 1999, s. 7; 2006, s. 6, 8, 9, 10]. М. Мори таким же образом интерпретирует и термин *qw'j*.

В нескольких енисейских памятниках (Е 42, стк. 2; Е 51, стк. 1; Е 66, стк. 1; Е 109, стк. 4) термин *qunčuj* заменяется термином *äbči* [Кормушин И.В., 1997, с. 146; 2008, с. 263–264]. В памятнике Баян-Кол встречается сочетание *öz äbči qunčuj-ımqa* (Е 100, стк. 1) – это, судя по всему, первое употребление двух терминов вместе [Кормушин И.В., 1997, с. 252], и, видимо, как раз здесь мы можем увидеть, что тюркский термин *äb* заменяет китайский синоним *quj*. Со временем образованный с помощью соответствующего аффикса термин *äbči* приобретает новое значение, переходя из разряда детерминатива в разряд существительных: *äbči* ‘домашняя хозяйка’, ‘домоправительница’ > ‘жена’ > вообще ‘женщина’ [Кормушин И.В., 2008, с. 263].

Приведенные лингвистические данные могут быть увязаны с этнографически зафиксированным у кочевников обычаем наличия юрты в приданом невесты [Андреев И.Г., 1998, с. 62–63; Левшин А.И., 1996, с. 335, 338; Гродеков Н.И., 1889, с. 47]. Также, например, у казахов, если вдова не желает снова выходить замуж, а предпочитает остаться жить у своего отца, то он тоже выделял ей юрту [Гродеков Н.И., 1889, с. 52–53].

Китайский источник фиксирует у тюрков обычай отдавать дочь за нансенное увечье глаза, а если нет дочерей, то *имущество жены*. В тексте «Суй шу» 隋書 написано: *шан-жэнь-му-чжэ чай чжи и ню у-ню цзе шу фу цай* 傷人目者償之以女無女則輸婦財 (Суй шу, цз. 84, с. 36). Е.И. Кычанов считал, что женщины у тюрков приравнивались имуществу, поскольку «шли в уплату композиций за некоторые уголовные преступления». Он исходил из перевода последней фразы *фу-цай* 婦財 как «жену и имущество» [Кычанов Е.И., 2010, с. 131], хотя не отрицал и перевода Н.Я. Бичурина как «женино имущество» [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 230]. Ср. другие варианты перевода этого выражения: у К. Видлу «*fa propre femme*» [Visdelou С., 1779, р. 127], у Ст. Жюльена «*femme et ses richesses*» [Julien S., 1864, vol. III, р. 352], у Э.Х. Паркера «*wife or the other property*» [Parker E.H., 1900a, р. 166, 171], у Лю Мао-цай «*seine Frau und seine Vermögen*» [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 42], «свою жену и свое имущество» [Лю Маоцай, 2002, с. 20], у Б. Еженханұлы на казахском: «*кісімен төбелесіп, оның көзін шығарса, айып ретінде өз қызын әлгі кісіге береді, қызы жоқ болса, бір әйелдің құнын төледі*» [Қазақстан тарихы, 2005, 67 б.], у А. Ташагыла, перевод по «Тун дянью» 通典, «*kadınla veya kadınsız karşılığını öder*», и далее: «*Yani evli kadınlara zarar verenler bunu varlıklarıyla öderken*» [Таşağıл А., 2003a, s. 98]. Иероглиф *фу* 婦 ‘замужняя женщина’, ‘жена’ может в данном случае выступать как неоформленное определение к последующему слову *цай* 財 ‘имущество, собственность’, когда служебное слово *чжи* 之 в таких случаях опускается – явление, известное еще в позднем древнекитайском языке [Яхонтов С.Е., 1965, с. 104; Софронов М.В., 2007, с. 180].

Юрта, таким образом, могла составлять часть приданого жены у тюрков. Этот обычай был обусловлен хозяйственными нуждами, а также отражал су-

ществование имущественного расслоения у кочевников: жених должен был быть очень богатым, раз мог и оплатить калым и получить юрту для создания очередной хозяйственной ставки<sup>121</sup>.

В одной из статей Л. Крэдер, ссылаясь на приведенное выше место по работе Н.Я. Бичурина, писал, что в древние времена дочь могла быть продана в рабство за преступление отца, что должно было доказать его тезис о бесправии женщин у кочевников [Krader L., 1955, p. 74]. Однако здесь вернее обратить внимание на тот момент, что это означало отдачу дочери без калыма. Хотя Л.П. Потапов, ссылаясь на китайские источники, уверенно пишет, что этого института у тюрков не было [История Тувы, 1964, с. 99; 2001, с. 101; История Сибири, 1968, с. 279], о его существовании можно судить по упоминанию термина *qaliŋ* в Суджинской надписи, атрибуция которой как кыргызской неоднозначна [Кляшторный С.Г., 1959, с. 164–166; Хун Юй-мин, 2010]. Ее мемориант, хвастающийся богатством, как раз говорит, что отдал своих дочерей без калыма (С/Е-47, стк. 7). Существование института калыма также подтверждается сообщениями источников о племенах *те-лэ* 鐵勒 [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 215; Материалы, 1984, с. 268, 401, прим. 1; Қазақстан тарихы, 2005, 24 б.]

---

<sup>121</sup> Вероятно, юрту впоследствии наследовали дети этих жен. А.И. Левшин сообщает, что у казахов имущество жены доставалось только ее детям, но не детям других жен [Левшин А.И., 1996, с. 338]. Н.И. Гродеков пишет, что отец выделял сыну юрту, если ее не приносила жена сына. Младший сын жил с отцом, наследуя *его юрту и имущество* [Гродеков Н.И., 1889, с. 47; Толыбеков С.Е., 1971, с. 524]. Речь идет об обычае минората, зафиксированном, в частности, у древних монголов, когда младший сын, *otčigin*, получал в наследство юрту отца, его жен с аильными хозяйствами и стойбищами [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 350]. Термин *otčigin* имеет тюркское происхождение: *ot* + *tegin*, букв. ‘князь огня’ [Поппе Н.Н., 1925]. Тюркский термин *Ot-tegin* встречается как личное имя в форме *wttkyn* в согдийском брачном контракте из коллекции документов замка с горы Муг, хотя ничто не говорит о наличии у него значения ‘младший сын’ [Смирнова О.И., 1970, с. 256, прим. 127; Якубович И.С., 2013, с. 184–185; Lurje P.B., 2010, с. 119] (см. также: [Кубатин А.В., 2014, с. 15–16]). Палатализованная форма *čegin* встречена в другом документе с горы Муг (В 8) в личном имени пенджикентского правителя *Čegin Čor Bilgä* (правил не позднее 693 г.) в форме *ck’yn cwr bydk’* [Лурье П.Б., 2005; Lurje P.B., 2010, p. 161; Кубатин А.В., 2014, с. 13].

Существование этого института у тюрков, по наблюдениям Б. Öгеля, может быть отражено в одной из версий тюркской генеалогической легенды с избранием ханом младшего из десяти сыновей по имени *А-ши-на* 阿史那. Также об этом косвенно говорит положение советника при уйгурском кагане *Bögü* его младшего брата *Tun Bağa Tarkan*, что натолкнуло Б. Öгеля на параллель со статусом Толюя в Монгольском улусе после смерти Чингисхана и дало дополнительный аргумент в пользу существования у них института *Ot-Tegin* (> *Otčigin*) [Ögel B., 1993, s. 27–28, 85–86] (см. также: [Ögel B., 1971, с. II, s. 24, 102], где в этом же контексте речь идет о Кюль тегине). К последней мысли был также близок С.Г. Кляшторный [Кляшторный С.Г., 2006, с. 152]. См. также гипотезу о существовании у тюрков института, аналогичного монгольскому *odčigin*, выдвинутую Вл. Котвичем на основе попытки этимологизации титула *Kül-tägin* [Kotwicz W., 1949, p. 185–188].

и енисейских кыргызах [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 353; Бартольд В.В., 1973, с. 48; Martinez A.P., 1982, p. 128]<sup>122</sup>.

Количество женщин в семье напрямую связано и с жизнедеятельностью хозяйства – как верно указывал С.Е. Толыбеков, многоженство было условием многодетности, а наличие множества сыновей подразумевало наличие множества пастухов и воинов [Толыбеков С.Е., 1959, с. 415–419; 1971, с. 291]. Судя по всему, количество женщин в семье мужчины являлось также неким показателем его социального уровня, поскольку демонстрировало возможность обеспечить их, автоматически поднимая престиж человека в глазах соплеменников. Так, например, С. Болотов пишет о том, как спросил у одного казахского бия, зачем тому при двух молодых женах-красавицах было брать еще третью. Тот ответил, что поскольку одна не справлялась с хозяйством, когда другая доставляла ему улады, поэтому он отправил вторую помогать первой по хозяйству, а для утех взял третью [Болотов С., 1866, с. 189].

Источники о монголах прямо говорят, что каждый мужчина мог иметь любое количество жен, которое бы он смог содержать [Путешествие в восточные страны, 1957, с. 26]. Такое утверждение справедливо: увеличение численности женской части семьи могло быть обусловлено лишь возможностью прокормки, поскольку приход в дом новой женщины увеличивал число работниц по хозяйству, но не число непосредственных добытчиков. Материалы различных эпох позволяют видеть разделение труда в кочевнической семье, когда женщина занималась в основном домашним хозяйством, а мужчина – охотой, войной, и выпасом скота, что также делали и женщины [Путешествие в восточные страны, 1957, с. 37, 94, 100–101; Андреев И.Г., 1998, с. 65–66; Левшин А.И., 1996, с. 331, 333–334; Болотов С., 1866, с. 184; и мн. др.].

Самому Чингисхану приписывают следующее изречение: «Мужчина – не солнце, чтобы [одновременно] показываться людям всюду. Жена, когда ее муж уезжает на охоту или на войну, должна содержать дом в порядке и прибранном с тем, чтобы, когда посол либо гость останутся в доме, он увидел бы все в порядке, а она сделала хорошее кушанье и приготовила все, что нужно гостю. [Такая жена] естественно создает хорошую репутацию мужу, подымает его имя, и [муж ее] на общественных собраниях возвысится, словно гора. Хорошие качества мужа узнаются по хорошим качествам жены. Если жена дурна и неразумна, беспутна и непорядлива, то и муж по ней познается!» [Рашид ад-Дин, 1952, кн. 2, с. 261]. Стереотип идеальной жены для кочевника рисуется и в огузском

<sup>122</sup> Китайский источник «Тай-пин хуань-юй цзи» 太平寰宇記 (976–983 гг.) пишет о кыргызах: «При бракосочетании не [делают] подарков имуществом» [Кюннер Н.В., 1961, с. 60]. Однако в сообщении «Синь Тан шу» 新唐書 о кыргызах также говорится, что платился калым – у богатых людей он мог составлять от ста до тысячи голов овец и лошадей [Visdelou C., 1779, p. 175; Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 353], что подтверждается данными Гардѣзѣ [Бартольд В.В., 1973, с. 48; Martinez A.P., 1982, p. 128]. Об институте калыма у тюркских народов см. [Inan A., 1968b, s. 347–348].

эпическом сборнике «Китаб-и Дэдэм Коркут» в образе заботливой домохозяйки: «Опора своего дома, это та, которая, когда из степи в дом приходит гость, когда муж ее на охоте, она того гостя накормит, напоит, уважит и отпустит» [Книга моего деда Коркута, 1962, с. 13; Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, s. 22].

Однако судя по всему, роль женщин не ограничивалась работой в хозяйстве. В «Цзю Тан шу» 舊唐書 есть сообщение, что «по обычаю северных варваров, катун принимает участие в военных предприятиях» [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 91; Лю Маоцай, 2002, с. 40]. О тюркских женщинах Ибн ал-Джәҳиз пишет: «Их женщины скроены по образцу и подобию их мужчин, а их лошади приспособлены исключительно для них» [Арабские источники о тюрках, 1993, с. 88]. В «Китаб-и Дэдэм Коркут» есть эпизод, когда подошедший к свадебному возрасту сын на вопрос отца, какую жену он хочет, ответил: «Отец, пока я еще не встал со своего места, пусть она встанет; пока я еще не сел на своего богатырского коня, пусть она садится; пока я еще не отправился к народу кровожадных гяуров, пусть она отправляется, пусть приносит мне голову» [Книга моего деда Коркута, 1962, с. 63; Короглы Х.Г., 1975, с. 68; Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, s. 104]. Ряд свидетельств позволяет судить о том, что женщины у кочевников в верховой езде и стрельбе из лука не уступали мужчинам и в определенных случаях принимали участие в боевых действиях [Divanü, 1985, с. I, s. 474; Maḥmūd al-Kāšgarī, 1982, p. 353; Maḥmūd al-Kāšgarī, 2005, с. 439–440; Maḥmūd al-Kāšgarī, 2010, с. 382; Путешествие в восточные страны, 1957, с. 36, 37, 52–53; Андреев И.Г., 1998, с. 65, 66; Левшин А.И., 1996, с. 302, 343–344; Гродеков Н.И., 1889, с. 96; и др.].

У тюрков был распространен обычай левирата – «наследование» младшими родственниками мужского пола жен старших родственников (отцов, старших братьев). Об этом говорят китайские авторы, при этом «Чжоу шу» 周書 отмечает, что в случае смерти отцов и старших братьев (*фу-сюн* 父兄) и дядей (*бо-шу* 伯叔), дети (*цзы-ди* 子弟, то есть ‘представители младшего поколения’) и племянники (*чжи* 侄) женятся на мачехах (*хоу-му* 后母), тетках (*шу-му* 叔母) или невестках (*сао* 嫂), но при этом мужчины старшего поколения не могли иметь отношения с женщинами младшего поколения; в «Суй шу» 隋書 последнего фрагмента нет, и там просто говорится о том, что после смерти отцов и старших братьев младшее поколение женится на матерях (*му* 母) и невестках (*сао* 嫂) [Visdelou C., 1779, p. 127; Бичурин Н.Я., 1950, т. 1, с. 230; Julien S., 1864, vol. III, p. 334–335, 352; Parker E.H., 1899, p. 122, 129, note 49; 1900a, p. 166; Wiger L., 1929, p. 1257; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 10, 42; Bd. II, S. 500, Anm. 57; Лю Маоцай, 2002, с. 22, 23; Taşağıl A., 2003a, s. 113; Қазақстан тарихы, 2006, 67, 124 б; Kara G., 2016, s. 553]<sup>123</sup>. В древнетюркское время мы

---

<sup>123</sup> Л.Н. Гумилев обратил внимание на сообщение одного буддийского источника о следующем явлении в музыкальном училище для девушек в Чань-ани 長安. Девушки объединялись в союзы (братства) от 8–9 до 14–15 человек, и, когда мужчина брал замуж

можем наблюдать это на примере династических браков. В частности, это трагические судьбы двух китайских принцесс. Так, чжоуская принцесса Да-и 大義 фактически побывала женой трех каганов: в 579 г. она была выдана за Тобо 佗钵 кагана, но тот умер до свадьбы, после чего ее взял Ша-бо-люэ 沙钵略 каган, после его смерти ее взял его сын Ду-лань 都蓝 каган, заподозривший ее в интригах и в итоге убивший [Jagchid S., Symons V.J., 1989, p. 149; Pan Yihong, 1997, p. 109–110]<sup>124</sup>. Суйская принцесса И-чэн 義成 успела побывать женой четырех каганов: вначале она была выдана замуж за Ци-минь 啟民 кагана, после его смерти стала женой его сына Ши-би 始畢 кагана, затем – женой его брата

---

одну из них, они по согласованию вступали с ним в половые связи. При этом в их кругу ему давали имя как женщине, а старшие члены союза при встрече с ним звали его «молодой женой» (*синь-фу* 新婦), младшие – «старшей невесткой» (*сао* 嫂). Совершая все это, они думали, что подражают тюркам [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 468; Лю Маоцай, 2002, с. 34]. На основе своей интерпретации этого сообщения Л.Н. Гумилев сделал вывод о существовании у тюрков группового брака [Гумилев Л.Н., 1967, с. 75]. Ср. аналогичное явление у казахов: «Каждый из ровесников мог считать жен своих ровесников своими женами, их детей – своими детьми, а дети родственников в свою очередь должны были называть отцами всех ровесников своего отца и матерями – их жен, хотя в действительности таковыми они не были. Мужчину, женившегося на одной из девушек определенного экзогамного рода, каждая семья из любого аула данного рода именовала своим зятем (күйеу). Он же всех девушек этого рода моложе своей жены мог называть свояченицами (былдыз)» [Толыбеков С.Е., 1971, с. 532].

По нашему мнению, в китайском источнике, скорее, представлено искаженное восприятие отражающего экзогамию обычая левирата, явившегося следствием регулирования внутриобщинного взаимодействия (См.: [Хазанов А.М., 1975, с. 80–82]). Так, например, А.Н. Самойлович опубликовал со слов Мустафы Чокаева следующие данные. М. Чокаев принадлежал к племени *кыпшак*, роду *тору-айбыр* (или просто *тору*), подроду *шаиты*, колону *бошај*, подколену *жанај*. Здесь взаимные браки ограничивались рамками подрода, в этих же пределах замужняя женщина не называла по имени (в лицо и даже в отсутствии) своего мужа, мужчин старше по возрасту ее мужа, их жен и детей. Всех мужчин старше ее мужа она называет *кајн-аба* ‘деверь’; ровесников свекра и старше его – *ата* ‘отец’, как и самого свекра; если мужчина значительно старше мужа, но моложе свекра – *биј-абалар* ‘князя-дядюшки’ (во множественном числе!); старшего сына лица, которое старше ее мужа – *мырз’аба* ‘мырза-братец’, средних сыновей – *ортаныым* ‘мой средненький’, младших – *кишкйім* ‘мой малюсенький’; жен лиц, которые старше мужа – *шешйј* ‘магушка’; жен лиц, которые старше свекра – *енй* ‘мать’, как и саму свекровь; старших, средних и младших дочерей лиц, которые старше мужа – соответственно *бйкйш* ‘сударыня’, *ортаныш-быз* ‘средняя дочь’, *кишкйнй-быз* ‘малюсенькая девочка’; старшую сестру мужа – *ана* ‘старшая сестра’, самых младших детей в семье – *кенжйім* ‘мой малыш’, мальчиков – *кенжй-тај* ‘малыш-жеребенок’, *кенжй-бала* ‘малыш-ребенок’, девочек – *кенжй-быз* ‘малыш-девочка’. Если свекра нет в живых, то название *ата* переносится на его брата, следующего по возрасту, если нет их, то на старшего брата мужа; если нет живых свекрови, то название *енй* переносится на жену следующего по возрасту брата свекра, если их нет, то на жену старшего брата мужа [Самойлович А.Н., 2005в, с. 278–279].

<sup>124</sup> По мнению Б. Öгеля, она была убита за прелюбодеяние [Ögel B., 1971, с. II, s. 73].

Чу-ло 處羅 кагана, а после его смерти ее взял в жены его брат Се-ли 頡利 каган [Jagchid S., Symons V.J., 1989, p. 150; Pan Yihong, 1997, p. 110, 112]; ее убили танские солдаты после того как Се-ли 頡利 каган попал в плен [Jagchid S., Symons V.J., 1989, p. 152; Pan Yihong, 1997, p. 112]. Аналогично в уйгурский период: танская принцесса Младшая Нин-го 寧國 была замужем за двумя каганами, принцесса Сянь-ань 咸安 – за четырьмя [Jagchid S., Symons V.J., 1989, p. 159–160; Pan Yihong, 1997, p. 119–120].

Этот обычай способствовал сохранению имущества вдов внутри семейно-родственной группы и обеспечению покровительства вдовам и их детям после смерти мужа, а также сохранению связей между брачующимися группами [Deér J., 1938, 11. o.; 1954, s. 162; Хазанов А.М., 1975, с. 81–82]. В Хушо-Цайдамских памятниках сообщается, что младшая сестра (*siñil*) Бильге кагана была выдана за кыргызского кагана Барсбега в период правления Капган кагана (КТб, стк. 20 = БК, X, стк. 17). Следовательно, он будучи дядей (*eçi*), решал ее судьбу на правах отца<sup>125</sup>. В этом случае теоретически прав Ж. Кюзенье, утверждавший, что Капган должен был взять в жены Иль Бильге, вдову своего старшего брата [Cuisenier J., 1971, p. 114–115; 1972, p. 928]. Эту же функцию решения судьбы сестры, видимо, возложил на себя находившийся при танском дворе Мо тэ-лэ 墨特勤 после смерти мужа его сестры, принцессы Сянь-ли 賢力, А-ши-дэ Ху-лу 阿史德胡祿 [Bombaci A., 1971, p. 122]. Уйгурский каган Мо-янь-чжо 磨延啜 вовсе удочерил сестру жены и выдал за члена танского дома [Jagchid S., Symons V.J., 1989, p. 73, 157].

Об уважительном отношении у тюрков к женщинам говорит тот факт, что, согласно, китайским источникам, связь с замужней женщиной каралась смертью, связь с незамужней девушкой – выплатой штрафа и обязательством жениться на ней [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 9, 42; Лю Маоцай, 2002, с. 19, 20; Taşağıl A., 2003a, s. 112]. Любопытен описанный «Синь Тан шу» 新唐書 случай о сыне Се-ли 頡利 кагана, Де-ло-чжи 疊羅支, который, будучи на пиру, отказался есть свое мясо, когда его мать пришла последней и ей не хватило доли. Это поразило китайского императора, и она получила свою долю [Visdelou C., 1779, p. 101; Julien S., 1864, vol. IV, p. 232; Parker E.H., 1901b, p. 242; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 197; Лю Маоцай, 2002, с. 70; Қазақстан тарихы, 2005, 165 б].

В то же время среди множества жен тюрка, очевидно, не все обладали одинаковым статусом. При господстве малой (нуклеарной) семьи как минимальной социальной единицы одна из жен непременно должна была иметь определенные привилегии по сравнению с остальными. В частности, «Цзю Тан шу» 新唐書 выделяет одну единственную супругу кагана с титулом *кэ-хэ-дунь* 可賀敦, аналогично сюннуской *янь-чжи* 閼氏 [Parker E.H., 1901a, p. 163;

<sup>125</sup> Например, у казахов осиротевшая девушка сама могла выбирать опекуна из ближайших родственников по отцу, а при их отсутствии – по матери; при этом опекун получал ее калым, но не наследство [Гродеков Н.И., 1889, с. 52].

Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, s. 132]. Характерно в Хушо-Цайдамских текстах титул *qatun* носит только мать Бильге кагана, то есть преемника своего отца (КТб, стк. 11 = БК, X, стк. 10; КТб, стк. 25 = БК, X, стк. 21; КТб, стк. 31)<sup>126</sup>. В надписи Тоньюкука каган прерывает поход и уезжает хоронить свою супругу *qatun* [Şirin User H., 2011, s. 286]<sup>127</sup>.

Интересны в этом аспекте случаи создания поминальных стел в честь женщин, как, например, стелы с надписью и множеством тамг Бомбогор. Данный комплекс, судя по всему, посвящен дочери Кутлуга по имени Иль Бильге кунчуй, выданной замуж за кого-то из карлуков [Şirin User H., 2010; 2011, s. 287; 2015]. Среди енисейских памятников надпись Барык II (Е 6), которую А.Н. Бернштам пытался использовать как основной источник, доказывающий существование внутренней эксплуатации у тюрков [Бернштам А.Н., 1946б, с. 115–116, 117, 156–157], по мнению И.В. Кормушина, является женской эпитафией, как и надпись Чаа-холь VIII (Е 20), с чем, однако, не согласны И.Л. Кызласов и Х. Ширин Усер [Кызласов И.Л., 2005, с. 432; Şirin User H., 2011, s. 286–287]<sup>128</sup>.

В то же время показателен еще один эпизод, относящийся, правда, к эпохе Уйгурского каганата. Так, в 759 г. после смерти Мо-янь-чжо 磨延啜 кагана, его жене, китайской принцессе Нин-го 宁国, носившей титул *qatun* [Şirin User H., 2011, s. 283], было предложено совершить самоубийство; она отказалась, хотя по тюркскому обычаю приняла участие в оплакивании вождя, раздирая в кровь лицо; поскольку она не успела родить детей, ее отправили обратно в Китай [Jagchid S., Symons V.J., 1989, p. 158–159; Pan Yihong, 1997, p. 119].

Беспрецедентным является случай, когда, согласно «Цзю Тан шу» 舊唐書, ок. 661 г. власть в племени уйгуров вождю По-жуну 婆閏 наследовала женщина – его сестра Би-су-ду 比粟毒 [Chavannes E., 1903, p. 93; Ögel B., 1971, с. I, s. 38; с. II, s. 23]<sup>129</sup>. Вместе с тем ее личность спорна, так как, согласно другим

---

<sup>126</sup> Наиболее оптимальной выглядит этимология слова *qatun* от глагола *qat-* ‘присоединять, прибавлять’ при помощи аффикса *-Xn* (ср. выше *kälin*) [Максуди Арсал С., 2002, с. 39, 40; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 296–297; 2006, с. 553; Useev N., 2012, s. 63–64], однако, переданное в китайских источниках написание *кэ-хэ-дунь* 可賀敦, очевидно, отражает транскрипцию формы *\*qayatur* [László F., 1967, 16. o.; Franke O., 1937, S. 254, 338]. Возможно он связан с лексемой *\*qa* с семантикой родства (Ср.: [Gülensoy T., 2007, с. I, s. 405]). О других гипотезах происхождения см.: [Donuk A., 1988, s. 29–31].

<sup>127</sup> В енисейских надписях термин *qatun* употребляется в значении ‘река’ [Aydin E., 2011a]. Ср.: *qatun tarlay* (Е 12, стк. 2, 4; Е 72, стк. 1), *käm qatun* (Е 12, стк. 3; Е 144, 1), *ana käm qatun* (Е 143), *ägük qatun* (Е 3, стк. 4).

<sup>128</sup> Среди аргументов И.В. Кормушина следует отметить указание на «отсутствие у тюркского *apa* “мужских” линий в семантике» [Кормушин И.В., 1997, с. 189]. См. очерк «Древнетюркская система родства».

<sup>129</sup> Например, в алтайском эпосе женщина не воспринималась как кандидат на пост правителя, но при этом супруга или сестра управляла в отсутствие хана [Трепавлов В.В., 1989, с. 138, 143].



источникам, под данным именем указывается сын или племянник По-жуна 婆閏, а «Синь Тан шу» 新唐書 называет преемником его сына Би-ли 比栗, в «Тан хуэй яо» 唐會要, названного Би-лай-ли 比來栗 [Малявкин А.Г., 1980, с. 119, прим. 93; Екрем Е., 2008, с. 58–62].

В памятнике Кюль тегина перечисляется вся женская половина, находившаяся в ставке (*ordo*): вначале выделяется *ög-üm qatun*, а за ней упомянуты *ög-lärim* (Кб, стк. 9). Термин *ög* ‘мать’ в орхонских текстах часто употребляется в паре с *qay* ‘отец’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 378; Clauson G., 1972, р. 99], особенно в случаях упоминания титулатуры правящей четы: *qay-ım qayan-ıy ög-üm qatun-ıy* (КТб, стк. 25 = БК, X, стк. 21–22). Т. Текин считает оба выражения устойчивыми [Tekin T., 2003, s. 200]. Этот термин *ög*, в памятнике Кюль тегина данный в форме множественного числа, означает здесь, по-видимому, мачех, то есть других жен главы рода [Бернштам А.Н., 1946б, с. 90]. Здесь интересно отметить такие случаи: например, известно, что в 583 г. когда враги войска Ша-бо-люэ 沙钵略 кагана напали на главную ставку А-бо 阿波 кагана, то убили его мать; когда в 585 г. войска А-бо 阿波 кагана напали на ставку Ша-бо-люэ 沙钵略 кагана, воспользовавшись его отсутствием, то захватили в плен его жену и детей [Liu Mau-tasi, 1958, Bd. I, S. 49, 51, 101; Лю Маоцай, 2002, с. 52; Казакстан тарихы, 2005, 73, 75, 100 б., 114 түсін.].

Кроме главной жены *qatun* и других жен были, вероятно, наложницы, или женщины, не обладавшие полноправным статусом в обществе. Ввиду конкретных данных об этом достаточно трудно судить.

Касательно тюрков VI–VIII вв. есть лишь свидетельства о захвате в плен женщин, обозначенных неопределенным термином *jotuz-ın* (БК, X, стк. 24, 38; БК, Ха, стк. 3, 4) [Şirin User H., 2009b., s. 253]. В двух енисейских текстах упомянута форма *jotuz-uma* (Е 43, стк. 1; Е 120, стк. 1) ‘жена [моя]’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 222; Кормушин И.В., 1997, с. 198; 2008, с. 259; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 115] (Ср., однако: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 212]), по более поздним аналогиям [Древнетюркский словарь, 1969, с. 282; Clauson G., 1972, р. 894–895]. Судя по всему, термин *jotuz* прошел обратную семантическую эволюцию: ‘женщина вообще’ > ‘жена’.

Тоньюкук среди преподнесенного врагами золота, серебра и прочих сокровищ упоминает *qiz qoduz* ‘девиц [и] женщин’ (Тон, стк. 48 (= II Южн., стк. 4)) [Giraud R., 1961, р. 64, 112], сочетание, известное также из памятника Могойн Шинэ Усу: *jilqisin barimin qizin qoduzin kalirtim* скот, имущество, девиц [и] женщин [я] принес’ (МШУ, стк. 15 (= Вост., стк. 3)), где второй термин обозначает именно ‘незамужних женщин’ или ‘вдов’ [Bazin L., Hamilton J.R., 1994], либо вся композиция *qiz quduz* (sic!) – ‘(молодых знатных) женщин’ [Rybatzki V., 1997, S. 119–120, Anm. 311]. Есть сообщение китайских летописей, что в 619 г. Бу-ли 步利 шад, младший брат Чу-ло 處羅 кагана, напав на г. Бин-чжоу 並州, за-

хватил «множество прекрасных женщин» [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 134; Лю Маоцай, 2002, с. 64; Taşağıl A., 2003a, s. 102; Қазақстан тарихы, 2005, 152 б.].

Для сравнения нужно обратиться еще к одному термину. У Махмұда ал-Қашғарұ также встречается *kis* (с вариантом *kisī* при изафете) в значении ‘жена’ (*al-zawja*) при *kišī* ‘человек’ (*al-insān*), но ‘жена’ в диалекте *йагма* [Divanü, 1985, с. I, s. 329; с. III, s. 224; Clauson G., 1972, p. 748, 749, 752–753; Maḥmūd al-Kāšgarī, 1982, p. 262; Maḥmūd al-Kāšgarī, 1984, p. 266; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 321, 910; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 282; Древнетюркский словарь, 1969, с. 646; Gömeç S., 2002, s. 139]. В древнетюркских памятниках с территории Монголии мы встречаем только второе значение – ‘человек’ [Şirin User H., 2009b., s. 246]. В более поздних тюркоязычных буддистских текстах термин имеет более размытое значение (См.: [Zieme P., 1992, p. 306–307]). Первичным значением термина *kisī*, согласно Дж. Клосону, было ‘жена’, но речь идет о смешении из-за двусмысленность шрифта двух разных слов с течением времени [Clauson G., 1972, p. 749; Этимологический словарь, 1997, с. 78–79]<sup>130</sup>. Учитывая тот факт, что написание *s ~ š* в памятниках древнетюркской рунической письменности не всегда последовательно, И.В. Кормушин тем не менее полагает, что в енисейских надписях речь идет о «женских» значениях – ‘жена’ (Е 6, стк. 2; Е 18, стк. 1; Е 61, стк. 2) или ‘наложница’ (Е 11, стк. 3; Е 27, стк. 4; Е 46, стк. 3), – и только в одном случае слово имеет значение ‘человек’ (Е 48, стк. 9) [Кормушин И.В., 2008, с. 264–265]. Наиболее достоверным такой контекст представляется в надписи Суглук-Адыр-Аксы, где *kiši* употреблено в сочетании с *quj-da* (Е 61, стк. 2). Исходя из использования в надписи Оя фразы *kiši qazyantim* 𐰽𐰺𐰍𐰏𐰤𐰰 : 𐰽𐰺𐰍𐰏 (Е 27, стк. 4), И.В. Кормушин полагает, что *kiš* следует рассматривать как наложниц [Кормушин И.В., 1997, с. 58; 2008, с. 264], тогда вся фраза имела бы смысл ‘[я] наложниц добывал’. Аналогично в тексте Бегре, где фразу *eldä kiši qazyantim* (Е 11, стк. 2) исследователь трактует как указание на ‘в непочетном месте (юрты) жен (наложниц)’ [Кормушин И.В., 1986, с. 167; 1997, с. 275]. Кроме того, в памятнике Телэ в стк. 1 упомянута жена *quñčij-īma*, а ниже в стк. 3 – *kiši-m*, в коей, по мнению И.В. Кормушина, нужно видеть наложницу (Е 46, стк. 1, 3) [Кормушин И.В., 2008, с. 59]. Несмотря на то, что интерпретация фразы из надписи Оя, по нашему мнению, не выглядит убедительной, теоретически в обоих надписях термин вполне может означать наложниц, где девушка перечисляется среди имущества. Однако, речь может идти и просто о захвате людей [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R.,

<sup>130</sup> К.М. Мусаев указывает, что изначальное значение термина *\*kiši* было ‘человек’, ‘мужчина’ [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 325]. Однако как в ранних, так и в поздних источниках слово не имеет оттенка определенности и пола [Clauson G., 1972, p. 752–753]. По мнению И.В. Кормушина, *kiši* восходит к *\*kisi*, образованному от изначальной формы *\*kis* при помощи аффикса *-i* [Кормушин И.В., 2008, с. 322]. М. Эрдаль полагает, что форма *kisi* ‘жена’ возникла как результат гаплогонии от *kiši* ‘человек’ + *+sI* – аффикс принадлежности 3 лица [Erdal M., 2004, p. 124].

2013, s. 46, 81]<sup>131</sup>. В одиннадцатом таласском памятнике мемориант прощается с единственной, *kičig* (букв. «маленькой», т.е. младшей?) *kiši*, под чем, видимо, нужно, подразумевать именно жену, поскольку прямо говорится, что она «сталась вдовой» (*tul qaldı*) (Тал XI, стк. 1) [Джумагулов Ч., 1982, с. 20; Аманжолов А.С., 2010, с. 93; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 297, 298]. Контекст употребления слова в надписи Кюли чора в сочетании *oŷlin<sup>2</sup> kisisin buln[adıp]* (КЧ, стк. 5 (= Зап., стк. 5)), то есть «[его] детей [и] жен[у] взял в плен [он]» [Aydın E., 2014, s. 35–36], а также употребление сочетания *oŷli-n kisi-sin* в остальных случаях в этом тексте (КЧ, стк. 13 (= Вост., стк. 1), стк. 22 (= Вост., стк. 10)) [Şirin User H., 2009b, s. 243] позволяют считать, что речь идет именно о жене.

В памятнике Могойн Шинэ Усу говорится, что уйгурский Элетмиш Бильге каган после победы над тюркским каганом взял себе его *qatun* (МШУ, стк. 10 (= Сев., стк. 10)).

Сюжет захвата женщин в качестве добычи нашел отражение в эпических сказаниях тюркских и монгольских народов [Липец Р.С., 1983; Ермоленко Л.Н., 2008, с. 159–160]. В эпосе «Манас» ханские дочери и наложницы присутствуют среди даров от вождей покоренных племен [Жирмунский В.М., 1961, с. 128–129].

Судьба захваченных женщин была различной. Прежде всего, вероятно, они могли стать женами не имевших средств для сбора калыма кочевников или одной из жен их более состоятельных сородичей. Известно, что западно-тюркский каган Истеми (Дизавул у Менандра), например, «почтил» византийского посла Зимарха пленницей из народа *кыркыз* (Men. Fr., 20) [Византийские истории, 1860, с. 378, прим. 50; Chavannes E., 1903, p. 238; Жданович О.П., 2014, с. 13]. В 618 г. китайцы оправили посланца «с девушками-певицами в подарок Шиби-кагану» [Кюннер Н.В., 1961, с. 183; Taşağıl A., 2003a, s. 125]. Женщины поставлялись тюрками в качестве подарков к танскому двору [Шефер Э., 1981, с. 77]. В 733 г. правитель Хутталя с титулом *се-ли-фа* 頡利發 (< *eltäbär*) прислал Китаю девушек-музыкантов [Бичурин Н.Я., 1950, т. II, с. 326; Chavannes E.,

<sup>131</sup> И.В. Кормушин читает надписи в Кемчик-Чиргаки (Е 41, стк. 10) термин *\*uraŷin ~ \*uraŷun* < *uraŷut* ‘женщина’ [Кормушин И.В., 2008, с. 55, 56–57], известный у Махмұда ал-Қашғарі [Divanü, 1985, с. I, s. 138; Clauson G., 1972, p. 218; Махмұд ал-Қашғарі, 1982, p. 159; Махмұд ал-Қашғарі, 2005, с. 167; Махмұд ал-Қашғарі, 2010, с. 155; Древнетюркский словарь, 1969, с. 614] < *\*ur-* ‘зачать’, ‘рожать’, ‘приносить потомство’ [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 315]. По И.В. Кормушину, семантика кроется в конце фразы: *alt-imqa alt-im* ‘брать за собой’ > ‘жениться, взять в жены’. Эпитетами выступают определения *z(e)z(i)l* (< *\*sezil* – ?) ‘утонченная, изысканная’, *qabaj* ‘простая, грубая’ [Кормушин И.В., 2008, с. 55]. Ср. еще чаг. *ураут*, *уравут*, карах.-уйг. *урабут* ‘женщина’ [Радлов В.В., 1893б, ч. 2, стб. 1651, 1655], каз. ‘родственник’ [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 315]. См. иначе у Т. Текина: [Tekin T., 1999, s. 7, 13; Useev N., 2011, s. 387, 390, 391, 392]; ср. также: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 109, 110].

1903, p. 168; Малявкин А.Г., 1989, с. 87]. Но в древнейгурском памятнике «Ырк битиг» есть фраза: *abinči qatun bolzun* ‘пусть наложница госпожой станет’ (ЫБ, XXXVIII), где *abinči* < *abin* ‘удовольствие’ [Кляшторный С.Г., 2003, с. 480; 2006, с. 475]. Неясно различие между этими статусами и сам механизм вертикальной мобильности.

Из материалов других эпох известно, что наложницы могли иметь детей, которые обладали такими же правами, что и дети жен [Путешествие в восточные страны, 1957, с. 36; Андреев И.Г., 1998, с. 64; Левшин А.И., 1996, с. 334; Гродеков Н.И., 1889, с. 37]<sup>132</sup>.

Однако в истории тюрков известен случай, когда при избрании каганов дважды был обойден Да-ло-бянь 大邏便, при этом формальным поводом стало низкое происхождение его матери<sup>133</sup>. По мнению И. Эчеди, под этим следует понимать меньшую знатность ее рода по сравнению с родом жены<sup>134</sup>, – например, То-бо 佗鉢, сын которого как раз и занял престол после смерти отца, –

<sup>132</sup> В свое время С. Максуди (Арсал) писал, что в тюркском языке нет таких понятий, как «проститутка» и «незаконнорожденный», а все имеющиеся сегодня в тюркской лексике являются иранскими заимствованиями [Максуди Арсал С., 2002, с. 271]. Исследователь все же был не совсем точен: у Махмұда ал-Қашғарұ есть термины *ojnaš* ‘женщина, имеющая недозволенного любовника’ (*‘l-lahā man yarhaquhā ḥarām<sup>an</sup>*) [Divanü, 1985, с. I, s. 120; Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 145; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 148; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 141; Древнетюркский словарь, 1969, С. 365], а также ряд слов и словосочетаний, обозначающих женщин легкого поведения – например, *ersäk* [Divanü, 1985, с. II, s. 56; Древнетюркский словарь, 1969, с. 181; Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 411; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 518], *ersäk ešlär (al-mūmisa bağiya)* [Divanü, 1985, с. I, s. 181; Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 134; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 133–134; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 129], *ākāk ešlär (al-mūmisa)* [Divanü, 1985, с. I, s. 104; Maḥmūd al-Kāšğarī, 1982, p. 116; Махмұд ал-Қашғарұ, 2005, с. 133; Махмұд ал-Қашғарұ, 2010, с. 111; Древнетюркский словарь, 1969, с. 181; Gömeç S., 2002, s. 139]. В «Китаб-и Дэдэм Коркут» Бейрек упрекает Бугазчи Фатиму в том, что она имеет сорок любовников (Qırq oynaşlu) [Книга моего деда Коркута, 1962, с. 46; Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, s. 73, 220]. Между тем, по сообщению Гардүзү, «известно, что тюркские женщины очень нравственны» [Бартольд В.В., 1973, с. 42; Martinez A.P., 1982, p. 118].

<sup>133</sup> В источнике – цзянь 賤 ‘низкое общественное положение; подлое состояние (происхождение), худородство’. См. также: [Parker E.H., 1900b, p. 9, 12, note 230].

<sup>134</sup> С.П. Толстов предположил, что она могла быть «рабыней» или «наложницей» [Толстов С.П., 1938в, с. 11; Толстов С.П., 1948, с. 254]. Л.Н. Гумилев безосновательно считал, что она была из династии Чжоу 周 [Гумилев Л.Н., 1967, с. 104, прим. 3]. Из истории с отстранением Да-ло-бяня 大邏便 (Tarban?) Б. Ögel сделал вывод, что у тюрков была распространена моногамия и, следовательно, претендовать на наследование могли лишь дети «старшей жены» (Baş-Hatun) [Ögel B., 1971, с. II, s. 25–26]. Ильдико Эчеди полагала, что она была именно супругой кагана, но ее родственники играли менее значимую роль, нежели родственники матери Ань-ло 庵邏 [Ecsedy H., 1972, p. 250–251, note 8]. По мнению С. Дивитчиоглу, противодействие со стороны знати избранию каганом Да-ло-бяня 大邏便 может объясняться тем, что его мать не принадлежала к знатным А-ши-дэ 阿史德 [Divitçioğlu S., 2005, s. 161].

и именно родственники матери могли повлиять на выборы кагана [Ecsedy Н., 1972, р. 251–252, note 8]. Да-ло-бянь 大邏便 же, получив лишь титул А-бо 阿波 кагана, «вернулся управлять своим племенем» (*хуань лин-со бу* 還領所部) [Ecsedy Н., 1972, р. 251–252, note 11], и в дальнейшем предпринимал все действия со своим «народом» (*шу* 衆), «племенем» (*бу-ло* 部落) [Ecsedy Н., 1972, р. 251–252, note 8]. Их И. Эчеди посчитала как раз родственниками матери А-бо 阿波, что как будто подтверждается сообщением, что когда враги напали на его главную ставку, то убили там его мать [Ecsedy Н., 1972, р. 255–257, note 13].

Подобная ситуация произошла с Сы-мо 思摩, который был похож лицом на согдийца (*ху* 胡), потому каганы подозревали, что он не из рода А-ши-на 阿史那, из-за чего оставаясь *тегином*, он не мог продвинуться выше определенного социального статуса [Liu Mau-tasi, 1958, Bd. I, S. 152, 204; Лю Маоцай, 2002, с. 73; Taşağıl А., 1999, s. 88; Қазақстан тарихы, 2005, 170 б.].

Вероятно, женщины, взятые в жены по обычаям, имели статус выше ввиду того, что за ними стояли их родственники. Захваченные женщины ни на чью поддержку рассчитывать не могли. Поэтому речь может идти о группе женщин, которые не относились к полноправной части социума.

Сведения письменных источников о положении женщин в тюркском обществе существенным образом дополняют результаты анализа археологических материалов, имеющих большое значение для детализации данного аспекта социальной истории кочевников. Результаты раскопок погребальных памятников второй половины I тыс. н.э., расположенных в различных частях Центрально-Азиатского региона, позволяют конкретизировать целый ряд вопросов, рассмотренных выше.

Несмотря на очевидную актуальность реконструкции гендерных отношений в обществах кочевников, целенаправленного изучения данного вопроса на материалах погребальных комплексов тюрков Центральной Азии не предпринималось. Вместе с тем отечественными археологами высказывались ценные замечания по данному вопросу. Многие исследователи подчеркивали высокую степень сходства мужских и женских погребений тюрков, отмечая разницу между ними лишь в составе сопроводительного инвентаря [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 100; Гаврилова А.А., 1965, с. 28; Кубарев Г.В., 2005, с. 23; и др.]. Анализ наборов вещей из могил кочевников второй половины I тыс. н.э. позволил Г.В. Длужневской [1976] обозначить категории находок, характерных для захоронений лиц различных полов.

В связи с немногочисленностью женских погребений тюрков большое внимание исследователей привлекло изучение показателей, характерных для данных объектов. Д.Г. Савинов [1994, с. 148] обратил внимание на такую этнографическую особенность ряда женских захоронений кочевников, как наличие в них устойчивого набора предметов, включающего зеркало, гребень и маленький ножик. В.Н. Третьякова [2000, с. 55] отметила, что на некоторых ранне-

средневековых некрополях, раскопанных в Минусинской котловине, могилы представительниц слабого пола определенным образом приурочены к курганам мужчин. Исследовательница подчеркнула однотипность погребений женщин и отсутствие ярких признаков подобных объектов. Схожие наблюдения приведены в совместной статье Ю.С. Худякова и К.Ы. Белинской [2006, с. 498–499]. Авторы публикации на материалах трех охарактеризованных женских захоронений тюрков, обнаруженных в Монголии, пришли к выводу о том, что рассматриваемые объекты, по сравнению с мужскими могилами, отличаются меньшим разнообразием черт обряда.

Перспективы изучения женских погребений тюрков Алтая обозначены в ряде публикаций К.Ы. Белинской [2007а–б, 2009]. По ее мнению, в материалах захоронений представительниц слабого пола не наблюдается социальной градации, и все объекты принадлежат рядовым членам общества кочевников [Белинская К.Ы., 2007а, с. 147]. Подобную слабую дифференцированность обряда К.Ы. Белинская [2009, с. 10] объяснила отсутствием резкого противопоставления между представителями элиты и рядовыми кочевниками. В работах исследовательницы представлена характеристика женской погребальной обрядности на основе анализа материалов раскопок раннесредневековых памятников Алтая [Белинская К.Ы., 2007б; 2009]. Судя по приведенным описаниям, всего ей было учтено более 20 захоронений. При этом остался неясным принцип определения половой принадлежности умерших из рассмотренных комплексов. К примеру, среди прочих объектов к женским погребениям отнесена могила 12 некрополя Кудыргэ, в составе сопроводительного инвентаря которой зафиксированы остатки меча и колчана [Гаврилова А.А., 1965, с. 25–26, табл. XX]<sup>135</sup>, а также несколько других захоронений, однозначное определение которых вызывает вопросы.

Анализ наземных и внутримогильных сооружений, а также ритуала погребения, характерного для некрополей тюрков, позволил нам выделить две группы показателей. В *первую* включены признаки, вариабельность которых не связана напрямую с половой дифференциацией обряда кочевников. К таковым относятся тип погребального сооружения<sup>136</sup>, ориентировка и положение умерших и сопровождавших их животных.

Показатели, различающие мужские и женские захоронения, составляют *вторую* группу признаков. К ним отнесены параметры погребальных конструкций и количество лошадей, находившихся рядом с умершим. Для муж-

<sup>135</sup> Самой А.А. Гавриловой [1965] могила 12 определена в одном месте как женская (стр. 28), в другом – как мужская (стр. 25).

<sup>136</sup> Некоторая зависимость в этом плане отмечена по материалам отдельных некрополей. К примеру, на могильнике Белый Яр-II только мужские погребения были совершены в гробах [Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999, рис. 4.-4, 7.-2, 10.-6, 12.-2]. Однако при рассмотрении всех материалов такие свидетельства не находят подтверждения и не выходят за рамки частных случаев.

ских захоронений характерен большой объем трудозатрат на сооружение курганной насыпи и могильной ямы. Данный показатель может быть зафиксирован только на уровне тенденции в силу разрушенности значительного количества объектов, а также в связи с существованием локальной специфики памятников тюрков на различных территориях. Более важным признаком является количество лошадей в погребении. В большинстве учтенных женских захоронений (32 объекта, 80%) находилось одно животное, две лошади зафиксированы только в одной могиле (2,5%). Кроме того, в семи (17,5%) захоронениях представительниц слабого пола животное отсутствовало. Для сравнения отметим, что в погребениях мужчин значительно более распространенным является присутствие двух лошадей (14,28% объектов). Зафиксированы также случаи нахождения рядом с умершим трех (3%) и четырех (0,75%) животных.

В связи с высокой степенью унификации рассмотренных признаков погребального обряда тюрков Центральной Азии наиболее четким показателем, отличающим женские захоронения, является качественно-количественный состав сопроводительного инвентаря. Для выявления и конкретизации закономерностей в этом плане был проведен статистический анализ, который позволил обозначить степень распространения конкретных находок в могилах представительниц слабого пола [Серегин Н.Н., 2013а, табл. 3]. Выделены четыре комплекса предметов сопроводительного инвентаря, встречающихся в женских погребениях. **Первый комплекс** составили вещи, характерные только для захоронений представительниц слабого пола. Показателями исключительно женских погребений являлись металлическое зеркало, обнаруженное в 13 (32,5%) могилах<sup>137</sup>, игольник – 5 (12,5%) и пряслице – 7 (17,5%). Предметы сопроводительного инвентаря, включенные во **второй комплекс**, характерны, преимущественно, для захоронений представительниц слабого пола, однако зафиксированы и в мужских могилах. К ним относятся серьги, обнаруженные в 20 (50%) погребениях женщин, другие украшения (бусы, подвески, кольца и др.) – 9 (22,5%), гребень – 7 (17,5%), а также украшения конского снаряжения – 13 (32,5%). **Третий комплекс** составили находки, встреченные в равной степени в мужских и женских захоронениях: фрагменты шелковой одежды, найденные в 8 (20%) захоронениях представительниц слабого пола, нож – 21 (52,5%), удила и псалии – 25 (62,5%), стремена – 22 (55%), плеть или стек – 4 (10%). **Четвертый комплекс** предметов сопроводительного инвентаря представлен вещами, не характерными для погребений женщин. Главным образом, это предметы вооружения, маркирующие мужские могилы. Исключение пред-

---

<sup>137</sup> В одном из погребений тюркской культуры умерший, рядом с которым находилось металлическое зеркало, определен антропологом как мужчина [Грач А.Д., 1958; Алексеев В.П., 1960, табл. 3]. В этом случае возможна неточность из-за плохой сохранности черепа [Нестеров С.П., 1999, с. 95]. С другой стороны, на принадлежность погребения мужчине указывает наличие таких предметов, как котел и тесло.

ставляют два захоронения представительниц слабого пола (5%), в которых обнаружены небольшие кинжалы. Кроме того, к четвертой группе находок относятся наборный пояс, встреченный в двух (5%) женских погребениях, а также металлический сосуд, китайские монеты и оселок, встреченные по одному разу (2,5%). Помимо предметов вооружения в могилах представительниц слабого пола не встречены тесло, котел и кочедык.

Таким образом, погребальные памятники тюрков демонстрируют наличие устойчивых гендерных стереотипов. Отличие мужских и женских захоронений нашло отражение, в меньшей степени, в размерах погребальных сооружений, количестве сопровождавших человека лошадей и, главным образом – в качественном составе сопроводительного инвентаря. Наиболее распространенными находками в погребениях представительниц слабого пола были украшения и предметы быта. Практически полностью отсутствовали изделия, связанные с демонстрацией власти в обществе кочевников (вооружение, наборный пояс, котел). Не встречены также предметы, связанные с реализацией определенных хозяйственных занятий и отражающие, вероятно, существовавшую трудовую специализацию (тесло, кочедык, оселок).

Интерес представляют редкие отклонения от обозначенных гендерных стереотипов, зафиксированные в материалах некоторых женских погребений. В отдельных захоронениях представительниц слабого пола обнаружены «мужские» предметы. Правдоподобным выглядит предположение о том, что такие вещи помещались в могилу для последующей передачи ранее умершему владельцу [Нестеров С.П., 1999, с. 97]. Подтверждение данной интерпретации находим в этнографических материалах. Известно, что у многих кочевых народов Центрально-Азиатского региона существовали представления о встрече родственников в загробном мире. Поэтому, к примеру, в ряде случаев в могилу вдовы клали кiset, предназначенный для передачи ее мужу [Дьяконова В.П., 1975, с. 23, 44–45, 130–131]. Вероятно, похожие традиции были и у тюрков. Именно так можно объяснить нетипичное расположение в женской могиле «мужского» наборного пояса, помещенного не на привычном месте, а у головы умершей [Гаврилова А.А., 1965, с. 61]<sup>138</sup>.

Весьма вероятен и другой вариант интерпретации присутствия «мужских» предметов в женских погребениях. Имеющиеся материалы позволяют предположить, что такие вещи могли демонстрировать высокий прижизненный социальный статус умерших. В ряде случаев захоронения женщин, в составе инвентаря которых обнаружены не типичные для представительниц слабого пола серебряный сосуд [Савинов Д.Г., 1994, с. 118, рис. 108–110], китайские монеты

---

<sup>138</sup> Судя по всему, такие представления нашли отражение и в материалах детского погребения, исследованного на могильнике Мойгун-Тайга. В этом захоронении наборный пояс, никак не подходивший по размеру ребенку, был положен в стороне, сбоку от умершего [Грач А.Д., 1960б, с. 32].



[Евтюхова Л.А., 1957, с. 212, рис. 8], кинжал [Длужневская Г.В., 2000, с. 180, рис. IV.-4], включали и другие «престижные» категории предметов. Таким образом, нарушение гендерных стереотипов при создании рассмотренных погребений было призвано подчеркнуть особое положение погребенных. В данном случае мы переходим к рассмотрению вопросов, связанных с отражением социальной дифференциации по материалам женских захоронений.

Социальный анализ материалов раскопок женских погребений тюрков позволил выделить несколько групп памятников, демонстрирующих общую дифференциацию среди представительниц слабого пола [Серегин Н.Н., 2013а, с. 103–104]. Основой для ранжирования стал многоступенчатый анализ объектов, предполагавший последовательную корреляцию всех показателей обряда, но прежде всего тех, которые были определены как социально значимые.

**I.** Для погребений данной модели характерен максимальный по количеству и наиболее выдающийся по качеству состав сопроводительного инвентаря. В могилах нередко обнаружены такие маркеры женских могил, как игольники и гребни. Наиболее показательными были предметы торевтики (изделия из художественного металла), присутствовавшие во всех погребениях. Для объектов рассматриваемой группы характерно сочетание не менее двух или трех вещей из числа таких «престижных» находок, как металлические зеркала, украшения конской амуниции и серьги, изготовленные, чаще всего, с использованием драгоценных металлов. Следует отметить, что в одном женском погребении обнаружен кинжал, являющийся редкой находкой даже для мужских могил. При исследовании всех объектов зафиксировано конское снаряжение; дважды встречена рукоять плети или стека. Стандартным является сопровождение умерших лошастью; известно только одно погребение без животного. В рамках первой социально-типологической группы объединены восемь (20%) женских могил [Савинов Д.Г., 1982, с. 110–112; 1994; Длужневская Г.В., 2000; Кубарев Г.В., 2005, с. 370–371; и др.] (*рис. 5*). К перечисленным погребениям Алтае-Саянского региона следует добавить наиболее «богатое» женское тюркское захоронение, исследованное на территории Монголии [Евтюхова Л.А., 1957, с. 207–216].

**II.** Объекты, отнесенные к этой модели, несколько уступают погребениям первой группы по количеству и качеству обнаруженных изделий. В частности, для них характерна редкость фиксации предметов торевтики из драгоценных металлов, а также меньшее количество социально значимых находок в одной могиле (не более двух). При исследовании двух женских могил обнаружен наборный пояс, элементы которого изготовлены из бронзы. В одном случае встречен кинжал. В большинстве погребений зафиксировано конское снаряжение. Почти всегда, за единственным исключением, умершую женщину сопровождала лошадь. Ко второй социально-типологической модели отнесены 12 (30%) погребений [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 100–102; Грач А.Д., 1960а, с. 120–123; Гаврилова А.А., 1965, с. 61–63; Кубарев Г.В., 2005, с. 376; и др.] (*рис. 6*).

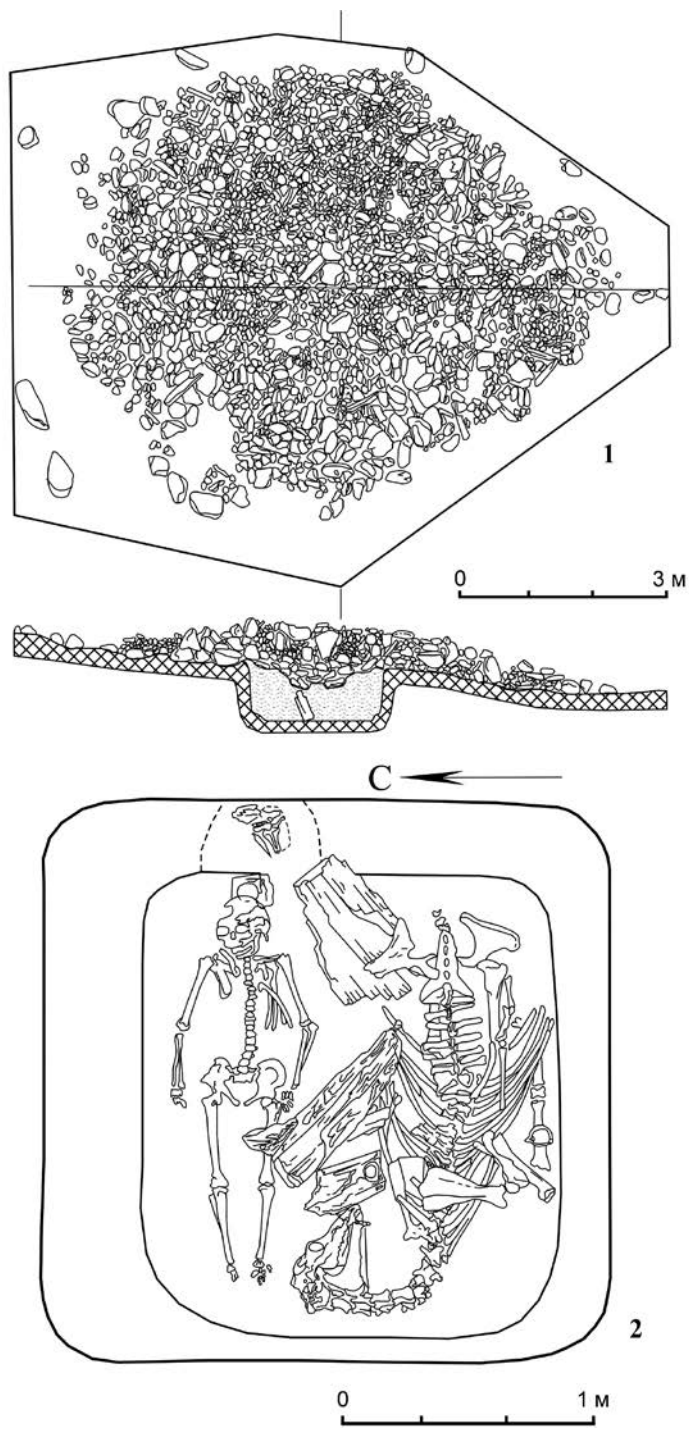


Рис. 5. Бертек-34, курган №1. 1-2 – план насыпи и погребения  
 (по: [Савинов Д.Г., 1994, рис. 96-97, 102])

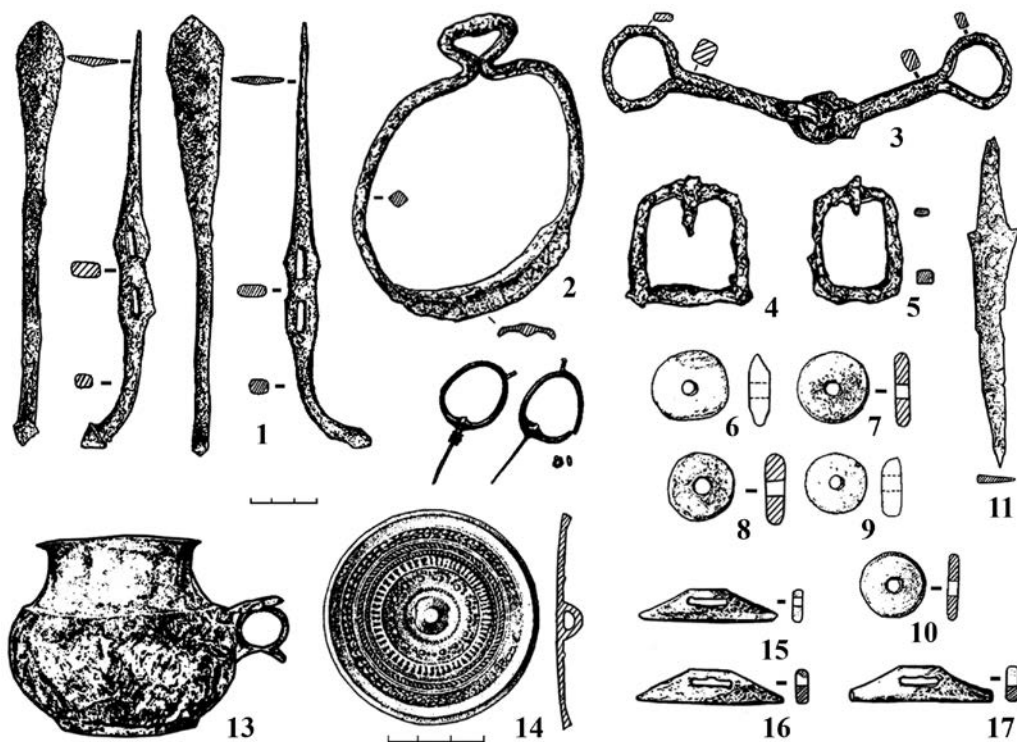


Рис. 5 (окончание). Бертек-34, курган №1. 1–17 – предметный комплекс из погребения (по: [Савинов Д.Г., 1994, рис. 105–108])

**III.** Погребения данной модели отличаются от объектов, включенных в предыдущие группы, отсутствием вещей, изготовленных с использованием драгоценных металлов. Во всех могилах присутствовала одна, реже две категории предметов торевтики из бронзы. При исследовании большинства объектов зафиксировано конское снаряжение. Одна лошадь сопровождала умершую женщину почти во всех случаях, и только в двух могилах животное отсутствовало. Третья социально-типологическая модель включает восемь (20%) погребений [Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988, с. 98; Худяков Ю.С., Кочев В.А., 1997; Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, с. 72–73; и др.] (рис. 7).

**IV.** Стандартным показателем объектов этой модели является полное отсутствие предметов торевтики. В большинстве случаев рядом с умершей обнаружен нож, в половине могил зафиксировано конское снаряжение. Почти всегда в захоронении находилась одна лошадь. Кроме того, исследованы три одиночных женских погребения (без животного). Всего в рамках четвертой социально-типологической группы объединены 12 (30%) объектов [Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т., 1985, с. 63–64; Могильников В.А., 1990, с. 142–144; Поселянин А.И., Киргинцев Э.Н., Тараканов В.В., 1999, с. 94–95; Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, с. 73–76; и др.] (рис. 8–9).

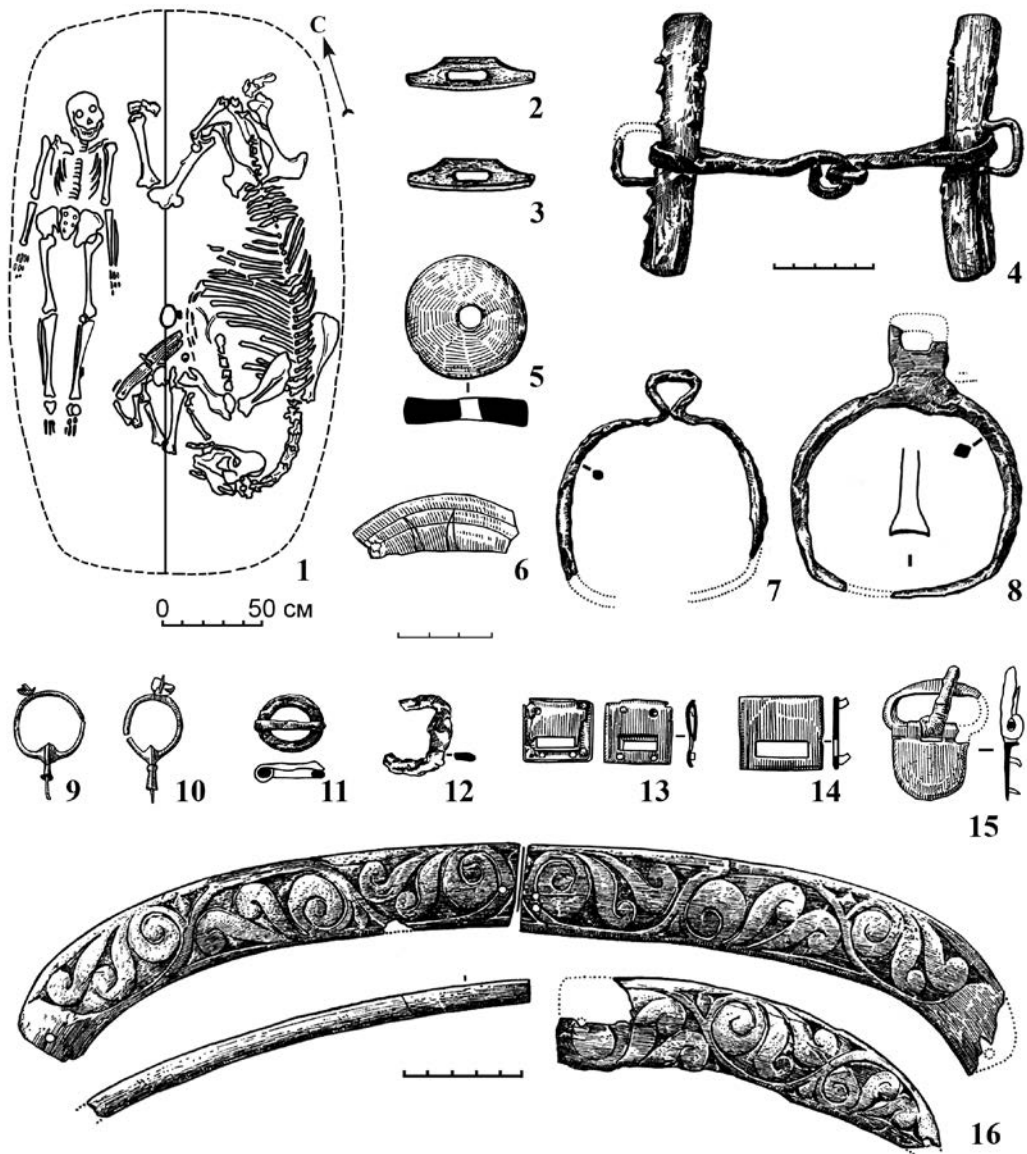


Рис. 6. Катанда-II, курган №5, 1954. 1 – план погребения;  
2–16 – предметный комплекс (по: [Гаврилова А.А., 1965, рис. 7–8])

Так выглядит структура женской части социума тюрков Центральной Азии по материалам погребальных памятников. Безусловно, это только схема, отражающая основные тенденции дифференциации общества кочевников. Имеются основания для отнесения захоронений, включенных в первую группу, к элитным слоям социума кочевников. Обратим внимание, что в тех случаях, когда имеется заключение антрополога, возраст умерших женщин из погреб-

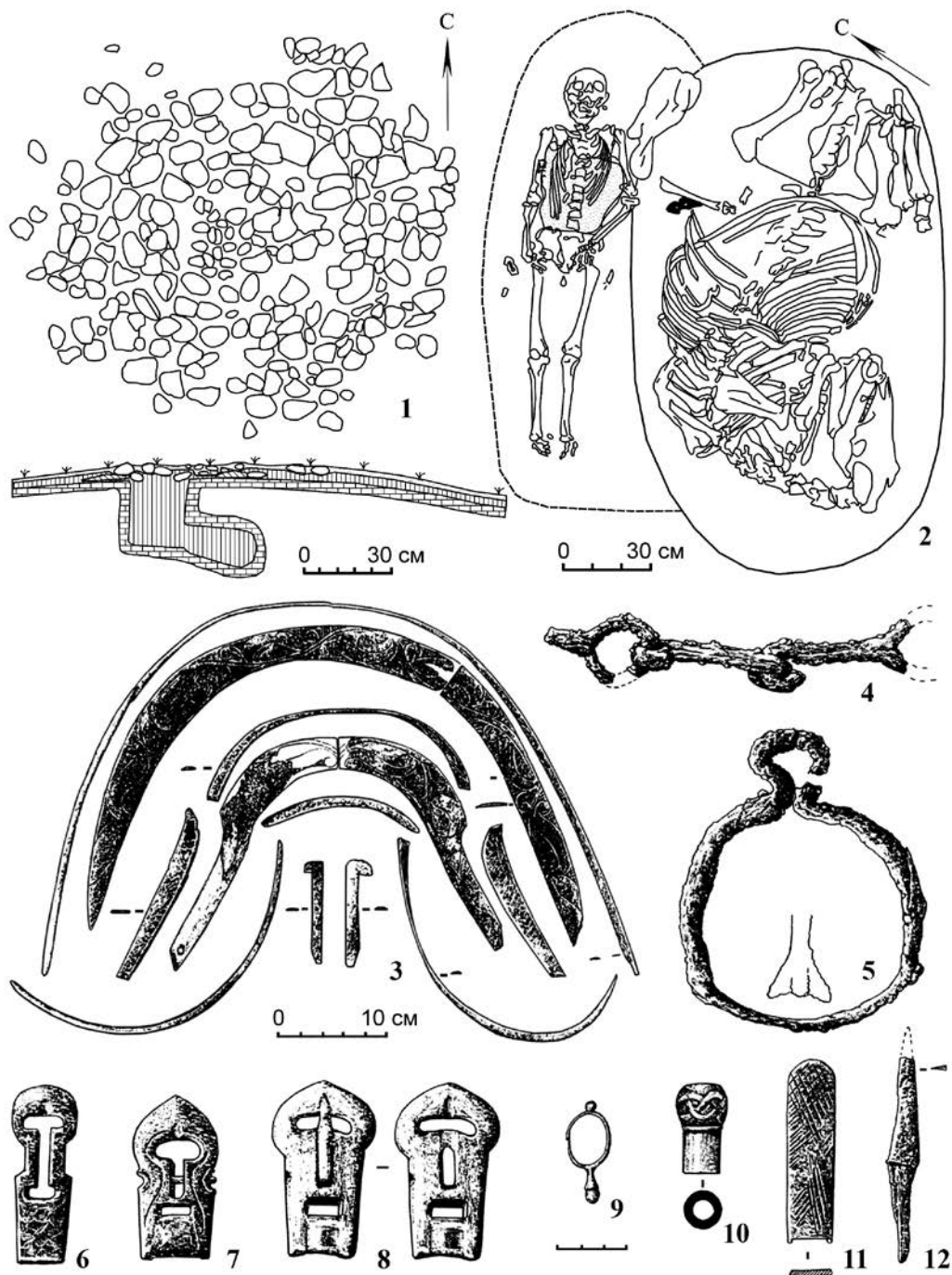


Рис. 7. Кальджин-8, курган №1.  
 1–2 – план насыпи и погребения; 3–12 – предметный комплекс  
 (по: [Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, рис. 5–6, 8, 10–11])

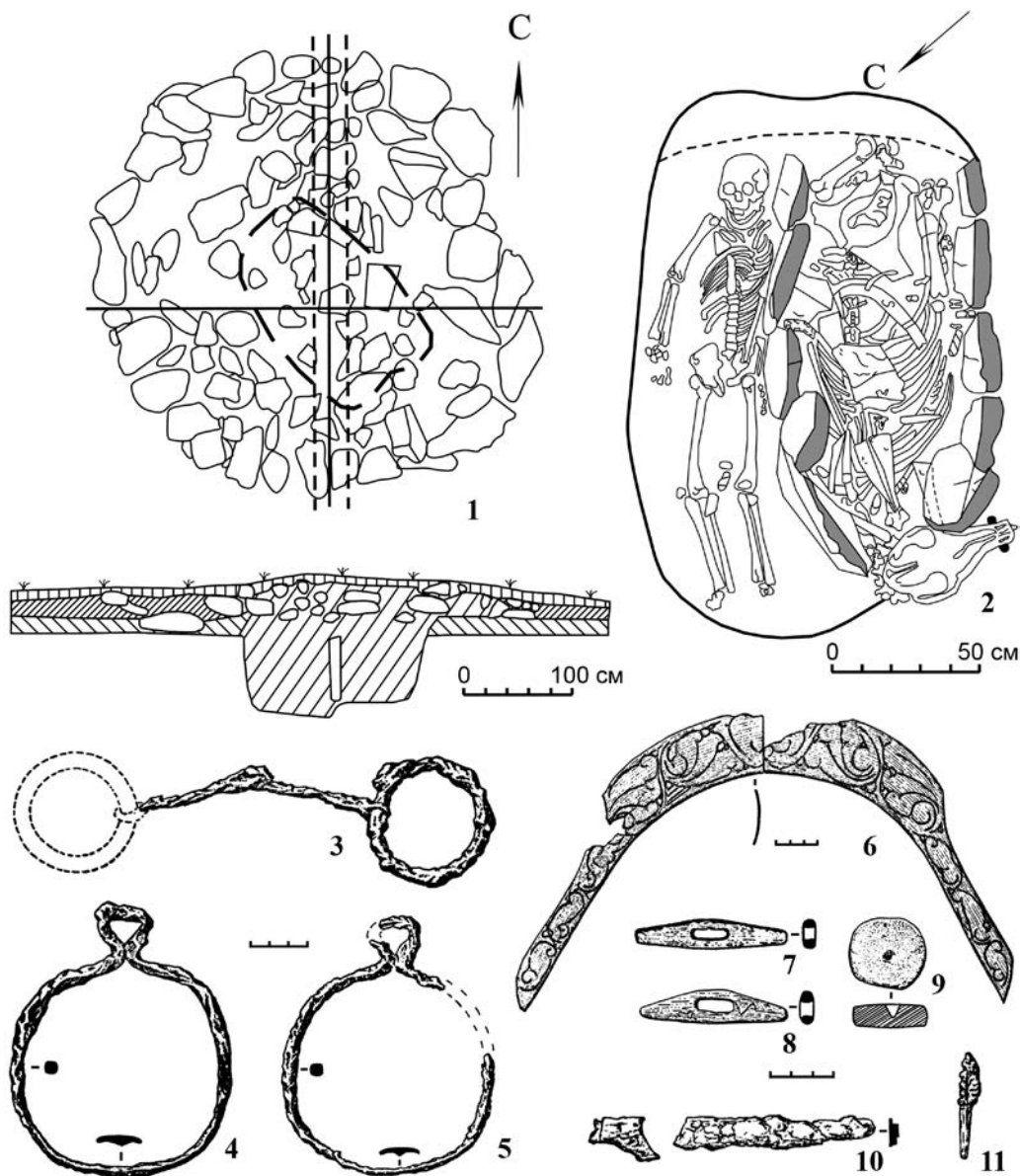


Рис. 8. Кара-Коба-I, курган №8. 1–2 – план насыпи и погребения;  
3–11 – предметный комплекс (по: [Могильников В.А., 1990, рис. 3–6])

бений первой модели определен в рамках 45–60 лет. Возможно, это является свидетельством почитания старшей женщины в семье. Женские погребения, отнесенные к первой группе, раскопаны, за редким исключением, на территории Алтая. Такая же ситуация отмечена при изучении «элитных» захоронений мужчин [Серегин Н.Н., 2015в]. Судя по всему, концентрация памятников, со-

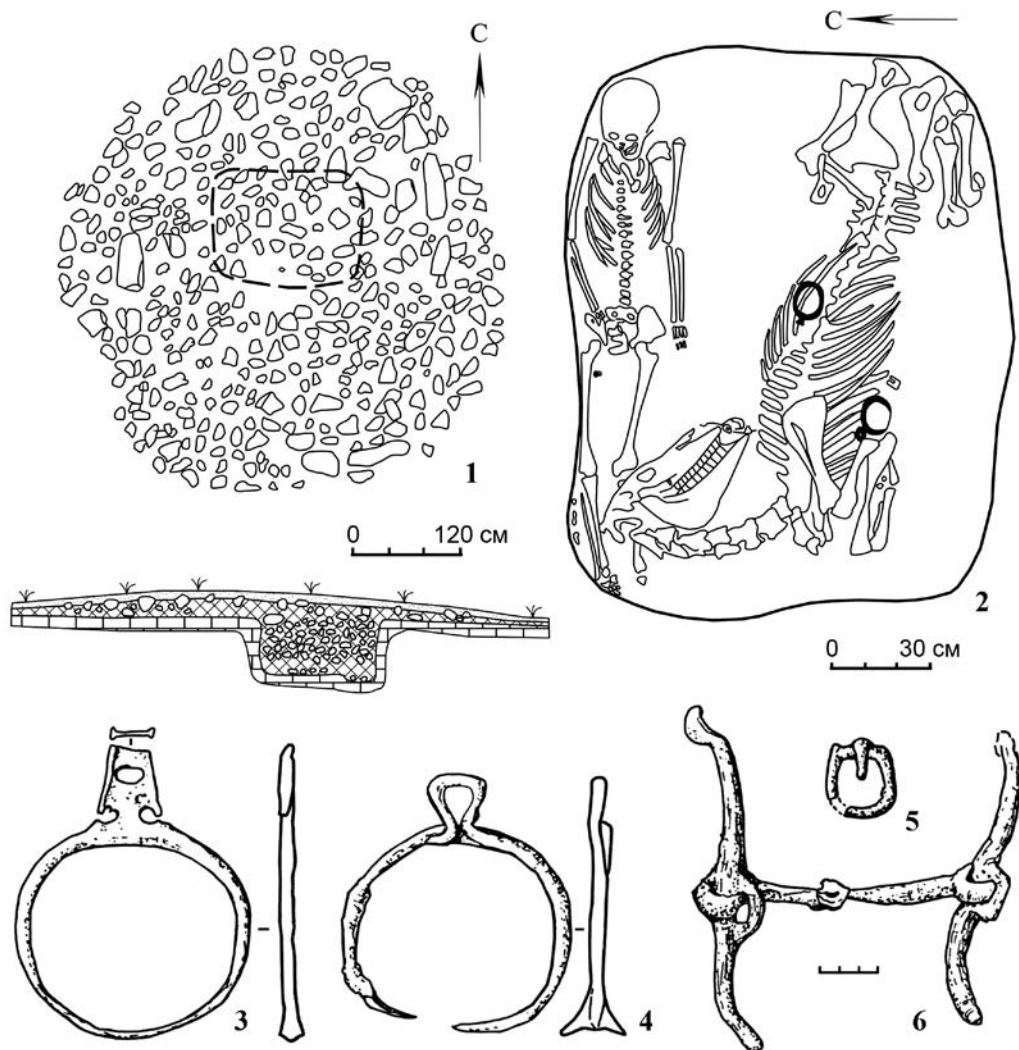


Рис. 9. Кырлык-II, курган №3. 1–2 – план насыпи и погребения; 3–6 – предметный комплекс (по: [Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т., 1985, рис. 10–12])

оруженных для представителей высших слоев общества тюрков на указанной территории, связана с тем, что именно на Алтае фиксируется наиболее стабильное развитие рассматриваемой общности с ограниченным влиянием других объединений номадов второй половины I тыс. н.э.

Остальные группы женских погребений могут быть сопоставлены с представительницами различных по имущественному и социальному статусу слоев социума тюрков. Важным показателем является отсутствие захоронений, демонстрирующих зависимое положение женщин в обществе кочевников. Учитывая то, что статус женщины определялся положением мужчины, выделенная

группа IV, в которую включены погребения с минимальным набором вещей или их отсутствием, вероятно, может быть сопоставлена с членами семей свободных рядовых общинников.

Таким образом, положение и роль женщины в социальной структуре кочевнических обществ определялись самой формой кочевого скотоводства. Женщина рассматривалась, в первую очередь, как рабочие руки в домашнем хозяйстве. В то время как мужчина являлся непосредственным добытчиком средств к существованию, женщина была ответственной за хранение, необходимую переработку и подготовку к использованию продуктов производства и потребления. Социальный статус женщины был изначально задан ее ролью в составе хозяйственного коллектива, местом в системе его внутренних функциональных связей. Вместе с тем имеющиеся материалы отражают общий достаточно высокий статус некоторых женщин в обществе тюрков Центральной Азии. В частности, результаты раскопок погребальных памятников демонстрируют группу представительниц слабого пола, с высокой степенью вероятности принадлежавших при жизни к элите социума.



## ВОПРОС О ДРУЖИНЕ У ТЮРКСКИХ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Проблема существования института дружины в Тюркском каганате, насколько нам известно, не становилась еще предметом специального исследования. По ряду публикаций разбросаны лишь отдельные замечания, или, скорее, мы имеем дело с констатацией существования этого явления, которое специалисты пытаются увидеть, прибегая к интерпретации разрозненных сведений и, в частности, социальных терминов. По этой причине мы отказались от историографического пассажа, сочтя целесообразным коснуться точек зрения тех или иных исследователей в контексте рассмотрения конкретного источникового материала.

### *Данные письменных источников*

Единственным свидетельством письменных источников, которое может быть принято за прямое указание на существование института дружины у тюрков, является сообщение китайской хроники «Чжоу шу» 周書 (цз. 50) о наличии у тюркского кагана неких «телохранителей» (*ши-вэй* 侍衛), называющихся *фу-ли* 附離, что, согласно китайскому автору, означает ‘волк’ (*лан* 狼), поэтому здесь справедливо предполагается транскрипция древнетюркского слова \**bōri* [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 9, 181; Тазағіл А., 2003а, s. 97]. Как отметил сэр Дж. Клосон, следует учитывать, что эти данные были собраны китайцами к 629 или вовсе 659 гг., то есть когда тюрки уже сумели заявить о своей мощной военной машине [Clauson G., 1964, p. 11]. В жизнеописании Сюань Цзана 玄奘 повествуется о наличии у западно-тюркского кагана (630 г.) сопровождения из двухсот высокопоставленных чиновников (*да-гуань* 達官), а также воинов в меховых одеждах, вооруженных копьями с флагами на навершиях (*шо дао дуань* 槩纛端) и луками (Ср.: [Зуев Ю.А., 2002, с. 264–265]). Последние вполне могут рассматриваться как телохранители правителя [Кычанов Е.И., 2010, с. 121].

Что касается *фу-ли* 附離, т.е. \**bōri* (сомнения сэра Дж. Клосона в этой реконструкции [Clauson G., 1964, p. 12] напрасны [Kasai Yukiyo, 2012, S. 89, Anm. 25; 2014, p. 123]), исследователей часто вводит в заблуждение близость фрагмента о них к предшествующему пассажи о вооружении тюрков, где в среде прочего упоминается *ци дао чжи шан ши цзинь лан тоу* 旗纛之上施金狼

頭 (Чжоу шу, цз. 50, с. 5а), букв. ‘на верху знамен и штандартов использовали золотую волчью голову’. Явной связи между этими фрагментами нет, несмотря на то, что после надежного прочтения В.М. Надеяевым рунической надписи на горе Тэвш-уул из Ховдского сомона, можно уверенно утверждать о наличии в древнетюркский период таких военных должностей, как знаменосец (*tuγči*) и трубач (*bory(i)či*) (возможно, это одна должность) (См.: [Баттулга Ц., 2005, 178–179 дугаар тал.]). Однако исследователи часто накладывают эти сообщения китайского источника друг на друга, сводя все к генеалогическим легендам правящего рода Тюркского каганата.

Л. Крэдер рассматривал *фу-ли* 附離 как ханскую «свиту или дружину» (*retinue or garde-du-corps*), положение членов которой было наследственным [Krader L., 1963, p. 185]. Б. Öгел считал их личной охраной кагана, одновременно бывшей своеобразной «военной школой»; она вербовалась сначала из детей знатных лиц, впоследствии из лично верных кагану людей, которым он оказывал покровительство [Ögel B., 1971, с. II, s. 99–100, 109–110]. Д. Синор со ссылкой на Р. де Рутура отмечает, что в танское время слово *ши-вэй* 侍衛 обозначало именно императорскую стражу [Sinor D., 1982, p. 234]. Е.И. Кычанов видел здесь каганскую гвардию, телохранителей, охраняющих ставку [Кычанов Е.И., 2010, с. 123, 130, 330]. Ю.А. Зуев писал о возможных молодежных союзах [Зуев Ю.А., 2002, с. 288–289]. П.Б. Голден вслед за Г. Дьёрффи считает возможным привлечь сюда для сопоставления термин *bujruq* древнетюркских рунических надписей [Györffy Gy., 1960, S. 174–175, Anm. 7; Golden P.B., 2001a, p. 160–162; Голден П., 2005, с. 465–466].

Памятники рунической письменности Тюркского каганата не содержат никаких прямых сведений о упомянутом институте, если только не считать тех, кто именуется термином *bujruq* [Şirin User H., 2009b, s. 257–258], букв. ‘приказной’, ‘тот, кому отдают приказы’ (< *bujur-* ‘командовать’, ‘отдавать приказы’). П.М. Мелиоранский считал их адъютантами при самом кагане [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 99]<sup>139</sup>. В.В. Бартольд полагал, что, возможно, это собирательное название для всех подчиненных кагану чиновников и глав подвластных родов, управлявших от имени верховного правителя [Бартольд В.В., 1968л, с. 244; Barthold W., 1897, s. 6–7, 17]. К данной позиции взгляд В. Томсена, считавшего, что это обобщающий термин для обозначения всей совокупности непосредственно подчиненных кагану чиновников, гражданских и военных [Thomsen V., 1924, S. 130; 1935, s. 88; Ögel B., 1971, с. II, s. 102; Kljaštornyj S.G., 2000, p. 172; Şirin User H., 2006, s. 227–229]. Другие исследователи рассматривали *bujruq* как судей [Бернштам А.Н., 1946б, с. 112–113], общее название гражданских чиновников с административными функциями [Giraud R., 1960, p. 82–83; Clauson G., 1972, p. 387], конкретное должностное лицо вроде канцле-

<sup>139</sup> Ёсида Ютака читает в стк. 16 согдийской версии Первой Карабалгасунской надписи этот термин в форме *ривурихту* [Yoshida Y., 2011b, p. 82].

ра [Doerfer G., 1965, s. 363–364, 397; Donuk A., 1988, s. 11–13]. Е.И. Кычанов относил *буйруков* к *сяо-гуань* 小官 ‘младшим чиновникам’, противопоставляемых *да-гуань* 大官 ‘старшим чиновникам’ [Кычанов Е.И., 2010, с. 123]. Турецкий социолог Мехмет Зийа (Гёк Алп), по-видимому, первым отметил тот факт, что *Буйрук*’ и изначально могли быть выходцами из простого народа и формировались как свита аналогично клиентеле в Риме [Gökalp Z., 1981, s. 88–89]. Дьёрдь Дьёрффи полагал, что они могли иметь те же функции, что и *nökör* у монголов, что, следуя за Б.Я. Владимирцовым, он трактовал как «военный эскорт» [Györffy Gy., 1960]. Иными словам, *bujruq* представлен как «инструмент политической и в то же время военной организации», эскорт кагана «на данном экономическом и социальном уровне», но впоследствии из них назначались высокие сановники [Györffy Gy., 1960, S. 175]. Эти взгляды получили развитие в работах Й. Сюча, И. Вашари, О. Прицака [Szűcz J., 1971, 20–21. o.; 1984, 351–353. o.; Vásáry I., 1983, 203. o.; Pritsak O., 1983, p. 360]<sup>140</sup>. Значительно позже Альфред Мартон отметил, что многие интерпретации происходили до того, как был найден такой памятник Уйгурского каганата, как Терхинская (Тариатская) стела, где обнаружено, как посчитал исследователь, доказательство именно их административных функций [Márton A., 1998]. Михай Добрович, тоже привлекая материалы эпохи Уйгурского каганата, а также данные китайских источников, предположил, что *bujruq* – не конкретный чин, а общее название уполномоченных лиц, бывших в свите чиновников различного уровня [Dobrovits M., 2002].

Впрочем, об усилении *bujruq* как социальной группы, обладавшей определенными административными и политическими функциями, в период Уйгурского каганата хорошо написали С.Г. Кляшторный и А.К. Камалов [Кляшторный С.Г., 2003, с. 458; 2006, с. 426–427; Камалов А.К., 2001, с. 130–135, 136]<sup>141</sup>. Вероятно, это могло быть связано и с усложнением социально-политической системы Уйгурского каганата. В частности, в Терхинской (Тариатской) стеле Уйгурского каганата упоминается отряд в триста *tury(a)q*, в которых иссле-

<sup>140</sup> О. Прицак разработал даже целую концепцию возникновения кочевой империи, основой для которой были так называемые «мужские союзы» (Männerbünde), группировавшиеся вокруг конкретного предводителя, отношения с которым, основанные на строгой субординации, формировали механизмы централизованной организации будущего политического организма [Pritsak O., 1981, p. 13–14, 17–18; Прицак О., 1997, с. 79–80, 83–84].

<sup>141</sup> Кроме отмеченных случаев упоминания «внутренних буйруков» (*ič bujruq*) в надписи Бильге кагана и Терхинской (Тариатской) надписи уйгурского Элетмиш Бильге кагана, *toquz bujruq* в последней и также Тэсийнской надписи, и указания китайских источников на шесть внешних министров (*вай цзай-сян* 外宰相) и три внутренних (*нэй цзай-сян* 内宰相) при уйгурском кагане, следует добавить девять *везйрей* (*wzyr* [وزیر]) при кагане *токуз-огузов* (= *уйгуров*) Гардзү [Бартольд В.В., 1973, с. 32 (перс. текст), 52 (рус. перевод); Martinez A.P., 1982, p. 134].

дователи видят охрану ставки кагана [Кляшторный С.Г., 2006, р. 134; 2010, с. 48; Şirin User H., 2009b, s. 129, 254, 281], ср. в значении ‘дневная стража’ [Doerfer G., 1965, S. 477–478; Clauson G., 1972, p. 539]<sup>142</sup>; и в этом же памятнике *tury(a)q başı* [Şirin User H., 2009b, s. 254–255, 281], т.е. ‘начальник дневной (?) стражи’. С.Г. Кляшторный отмечает также в надписи Могойн Шинэ Усу *qut jortuy* ‘охранный конвой’ (МШУ, стк. 40 (= Зап., стк. 3)), «наиболее привилегированная часть гвардии, ханский конвой» [Кляшторный С.Г., 2010, с. 58, 65–66, 74]; ср. карах.-уйг. *yortuğ* ‘a royal escort’ [Clauson G., 1972, p. 959].

Соответствующие интерпретации создает и употребление термина *bujruq* в Суджинской надписи, традиционно относимой к енисейским кыргызам (см., напр.: [Doerfer G., 1965, S. 364–365; Clauson G., 1972, p. 101, 387; Márton A., 1998, 42–43. о.]), либо к уйгурам [Хун Юн-мин, 2010].

Так или иначе, в работах упомянутых исследователей сделано достаточно, чтобы уверенно считать *bujruq* доверенными лицами каганов или других высокопоставленных лиц, выполнявшими самые различные функции. При этом нас больше интересует та сфера, где они могли выступать как участники определенных воинских объединений, не связанных с племенной структурой, однако прямых свидетельств об этом нет.

В 1984 г. вышла статья К. Бекквиса, посвященная так называемому «военному рабству» и попытке показать зарождение этой традиции в Центральной Азии, которую автор связывал с формированием института гвардии вокруг правителя, обладающего сакральным образом [Beckwith C.I., 1984]. Несколько иначе на эту проблему смотрят другие исследователи. Следует указать на сделанное вслед за некоторыми рассуждениями К. Бекквиса [Beckwith C.I., 1984, р. 33, 35] наблюдение Ильдико Эчеди, связанное с гибелью в Китае Се-ли 頡利 кагана в 634 г. Известно, что на свежем могильном холме Се-ли 頡利 его приближенный с титулом *ху-лу да-гуань* 胡祿達官 (< *ulu tarqan?*) по имени Ту-юй-хунь-се 吐谷渾邪, бывший некогда в свите его матери и сопровождавший его с самого детства, перерезал себе горло, а находившийся на китайской службе полководец Су-ни-ши 蘇尼失, дядя Се-ли 頡利, служивший когда-то под началом Се-ли 頡利, едва узнав о смерти кагана, заколол себя. И. Эчеди связала эти два случая, как и попытку заколоться тюркского полководца А-ши-на Шэ-эр 阿史那社爾 на похоронах императора Тай-цзуна 太宗 в 649 г., которому он долго служил, с патриархальным сознанием тюрков, подразумевавшим отношения покровительства – подчинения, нашедшим отражение и в погребальной обрядности кочевников вообще, когда вслед за вождем в могилу следовали его жена, друзья, приближенные [Ecsedy I., 1988, р. 9]. Сэнджэр Дивитчиоглу рассматривает этот же материал как свидетельство того, что образ жизни тюрков был значительно военизирован и отношения между членами общества различных

<sup>142</sup> Есть попытки читать слово *tury(a)q-iya* в надписи Бильге кагана, однако, здесь оно явно в ином значении [Şirin User H., 2009b, s. 129].

рангов регламентировались на основе принципов подчинения и дружинной верности [Divitçioğlu S., 2005, s. 181–182].

В разное время исследователями предлагалась мысль о существовании у тюрков дружинных формирований, основанных на принципе покровительства (А. Инан, Б. Öгел, Т. Осава)<sup>143</sup>.

Последний из отмеченных моментов на примере широкого исторического материала исследовал П.Б. Голден, попытавшийся показать универсальный характер института *comitatus* [Golden P.B., 2001a]. Еще дальше пошел С. Штарк, сделавший на основе косвенных данных письменных источников, а также с привлечением археологических и иконографических материалов вывод о существовании тюркских наемных гвардии типа *comitatus* (институт *çakar*) в городах и у отдельных правителей Средней Азии, а также вольных отрядов под руководством тюркских командиров, типа своеобразных *condottieri* [Stark S., 2008, s. 240–247, 325 (резюме на рус. яз.), 330 (резюме на англ. яз.)]. В частности, отмечая, что кризис политической организации в Западно-тюркском каганате совпал с периодом раздробленности среднеазиатских владений, после чего теряют значение племенные объединения, С. Штарк находит основания предполагать роль в этом именно таких наемных дружин: бывшие военные элиты стремятся к обретению политической власти [Stark S., 2008, s. 247–258 (в особенности, s. 257), 325–326 (резюме на рус. яз.), 330 (резюме на англ. яз.)]. С. Штарк, развивая также идеи Дж. Флэтчера, пишет о стремлении каганов к образованию института дружины типа монгольских *nököd* из согдийских *çakar*, на основе которого формировался слой советников и высшей администрации, чтобы противопоставить свою власть, опирающуюся в этом случае на эти иноэтничные, – не связанные с местной родоплеменной структурой, – элементы, притязаниям других членов рода А-ши-на 阿史那 и авторитету местных родоплеменных элит. Единственным аргументом исследователя служит своеобразная трактовка ситуации с Се-ли 頡利 каганом, который в 626 г. привлек к административной работе согдийцев, что вызвало недовольство в кочевой среде [Stark S., 2008, s. 307–310, 326–327 (резюме на рус. яз.), 331 (резюме на англ. яз.)].

Опасность таких обобщающих сопоставлений не останавливает и других исследователей. В частности, Х.И. Эркоч в русле турецкой историографической традиции активно привлекает в качестве сравнительных данных материалы об уйгурах, кыпчаках, Караханидах, Сельджуках, Хорезмшахах и т.д. Достаточно неоднозначно выглядит, например, осуществленное им сопоставление древнетюркских *фу-ли* 附離 с *гулямами* Сельджуков, *кешик* монголов времен империи и *капыкулу* Османов [Erkoç H.İ., 2008, s. 66].

Обратимся вновь к термину *är* ‘муж’, ‘мужчина’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 175; Clauson G., 1972, p. 192], ‘воин’ [Berta Á., 1994, p. 50; Şirin User H.,

<sup>143</sup> См. очерк «Формы социальной зависимости в тюркском обществе».

2009b, s. 310]. Исключая некоторые марксистские перегибы, С.Г. Кляшторным было удачно показано, что этим термином в памятниках древнетюркской письменности обозначалось все свободное мужское население [Kljaštornyj S.G., 2000, p. 155–158; Кляшторный С.Г., 2003, с. 472–476; 2006, с. 467–471]<sup>144</sup>.

Значительный интерес представляет в этом отношении свидетельство Хушо-Цайдамских памятников и надписи Тоньюкука о возрождении Тюркского каганата после восстания против танского правительства, когда вокруг Кутлуга собралось сначала 17 мужей (*är*), затем – 70, а после их стало 700 и затем они образовали основу политического объединения [Radloff W., 1895, s. 206]. По Д. Немету, это типичный пример сложения кочевнического политического союза вокруг сильной личности [Németh Gy., 1991, 30–31. o.]. А.Н. Бернштам рассматривал *är* в этом случае как «представителей родов, идущих в поход как вожди родов и племен, которые обязаны выступать с тюрками в военных походах» [Бернштам А.Н., 1946б, с. 128]. По мнению С.Г. Кляшторного, здесь «ядром новой повстанческой армии» стала дружина, бывшая лишь «горсткой всадников», но значительную роль играли «жители городов» (*балыкдакы*) – «тюркская беднота, “ятуки”, потерявшие свой скот в результате войн, эпизодии, джута и вынужденные селиться... <...> в поселках пограничных оазисов», где «их уделом были изнурительный труд, полуголодное существование и полное бесправие». «Столь же бедны были горцы Иньшаня, “спутившиеся” к Кутлугу, при этом «не все из них имели коней». Именно это заставило Кутлуга напасть на *токуз огузов* и отбить у них скот [Кляшторный С.Г., 2003, с. 98, 99–100]. Против такой трактовки выступил казахстанский востоковед В.П. Юдин. В своей рецензии (1968) он отметил, что под термином *балыкдакы* скрывается не ‘тюркская беднота’, ‘ятуки’, а просто люди, жившие в городах. Он справедливо указал, что подобное отождествление «навечно в монографии С.Г. Кляшторного тенденцией искать и находить социальное расслоение в составе участников любого общественного движения даже в тех случаях, когда источники не дают для этого оснований, и является, таким образом, неловкой данью этому опыту» [Юдин В.П., 2001, с. 285, 286]. В.П. Юдин, толкуя в данном случае термин *er* как ‘герой’, аналогично казахскому *батыр*, высказал мнение, что известное по руническим текстам число соратников в 70 мужей, бывших у Кутлуга изначально, не должно восприниматься буквально, то есть их общая численность была непременно больше, поскольку, как утверждал этот исследователь, за каждым из названных семидесяти стояли родовичи [Юдин В.П., 2001, с. 286]. Ю.А. Зуев, трактуя данный эпизод, вовсе пытался доказать существование большесемейной общины у тюрков. Так, он отметил соответствие между количеством братьев А-бан-бу 阿謗步 из генеалогической легенды тюрков и изначальным количеством воинов у Кутлуга, а именно – семнадцать, ко-

---

<sup>144</sup> О термине *är* см. также очерк «Возрастная дифференциация социума тюрков Центральной Азии».

торое затем разрослось в семьсот, образовав, как указывает Ю.А. Зуев, племя. По его подсчетам, если семьсот человек равно племени, то семьдесят – фратрии, а тогда семнадцать – роду (или большесемейной общине), поскольку каждый из мужей имел еще в семье еще 4–5 человек женщин и детей; итого это было 75–90 человек в общине (по М.О. Косвену) [Зуев Ю.А., 1967, с. 70–71]. Б. Ögel видел в этих людях лично верных кагану людей, впоследствии составивших основу его дружины [Ögel B., 1971, с. II, s. 109]. В.Е. Войтов использовал приведенные данные для датировки комплекса Шивээт Улаан, на котором он насчитал 70 тамг, соотнеся их с изначальным количеством сподвижников Кутлуга [Войтов В.Е., 1996, с. 88].

Этот показательный эпизод, указывающий на последовательность создания политического единицы путем увеличения численного состава некоей ставшей ее ядром группы людей, вместе с тем демонстрирует разнообразие трактовок имеющихся сведений. При этом следует отметить, что употребление в древнетюркских надписях числа *семь* в различных вариациях (17, 70, 700) не является достоверным и, скорее, связано с представлениями тюрков о его магических свойствах [Roux J.-P., 1965; Гумилев Л.Н., 1967, с. 76; Ögel B., 1971, с. I, s. 37; с. II, s. 147; Рухлядев Д.В., 2005, с. 159–160].

Так или иначе, все эти цифры позволяют поставить вопрос о реальной численности войск Тюркского каганата, а также о качественном соотношении входивших в него подразделений – идет ли речь об обычном кочевническом формировании с поголовным вооружением всего мужского населения, либо мы можем говорить и о наличии каких-то специальных групп воинов, которые могут быть соотнесены с военной дружиной?

В этом плане характерно употребление в Бугутской надписи времен Первого Тюркского каганата «конных воинов» (*β'r-'k 'sp'δy-'[n]*) (Б II, стк. 13), косвенно отделяемых от «народа», «страны» (*n'βcy-h, n'βcy-kh*) (Б II, стк. 5, 12) [Çağatay S., Tezcan S., 1976, s. 249; Gharib B., 1995, p. 98, 94, 229]. Однако контекст не дает повода для однозначной интерпретации – имеется ли в виду косвенное противопоставление всего войска и подданных в целом, включающих все группы населения, либо какой-то группы, связанной с военным делом, населению, лишь потенциально выступающему в качестве ополчения.

Аналогичен другой случай. В 584 г., когда Ша-бо-люэ 沙鉢略 каган принял суйское посольство, он «выстроил войска» (*чэнь-бин 陳兵*) и выставил сокровища. После того как каган согласился принять подданство (*чэнь 臣*) китайского императора, в источнике сказано, что его подданные, названные *цюнь-ся 群下*, что буквально означает ‘подданные’, ‘слуги’, плакали (Суй шу, цз. 84, с. 86 [Бичурин Н.Я., 1950, с. 236; Julien S., 1864a, p. 497; Parker E.H., 1900b, p. 5; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 51; Таşaғил А., 2003a, s. 156; Қазақстан тарихы, 2005, 75 б.]). Возможно, речь идет о всех подданных, в том числе и представителях народа, для которого, собственно и происходила эта публичная демонстрация

богатства [Васютин С.А., 2011а, с. 320; 2011в, с. 86]. Однако не исключено, что здесь присутствовали наравне с племенными вождями и какие-то выходцы из более близкого кагану круга, непосредственно ему подчиненные.

В древнетюркских памятниках также присутствует термин *är baši*, букв. ‘предводитель эров’ – в енисейской Абаканской надписи (Е 48, стк. 11), и в сочетании *toquz jüz är baši* ‘предводитель девяти сотен эров’ и *bäs biñ är baši* ‘предводитель пяти тысяч эров’ в памятниках Уйгурского каганата [Rybatzki V., 2006, S. 76–77; Şirin User H., 2009b, s. 254, 255]. Надо полагать, что *är baši* – это какой-то выделившийся «муж»-эр, стоявший в военной иерархии несколько выше остальных, либо, действительно, командир какой-то особой группы этих самых «мужей». Возможно, здесь мы имеем косвенные свидетельства о существовании каких-то групп мужского населения, более близких к предводителям, нежели простые ополченцы-эры.

С.Г. Кляшторный, рассматривая материалы енисейских эпитафий, сопоставил употребление отдельных сочетаний с собственной трактовкой терминов – *jüz qadaš-īm* «сотня моих дружинников-побратимов» (Е 49, стк. 1), *jüz inal qadaš-īm* «сотня Ыналовых дружинников-побратимов» (Е 65, стк. 2), *jüz är qadaš-īm* как «сотня моих воинов побратимов» (Е 42, стк. 8), *antliḡ adaš-īm* «мои соратники, связанные клятвой (побратимства)» и *antsiz ädgü eš-īm* «мои сотоварищи, не связанные клятвой (побратимства)» (Е 11, стк. 11), – и сделал вывод о «делении войска на княжескую дружину, состоящую из воинов-побратимов и ополчение мужей-воинов (эров)» [Кляшторный С.Г., 2013, с. 224–225]. Ю.А. Зуев, также исходивший из собственной трактовки и оригинальной этимологизации слова *qadaš*, рассматривал все сочетания *jüz qadaš*, *jüz är qadaš*, *jüz inal qadaš* как некие «дружины-сотни», сравнивая их с со «среднеазиатскими чакирами, гвардией при замках согдийских дикхан» [Зуев Ю.А., 1998б, с. 58–59]. Однако если указание на институт побратимства едва ли может быть поставлено под сомнение [Tuna O.N., 1988a, s. 68–69; Кормушин И.В., 1997, с. 275; 2008, с. 20], сама интерпретация терминов здесь является дискуссионной.

И.В. Кормушин обращает внимание на то, что когда в енисейских памятниках идет речь об убитых «мужах» врага, приводятся достаточно круглые цифры (9, 30, 40, 50, 59, 70, 100, 150 и др.) [Кормушин И.В., 2008, с. 307–308]. Поэтому исследователь считает, что здесь подразумеваются именно дружинники, а не простые воины [Кормушин И.В., 2008, с. 285]. В енисейских эпитафиях множество раз встречаются фразы, где указывается, что мемориант наряду с соплеменниками (*qadaš*) тоскует по «мужам» [Кормушин И.В., 2008, с. 281]. В одной эпитафии знатного бега Уйбат-VI (Е 98, стк. 2) сказано: «Сорок воинов без отца остались» (*qırq ärig qaḡsiz qildi[...]*), т.е. «осиротели» [Кормушин И.В., 1997, с. 121, 122; 2008, с. 157–158, 276] (Ср.: [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 187, 188]). Эта формулировка косвенно указывает на патриархальный характер зависимости «мужей» от бега.



В этом отношении следует вернуться к орхонским памятникам, где не раз звучит напоминание Бильге кагана о том, что он заботится о народе, что он обогатил народ, накормил его. Как показал Й. Уилкенс, фрагменты, где декларируются такие действия со стороны верховного правителя, как забота о народе, его насыщение, его возвышение, являются проявлением расхожего топоса, характерного для кочевнической традиции [Wilkens J., 2011]. При этом взамен каган требует лишь покорности [Kljaštornij S.G., 2000, p. 155; Кляшторный С.Г., 2003, с. 472; 2006, с. 467]. Как метко выразился Л.Н. Гумилев, «покорность в степи – понятие взаимообязывающее» [Гумилев Л.Н., 1967, с. 27]. Такой же принцип покровительства в обмен на службу должен находить отражение и во взаимоотношениях господина и его дружинников.

Интересно, что персидский географ XI в. Гардүзү и арабский врач XII в. Марвазү упоминают дружину (Гардүзү: *čākar*, Марвазү: *shākiri*) в тысячу человек у кагана *токуз-огузов* (здесь – *үйгуров*), которую за службу он должен был кормить и поить три раза в день [Бартольд В.В., 1973, с. 32 (перс. текст), 52 (рус. перевод); Martinez A.P., 1982, p. 134; Sharaf al-Zamān Ṭāhir, 1942, p. 29 (англ. перевод), 43, \*18 (ар. текст)].

Это типичный случай, когда покровитель обеспечивал слугам пропитание и комфорт, они же платили ему за это верностью. Как гласит пословица, приводимая Махмүдом ал-Кāшгарү:

*tavār kimniñ üklisä*  
*bāglik añar kārgājür*  
*tavārsizİN qalip bāg*  
*ärānsizİN ämgājür*

‘у кого много имущества, тому более подобает быть бегом, чем кому-то другому. Если бег останется с пустыми руками, ему будет трудно собрать людей, так как они идут к нему ради имущества’ [Махмүд ал-Кāшгарү, 2010, с. 303].

В «Китаб-и дэдэм Коркут» излагается мудрость: «Не сгубив своего имущества, человеку не прославить себя» [Книга моего деда Коркута, 1962, с. 11; Kitabi-Dədə Qorqud, 2004, s. 20, 173]<sup>145</sup>. Щедрость, проявлявшаяся в организации различных роскошных публичных мероприятий с угощениями, как отмечает С.Е. Толыбеков, укрепляла авторитет скотовода в глазах более бедных членов общины [Толыбеков С.Е., 1959, с. 95, 96–98]. Так, в алтайском эпосе герой становится ханом, как только у него появляются скот и подданные [Трепавлов В.В., 1989, с. 129]. Щедрость ханов по отношению к дружинникам и подданным воспевается в тюрко-монгольском эпосе повсеместно [Липец Р.С., 1984, с. 27–29].

Однако весь имеющийся материал по древнетюркской эпохе, в сущности, не представляет собой целостной картины. Р.С. Липец в свое время отметила

<sup>145</sup> В.В. Бартольд напрасно добавляет в скобках «щедростью».

применительно к эпосу зависимость интерпретации материала о дружинниках от методологических установок исследователя, работающего с этим материалом, – то есть можно считать их частью привилегированного слоя, служилыми людьми или вовсе «военными рабами» [Липец Р.С., 1984, с. 11]. Мы вправе перенести эти наблюдения на весь имеющийся материал вообще.

Известно, что, например, у древних монголов зачастую свободные люди отдавали своих детей в услужение более состоятельным, поскольку не могли прокормиться сами, а тем более прокормить их [Козин С.А., 1941, с. 80, §§ 14–16; Рашид-ад-дин, 1952, кн. 2, с. 10]. Источники говорят, что среди немущих и голодающих кочевников вообще была распространена практика отдачи своих детей на содержание богатым скотоводам, а среди совсем бедствующих и вовсе – продажа работорговцам [Гродеков Н.И., 1889, с. 35; Толыбеков С.Е., 1959, с. 413; 1971, с. 411–412; Мункуев Н.Ц., 1977, с. 412, 423, 425, 426, 433, 434].

Судя по «Тайной истории монголов», человек, по своей воле или будучи отдан в услужение родителями, так или иначе, поступал под патронат господина на условиях выполнения определенного ряда обязанностей: «коней седлать» и «дверь открывать» в мирной [Козин С.А., 1941, с. 96, § 97, с. 114–115, § 137; Владимирцов Б.Я., 2002, с. 384] и служить воином в боевой обстановке. Этот источник дает нам возможность увидеть весь широкий круг самых разных выполняемых ими обязанностей по хозяйству: они готовили пищу, разливали кумыс к трапезе, ухаживали за овцами и лошадьми, следили за исправностью повозок, следили за внутренним порядком в хозяйстве и соблюдением указаний предводителя, а также стояли на посту, чтобы предупредить неожиданный набег на стойбище [Козин С.А., 1941, с. 109–110, § 124; Владимирцов Б.Я., 2002, с. 388]. Подобное разнообразие обязанностей дружинников мы находим, например, в эпосе «Манас» [Жирмунский В.В., 1961, с. 129].

Как говорил, согласно свидетельству персидского автора, сам Чингисхан, «помощники и пособники у меня впереди и позади – они, они – слуги усердные, даровитые, ловкие стрелки, заводные кони [асп-и кутал], ловчие птицы на руке и охотничьи псы, притороченные к седлу!» [Рашид-ад-дин, 1960, с. 264; Владимирцов Б.Я., 2002, с. 388–389].

Нечто подобное представляли собой *тюленгуты* казахских ханов, также вербовавшиеся из бедняков и выполнявшие самый широкий круг обязанностей – «как посыльные и личные слуги хана при его разъездах, а также как домашняя прислуга и пастухи» [Толыбеков С.Е., 1959, с. 243] (См. также: [Шахматов В.Ф., 1955]).

Однако взамен господин наделял такого слугу определенными привилегиями, обеспечивал ему кормление и предоставлял долю добычи.

«Что ж от хана ты бежал?

«Мой Кокочу» тебя он звал.

Сладко ел ты, сладко пил,  
Шитый золотом ходил!» –  
ругает жена одного из табунщиков, покинувшего своего хана [Козин С.А., 1941, с. 141, § 188].

Как видно, эти люди выполняли самые разные обязанности. Это выглядит как типичный институт дружины. Однако предводитель и сам зависел от своей дружины, будучи обязанным поддерживать свою репутацию щедрого господина, раздавая дружинникам поощрения, для чего было необходимо предпринимать частые облавные охоты и набеги на соседей с грабежом имущества, лучшую долю которого он получал сам [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 391]. Аналогичную информацию о взаимоотношениях покровителя и дружины можно извлечь из тюрко-монгольского эпоса [Липец Р.С., 1984, с. 12–26].

Между тем следует с большой осторожностью экстраполировать материалы, относящиеся, например, к монголам и казахам на древнетюркскую эпоху. Характерно, что древнемонгольские дружинники именовались *nököd ~ nöküid* ‘друзья’ [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 382–383], за свою верную службу они получали значительные привилегии, вплоть до освобождения от наказаний за проступки [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 384]. Они формировали отдельный отряд, выстраивавшийся на поле боя отдельно от кочевого ополчения, делившегося по родоплеменным группам; из них ставились начальники над подразделениями родоплеменного ополчения [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 387–388]. Вместе с тем источники содержат информацию, позволяющую предполагать, что дружинники давали клятву верности своему покровителю, отдавая ему в распоряжение свои жизни, и не могли покинуть его. Однако эти же источники содержат указание на ряд случаев свободного ухода от своих покровителей [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 384–385]. Более поздние материалы тюркского фольклора содержат косвенные указания на существование возрастных групп среди дружинников с соответствующим разделением обязанностей [Липец Р.С., 1984, с. 23–24], а также явно противопоставляют дружинников, бывших ближайшими сподвижниками героя, сопровождающих его в походах и боях и выполнявших командные функции, племенному ополчению [Липец Р.С., 1984, с. 98–104]. Что касается казахских *тюленгутов*, их происхождение также было неоднородно, и этот факт не в последнюю очередь оказывал влияние на то, что варьировался и круг обязанностей людей, пришедших в *тюленгуты* разными путями. В последнем случае следует учитывать, конечно, и саму историческую динамику трансформации этого института: от верных *султанам* (высшее привилегированное сословие, *белая кость*, Чингисханиды) людей, обладающих широкими привилегиями, до того, что в марксистской литературе принято называть «патриархальными рабами» [Шахматов В.Ф., 1955]. В этом же аспекте интересно рассмотрение института *айбачи* у алтайцев [Потапов Л.П., 1948, с. 14–15].

Теоретически для выделения некоторой находившей только на содержании группы людей, специализирующейся только на военных делах, покровитель должен был иметь в своем хозяйстве достаточно рабочих рук, чтобы обеспечить его существование. При их помощи он мог поднимать свой социальный престиж, поскольку имел возможность использовать их как аппарат внеэкономического принуждения, обеспечивая тем самым закрепление внутренней эксплуатации в общине, а также при помощи дружины путем захвата расширять территорию своих пастбищных угодий, увеличивать поголовье скота и, соответственно, число зависимых людей. Это требовало наличия определенных источников получения продукции, которую справедливо назвать «прибавочной», и благ. Однако данный аспект выводит нас на поиск ответов на более широкие вопросы: располагали ли древнетюркские общества такими источниками и какие конкретно объединения кочевников (тюрки, уйгуры, кыркызы и др.), какими источниками и в какой конкретно исторический период? Это составляет предмет отдельного исследования, поэтому здесь мы ограничимся лишь выводами, вытекающими из конкретного материала.

Рассматривая материалы по древнетюркской эпохе, мы располагаем следующими данными:

1) факт существования некоей стражи (гвардии? телохранителей?) у восточно-тюркских, западно-тюркских и уйгурских каганов;

2) косвенные данные о существовании у тюрков «дружинной идеологии», заключающейся в верном служении покровителю;

3) сведения о существовании у уйгуров и авторов енисейских рунических надписей (кыркызов?) войсковой иерархии;

4) наличие данных о «типичной» дружине (кормящейся во время застолий) у уйгурского кагана.

Важно отметить и то обстоятельство, что эти данные относятся к различным хронологическим отрезкам и территориальным образованиям. Не исключено, что упомянутая стража восточно-тюркских, западно-тюркских и уйгурских каганов характеризовалась различной природой, будь то личная дружина в классическом понимании, связанная узами верности с конкретным каганом, либо сформировавшийся институт наподобие монгольских *кешиктенов*. Имеющиеся данные не дают никаких оснований для заключений об источниках и механизмах пополнения данной группы, лишь условно именуемой «дружиной», или групп в каждом частном случае. Также только теоретически, вслед за некоторыми исследователями, можно допустить трансформацию дружинников в особый слой служилой аристократии, который стремятся видеть в *buj(u)ruq*.

### ***Анализ археологических материалов***

Некоторые возможности изучения вопроса о существовании дружины у тюрков Центральной Азии предоставляет анализ археологических материа-

лов. При этом опыт системной работы в указанном направлении также до сих пор не предпринимался. В отдельных публикациях лишь обозначены частные аспекты рассмотрения результатов раскопок погребальных и поминальных комплексов, изученных в различных частях центрально-азиатского региона. Чаще всего специалистами высказывалось предположение о том, что конкретный объект (чаще всего, захоронение), принадлежал профессиональному воину или командующему воинским объединением различного уровня [Овчинникова Б.Б., 1982, с. 217; 1984, с. 220–221; Савинов Д.Г., 1987, с. 89; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 137–145; и мн. др.]. Семь групп тюркских памятников Алтая, соответствующих различным военно-иерархическим уровням, выделил В.В. Горбунов [2007, с. 85–86]. Ранее исследователь указывал, что к дружине тюрков могут быть отнесены первые две группы объектов, сопоставленные с рядовыми воинами и десятниками [Горбунов В.В., 2006, с. 39]. Некоторые возможности характеристики «дружинных» погребений раннего средневековья представил С.А. Васютин [2016], обратившись к опыту анализа археологических памятников скифо-сакского времени, а также кратко охарактеризовав информацию из письменных источников.

Имеющийся опыт исследователей имеет большое значение при определении эффективной программы изучения довольно обширных источников для решения вопроса о возможности существования у тюрков дружины или слоя профессиональных воинов. Вместе с тем следует отметить, что наиболее перспективным представляется ранее не предпринимавшийся системный анализ всех имеющихся материалов в одной системе координат. Контекстуальный подход, предполагающий отдельное рассмотрение конкретных объектов, также возможен, но уже, скорее, при более детальной интерпретации уже полученных результатов.

Наиболее полная картина дифференциации общества тюрков Центральной Азии фиксируется по материалам мужских захоронений [Серегин Н.Н., 2013а, с. 99–103]. Основным показателем, различающим выделенные модели погребений, являлось соотношение предметов сопроводительного инвентаря, включенных в «комплекс власти» (редкое оружие, плеть, котел и др.) и «комплекс богатства» (торевтика, импорт); менее важными были такие характеристики обряда, как количество лошадей и размеры наземных и внутримогильных сооружений. Всего выделено девять социально-типологических моделей мужских погребений. В рамках настоящего очерка важно, что некоторые из этих групп объектов демонстрируют довольно устойчивый набор признаков, который дает основания связывать их с захоронениями профессиональных воинов различного уровня. Охарактеризуем эти объекты более подробно.

**Модель II.** В ходе исследования погребений, отнесенных ко второй модели, зафиксировано сочетание редких предметов вооружения (клинковое оружие ближнего боя, топор, защитный доспех) с предметами торевтики, из-

готовленными в большинстве случаев с использованием драгоценных металлов. Почти во всех могилах второй группы отмечены фрагменты шелка. Более редкими являлись находки стеков (два случая), а также металлического сосуда и железного котла, встреченных по одному разу. В целом, качественный и количественный состав сопроводительного инвентаря рассматриваемых объектов уступает вещевому комплексу, обнаруженному в памятниках, отнесенных к первой модели и связываемых с региональной элитой высшего уровня. Кроме того, в могилах второй группы чаще всего присутствовала одна лошадь, и только дважды исследованы погребения с двумя захороненными животными. По размерам наземных и подкурганых конструкций объекты выделяются только в рамках отдельных некрополей, и то не во всех случаях. Ко второй социально-типологической модели отнесены семь погребений (5,25% от общего количества рассматриваемых объектов). Отметим, что помимо «стандартных» комплексов в данную группу включены два кенотафа.

Одним из наиболее характерных объектов, демонстрирующих обозначенный набор показателей, является погребение кургана №85 некрополя Кара-Коба-I [Могильников В.А., 1997, с. 187–202, рис. 1–9]. В результате исследования данного объекта зафиксировано захоронение молодого воина в сопровождении двух лошадей. В состав инвентаря могилы входили комплект предметов вооружения (меч, лук со стрелами), богато оформленный пояс, плеть, а также другие изделия (*рис. 10*).

*Модель V.* Объекты, объединенные в рамках этой модели, сходны по разнообразному составу вооружения с погребениями второй группы, однако характеризуются более скромным набором предметов торевтики. Во всех могилах зафиксировано присутствие наборного пояса либо украшений конского снаряжения, элементы которых изготовлены из бронзы. Достаточно редкими были находки фрагментов шелка, и только в одном случае встречен серебряный сосуд. Умершего чаще всего сопровождало одно животное, в четырех могилах зафиксировано захоронение двух лошадей. Пятая социально-типологическая модель включает 12 (9%) погребений, в числе которых два кенотафа.

Примером комплекса, отнесенного к данной модели, является погребение кургана №5 некрополя Усть-Бийке-III [Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 58–66, рис. 22–28]. Раскопки данного объекта позволили обнаружить могилу воина 45–50 лет, захороненного в сопровождении лошади. Инвентарь объекта включал предметы вооружения (меч, лук со стрелами), элементы пояса, изготовленные из бронзы, а также другие изделия (*рис. 11*).

*Модель VI.* К этой модели относятся погребения, основной отличительной характеристикой которых является разнообразный состав вооружения, предполагавший, почти во всех случаях, наличие клинкового оружия ближнего боя и, значительно реже, копья и защитного доспеха, в сочетании с полным отсутствием предметов торевтики и других вещей, включенных в «комплекс богат-

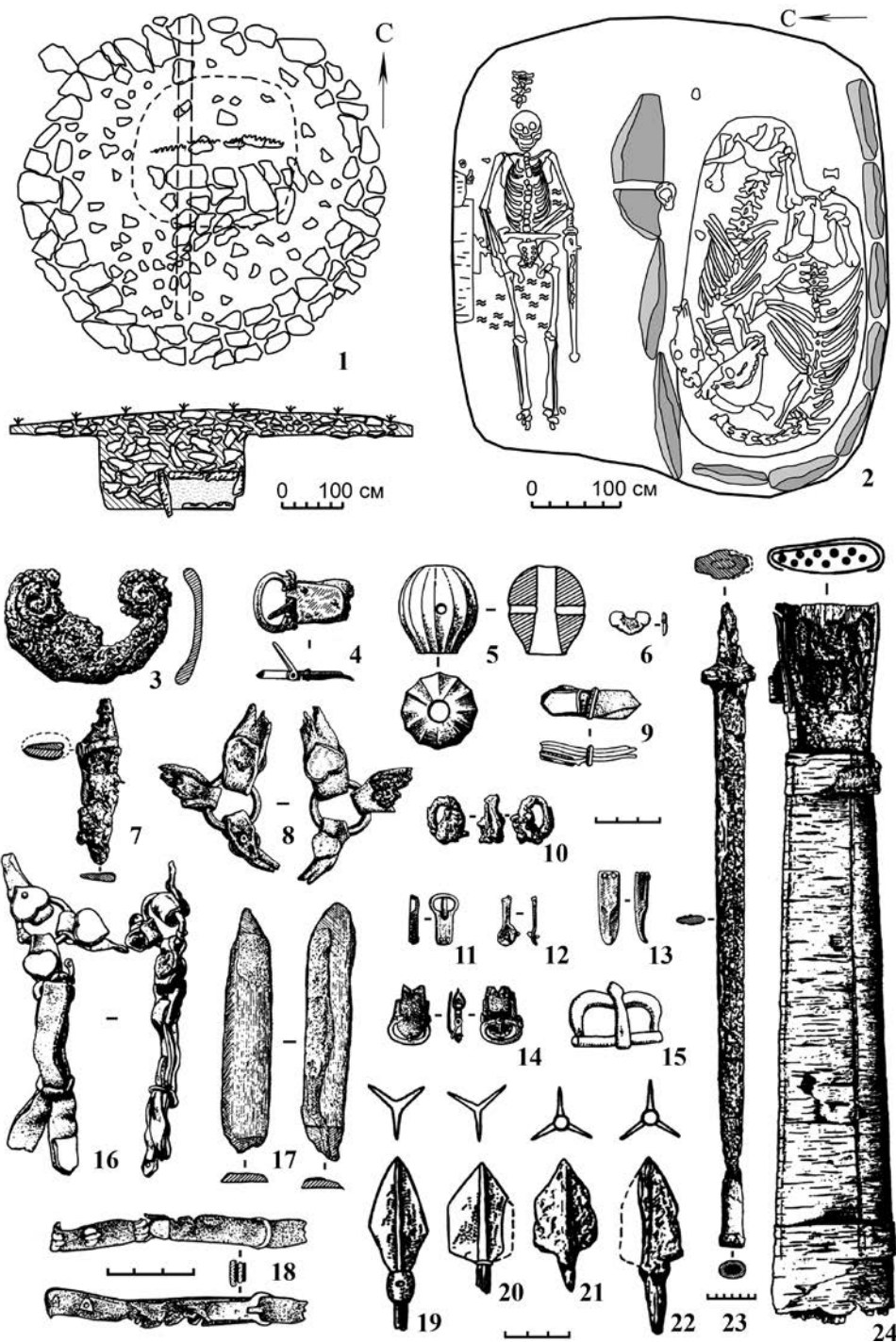


Рис. 10. Кара-Коба-I, курган №85. 1-2 – план насыпи и погребения; 3-24 – предметный комплекс (по: [Могильников В.А., 1997, рис. 1-9])

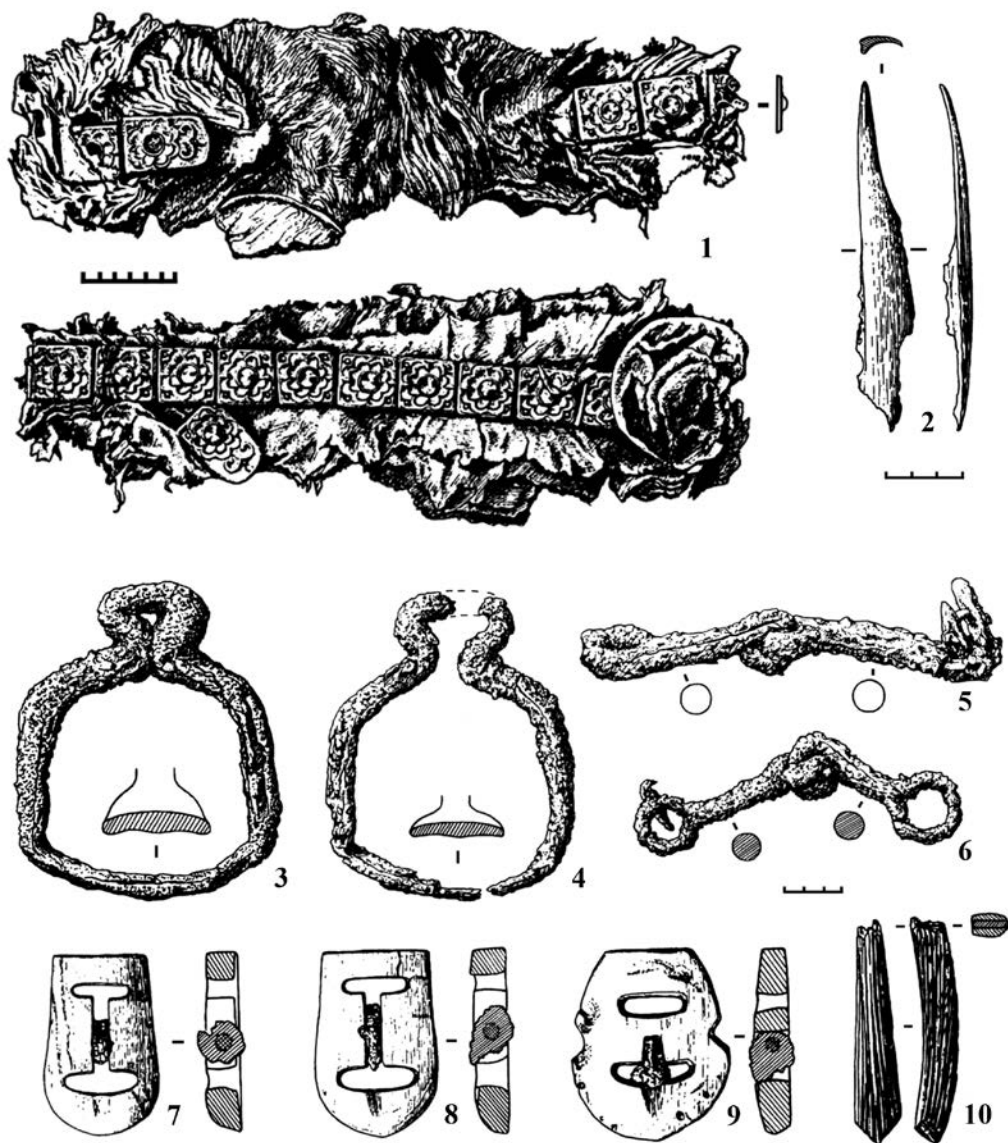


Рис. 10 (окончание). Кара-Коба-I, курган №85. 1–10 – предметный комплекс из погребения (по: [Могильников В.А., 1997, рис. 1–9])

ства». Во всех могилах присутствовало конское снаряжение. Умерших сопровождало, чаще всего, одно животное; дважды отмечено парное захоронение лошадей. В рамках шестой социально-типологической модели объединены семь (5,25%) погребений, в том числе два кенотафа.

Обозначенным характеристикам соответствует погребение воина, исследованное в ходе раскопок одиночного кургана некрополя Ябоган [Кочеев В.А., Суразаков А.С., 1994, с. 70–75, рис. 1–7]. В могиле зафиксировано захоронение



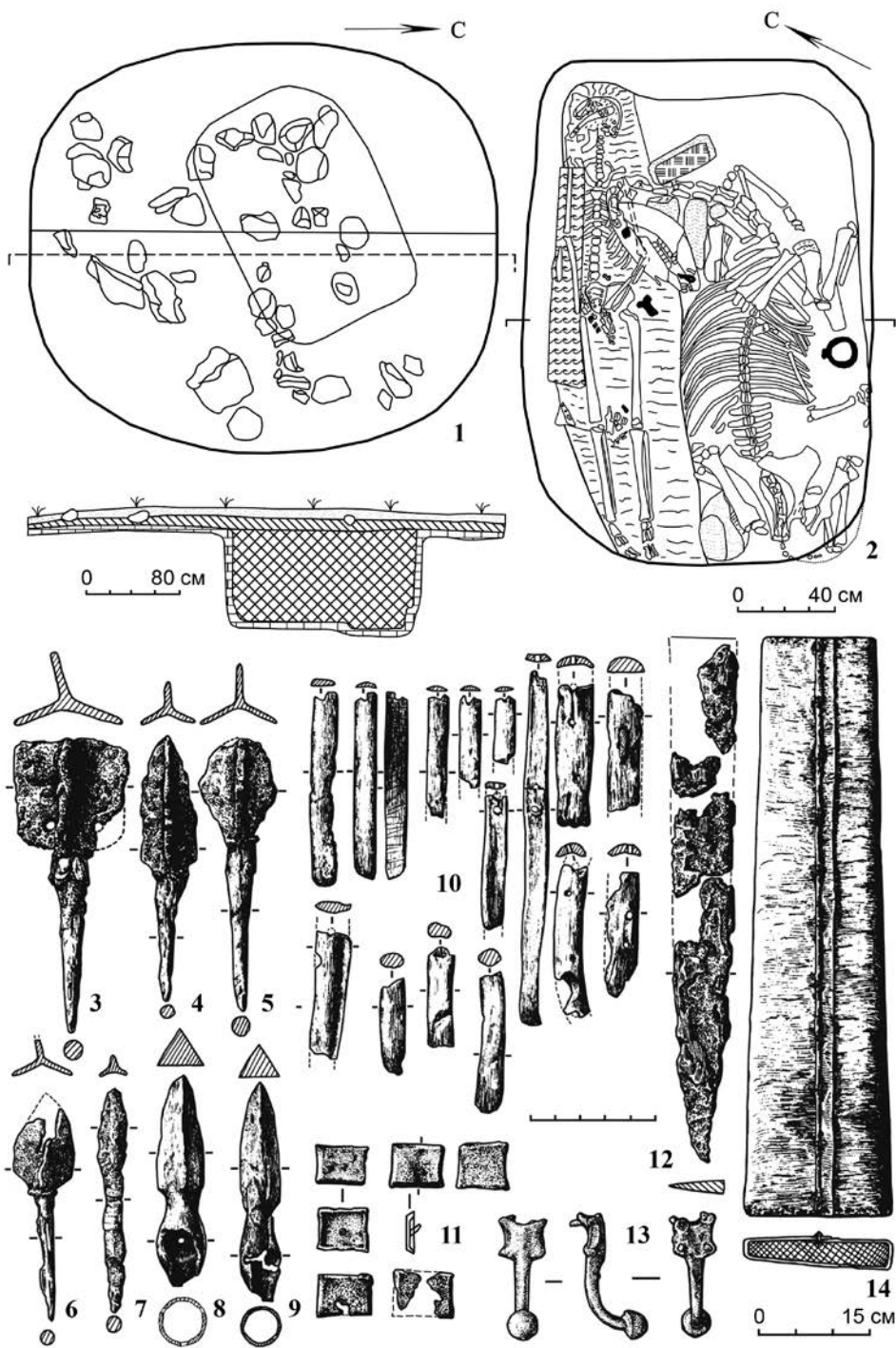


Рис. 11. Усть-Бийке-III, курган №5. 1-2 – план насыпи и погребения; 3-14 – предметный комплекс (по: [Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 22-25])

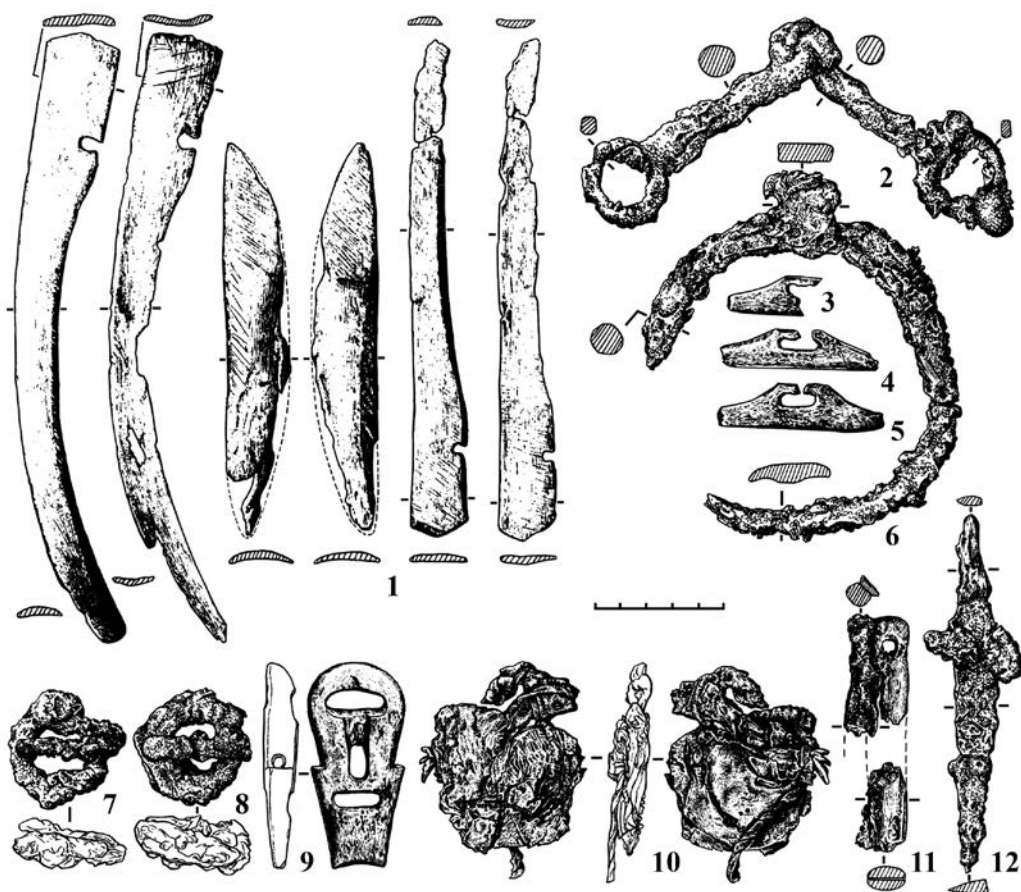


Рис. 11 (окончание). Усть-Бийке-III, курган №5. 1–12 – предметный комплекс из погребения (по: [Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 26–28])

лошади и сопроводительный инвентарь – предметы вооружения (меч, лук, наконечники стрел), а также немногочисленные бытовые изделия и конское снаряжение (рис. 12).

Довольно перспективным представляется анализ отдельных случаев реализации обрядовой практики, зафиксированных в материалах раскопок тюркских некрополей Центральной Азии. К примеру, показательными являются результаты изучения парных кенотафов, составляющих отдельную группу «пустых могил» [Серегин Н.Н., 2015а, с. 49]. Специфика объектов заключается в том, что кенотаф предназначался для двух мужчин-воинов. Об этом свидетельствуют наборы сопроводительного инвентаря, наличие двух лошадей, а также другие элементы ритуала. «Парные» кенотафы встречены при исследовании двух памятников тюрков на Алтае [Гаврилова А.А., 1965, с. 27, табл. XXIII, XXIV; Савинов Д.Г., 1982, рис. 2, 5]. Интересной особен-

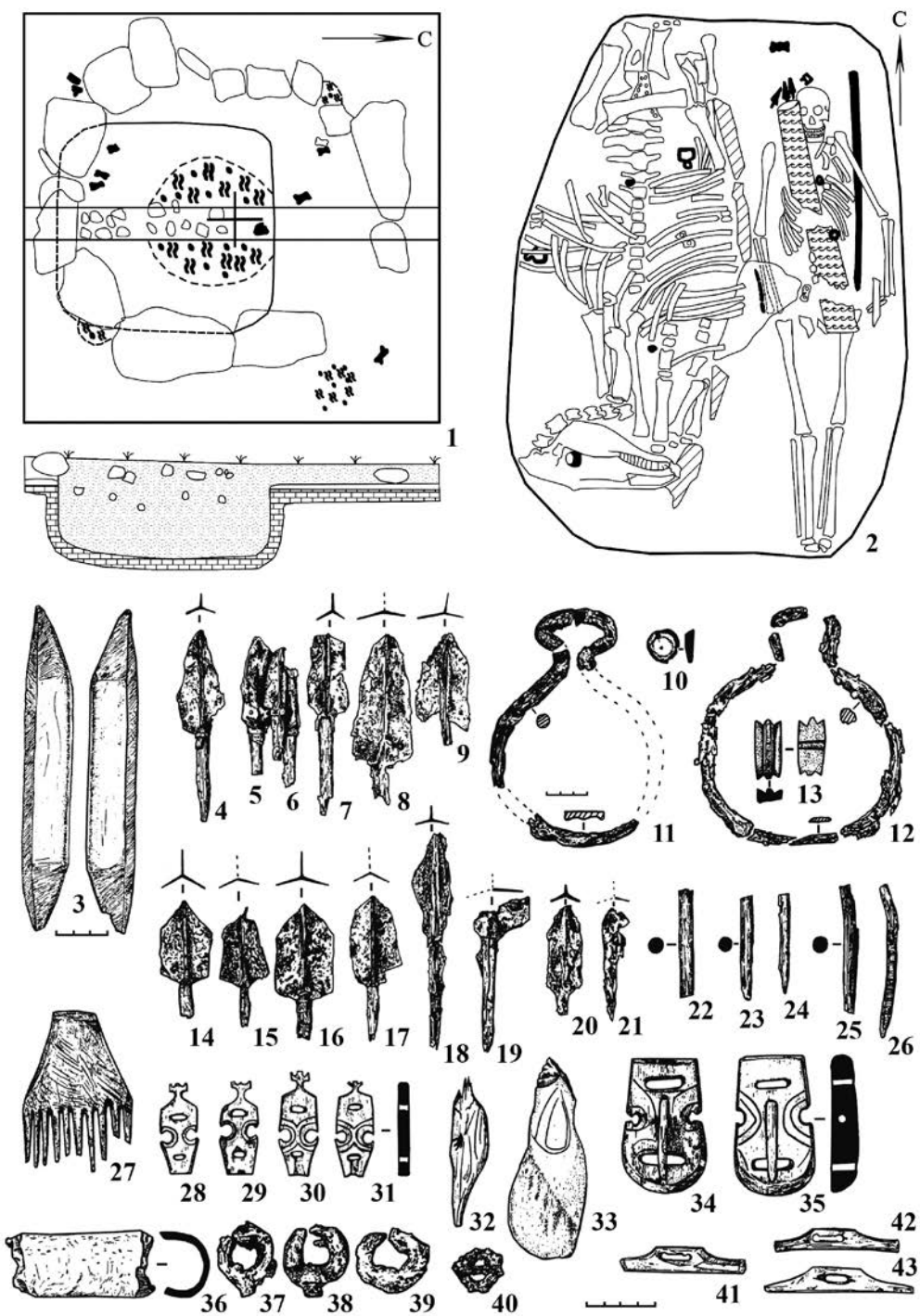


Рис. 12. Ябоган-I. 1-2 – план насыпи и погребения; 3-43 – предметный комплекс (по: [Кочеев В.А., Суразаков А.С., 1994, рис. 1.-2; 2-7])

ностью указанных объектов является разное социальное положение предполагаемых погребенных. Наиболее ярко эта черта прослеживается в составе сопроводительного инвентаря из кургана №2 могильника Узунтал-I, анализ которого позволил Д.Г. Савинову [1982, с. 120] предположить, что кенотаф был сооружен в честь знатного воина, принадлежавшего к дружинной аристократии, и его спутника.

Обратим внимание на то, что в рамках обозначенных трех групп объединены 26 погребений, что составляет чуть менее 20% мужских захоронений, включенных в выборку. Очевидно, что полученная картина может рассматриваться лишь как некое условное отражение существовавшей исторической ситуации и демонстрировать основные тенденции существования общества тюрков. Вместе с тем приведенные результаты анализа археологических материалов показывают, что даже в милитаризованном обществе кочевников довольно отчетливо выделяются объекты, иллюстрирующие различные уровни в структуре слоя профессиональных воинов или дружинников. Учитывая неизбежную условность итогов анализа археологических материалов, соотносить выделенные группы с конкретными позициями войска тюрков представляется достаточно необоснованным. Более важно то, что эти комплексы показывают сложность общества кочевников, не только включавшего различные уровни иерархии, но и предполагавшего дифференциацию по профессиональному принципу, по крайней мере, на своего рода «чиновников-управленцев» и nomads, профессионально занимавшихся военным делом.

## ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ В ТЮРКСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Одним из важных аспектов исследования социальной истории кочевников является вопрос о существовании рабства в обществах кочевников. В большинстве случаев он решался учеными на основе анализа показательных материалов раннего железного века. Не углубляясь в общую историографию данной темы, отметим, что в значительном количестве работ отечественных исследователей, несмотря на вариабельность использованных ими источников, а также подходов к оценке обществ кочевников, признана возможность существования у кочевников рабства (главным образом, домашнего), но подчеркнута ограниченность его распространения (см. обзор: [Хазанов А.М., 1975, с. 139–148]).

В настоящем очерке рассмотрены основные аспекты исследования форм зависимости у тюрков Центральной Азии. Значительный объем информации об этой стороне социальной жизни общества кочевников содержат письменные источники, прежде всего, памятники древнетюркской рунической письменности и материалы китайского происхождения; отчасти это также византийские источники. Интерес для исследователя представляет не только преподносимый ими фактический материал, но также содержащаяся в них терминология, в определенной степени позволяющая составить представления об особенностях общественной организации и социальной структуры тюркского общества, существовании определенных социальных категорий в нем, их правовом положении и т.п.

Информация, предоставляемая этими источниками, может носить как прямой, так и косвенный характер. В частности, в китайских хрониках имеются упоминания о захвате в плен тюрками людей [Visdelou C., 1779, p. 105; Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 249, 263, 270; Julien S., 1863, vol. III, p. 210, 398; vol. IV, p. 420; Parker E.H., 1901a, p. 164, 165; 1901b, p. 236; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 163, 185, 208, 254; Лю Маоцай, 2002, с. 79; Таşağıl A., 2003a, s. 103; 2004b, s. 66, 86; Қазақстан тарихы, 2005, 174, 183 б.; Зуев Ю.А., 2004а, № 2, с. 12], иногда с конкретизацией того, что речь идет о девушках и женщинах [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 246; Julien S., 1863, vol. IV, p. 205; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 134; Лю Маоцай, 2002, с. 64; Таşağıl A., 2003а, s. 102; Қазақстан тарихы, 2005, 152 б.]. В памятниках древнетюркской письменности встречаются в качестве неких зависимых категорий парные термины *qul* и *kün* (КТБ,

стк. 7 = БК, X, стк. 7; КТб, стк. 20 = БК, X, стк. 17; КТб, стк. 21 = БК, X, стк. 18; КТб, стк. 7, 20; БК, X, стк. 7, 20; МШУ, стк. 12–13 (= Вост., стк. 1–2), стк. 32 (= Южн., стк. 9)) [Şirin User H., 2009b, s. 298, 374, 383]), а также сообщается о захвате *qiz*, т.е. ‘девиц’, в паре с которыми упоминаются *jotuz* (БК, Ха, стк. 3, 4), то есть ‘жены’, судя по более поздним аналогиям [Древнетюркский словарь, 1969, с. 282; Clauson G., 1972, p. 894–895; Кормушин И.В., 1997, с. 198; 2008, с. 259], или *goduz* ‘женщины’ (Тон, стк. 48 (= II Южн., стк. 4); МШУ, стк. 15 (= Вост., стк. 3)), что означает именно ‘незамужних женщин’ или ‘вдов’ [Bazin L., Hamilton J.R., 1994]. В памятнике Бильге кагана говорится также о захвате *oyli-n jotuz-in* (БК, X, стк. 24, 38), т.е. ‘детей и жен’<sup>146</sup>, как и в памятнике Кюли чора, где несколько раз встречается формула *oyli-n kisi-sin* (КЧ, стк. 5 (= Зап., стк. 5), стк. 13 (= Вост., стк. 1), стк. 22 (= Вост., стк. 10))<sup>147</sup>.

Более четкую картину позволяет представить соотнесение этих сведений с материалами других периодов, возможно, более полно освещенных письменными источниками, а также с данными этнографии. Определенную ценность представляют лингвистические источники, поскольку анализ лексики, изучение семантики и установление этимологии отдельных лексических единиц, в том числе социальных терминов, а также разбор синтаксических конструкций, конкретизирующий содержание источника, несомненно, важны при исследовании социальных аспектов древнетюркской эпохи. Однако основанные только на исключительно лингвистических приемах анализа, без учета историко-культурного контекста, многие из этих выводов остаются в значительной степени ослабленными.

В связи с обозначенными обстоятельствами большое значение для раскрытия проблемы существования зависимых слоев общества у тюрков Центральной Азии имеет анализ археологических материалов, прежде всего погребальных комплексов.

### ***Итоги изучения письменных источников***

В начальные периоды изучения истории тюрков исследователи, имевшие возможность работать с китайскими источниками, а позже, с конца XIX в., – с памятниками древнетюркской рунической письменности, пока еще не ставя таких специальных исследовательских задач, тем не менее, делали отдельные замечания относительно форм зависимости, бытовавших в обществах Центральной Азии второй половины I тыс. н.э.

Замечателен пример эпизода китайской летописи, где жуань-жуаньский каган А-на-гуй 阿那瓌 называет тюрков (*ту-цзюэ* 突厥) *дуань-ну* 鍛奴, что Н.Я. Бичурин перевел как ‘плавильщик’, ‘плавильный невольник’, С. Жюльен –

<sup>146</sup> О термине *oyul* см. очерк «Возрастная дифференциация социума тюрков Центральной Азии».

<sup>147</sup> О термине *kishi* ~ *kisi* см. очерк «Статус женщины в тюркском обществе».

‘esclaves que nous employons à forger le fer’, Э.Х. Паркер – ‘forge slaves’, Э. Шаванн – ‘esclaves forgerons’ [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 228, прим. 548a; Julien S., 1864, vol. III, p. 330; Parker E.H., 1899a, p. 121; 1900a, p. 164; Chavannes E., 1903, p. 222]. Н.Я. Бичурин, стоявший на позициях монголоязычности *ту-цзюэ* 突厥, выводил их самоназвание от монгольского произношения слова ‘шлем’ *дулга* (совр. *дуулга*), на который была по легенде похожа вершина высочайшего хребта в местности, где кочевал род А-ши-на 阿史那 [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 221, 227]. В.П. Васильев писал, что это имя они получили потому, что вырабатывали для *жуань-жуаней* 蠕蠕 шлемы [Васильев В.П., 1897, с. 3–4, прим. 1]. Важно также предположение П.М. Мелиоранского о том, что, например, Онгинский памятник «был устроен китайскими военнопленными» [Мелиоранский П.М., 1898, с. 268–269]. Г.Е. Грумм-Гржимайло, комментируя данные китайских источников о металлоплавильном занятии тюрков, писал, что «не они, однако, при их взглядах на назначение мужчины быть только воином занимались тяжким трудом рудокопа и выплавкой металла, а, вероятно, те из их кыштымов – мелких племен динлинской расы, которые населяли бассейны среднего Енисея и Оби, как известно, издавна служившие центром распространения медных и железных изделий» [Грумм-Гржимайло Г.Е., 1926, с. 215–216]. Таким образом, ученый первым предположил существование эксплуатируемых тюрками групп оседлого или полуоседлого населения, занятых в металлургическом хозяйстве.

Тем не менее трактовка встречающейся в источниках социальной терминологии всегда сводила смысл последней к описанию социальной иерархии, характерной для обществ, история которых восходит к оседло-земледельческим культурам. Это нашло отражение хотя бы в том, что с самого начала древнетюркские термины *qul* 𐰇𐰏𐰤 и *kün* 𐰇𐰏𐰰, обозначавшие некие формы социальной зависимости, соответственно переводились на разные языки: *qul* ‘köle’ [Aydın E., 2004, s. 76], ‘Diener, Sklave’ [Radloff W., 1897, S. 170], ‘раб, слуга, служитель’ [Радлов В.В., 1899, ч. 1, стб. 965], ‘Sklave’ [Gabain A von, 1950, S. 330], ‘cariye’ [Orkun H.N., 1994, s. 817], ‘раб’ [Малов С.Е., 1951, с. 415], ‘раб’ [Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф., 1962, с. 227], ‘раб, невольник’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 464], ‘male slave’ [Tekin T., 1968, p. 347], ‘erkek köle’ [Tekin T., 2003, s. 249], ‘a (male) slave’ [Clauson G., 1972, p. 615], ‘раб’ [Этимологический словарь, 2000, с. 122], а *kün* – ‘cariye’ [Aydın E., 2004, s. 76], ‘Magd’ [Radloff W., 1897, S. 171], ‘рабыня, служанка’ [Радлов В.В., 1899, ч. 2, стб. 1428], ‘Sklavin’ [Gabain A von, 1950, S. 317], ‘kul, köle, esir’ [Orkun H.N., 1994, s. 845], ‘служанка, рабыня’ [Малов С.Е., 1951, с. 397], ‘рабыня, служанка’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 328], ‘female slave, concubine’ [Tekin T., 1968, p. 354], ‘kadın köle, cariye’ [Tekin T., 2003, s. 249], ‘female slave’ [Clauson G., 1972, p. 126], ‘рабыня, невольница’ [Этимологический словарь, 1997, с. 142]. В заслугу Г. Вамбери следует приписать верную интерпретацию термина *tat* 𐰇𐰏 Хушо-Цайдамских текстов как ‘мирный человек, оседлый житель, подданный’ [Vámbéry H., 1898,

S. 88–89; Minorsky V.V., 1987, p. 697], вопреки острым возражениям П.М. Мелиоранского [Мелиоранский П.М., 1899б, с. 0154–0158]<sup>148</sup>.

Первые попытки толкования содержания этих терминов и исследования социальных институтов, маркируемых ими, были предприняты советскими учеными. Данную проблему затронул уже С.П. Толстов, выступивший на пленуме Государственной академии истории материальной культуры в июне 1933 г. с концепцией перехода кочевников от первобытно-общинных отношений к феодальным через рабовладельческую формацию [Толстов С.П., 1934]. Основываясь на примере туркмен XIX в., он указывал на наличие в социальной структуре общества кочевников лиц, эксплуатируемых в хозяйстве, которых он определял как рабов [Толстов С.П., 1934, с. 176–177]. Опираясь на фрагмент Хушо-Цайдамских текстов, где от лица кагана говорится о том, что «в то время, (наши) рабы рабовладельцами стали, (наши) рабыни стали владелицами рабынь» (*ol ödkä qul qulliy bolmīs [kün künlig bolmīs ärti]*, букв. ‘[в] то время рабы рабов имеющими стали, рабыни рабынь имеющими стали’) (КТб, стк. 20 = БК, X, стк. 17) [Толстов С.П., 1934, с. 179–180; Бернштам А.Н., 1946б, с. 90, прим. 3], а позже также отрывок, где говорится о том, что «китайскому народу бегские сыновья сделались рабами, дочери благородных сделались рабынями» (*tabyač bodunqa bäglik urī oylin qul qilti silik qiz oylin kün qilti*, букв. ‘табгач[скому] народу бегов мужское потомство (то есть сыновья) рабами делалось, чистых женское потомство (то есть дочери) рабынями делалось’ (БК, X, стк. 7 = КТб, стк. 7), С.П. Толстов сделал вывод о том, что основной целью войн, которые вели тюрки, был захват рабов [Толстов С.П., 1938в, с. 45; 1948, с. 260–261]<sup>149</sup>. Уже в прениях после доклада С.П. Толстова С.В. Киселев призвал к более осторожной интерпретации терминологии источников [Вопросы, 1934, с. 357].

В последующих работах С.П. Толстов представил более продуманную концепцию рабовладельческих отношений у кочевников, основывающуюся теперь уже именно на примере Тюркского каганата. Сохраняя прежнее толкование термина *qul*, ученый добавил к приводимой аргументации еще ряд сообщений китайских хроник об уводе тюрками людей в плен [Толстов С.П.,

---

<sup>148</sup> Правомерность трактовки Г. Вамбери была позже показана В. Томсенom, сумевшим привлечь для дополнительной аргументации недавно открытый тогда словарь Махмұда ал-Қашғарі (см.: [Divanü, 1985, с. II, s. 224]) [Thomsen V., 1916, p. 15–16; Самойлович А.Н., 2005б, с. 155; Кляшторный С.Г., 2003, с. 169, прим. 211]. По мнению некоторых филологов, термин *tat* является параллельной формой *ja:t* ‘чужой’ [Clauson G., 1972, p. 449], соответственно известному переходу *m/d ~ c/z > й*, отразившемуся в алтайском языке [Баскаков Н.А., 1969, с. 163–164].

<sup>149</sup> Любопытно, что С.П. Толстов обосновал и более точно передал синтаксическую конструкцию фразы. У его предшественника П.М. Мелиоранского было: «Китайскому народу стали они (турки) рабами со(?)своими крепкими сыновьями и со(?)своими чистыми дочерьми» [Мелиоранский П.М., 1899а, с. 65].



1938в, с. 44–46; 1948, с. 260–261]. Опираясь на перевод отрывка из китайской летописи о городе Гюйлосы (правильно – Да-ло-сы 怛邏斯, то есть Талас), где «вместе живут и торговые и кочевые», и среди них китайцы, «которых тукюесцы увели в плен», С.П. Толстов отметил здесь «ясное указание на одну из характерных форм рабовладельческой эксплуатации», являющуюся в случае с номадами более развитой формой. Причина этого была, по его мнению, в том, что огромный приток пленников из оседлых районов вступал в противоречие с относительной ограниченностью сфер кочевнического хозяйства, ввиду чего кочевники-рабовладельцы были вынуждены перестроить систему использования труда рабов и начать организацию поселений, где пленники могли бы заниматься земледелием и ремеслом [Толстов С.П., 1938в, с. 46–47, 50; 1948, с. 261, 263–264]. Позже эти же условия и, как следствие, нерациональность использования труда номадов в качестве земледельцев и ремесленников, привели к возникновению института «наследственного рабства», соответствующего тому, что описал в работе об общественном строе монголов Б.Я. Владимирцов, обозначив это термином *unağan boğol* [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 359–362]. Зависимость военнопленных кочевников от своих господ была лишь формальной: они были обязаны лишь выплачивать дань и поставлять военные отряды по требованию господ, то есть они представляли собой «нечто среднее между илотами и неравноправными союзниками». Эта «своеобразная модификация рабства» фиксируется не только у тюрков (в этой форме зависимости находились, например, тюрки по отношению к жуань-жуаням 蠕蠕), но и у сюн-ну 匈奴 [Толстов С.П., 1938б, с. 51; 1948, с. 264].

Считая основной ячейкой тюркского общества патриархальную семью, среди ее свойств, кроме многоженства, С.П. Толстов отмечал также развитый институт адопции и развитую клиентелу. В роли клиентов выступали *оуиш*'ы – «дружинники и преданные слуги кочевого аристократа» [Толстов С.П., 1938в, с. 52; 1948, с. 264]. Предположительно, они составляли прослойку между адаптированными членами семьи и рабами, пополнявшуюся за счет обедневших номадов, отдававших себя и своих детей в рабство какому-либо аристократу. Почти эквивалентен *оуиш*'у термин *tat*, но если первый обозначает клиентов и адоптированных членов правящей семьи, то второй – клиентов представителей всего народа. Их положение характеризуется как «близкое к кабальным рабам», «как бы низший слой клиентелы». В целом же, термин обозначал «общины оседлых данников каганата в Восточном Туркестане и в Средней Азии» [Толстов С.П., 1938в, с. 52–53; 1948, с. 264–265]. Отношения тюркского эля с подвластными ему общественными объединениями строились по принципу своеобразной «проекции отношений, господствующих в нем самом, – отношений рабства и клиентелы» [Толстов С.П., 1938в, с. 53; 1948, с. 265].

Это очень важный вывод, подытоживающий все наблюдения ученого, получившие, однако, специфическую интерпретацию из-за ограниченности са-

мой господствующей методологии. Как отметил А.М. Хазанов, С.П. Толстов фактически отождествлял данничество с рабством [Хазанов А.М., 1976, с. 250].

По-другому видел эти явления А.Н. Бернштам, бывший сторонником теории развития феодальных отношений непосредственно из распада патриархальной общины.

Первоначально А.Н. Бернштам отводил рабству решающее значение в процессе классового образования и возникновения государства, отмечая и роль завоеваний [Бернштам А.Н., 1935в, с. 6]. Он исходил из внутренних условий развития рабства в тюркском обществе (полигамия, торговля) [Писаревский Н.П., 1989, с. 152]. А.Н. Бернштам не отрицал существования класса рабов и рабовладельцев, но считал рабство укладом внутри феодальных отношений (это, по его мнению, являлось причиной «застойности» исторического процесса на Востоке) [Бернштам А.Н., 1935в, с. 6–7]. С помощью клиентелы, трактуемой А.Н. Бернштамом как форма рабства, хан узурпировал родовую власть, превращая свободных общинников в зависимых крестьян, поскольку потребности скотоводства обслуживались общинной кооперацией, в то время как «усыновленные» рабы и отпущенники становились дружинниками хана. Эти рабы, получая право наследования в роде, становились собственниками, но вынуждены были нести повинности. Патриархальное рабство перерастает в коммendaцию, а родовая взаимопомощь превращается в военно-феодальную барщину [Бернштам А.Н., 1935в, с. 17]. Интерпретация роли рабства в социальных отношениях в Тюркском каганате рознится в различных работах А.Н. Бернштама, что, вероятно, связано с невозможностью истолкования форм зависимости у кочевников с позиции марксистского понимания эксплуатации в обществе.

А.Н. Бернштам обратил внимание, что термины *qul* и *kün* в древнетюркских источниках обозначают, прежде всего, зависимое положение, применяясь иногда к целым племенам, равно как термин *tat* – по отношению к зависимым иноземцам. Эксплуатация и тех и других выражалась в своеобразном данничестве [Бернштам А.Н., 1946б, с. 121, 124–125, 126]<sup>150</sup>. Свидетельство о воспри-

---

<sup>150</sup> А.Н. Бернштам связывал термин *qul* в значении ‘раб’ со значением ‘рука’, связанным, в свою очередь, с глаголом *qil-maq* ‘делать, сделать’, и предлагал следующий семантический ряд: ‘дело’ – ‘работа’ – ‘делать-работать’ – ‘раб’ [Бернштам А.Н., 1946б, с. 125]. М. Стаховски указал на фонетическую невозможность такой связи [Stachowski M., 2010, S. 236], возводя значение термина к первоначальному \*‘Kleines, Junges’ – \*‘Jüngling’ ~ \*‘derjenige, der schwer arbeitet’ – (1) ‘Arbeiter, Landarbeiter’; (2) ‘Sklave’ [Stachowski M., 2010, S. 236–238]. Другие этимологии также не могут считаться удовлетворительными [Doerfer G., 1967, S. 505]. Несколько своеобразная этимология была предложена авторами EDAL: пратюрк. \**Kul* ‘slave, servant (слуга, раб)’, прагунг. \**kēlu-me* (< \**kūle-me* ?) ‘servant (слуга)’ < праалт. \**kūlV* ‘servant, slave’ [Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A., 2003, pt. I, p. 735–736].

Этимология термина *kün* не находит адекватного объяснения [Этимологический словарь, 1997, с. 142]. К.М. Мусаев полагает, что *kün*, возможно, имеет связь с *kün* ‘народ’, ‘поданные’ > ‘прислуга’, ‘рабыня (невольница)’ [Сравнительно-историческая грамматика,

ятии вассалитета как рабства самими кочевниками ученый увидел в китайских хрониках, где каган Ша-бо-люэ 沙鉢略 счел за честь принять предложение стать «вассалом» (кит. *чэнь* 臣) китайского императора, когда ему сказали, что этот статус соответствует статусу тюркского «раба» (кит. *ну* 奴) [Бернштам А.Н., 1946б, с. 175]. Институт *qul* А.Н. Бернштам сравнил с явлением, обозначенным Б.Я. Владимирцовым у монголов термином *unağan bogol*, и с сибирским кыштымством [Бернштам А.Н., 1946б, с. 125, 129]. Рабство в самой общине носило патриархальный характер [Бернштам А.Н., 1935в, с. 19; 1946б, с. 139, 147], главным источником его пополнения были войны [Бернштам А.Н., 1935в, с. 16; Бернштам А.Н., 1946б, с. 117–118], другим путем – институт клиентелы (*oγul*, *oγuǰ*) [Бернштам А.Н., 1946б, с. 124]<sup>151</sup>.

Включение рабов и родственников в состав патриархальной семьи, развитие института усыновления и клиентелы способствует расширению экономических возможностей общины [Бернштам А.Н., 1946б, с. 115–117]. Патриархальные рабы и зависимые племена обслуживают потребность знати в войнах и грабежах, выплачивая дань и неся воинскую повинность [Бернштам А.Н., 1935в, с. 16–17; 1946б, с. 127, 145–146]. В случае завоевания одного племени другим, или в случае усиления хозяйственной зависимости бедных родов от богатых и их подчиненного положения, между родо-племенными единицами создается определенная система субординации. Еще большей степени закабаление знатью сородичей достигает в результате их участия в завоеваниях, предпринимаемых властной верхушкой [Бернштам А.Н., 1946б, с. 127–128]. Р.С. Липец отметила, что А.Н. Бернштам не делал четких различий между зависимыми людьми, дружинниками и данниками [Бернштам А.Н., 1946б, с. 124, 128, 145–146; Липец Р.С., 1984, с. 25].

Так или иначе, А.Н. Бернштам первым в советской историографии попытался обосновать невозможность существования у тюрков VI–VIII вв. рабства как такового и указал на данническую сущность зависимости, обозначаемую термином *qul*.

---

1997/2001, с. 317; Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 529], правда, фонетические различия в этом случае остаются без объяснений. В последнее время была предложена гипотеза возвести древнетюркскую форму к пратюрк. *\*güŋ* ‘female slave (рабыня)’, ср. пратунг. *\*kuŋā* ‘childhood (детство)’, ‘child (ребенок)’, ‘new-born child (новорожденный)’, прамонг. *\*kōw*, *\*kōw-γün*, *\*kewken* ‘child, son (ребенок, сын)’, праяп. *\*kūa* ‘child (ребенок)’ < праалт. *\*kūyi* ‘child’ [Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A., 2003, pt. I, p. 742].

<sup>151</sup> Доказательства в пользу последнего А.Н. Бернштам попытался найти в своеобразной этимологии термина *oγul* [Бернштам А.Н., 1946б, с. 116, 125, прим. 3; Doerfer G., 1965, S. 82], в двойном толковании термина *oγuǰ* как ‘род’, ‘клиент’ [Бернштам А.Н., 1946б, с. 103, 117, 127, прим. 1], а также характеризуя в этом духе редкий и тогда еще плохо датированный алтайский археологический материал, говоря о «слугах», сопровождавших в могилах своих господ, а также своеобразно интерпретируя так изображение на Кудыргинском валуне. При этом он отмечал, что «погребения рядовых тюрков кочевников в Монголии не раскопаны» [История СССР, 1939, с. 485].

Н.Н. Козьмин коротко упоминал о рабах у «турок» VII–VIII вв., не считая, по-видимому, их роль в производстве сколько-нибудь важной [Козьмин Н.Н., 1934а, с. 43; 1934б, с. 270]. Между тем один из рецензентов его монографии, В.А. Казакевич, упрекал Н.Н. Козьмина в недооценке роли рабства в общественной жизни кочевников: по его мнению, «грандиозное строительство орхоно-уйгурского и монгольского периодов» делалось руками рабов, а, кроме того, ими обеспечивались земледельческие работы. В то же время критик признавал объективный недостаток источникового материала. В целом же, он соглашался с А.Н. Бернштамом в том, что рабство было укладом в феодальном кочевническом обществе, а не формацией [Казакевич В.А., 1934, с. 115–116].

С.В. Юшков, обращая внимание на существование у монголов дружины в виде нукеров, среди прочих признаков «варварского государства» [Юшков С.В., 1947, с. 53–57], у тюрков в качестве аналога отмечал огушей – «класс полусвободных», как *unaġan bogol* у монголов или смерды на Руси [Юшков С.В., 1947, с. 60–61]. Как отметил О. Латтимор, С.В. Юшков, акцентируя внимание на этих самых полузависимых людях, уже вырванных из системы родо-племенных связей, был близок к пониманию существования у кочевников явления *подчинения* ('subordination'), однако эта точка зрения осталась в советской историографии незамеченной [Lattimore O., 1961, p. 334; 1962, p. 536].

Именно позиция А.Н. Бернштама, изложенная им еще в нескольких изданиях [История Киргизии, 1956, с. 87–88; Очерки Истории СССР, 1958, с. 388], в основном, возобладала в работах советских ученых последующих лет. Она сводилась к тому, что в находившемся в процессе феодализации тюркском обществе сохранялись родо-племенные патриархальные элементы, в том числе рабство, в целом, не выходящее за рамки домашнего, а число рабов пополнилось за счет военнопленных [Вяткин М.П., 1941: 45–46; История Казахской ССР, 1952, 49; 1957, с. 58–59; 44; Потапов Л.П., 1953, с. 90, 92, 93; История Тувы, 1964, с. 93; История Сибири, 1968, с. 280; История Узбекской ССР, 1955, с. 124; История Киргизии, 1963, с. 92, 97; История Киргизской ССР, 1968, с. 104, 107; Кызласов Л.Р., 1969, с. 46, 47, 55; Маннай-оол М.Х., 1984, с. 104; 1986, с. 54–55; и мн. др.].

В зарубежной марксистской историографии понимание классовой сущности тюркского общества и, соответственно, роли и места в нем рабства, также вызывало различные оценки. В частности, наиболее наглядно это демонстрируют длительные дискуссии китайских ученых о социальном строе Тюркского каганата (родовой строй, рабовладение, феодализм) (См.: [Линь Гань, 1985; Жэнь Бао-лэй, 2011; Тишин В.В., 2015г, с. 419–422, 424–425]).

Монгольский археолог Н. Сэр-Оджав писал о незначительном патриархальном рабстве у тюрков, упоминая о татах как крепостных, а рабов считая прослойкой [Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүх, 1966, 128–129 дугаар тал.; Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүх, 1984, 128–129 дугаар тал.;

История Монгольской Народной Республики, 1983, с. 112–113; Сэр-Оджав Н., 1971, с. 19, 24]. Эта точка зрения во многом остается традиционной [Монгол улсын түүх, 2003, 326–327 дугаар тал.].

Японский ученый-марксист Мори Масао изначально выделил в тюркском обществе рабов (*qul*, *kün*) в отдельный класс (*kaikyū* 階級) [Mori M., 1967] не без влияния работ С.В. Киселева<sup>152</sup> (см.: [Maeda M., 1968, p. 96; Osawa T., 2006a, p. 219]), но впоследствии так же отметил, что рабство носило в основном домашний характер, рабы были слугами бегов. Разделение классов не было столь глубоким, «чтобы низвести кочевников до рабства» [Мори М., 1970, с. 7].

Иное понимание эксплуатации в среде кочевников было предложено в последующем в работах, специально посвященных общественным отношениям в Тюркском каганате.

Л.П. Лашук, рассматривая Тюркский каганат как «прафеодальное» государственное образование, попытался рассматривать в качестве основы его общественных отношений данничество [Лашук Л.П., 1967б, с. 106, 119] – низкий уровень производства толкал тюрков к походам, основной целью которых был не захват добычи, а «завоевание людей» для обращения их в данническую зависимость [Лашук Л.П., 1967б, с. 117–118]. «Основная форма установления господства» каганата над кочевыми и оседлыми соседями, по мнению ученого, сводилась к обращению их в «подданство», влекущее наложение различных повинностей и уплату дани [Лашук Л.П., 1967б, с. 118]. Однако уровень развития самих тюрков позволял им ограничиться лишь этим методом эксплуатации, поскольку они еще не были способны повлиять на разложение социальной структуры подчиненных народов [Лашук Л.П., 1967а, с. 35].

Это очень важная в рамках стадиалистской марксистской методологии попытка предложить иную интерпретацию никак не укладывающихся в ее традиционные схемы особенностей общественных отношений у кочевников. При этом Л.П. Лашук так и не сумел выйти за ее пределы, будучи сторонником наиболее универсальной для оседлых и кочевнических народов схемы.

Л.Н. Гумилев, анализируя тот же источниковый материал о захвате тюрками людей, отметил, что в рабство они вводили в основном женщин [Гумилев Л.Н., 1967, с. 53–54]. Сопоставив также случай с подчинением кагана Ша-бо-люэ 沙鉢略 китайцам и эпизоды древнетюркских текстов с упоминанием термина *qul*, позволяющие, по его мнению, видеть «лишь факт подчинения иноплеменному государю без какого бы то ни было социального угнетения», а также «лишь подчинение иноземцу, но отнюдь не лишение личной свободы», Л.Н. Гумилев пришел к выводу о том, что основное значение термина *qul* – «подчинение чужому» [Гумилев Л.Н., 1961, с. 18; 1967, с. 54–55], что, как много позднее отметила Г.Ф. Благова, согласуется с данными филологии [Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 670–671]. Однако попытка Л.Н. Гумилева выйти за

<sup>152</sup> О его взглядах см. ниже.

рамки «древнетюркского материала» и показать существование подобного института *кул* у *сюн-ну* 匈奴 не оправдалась [Таскин В.С., 1990, с. 5–6].

Ю.А. Зуев также указывал на наличие домашнего или семейного рабства в тюркской, по его мнению, патриархально-семейной общине, распространявшегося в основном на женщин и девушек [Зуев Ю.А., 1967, с. 140–142; История Казахской ССР, 1977, с. 331–332; История Казахстана, 1996, с. 302–303], но это не исключало наличия рабов-ремесленников, градостроителей и т.п. [Зуев Ю.А., 1967, с. 141–142].

В доказательство того, что термин *кул* у тюрков выражал зависимость, но не рабство, Ю.А. Зуев привел следующие данные китайских источников: во-первых, тюрки, добывавшие железо для *жоу-жаней* 柔然, именуются «плавильщиками-рабами», то есть *дуань-ну* 鍛奴, но в этом же источнике говорится, что они были их вассалами, то есть *чэнь* 臣; во-вторых, есть сообщение, что «си и цидань /кай и кидани/ издавна были *ну* / то есть вассалами/ тюрков...»; в-третьих, каган Ша-бо-люэ 沙鉢略 признал себя вассалом (*чэнь* 臣) китайского императора, узнав о тождестве этого слова с пониманием рабства (*ну* 奴) у тюрков. Потому китайское *ну* 奴 является переводом тюркского *кул* [Зуев Ю.А., 1967, с. 139–140].

Кроме того, Ю.А. Зуев отмечал имущественное и политическое неравенство между общинами (или в поздних работах – племенами). Наиболее сильные держали в подчинении других, что выражалось в своеобразной форме данничества. Зависимые общины выполняли различные повинности: гужевая, коштная, повинность ополчения. Были также покоренные племена, называвшиеся иногда «гостевыми», которые использовались как авангард в сражениях [Зуев Ю.А., 1967, с. 141; История Казахской ССР, 1977, с. 331; История Казахстана, 1996, с. 302]<sup>153</sup>.

Наиболее тщательный анализ способов эксплуатации и форм социальной зависимости в древнетюркских обществах нашел отражение в работах С.Г. Кляшторного. Уже в монографии 1964 г. С.Г. Кляшторный на конкретном материале установил, что термином *tai* именовалось иноплеменное население, занимавшееся отличными от присущих тюркам видами хозяйственной деятельности, в частности, – согдийцы [Кляшторный С.Г., 2003, с. 168–169]<sup>154</sup>. В ряде работ последующего периода, начиная с середины 80-х гг. XX в. (см.: [Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 237–239]) на основе тщательного изучения древнетюркских рунических памятников ученый четко показал, что формы социальной зависимости у тюрков были определены самим характе-

---

<sup>153</sup> Говоря о «гостевых племенах» (*кэ-бу* 客部), Ю.А. Зуев имел в виду упоминание подчинения племен *ба-си-ми* 拔悉蜜 и *гэ-ло-лу* 葛邏祿 семиплеменным союзом во главе с *хуэй-хэ* 回紇 в первой половине VIII в. [Зуев Ю.А., 1967, с. 142–143].

<sup>154</sup> Д. Шапира без каких-либо веских оснований считал возможным видеть в татах иудейских торговцев [Shapira D.D.Y., 2008, p. 26].

ром кочевого хозяйства и воспринимались в сознании кочевников одинаково. При этом личная зависимость не выходила за пределы домашнего рабства, где использовался в основном труд женщин [Кляшторный С.Г., 2003, с. 479–484; 2006, с. 474–479; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 147–149; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 156–157], а коллективная зависимость выражалась в подчинении одних племенных групп другим [Кляшторный С.Г., 2003, с. 485–489; 2006, с. 480–484]. Формы внутренней и внешней зависимости именовались в тюркском обществе одинаково – терминами *qul* и *kün*, что С.Г. Кляшторный связал с «архаичным характером» коллективного мышления кочевников [Кляшторный С.Г., 2003, с. 489; 2006, с. 484–485].

Это подтверждается рядом следующих фактов. Так, согласно Менандру, Турксанф от лица тюрков именовал своими рабами (*ἐμέ ἀνδράποδα, δούλου*) авар и утигуров (Men. Fr., 45) [Византийские историки, 1860, с. 419]. Это соотносится с сообщениями Хушо-Цайдамских памятников о подчинении народов и установлении над ними власти тюрками (КТб, стк. 2, 20), или подчинении самого «тюркского народа» табгачам, когда он потерял кагана и был вынужден участвовать в войнах за интересы другого правителя (КТб, стк. 7, 8–9, 23–24), именуясь «рабами» (*qul*) и «рабынями» (*qul* и (*kün*)). Сюда же вписывается и обозначение Бумына «рабом-плавильщиком» (кит. *дуань-ну 鍛奴*) жоужаньского кагана, а также понимание Ша-бо-люэ 沙鉢略 каганом слова «вассал» (кит. *чэнь 臣*) в значении, тождественном слову «раб» (кит. *ну 奴*) [Кляшторный С.Г., 2003, с. 486–487; 2006, с. 481–483].

С.Г. Кляшторный установил, что «рабское», то есть подчиненное положение племен характеризовалось утратой, во-первых, собственного кагана, во-вторых, – государственной организации (*эль*), в-третьих, – установлений, определяющих внутренний порядок (*төрү*), в-четвертых, – возможности трудиться и служить ради своих интересов (то есть они становились обязанными воевать на стороне чужого кагана), в-пятых, – племенных земель [Кляшторный С.Г., 2003, с. 488; 2006, с. 482]. В монографии 2010 г. исследователь предложил перевод сочетания *künim qulum bodun-уу* (МШУ, стк. 13 (= Вост., стк. 1), стк. 33 (= Южн., стк. 9)) как «подданные», «подданный мне народ» [Кляшторный С.Г., 2010, с. 56, 58, 61, 66].

Важна еще одна гипотеза С.Г. Кляшторного. Прежде ученый показал, что *балбалы*, горизонтальные намогильные камни, символизирующие образы убитых врагов, также могут быть «подарены», то есть установлены (как жертва?) на территории погребального комплекса умершего человека спустя некоторое время после похорон его родственниками или соратниками [Кляшторный С.Г., 2003, с. 266–270; 2006, с. 302–304]. С.Г. Кляшторный обратил внимание на то, что упоминание у Менандра о принесении в жертву умершему кагану «четверых скованных военнопленных уннов» (Men. Fr., 45) [Византийские историки, 1860, с. 422], то есть указание на использование рабов для жертвоприноше-

ний, не находит подтверждения в данных археологии, и предположил, что если тюрки ранее практиковали ритуальное убийство пленников, то позже оно было заменено на установку балбалов [Кляшторный С.Г., 2003, с. 484; 2006, с. 479].

Именно выводы С.Г. Кляшторного могут считаться отправной точкой для всех последующих исследований, при том, что современное состояние изученности древнетюркского периода позволяет внести уточнения в отдельные высказанные им положения.

Говоря о терминах *qul* и *kün*, С.Г. Кляшторный отмечал, что кроме иноземцев, людей, «насильственно уведенных с их родных мест, вырванных из их этнической среды, лишенных своего прежнего статуса, отданных во власть своих хозяев», в эту категорию входили еще и сами тюрки. Так, он пишет: «Даже соплеменники, попавшие в рабство, а затем вернувшиеся в родное племя, не во всех случаях возвращали себе прежний статус». В подтверждение этому мнению приводится цитируемый по Мешхедской рукописи рассказ Ибн ал-Фақіха со слов некоего Са‘іда бен ал-Хасан ас-Самарканді: «Говорит Са‘ид б. ал-Хасан ас-Самарканди: среди тюрков есть кочевники, которые перекочевывают с места на место, ищут непотравленные пастбища в поисках корма для скота, как и те, кто кочует в стране ислама. Они не признают царской власти и никому не подчиняются, нападая друг на друга и захватывая женщин и детей. Время от времени какая-либо группа [из этих кочевников] покидает свое племя и переходит в другое племя. А вместе с ними в другое племя переходят и те женщины, которые раньше вышли [из этого племени], а также дети тех женщин, которые [также] были сделаны рабами. И племя, принявшее пришельцев, не наказывает их за [своих сородичей, ставших рабами], а считает последних такими же [рабами], как и своих рабов, согласно их обычаю и тому, о чем у них есть согласие». Таким образом, С.Г. Кляшторный заключил, что «даже кровное родство, согласно источнику Ибн ал-Фақиха, не могло разорвать новых социальных связей, возникших в результате захвата в плен и превращения в рабыню свободной женщины» [Кляшторный С.Г., 2003, с. 478; Кляшторный С.Г., 2006, с. 473]. Отметим, что имеется другой вариант перевода соответствующего отрывка сочинения Ибн ал-Фақіха, где предстает несколько иной смысл сказанного [Арабские источники, 1993, с. 53]. Его автор Ф.М. Асадов любезно разъяснил нам, – за что, пользуясь случаем, хотелось бы искренне поблагодарить его, – что поскольку при выполнении своей работы он руководствовался лишь задачей подготовить общий перевод, предпочтение в данном конкретном случае следует отдать именно переводу С.Г. Кляшторного, однако подчеркнул, что и здесь следует учитывать ряд оговорок. В частности, это относится к переводу С.Г. Кляшторным слова *الحي* [*’l-hay*] как ‘племя’, но этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Еще один важный момент в исследованиях С.Г. Кляшторного – это указание на то, что «шире, чем у тюрков Монголии, труд рабов применялся ени-



сейскими кыргызами» [Кляшторный С.Г., 2003, с. 485; 2006, с. 480]. С.Г. Кляшторный следовал за С.Е. Маловым, читая слово *qul* в тексте Уйбат III (Е 32, стк. 6 (по С.Е. Малову – стк. 1)) [Кляшторный С.Г., 2003, с. 266; 2006, с. 301; Малов С.Е., 1952, с. 61–62; Васильев Д.Д., 1983б, с. 26 (транслитерация), 66 (прорисовка), 105 (фотография)]. Однако И.В. Кормушиным было обосновано прочтение в данном случае *qol-i* как падежной формы слова ‘рука’ [Кормушин И.В., 1997, с. 107, 115, 116; 2008, с. 125, 126], фигурирующего в устойчивом сочетании с лексемой *alp*, зафиксированной прежде в памятнике Кызыл-Чираа II (Е 44, стк. 1), где также отмечена падежная форма *qol-im* – по контексту ‘руки [мои]’ [Щербак А.М., 1964, с. 141, 142; Древнетюркский словарь, 1969, с. 286; Кормушин И.В., 1997, с. 221, 222, 223; 2008, с. 133]. Однако следует отметить, что Э. Айдыном предлагаются совершенно отличные контексты [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 91, 117, 504].

С.Г. Кляшторному также принадлежит гипотеза о возможной продаже тюрками своих рабов в Китай, где «были покупные рабы из тюрков, которые использовались в качестве табунщиков, конюхов, ездовых, кучеров, личных телохранителей», со ссылкой на Э. Шефера [Кляшторный С.Г., 2003, с. 485; 2006, с. 480]. Однако Э. Шефер прямо указывал, что штат этих рабов, известный в чуть более позднее время, пополнялся покупкой их китайцами у Саманидов, захватывавших кочевников в плен на окраинах степи [Schafer E., 1963, p. 42–43; Шефер Э., 1981, с. 67]. Прямых данных о продаже тюрками выходцев из собственного населения в Китай на сегодняшний момент не имеется.

Сейчас еще можно встретить работы, авторы которых придерживаются традиционного понимания методов эксплуатации в древнетюркской среде. Так, например, Е.И. Кычанов, считал, что рабы играли важную роль в Тюркском каганате. «Безусловно, – писал он, – рабы – тюрки и не тюрки, какова бы ни была их численность и в какой бы сфере хозяйственной деятельности они ни использовались, являлись четко очерченным эксплуатируемым классом древнетюркского общества» [Кычанов Е.И., 2010, с. 136], поскольку, по его мнению, у всех народов рабство было «первой, наиболее откровенной формой порабощения человека человеком» (по аналогии с античной Грецией и Римом) [Кычанов Е.И., 2010, с. 308].

Основываясь на изысканиях С.Г. Кляшторного, С.А. Васютин пришел к заключению о лежащей в основе механизма социальной организации кочевнических обществ времен тюркских каганатов VI–VIII вв. иерархической стратификации населения, «преимущественно различающегося по степени свободы и несвободы, а также комплексу прав и привилегий» [Васютин С.А., 2005б].

В европейской и американской науке не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток специального исследования форм социальной зависимости в Тюркском каганате. Исследователи, видимо, следуя буквальной интерпретации источников, так или иначе упоминали о «рабах» у тюрков, но специально на их

статусе не останавливались (см., напр.: [Lattimore O., 1962, p. 341; Eberhard W., 1970, p. 118; Bazin L., 1994, p. 320; Spuler B., 1966, S. 144; Pritsak O., 1981, p. 17; Прицак О., 1997, с. 83; Golden P.B., 1982, p. 51]). Г. Дёрфер, основываясь на языковых данных, поддержал точку зрения о том, что у тюрков термин *qul* имел значение не ‘Sklave’, а ‘Vassal’ или ‘Abhängiger’ [Doerfer G., 1967, s. 504].

Однако уже Петер Вази в своей работе о европейских гуннах использовал древнетюркский материал как сравнительно-историческое подспорье. В частности, он указал на коллективный характер зависимости у кочевников: представители покоренных народов были лично свободны и выглядели «невольниками и рабами» («rabszolgák és rabnők») только в глазах правящего слоя (*az uralkodó réteg*), а на деле их подневольное состояние (*szolgaságra*) подобно положению слуг (*szolgái*). Именно об этом говорят Хушо-Цайдамские надписи, когда упоминают, что *qul qul-lïy bolmis [kün künlig bolmis erti]* ‘рабы рабов имеющими стали, рабыни рабынь имеющими стали’ (а *rabszolgáknak maguknak is rabszolgái, a rabnőknek rabnői voltak*) [Váczy P., 1940, 106–107. о.].

Еще выдающийся турецкий социолог Мехмет Зийя (Гёк Алп) в 1917 г. отмечал для ранних этапов тюркской истории, когда, согласно ему, они еще не были оседлыми, такую характерную черту, как равенство всех подданных перед правящей семьей. Речь идет о разделении общностей, которые сам М. Зийя (Гёк Алп) именуется «Budun», что соответствовало *городам* (*site*) древних греков или римлян, на три «слоя» (*tabaka* (*caste*)): *Tekin*’ы, *Buyruk*’и и *Kamik*’и. Первые были потомками легендарных героев (*menkıbevi kahramanın sülâlesi*), основателей народа, они несли народу «небесную благодать» (*Tanrı kutu = zillullah*). Эта священная династия давала имя всему государству (*il*). *Buyruk*’и изначально были выходцами из *Kamik* и формировались как свита аналогично клиентеле в Риме. Под *Kamik* же понималась совокупность всех подданных той или иной династии, на них распространялась благодать их правителя, они могли быть наследованы или поделены среди потомков первого правителя, являя в этом смысле собой «ulus». Но у каждого *ulus* был свой предводитель (*sahip*), каждый из которых, будучи по отцовской линии представителем правящей династии, имел свой удел (так называемый «Oymak Beyleri»). Исходя из этого, все государства или *il*’и находились под властью одной семьи, все подданные семьи скотовладельцев были их «своего рода собственностью» («bir nevi mülkiyeti mahiyetinde»). Ввиду же подвижного характера народа, подданные, то есть люди, являлись главным имуществом [Gökalp Z., 1981, s. 88–90].

Различные замечания были высказаны в ранней турецкой республиканской историографии. Ахмет Зеки Велиди (Тоган) не считал возможным говорить о рабстве и крепостничестве у тюрков и монголов, отмечая зарождение у кочевников свободы личности. Индивид был втянут в социальную организацию, составляемую «политически ведущим племенем», где его племя было либо главенствующим, либо подчиненным; он был ограничен в правах свободного передвижения только в периоды критического напряжения в обществе, будучи связан со своим племенем, которое составляло ядро воинского подразделения.

Ученый жестко критиковал попытки ученых (особенно в России) видеть в кочевнических социумах феодальные общества, с элементами рабства, отрицая и классовое разделение [Zeki Validi Togan A., 1939, s. 287–289].

Садри Максуди (Арсал) отмечал ограниченное число рабов из захваченных пленников, имевших, однако, наследственный статус [Максуди Арсал С., 2002, с. 113, 181, 232, 266, 267–269], и татов – покоренное население из не-тюрок, обложенное ограниченной данью и обязанностью военной службы [Максуди Арсал С., 2002, с. 229].

Абдюлькадиру Инану удалось показать распространение у кочевых тюрок института усыновления, когда при этом усыновленный имеет те же права, что и родной ребенок [İnan A., 1948b, s. 129–131]. Усыновлялись даже чужаки, вероятно, в целях расширения племени за счет неродственных связей ввиду экзогамии [İnan A., 1948b, s. 132, 133]. А. Инан также обратил внимание на тот факт, что во многих тюркских языках совпадает терминология со значением ‘слуга’ и ‘ребенок’ [İnan A., 1948b, s. 134], но этнографический и фольклорный материал не позволяет рассматривать этот институт у кочевников как рабство [İnan A., 1948b, s. 135–136, 137].

Интересно, что на Четвертом Турецком историческом конгрессе во время обсуждения доклада Ахмета Джафероглу об институте нукерства А. Инан поднял вопрос: не могли ли *ođlan* орхонских надписей быть своеобразным прототипом *нукеров*, в качестве обычного института дружины, известного у многих народов, и быть одновременно предтечей института *гулямов*? Он отмечает сообщение Махмұда ал-Қашғарұ о том, что термин *Tekin*, означающий хаканских детей, изначально обозначал невольников (см.: [Divanü, 1985, с. I, s. 413–414]) [Сафероглу А., 1952, s. 258–259 (обсуждение доклада)].

В дальнейшем Бахаддин Огель писал о личной дружине кагана, строившейся на принципе покровительства, своеобразного усыновления [Ögel B., 1971, с. II, s. 27, 98–100, 109–110].

Последующая турецкая историография, независимо от методологического направления, ограничивалась указанием на формы коллективной зависимости по типу установленной Б.Я. Владимирцовым у монголов формы *unađan bogol* (см., напр.: [Kafesođlu İ., 1997, s. 245; Avcioglu D., 1978, 1. kitap, s. 248–249, 252–252, 441–442, 480–485; 1978, 2. kitap, s. 741–743; Arslan M., 1984, s. 23–24, 25, 46]). Националистически настроенные историки, писавшие, что рабов у тюрок не было, вообще отрицали какое-либо классовое расслоение у тюрок, говоря о существовании у них открытой социальной системы [Kafesođlu İ., 1997, s. 239–241]. Эта линия находит отражение и в современных работах (см., напр.: [Тазаđıl А., 2003b, s. 21]). В наибольшей степени выделяются взгляды Сэнджэра Дивитчиоглу, считающего, что *kul* и *küing* древнетюркских надписей не были рабами, так как это невозможно при кочевническом хозяйстве – данная категория пополнялась из военнопленных, инкорпорированных в массу населения. Скорее, это могли быть слуги, вроде европейского института *comitatus* [Divitçiođlu S., 2005, s. 169].

Примечательно, что есть свидетельства, прямо говорящие, что для древнетюркской эпохи в целом так же было характерно такое социальное явление как усыновление. В 555 г. по «Бэй ши» 北史 (цз. 98), когда вэйское правительство выдало тюркам 3 тыс. искавших у них укрытие *жоу-жаней* 柔然, они все были казнены. «От казни были избавлены юноши до 16 лет, которых распределили между *ванами* и *гунами*» [Материалы, 1984, с. 295]. Ср. у Н.Я. Бичурина: «Несовершеннолетние мужчины и следовавшие за князьями, т.е. служители, пощажены» [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 208]. Этот факт находит параллели с эпизодом из «Тайной истории монголов», когда после разгрома племени *татар* все мужское население было убито, кроме тех, кто был ростом ниже тележной чеки – они были распределены по семьям монголов (§ 154). Кроме того, о возможности существования традиции усыновления позволяют говорить следующие факты: уйгурский каган А-чжо 阿啜, не имевший детей, воспитывал как сына китайца, дав ему каганскую фамилию (*ши* 氏) *Йаглакар* (*Яо-ло-гэ* 藥羅葛) [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 330; Позднеев Д.М., 1899, с. 89; Mackerras С., 1968, р. 88; 1990, р. 318; Ögel В., 1971, с. I, s. 100–101], а взошедший затем после него в 795 г. на уйгурский престол Кулуг (Гу-до-лу 骨咄祿) «еще в детстве осиротел, и воспитан одним из главных старейшин» (*да шоу-лин* 大首領) [Бичурин Н.Я., т. I, с. 330–331; Васильев В.П., 1897, с. 31; Hamilton J., 1955, с. 140; Mackerras С., 1968, р. 88; 1990, р. 318; Қазақстан тарихы, 2006, 355, 356 б.].

Интерес представляют работы, касающиеся более узких вопросов, тем не менее имеющих непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме эксплуатации в древнетюркскую эпоху.

Ильдико Эчеди, принимая выводы С.Г. Кляшторного [Ecsedy I., 1988, р. 3], обратила внимание на одно обстоятельство, связанное с гибелью в Китае Се-ли 頡利 кагана в 634 г. Известно, что на свежей могиле Се-ли его приближенный с титулом *ху-лу да-гуань* 胡祿達官 (< *uluγ tarqan?*) по имени Ту-юй-хунь-се 吐谷渾邪, бывший некогда в свите его матери и сопровождавший его с самого детства, перерезал себе горло, а находившийся на китайской службе полководец Су-ни-ши 蘇尼失, дядя Се-ли 頡利, служивший когда-то под его началом, заколол себя, едва узнав о его смерти. И. Эчеди связала эти два случая, как и попытку заколоться тюркского полководца А-ши-на Шэ-эр 阿史那社爾 в 649 г. на похоронах императора Тай-цзуна 太宗, которому он долго служил, с патриархальным сознанием тюрков, пережитком тех времен, когда вслед за вождем в могилу, действительно, следовали его жена, друзья, приближенные [Ecsedy I., 1988, р. 9].

Известный своими обобщающими трудами П.Б. Голден в специальной работе, где он согласился, что словом «раб» (*qul*) у тюрков, по сути, обозначалась политическая зависимость [Golden P.B., 2001b, р. 28–29], вновь обратил внимание на случаи захвата тюрками людей, предположив, что это осуществлялось, прежде всего, в целях их продажи оседлым соседям, – явление, известное и широко распространенное у кочевников более поздних эпох [Golden P.B.,

2001b, p. 30]. А захваченных женщин и девушек тюрки использовали для работ в домашнем хозяйстве [Golden P.B., 2001b, p. 31–32] и, возможно, захватывали мужчин из оседлых народов для того, чтобы сажать их обрабатывать землю, например, в Восточном Туркестане [Golden P.B., 2001b, p. 32–33].

Пониманию самими тюрками значения термина *qul* посвятил специальную статью Осава Такаси. По его мнению, именование тюрков *qul'*ами табгачского народа означало лишь то, что тюрки не могли переселяться, куда хотели, хотя сохраняли свою социальную организацию и правящую верхушку [Osawa T., 2006a, p. 222]. Они не могли звать себя именно «рабами» (slaves, female slaves) только из-за факта подчинения Китаю, поэтому правильнее было бы интерпретировать *qul'*ов как слуг (servant) или вассалов (follower) [Osawa T., 2006a, p. 223–224]. Хоронившиеся вместе с тюркскими аристократами воины, по его мнению, были связаны с ними традиционной системой фиктивного родства и могут рассматриваться как своего рода личные слуги, телохранители, типа согдийских *chakar* и монгольских *nökör* [Osawa T., 2006a, p. 226, 227–228].

Характерно, что, как обратил внимание О. Латтимор, уже Э. Гиббон отметил у кочевников такое явление как усыновление (adopting) пленников, отличившихся личными качествами, то есть включение их в социум не на основе принципа кровного родства [Lattimore O., 1961, p. 329; Гиббон Э., 2008, с. 166–167]. Сам О. Латтимор впоследствии развил эту идею, описывая на примере монголов институт *нукерства*; он отмечал, что для характеристики этого явления категории *рабство* и *крепостничество* не подходят [Lattimore O., 1962, p. 506–507].

В этом плане интересны взгляды Дж.К. Скэффа, который считает, что система «патрон–клиент» издревле характерна для азиатских политий: как для конфуцианского Китая [Skaff J.K., 2012, p. 103], так и для тюрко-монгольских кочевнических объединений, ведь гибкая социально-политическая организация последних существовала во многом благодаря личным качества предводителя, а тот, в свою очередь, искал внутреннюю социальную опору, которую мог бы противопоставить племенным вождям. Такой опорой были дружинники хана (у тюрков *fuli-böri*) – не какой-то особый институт, а люди, скорее из бедняков, нанявшиеся в его хозяйство и взамен содержавшиеся им, то есть связанные с ним личными узами. В основе этих отношений лежала система клиентелы [Skaff J.K., 2012, p. 77–79], переносившаяся в более широком диапазоне на положение по отношению к главенствующему племенному объединению даннических племен [Skaff J.K., 2012, p. 107–108].

Таким образом, исследователи постепенно пришли к мнению об ограниченном характере внутренней эксплуатации в кочевнической древнетюркской среде; наиболее важную роль играли коллективные формы зависимости, в основе которых лежали те же механизмы, что и в отношении с подвластными тюркам народами.

В советской же марксистской историографии невозможность бытования у кочевников развитых форм внутренней эксплуатации, в том числе рабства в классическом понимании, была окончательно доказана в 70-е гг. XX вв., благодаря, прежде всего, концептуальным работам этнографов А.М. Хазанова и А.И. Першица [Хазанов А.М., 1975, с. 141–148; 1976, с. 267–270]. Основной формой эксплуатации было данничество – форма исключительно внешней эксплуатации, подразумевающая коллективный характер зависимости, применимая к целым родам или племенам, в отличие от рабства, которое может рассматриваться и как форма индивидуальной зависимости. Кроме этого, данничество отличает сохранение за эксплуатируемым населением прав собственности на средства производства и собственного общественно-экономического уклада [Першиц А.И., 1971, с. 22–23; 1976, с. 291–293 сл.; Хазанов А.М., 1975, с. 158–160; 1976, с. 278–279]. Способы внешней эксплуатации у кочевников, в сущности, были одинаковы как по отношению к оседлым соседям [Першиц А.И., 1976, с. 291–302], так и при подчинении одними кочевническими группами других [Хазанов А.И., 1975, с. 160–164; 1976, с. 276–279]. В этом плане интересен подход Н.Э. Масанова, который выдвинул гипотезу о развитии у номадов патронимической организации из самой сущности кочевнического общества с характерной для него системой строгого иерархического ранжирования по принципу генеалогического старшинства [Масанов Н.Э., 1995, с. 145–150].

В целом, подводя итог изысканиям исследователей, основывавшихся на данных письменных источников, можно прийти к следующим выводам: (1) письменные источники не дают прямой информации о формах зависимости в тюркском обществе – ни фактический материал, ни контекст употребления социальной терминологии не оставляют места для однозначных заключений; (2) нет прямых данных о формах непосредственной эксплуатации в древнетюркском обществе в рамках кочевого хозяйства; (3) материалы письменных источников позволяют уверенно говорить о терминологическом неразличении внешних и внутренних форм зависимости у тюрков VI–VIII вв.; (4) имеющиеся материалы заставляют обратить большее внимание исследователей на следующие аспекты социальной жизни тюрков: (а) разделение труда непосредственно в кочевом хозяйстве по гендерному признаку и опосредованные этим фактором особенности социальной структуры; (б) терминологическое различение в памятниках древнетюркской рунической письменности форм зависимости для кочевнических и оседло-земледельческих обществ; (в) существование у номадов явления личной зависимости и его соотношение с институтом личной дружины; (г) изображаемое источниками единство моделей социальной структуры и социальной организации в восприятии собственно тюрков; (д) предположительное восприятие тюрками единства моделей взаимоотношений как между индивидами, так и между политическими единицами.

## *Основные аспекты анализа археологических материалов*

При решении вопроса о существовании зависимых слоев населения в обществе тюрков Центральной Азии исследователи крайне редко обращались к анализу археологических материалов. Данная ситуация была связана, главным образом, с отсутствием ярко выраженных объектов, демонстрирующих обозначенные группы социума номадов.

О широкой роли рабства в тюркском обществе писал С.В. Киселев [1949, с. 281]. Опыт рассмотрения известной информации письменных источников исследователь дополнил наблюдениями, сделанными на основе анализа археологических материалов Алтая второй половины I тыс. н.э. По мнению С.В. Киселева [1949, с. 299–302], с рабами или зависимыми людьми может быть связан ряд объектов, раскопанных им на могильниках Туекта и Курай-IV. Суммируя выводы С.В. Киселева [1949, с. 299–302], отметим, что согласно представленному им описанию представляется возможным выделить две группы рассматриваемых объектов: 1) небольшие каменные насыпи или кольца, расположенные отдельно или вокруг большого кургана, а также под его насыпью; в большинстве случаев погребения «одиочные», но в некоторых находилась лошадь; для всех объектов характерен фрагментарный сопроводительный инвентарь; 2) сопроводительные захоронения людей, находившиеся в основной могильной яме «элитного» кургана. Необходимо подчеркнуть, что полноценное рассмотрение обозначенных материалов и оценка представленных выводов серьезным образом затруднены тем, что результаты работ С.В. Киселева остались опубликованными лишь частично. Поэтому нередко остаются вопросы, связанные с культурно-хронологической принадлежностью отдельных специфичных захоронений, связываемых исследователем с зависимыми слоями общества тюрков<sup>155</sup>.

Ситуацию, схожую с зафиксированной С.В. Киселевым в «элитном» кургане №1 могильника Курай-IV, отметил в ходе раскопок на некрополе Боротал-I В.Д. Кубарев [1985, с. 138–140, рис. 4]. В одном из курганов археолог исследовал кенотаф с «сопроводительным» захоронением человека, рядом с которым отсутствовал какой-либо инвентарь (*рис. 13*). По мнению В.Д. Кубарева [1985, с. 146–147], данное погребение иллюстрирует распространение у тюрков обычая помещать со знатными умершими рабов или зависимых людей.

Таким образом, вопрос о распространении рабства или существовании зависимых слоев населения в обществе тюрков Центральной Азии решался, главным образом, на основе сведений письменных источников, с фрагментарным привлечением археологических материалов. Следует отметить, что данный подход не связан с пренебрежением специалистов к материалам раскопок,

---

<sup>155</sup> Не случайно А.А. Гаврилова [1965, с. 88] предположила, что в ряде случаев вариативность погребального обряда рассматриваемых захоронений объясняется не прижизненным положением покойных, а именно различной хронологической и культурной принадлежностью объектов.

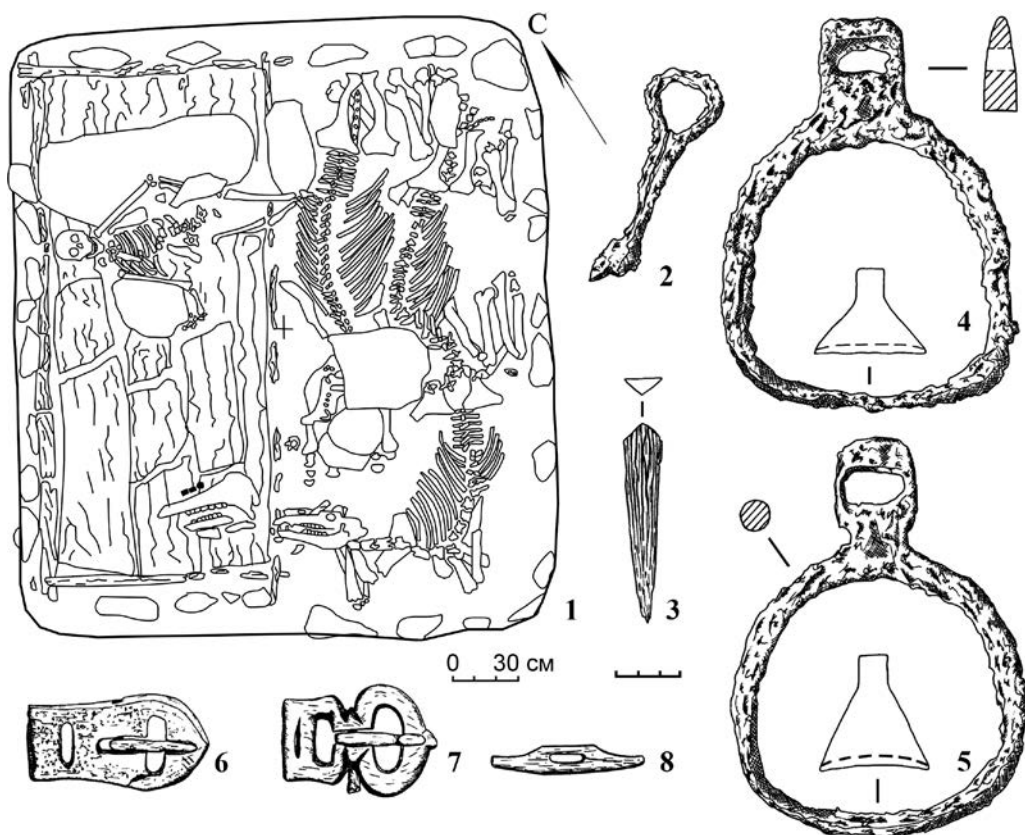


Рис. 13. Боротал-I, курган №50. 1 – план погребения; 2–8 – предметный комплекс (по: [Кубарев Г.В., 2005, табл. 107–108])

а скорее объясняется сложностью интерпретации результатов исследования погребальных и поминальных комплексов Центральной Азии второй половины I тыс. н.э., не демонстрирующих показательных черт для решения рассматриваемого вопроса. Вместе с тем представляется, что возможности анализа в этом направлении далеко не исчерпаны.

Одной из сложностей, возникающих при решении вопроса о существовании рабства у кочевников по археологическим материалам, является определение критериев для выделения погребений зависимых слоев населения. В ряде работ отечественных археологов представлен актуальный опыт интерпретации материалов раскопок с этой точки зрения.

В статье В.А. Ильинской [1966, с. 166–167] рассмотрена серия скифских курганов, в которых, по мнению исследовательницы, были обнаружены захоронения рабов. Зависимый статус умерших определялся следующими показателями: нехарактерная для основного погребения скорченность костяка, расположение его за пределами внутримогильной конструкции, отсутствие ин-



вентаря, обнаружение рядом основного, нередко «богатого» захоронения. Схожие признаки отмечены в обобщающей работе А.М. Хазанова [1975, с. 134–135], посвященной изучению социальной истории скифов. Исследователь подчеркнул немногочисленность погребений, предположительно связываемых с рабами, а также то, что в ряде случаев тело зависимого человека могло быть брошено в основную могилу более богатого представителя социума.

Идентичная ситуация, связанная с отражением зависимого статуса погребенных в материалах раскопок, продемонстрирована в монографии А.Д. Грача [1980, с. 48]. Исследуя памятники скифского времени Тувы, археолог отнес к захоронениям «людей низших социальных групп» или «домашних рабов» сопроводительные по отношению к основным могилам погребения взрослых людей без какого-либо инвентаря, обратив внимание также на существование традиции человеческих жертвоприношений.

Интересные наблюдения сделаны исследователями в ходе раскопок отдельных некрополей раннего средневековья на территории Восточного Казахстана [Алехин, Илюшин, 1998, с. 207–219]. По наблюдениям археологов, под насыпью ряда курганов помимо центрального (основного) погребения находились одна–две могилы зависимых людей, вероятно, рабов. Эти захоронения, значительно менее глубокие, не содержали сопроводительного инвентаря, а на костяках умерших людей были зафиксированы следы насильственной смерти [Алехин Ю.П., Илюшин А.М., 1998, с. 210–211].

Приведенный спектр наблюдений археологов ни в коей мере не является исчерпывающим, однако близость показателей, отмечаемых исследователями на различных материалах, позволяет не продолжать перечисление схожих ситуаций. Очевидно, что использование выделенных критериев в «чистом» виде некорректно при интерпретации археологических комплексов других периодов и регионов. Вместе с тем аккуратное проведение аналогий является целесообразным, учитывая универсальный характер развития обществ кочевников в широких хронологических и территориальных рамках.

Материалы раскопок погребальных памятников тюрков Центральной Азии предоставляют весьма ограниченный объем информации по рассматриваемому вопросу. По сути, все показательные ситуации исчерпываются представленными выше материалами погребений, исследованных С.В. Киселевым и В.Д. Кубаревым на могильниках Курай-IV и Боротал-I. Наиболее существенными для интерпретации этих объектов являются следующие характеристики:

- 1) нетипичная ориентировка захоронения; расположение костяка поперек могильной ямы, без отдельной погребальной камеры или за пределами основной конструкции;
- 2) отсутствие инвентаря;
- 3) отсутствие сопроводительного захоронения лошади, являющегося важным показателем «стандартных» погребений тюрков;

4) «сопроводительный» характер захоронения, находившегося в могиле с погребением представителя элитных слоев тюркского общества или с кенотафом.

Как видим, представленные показатели практически полностью идентичны ситуациям, зафиксированным археологами в ходе раскопок разновременных памятников кочевников на обширных территориях. Сама по себе схожесть объектов не является доказательством правильности приведенных интерпретаций, однако демонстрирует возможность проведения параллелей в указанном направлении.

Помимо отмеченных объектов, дополнительного рассмотрения либо конкретизации в ходе дальнейших раскопок требует целый ряд комплексов тюрков. Так, неоднозначной представляется интерпретация «сопроводительных» захоронений по обряду кремации, зафиксированных на некрополях Маркелов Мыс-I, II в Минусинской котловине и находившихся за пределами ограды основного «элитного» погребения [Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 402–403]. Такие объекты, не отмеченные на сопредельных территориях, представляют одну из отличительных особенностей «минусинского» локального варианта тюркской археологической культуры [Серегин Н.Н., 2014б]. По наблюдениям авторов раскопок, подобные «сопроводительные» захоронения почти во всех случаях являются безынвентарными [Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 402], что также является важным показателем низкого статуса погребенных людей.

К представителям низших слоев социума тюрков Центральной Азии могут относиться некоторые впускные захоронения. К настоящему времени известно 25 таких объектов, сооруженных в насыпях курганов более раннего времени [Серегин Н.Н., 2016а]. Одним из объяснений распространения традиции сооружения таких «нетипичных» погребений в культуре тюрков является то, что впускные захоронения сооружались для представителей общества, отличавшихся низким социальным статусом. Об этом свидетельствует не столько снижение объема трудозатрат за счет использования уже существующей наземной конструкции, сколько «скудный» набор сопроводительного инвентаря, а также отсутствие сопроводительного захоронения лошади [Гаврилова А.А., 1965, с. 68–69; Төрбат Ц., Амартүвшин Ч., Эрдэнэбат У., 2003, 107–108, 271 дугаар тал.; Кубарев Г.В., 2005, с. 368–369; и др.]. Следует признать, что известны и вполне «стандартные» в этом отношении объекты [Грязнов М.П., 1940, с. 20; Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, с. 129–130; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003], однако общая тенденция очевидна.

Косвенным фактором, подтверждающим существование у тюрков Центральной Азии зависимых слоев населения, является далеко зашедшая дифференциация общества и сложная структура социума кочевников. Следует подчеркнуть, что какие-либо четкие признаки зависимого положения погребенных при жизни в рассматриваемых археологических материалах в большинстве случаев не фиксируются. Вместе с тем низкий статус умерших мог проявляться, к при-

меру, в невозможности владения оружием, что являлось, судя по имеющимся сведениям, одним из главных показателей взрослого мужчины в обществе номадов второй половины I тыс. н.э.

Нельзя исключать, что в археологических материалах захоронения представителей зависимых слоев населения тюрков могли не найти отражения. Вполне возможно, что для погребения умерших с низким социальным статусом не сооружался стандартный археологический комплекс, к примеру, не возводилась курганная насыпь. В таком случае имеющаяся в распоряжении исследователей выборка носит в той или иной степени селективный характер. Возможность существования подобных традиций у различных обществ и культур неоднократно подчеркивалась археологами [Хазанов А.М., 1975, с. 135; Берсенева Н.А., 2011, с. 42–46]. Результаты раскопок данное предположение пока не подтверждается, однако косвенными факторами в его пользу может являться немногочисленность тюркских погребений Центральной Азии по сравнению с памятниками других периодов на рассматриваемой территории, а также специфика отдельных детских захоронений [Серегин Н.Н., 2013а, с. 67–71].

Констатируя факт немногочисленности археологических объектов, демонстрирующих особенности положения низших слоев общества (в том числе зависимого населения) у тюрков Центральной Азии, важно подчеркнуть, что для погребальной обрядности кочевников раннего средневековья в целом характерна меньшая выраженность социальной дифференциации по сравнению с традициями предшествующих периодов. Так, выдающиеся параметры каменной насыпи и внутримогильных конструкций, являющиеся одним из ключевых показателей «царских» курганов раннего железного века, в целом не характерны для захоронений представителей элиты тюрков [Серегин Н.Н., 2013б, с. 79–80]. Эту тенденцию необходимо учитывать и при интерпретации погребений зависимых слоев населения.

Итак, развитая социальная дифференциация общества, имеющиеся сведения письменных источников, а также отдельные показатели погребальных комплексов позволяют предположить существование в обществе тюрков определенной, весьма немногочисленной группы населения, положение которой характеризовалось некоторой степенью зависимости. Следует подчеркнуть, что эта зависимость, принимая во внимание сложную этносоциальную ситуацию на территории Центральной Азии во второй половине I тыс. н.э., могла иметь различную окраску – к примеру, военно-политическую (подчиненное положение захваченных в ходе военных походов групп людей, пониженный статус этнических или племенных групп, включенных в состав кочевых империй номадов и др.), экономическую или бытовую (обнищание отдельных слоев населения).

## **СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА У ТЮРКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПИСЬМЕННЫХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ**

Дискуссионным вопросом, связанным с изучением профессиональной дифференциации социума кочевников, является выделение особой группы лиц, занимавшихся отправлением культовых действий. При рассмотрении данной проблемы исследователями используются различные термины – «жрецы», «колдуны», «шаманы», «священнослужители» и др. На наш взгляд, учитывая фрагментарность источниковой базы и сложность точной интерпретации имеющихся зачастую отрывочных материалов, наиболее нейтральным и корректным определением для второй половины I тыс. н.э. является понятие «служители культа», используемое далее.

Следует отметить, что религиозные воззрения тюрков Центральной Азии уже неоднократно становились объектом исследований. Основные результаты работ в этом направлении суммированы в статье С.Г. Кляшторного, представившего опыт реконструкции системы верований кочевников на основе сведений из памятников древнетюркской письменности [Кляшторный С.Г., 2003, с. 319–338; 2006, с. 241–265]. Вместе с тем очевидно, что вопрос о существовании у кочевников Центральной Азии второй половины I тыс. н.э. служителей культа не может считаться решенным, как и непосредственно связанная с ним проблема определения роли и функций кагана в религиозной жизни тюрков<sup>156</sup>. Возможности дальнейших исследований в обозначенном направлении определяются широкой источниковой базой, анализ которой позволяет представить ряд новых наблюдений, а также в отдельных случаях дополнить и конкретизировать сделанные ранее выводы.

### ***Краткий обзор историографии***

С самого начала изучения древнетюркских рунических текстов при привлечении также этнографического материала ученые ограничивались констатацией у тюрков шаманизма [Мелиоранский П.М., 1898, с. 265–266; Бернштам А.Н., 1946б, с. 105], хотя еще В.В. Бартольд, – очевидно, вслед за П.М. Мелиоранским

---

<sup>156</sup> В настоящем очерке мы остановимся только на первой части обозначенной обширной темы, предполагая представить результаты изучения проблемы существования религиозной элиты у тюрков в специальной работе.

[1898, с. 266], – при этом сравнивая тюркское общество с эллинами гомеровской эпохи и находя их на «той же стадии развития», когда касался роли жрецов у гомеровских греков, настороженно отметил, что древнетюркские надписи ничего не говорят о шаманах [Бартольд В.В., 1968а, с. 27; 1968д, с. 430; 1968к, с. 472]. Д.Д. Васильев в свое время высказал мнение, что отсутствие упоминаний о служителях культа типа шаманов в древнетюркских рунических надписях связано с самим фактом незначительности их роли в социальной жизни тюрков, ограничением их авторитета прикладными функциями и преимущественно бытовой сферой, в то время как основные сакральные функции были сосредоточены в руках политических предводителей [Васильев Д.Д., 1982]<sup>157</sup>.

Специально исследовавший «религию тюрко-монгольских народов» Ж.-П. Ру предполагал у тюрков существование института шаманов [Roux J.-P., 1962, № 1, p. 8–12, 16, 21–22; 1987, p. 154–155]. Для ряда исследователей это очевидный факт [Bazin L., 1974, p. 105; Sinor D., 1990, p. 314; Golden P.B., 1992, p. 149]. Как верно отметил Й. Чорухлу, само наличие шаманов или камов ввиду существования культа предков сомнения вызывать не должно [Çoruhlu Y., 2001, s. 99].

Уже Йозеф Деер, развивая теорию В.В. Радлова о становлении власти в кочевнических обществах, отметил, что одним из механизмов поддержания целостности политических объединений под властью одного рода было стремление вождей возглавить религиозные культы и создание идеологии, согласно которой предводитель считался ставленником Свыше, чтобы заботиться о народе [Deér J., 1938, 13–14, 19–20. о.; 1954, s. 163–164, 167]. Во избежание возможности утраты власти создавалась концепция Божественной благодати правителю и его династии, харизмы (по М. Веберу), сопровождавшаяся сложением генеалогических мифов и легенд [Deér J., 1938, 22–28. о.; 1954, s. 168–172]. Ференц Ласло, также развивавший идеи В.В. Радлова, особо отметил важность личного влияния кочевого предводителя, харизмы (по М. Веберу), наследовавшейся всем его родом [László F., 1967, 9–12. о.].

А.З. Велиди (Тоган) считал, что тюркские каганы совмещали с управленческими жреческие функции [Zeki Validi Togan, 1939, s. 276–279]. Но поскольку в сознании масс формировался идеальный образ кагана, любой из представителей династии, достигший власти, даже будучи прежде рядовым членом общества, должен, как показывал, по мнению исследователя, хазарский материал, более не иметь контактов ни с простым народом, ни с представителями отдельных племен, чтобы его приговоры не вызывали сомнений в пристраст-

---

<sup>157</sup> По сообщению Д.Д. Васильева, его доклад, прочитанный на одной из конференций «Бартольдовские чтения», был скептически встречен аудиторией, поскольку, согласно принятой в традиционной советской историографии энгельсовской схеме, для раннегосударственных образований, к коим относили и Тюркский каганат, предполагалось существование определенной социальной группы с соответствующими функциями. По этой причине Д.Д. Васильев ограничился отражением своей позиции в виде тезисов доклада, приняв решение не публиковать статью.

ности [Zeki Validi Togan, 1939, s. 279–282]. Это качество воспевается в эпосах наравне с успешной военной и политической деятельностью [Zeki Validi Togan, 1939, S. 282–285].

А. фон Габэн высказала очень интересное наблюдение, заключавшееся в том, что в орхонских памятниках народ порицается за самовольные поступки, ибо попадает в несчастья, поскольку все они должны получить благословение духа-хранителя империи (Schutzgeist des Reichs), носителем которого был каган, чья власть недвусмысленно именуется божественной (Gottesgnadentum). Именно ему дана высокая честь (hohe Würde) и судьба (Schicksal) вести народ к благу, поэтому народ (Türk-Stammes) не должен противиться его воле, но служить (Heeresdienst) и платить подати (Tribut). По мнению ученого, «такое мировоззрение... <...> необходимо для тех, кто хочет контролировать огромное пространство степи» [Gabain A. von, 1949, S. 39].

Р. Жиро, исходя из того, что вера в *Tängri* имела общетюркский масштаб, то есть распространялась на все слои населения, и Он был своеобразным «национальным» богом [Giraud R., 1960, p. 102–103], интерпретировал сочетание *qut ülüg* ‘la fortune et le destin’ или ‘le bonheur et la chance’, то есть именно как благодать и удачу для кагана вести свой народ [Giraud R., 1960, p. 105]. Вслед за Р. Жиро эту концепцию религии принял Л. Базен [Базен Л., 1986б, с. 355; Bazin L., 1994, p. 321].

В специальном исследовании Ж.-П. Ру обратил внимание на то, что верования (или религия) тюрко-монгольских кочевников имеют две формы, первая – имперская, национальная, государственная (impériale, nationale, étatiste), и вторая – народная и семейная (populaire et familiale). Первая возникает, когда создаются крупные племенные союзы, и тогда возрастает значение культа *Tängri* [Roux J.-P., 1962, № 1, p. 7]. Возглавлявший объединение каган выполнял роль Небесного посланца и первосвященника, путем создания идеологии универсального Бога, укрепляя свою власть [Roux J.-P., 1962, № 1, p. 20]. Этот уровень тюрко-монгольской религии был назван ученым «Тэнгризм» (Tängrisme). Данная форма существовала и исчезала вместе с крупными степными империями [Roux J.-P., 1965, № 2, p. 206–207]. Что касается второй формы, то, как писал Ж.-П. Ру, каган получал от Неба *kut* “bonheur, fortune, grâce”, – именно “bonheur naturel” в отличие от *ülüg* “chance”, – становясь сыном Неба, по китайскому образцу, Его посланником, но эта благодать не распространяется на всю его семью: каган должен был проявлять мудрые и храбрые качества, чтобы продемонстрировать свою Небесную поддержку и не утратить престиж [Roux J.-P., 1956, № 1, p. 28–29, 31]. Писавший примерно в это же время Г. Дёрфер выделял три «напластования» (Schichten zerteilen) в религии тюрко-монгольских народов, – die totemistische, die schamanistische и tängriistische, – последнее объяснял китайским влиянием [Doerfer G., 1965, S. 580].

Итальянский тюрколог А. Бомбачи обратил внимание на термин *qut*. Рассмотрев все случаи употребления этого термина в древних и средневековых

тюркоязычных памятниках, он пришел к выводу, что в орхонских текстах термин *qut* обозначает небесный мандат, даруемый Свыше кагану (“heavenly charisma of the Royal Fortune”) [Bombaci A., 1965, p. 288–290], но не только Небом, но также родной землей, будь то священная роща Өтүкән или некий *İduq baş* [Bombaci A., 1966, p. 17–19]. Развивая мысль, высказанную еще в 1949 г. А. фон Габэн о декларировании памятниками особой роли кагана как ведущего народ к благу, А. Бомбачи указал, что в *qut* заключена концепция королевской удачи (royal fortune) [Gabain A. von, 1949, S. 39; Bombaci A., 1966, p. 37]. Таким образом, орхонские памятники содержат манифестацию правителем национальной солидарности, исходящей из его харизмы, отражающейся в том, что он постоянно напоминает о своей заботе о народе [Bombaci A., 1966, p. 37].

Японский исследователь Мори Масао считал возможным видеть в китайских летописях указание на шаманский ритуал у тюрков, и это дало ему основания предположить, что первый тюркский правитель был шаманом. Кроме того, рассматривая переданную китайскими летописями древнетюркскую генеалогическую легенду, М. Мори указал на то, что правитель тюрков был кузнецом, что важно в контексте связи в шаманизме образов кузнеца и правителя. Поэтому М. Мори считал, что «государственная власть хана в тюркском государстве основывалась на волшебном-колдовском влиянии, которым пользовались шаманы-кузнецы» [Мори М., 1970, с. 1].

М. Мори показал, что тюркский каган преподносился как посредник между Небом (*Tängri*) и тюркским народом. Но он развил высказанное замечание Р. Жиро о том, что от верховного предводителя требуются сильные личные качества, чтобы вести народ к успехам и победами (*bilgä* ‘wise’ и *alp* ‘brave’), указав от себя, что они требуются не только от кагана, но и от всего народа [Mori M., 1981, p. 47–50, 48, note 4]. При этом и поклонение Небу (Heaven-the Deity) носило общетюркский, «национальный», характер: Небо наделяет мудростью и храбростью весь тюркский народ, дает ему независимость и ставит над ним *кагана* и *катун*, делает слабыми врагов, подчиняет им страны [Mori M., 1981, p. 52–58]. Иначе говоря, вопреки А. Бомбачи (см.: [Mori M., 1981, p. 58–68]), весь тюркский народ наделяется божественной удачей (*ülüg*) и через верховного кагана благосклонностью Неба – *небесной харизмой (qut)*. Однако власть кагана опиралась и на неписанные традиционные нормы *törü* (по сэру Дж. Клосону) [Mori M., 1981, p. 69, 71–74, 74–75].

Развивая точку зрения Ж.-П. Ру, С.Г. Кляшторный указал, что обожествление каганов, всего правящего рода, непосредственно связано с мифом о божественном происхождении тюркского политического объединения, во время сложения которого они и появились [Кляшторный С.Г., 2003, с. 337–338; 2006, с. 258]. С мнением Ж.-П. Ру также согласился Л.П. Потапов, указавший, что происходила абсолютизация не только культа Тэнгри, но и богини Умай [Потапов Л.П., 1973, с. 285–286; Potapov L.P., 1996, s. 233]. При этом эти процессы

основывались, – что специально отмечал ученый и в чем не соглашался с Ж.-П. Ру, – на народных представлениях тюрков, являясь продуктом деятельности социальной верхушки [Потапов Л.П., 1991, с. 271–272]. Расходился Л.П. Потапов с французским специалистом лишь в подходах к исследованиям «нижней» формы «религии тюрко-монгольских народов», считая, что она была характерна для всех слоев тюркского общества [Потапов Л.П., 1978, с. 4–5].

Л.П. Потапов, обращая внимание на тот факт, что тюркские каганы имели полномочия обращаться с молитвой к Небесным силам, отметил, что некоторые из них, хотя и не все, могли быть шаманами [Потапов Л.П., 1978, с. 15–17; 1991, с. 273–274].

П.Б. Голден писал о харизме каганского рода (по Ф. Ласло) и распространяющейся на него благодати (*qut* ‘heaven-granted charisma’) [Golden P.B., 1982, p. 45–46]<sup>158</sup>. В то же время исследователь отмечал наличие у кагана сакральных функций шамана [Голден П.Б., 1993, с. 227]. В этом плане также следует указать на попытку ученого видеть у тюрков институт персон из правящего клана с сакральными функциями в *\*eb qagan* ‘домашний каган’ < *и-кэ-хань* 遺可汗 [Golden P.B., 1980, p. 200–202; 1982, p. 46, 56; 1992, p. 147; Голден П.Б., 1993, с. 225]. Однако, как указал М. Добрович, П.Б. Голден смешивает здесь институт сакрального правителя и соправительство [Dobrovits M., 2010a, 137–138. o.].

В этом же ключе лежат рассуждения В.В. Трепавлова, который предположил, что в отличие от верховного кагана, бывшего политическим лидером, носителем сакральных функций мог быть малый каган, отождествленный им с *эв-каганом* [Трепавлов V.V., 1996, p. 115–116]. Однако само такое отождествление не находит отражения в источниковом материале, к тому же Ю.А. Зуев привел убедительные аргументы в пользу того, что *эв-каган* (< кит. *и-кэ-хань* 遺可汗) «на заре тюркской истории» был лишь титулом предводителя удела [Зуев Ю.А., 1998а, с. 160]. (Ср. однако: [Зуев Ю.А., 2002, с. 167–168, 290]). С другой стороны, как отметил М.Р. Дромпп, в источниках о нем не сообщается ничего конкретного, кроме того, что он носит подчиненное значение по отношению к кагану [Drompp M., 1991, p. 94].

Недавно к изучению данных о служителях культа у тюрков комплексно подошел П.К. Дашковский. Исходя из данных китайских источников об участии кагана в приношении жертв Небу и предкам, он считает возможным сделать вывод о существовании жертвоприношений «общегосударственного характера», в которых принимали участие «каган и его окружение». При этом каган выступал не только в роли первосвященника или наделялся почестями при инаугурации, он также советовался с духами предков при принятии важных государственных решений [Дашковский П.К., 2009, с. 65–66; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 302–303].

---

<sup>158</sup> В его книге [Golden P.B., 1992, p. 147] дана ссылка на А. Бомбачи, но *qut* трактуется, как и прежде.



П.К. Дашковский проанализировал данные китайских и византийских источников, привлекая «Шāхнāmэ», а также данные более поздних арабских свидетельств, отмечая, кроме того, богатую тюркскую лексику с обозначением «довольно широкого спектра во многом синонимичных понятий, которые могут характеризовать таких лиц, как заклинатель, волшебник, маг, шаман, чародей, предсказатель, пророк и т.п.» (*jat, yrq, arva, jelvi, qam*). Также исследователь обратил внимание и на существование сложных мемориальных комплексов тюркской элиты, где, по его мнению, должны были совершаться определенные действия уже после смерти правителей [Дашковский П.К., 2009, с. 66–67, 69; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 303–304, 306]. В итоге П.К. Дашковский пришел к выводу о «существовании у тюрков в эпоху средневековья группы лиц, которая обслуживала многообразную систему религиозных действий» [Дашковский П.К., 2009, с. 70; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 307].

Таким образом, в целом выводы исследователей сводятся к следующим моментам: (1) тюркский каган явно обладал сакральными функциями, выступая в роли первосвященника в ритуалах общетюркского характера; (2) у тюрков непременно существовали служители культов, связанные с традиционными верованиями (камы или шаманы) и бытовой сферой жизни общества.

Целенаправленное изучение имеющихся разноплановых сведений позволяет детализировать представленные выше наблюдения о служителях культа у тюрков, выделив несколько групп таких людей исходя из выполняемых ими функций.

### *Данные письменных источников*

#### *Шаманы или камы*

В китайских источниках представлены наиболее ранние сведения о служителях культа в Тюркском каганате. Здесь и далее эти данные могут быть взяты за основу для работы с другими материалами. Так, в летописи «Суй шу» 隋書 (636 г.) встречается формулировка *синь у-си* 信巫覡 (Суй шу, цз. 84, с. 3а), что Н.Я. Бичурин переводил как ‘веруют в волхвов’ и писал в примечании: «Здесь кит. буква *ву* означает и волхвов и шаманов, а тунгусское слово *самань* соединяет в себе значение шамана, жреца, ученого и лекаря» [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 231, прим. 561а]. К. Видлу не обратил внимания на это место («Ils avoient du respéct pour les Dieux & la Religion.») [Visdelou C., 1779, p. 127]. С. Жюльен переводил ‘*croient aux magiciens*’ и никак не комментировал данный момент [Julien S., 1864, vol. III, p. 353]. В трактовке Л. Вигера здесь вовсе на основе привлечения данных Феофилакта Симокатты (см. ниже): «Ils avaient une caste de prêtres, qu’ils croyaient capables de prédire l’avenir» [Wiger L., 1929, p. 1257]. В. Эберхард просто приводит фразу «*achten Zauberer*» [Eberhard W., 1942b, s. 53]. У Лю Мао-цай в обоих случаях мы читаем “*Exorzistinnen (wu) und Exorzisten (hi)*” [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 42 (по «Суй шу» 隋書); Bd. II, S. 501–

502, Anm. 62 (по «Бэй ши» 北史)], «заклинательниц *wu* (у) и заклинателей *hi* (хи) злых духов» [Лю Маоцай, 2002, с. 23]. Е.И. Кычанов переводит ‘верят шаманам’ [Кычанов Е.И., 2010, с. 133]. В переводе Б. Еженханұлы на казахский язык ‘баксыға сенеді’ [Қазақстан тарихы, 2006, 67 б.]. В более ранней летописи «Чжоу шу» 周書 (629 г.) этого фрагмента нет. В «Бэй ши» 北史 (659 г.), однако, в соответствующем месте написано *синь у* 信巫. Фразу в «Суй шу» 隋書 Э.Х. Паркер перевел ‘believe in sorcerers of both sexes’, в «Бэй ши» 北史 – ‘believe in sorcerers’, в примечании указав, что иероглиф у 巫 в Китае и Японии не имеет значения разделения по половому признаку [Parker E.H., 1900a, p. 166, 170, note 109, p. 172, 173, note 129]. Вместе с тем еще в 1866 г. архимандрит Палладий (Кафаров) переводил слово у 巫 как «тот, кто имеет сношения с духами», добавляя, что «в древности, в Китае, так назывались девицы-шаманки, чествовавшие духов плясками...; впоследствии это имя осталось за шаманами», говоря также, что, например, «у монголов были *ву* обоих родов, мужчины и женщины» [Палладий, 1866, с. 134, 237, прим. 511]. В «Большом китайско-русском словаре» под редакцией И.М. Ошанина приводятся следующие значения иероглифа у 巫: (1) ‘танцовщица, шаманка (заклинательница духов, дождя); шаманка, колдунья; чародейка, ведьма’, (2) ‘шаман, колдун; черно-книжник; чародей, маг; заклинатель духов, некромант’, (3) ‘шаманство; шаманский’, (4) ‘знахарь; лекарь; врачеватель’ [Большой-китайско-русский словарь, 1983, т. 2, с. 89], но значение *си* 覡 ‘шаман, колдун, кудесник’ [Большой китайско-русский словарь, 1984, т. 4, с. 457]. Сочетание *wi-xi* 巫覡 толкуется как ‘шаманка и шаман, колдунья и колдун’ [Большой китайско-русский словарь, 1983, т. 2, с. 90], равно как *xi-wi* 覡巫 ‘колдун и колдунья, шаман и шаманка’ [Большой китайско-русский словарь, 1984, т. 4, с. 457]. Таким образом, иероглиф у 巫 подразумевает два семантических признака: женский пол и исполнение обрядов, связанных с традиционными верованиями. Следовательно, сочетания *синь у-си* 信巫覡 и *синь у* 信巫 нужно переводить, соответственно, как ‘верят [в] шаманок (колдуний) и шаманов (колдунов)’ и ‘верят [в] шаманок (колдуний)’. Составители «Бэй ши» 北史, использовавшие и текст «Суй шу» 隋書, вероятно, сочли возможным убрать иероглиф *си* 覡, означающий слово с более узким значением, но также содержащим семантический признак принадлежности к мужскому полу.

Ань Лу-шань 安祿山 был сыном представительницы рода А-ши-дэ 阿史德 [Pulleyblank E.G., 1952, p. 332], названной в источнике *у-ши* 巫師 «1) шаманка; заклинательница; 2) некромант; медиум» [Большой китайско-русский словарь, 1983, т. 2, с. 89]. Известно, что она молилась некоему «богу сражения» Я-лао-шань 軻犂山 [Pulleyblank E.G., 1982, p. 7, 8; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 267; Лю Маоцай, 2002, с. 97, 99], очевидно, связанному с согдийской традицией<sup>159</sup>.

<sup>159</sup> Второй и третий иероглифы этого сочетания, совпадающего также с некитайским личным именем самого Ань Лу-шаня 安祿山, как, собственно, второй и третий иероглифы

Так или иначе, мы имеем указание аутентичных источников на женщин-служительниц культов у тюрков. Это достаточно распространенное явление в шаманизме [İnan A., 1986, s. 74, 79, 90].

Среди данных византийских источников наиболее важным является свидетельство о том, что византийский посол Зимарх в ставке западно-тюркского кагана встретил людей, «о которых уверяли, будто они имели способность отгонять несчастья», они плясали у костра, «звонили в колокол и ударяли в тимпан» (*τυμπάν*), изгоняя из вещей византийского посольства «лукавых духов», им «приписывали силу отгонять их и освобождать людей от зла» (Men. Fr., 20) [Византийские историки, 1860, с. 375; Жданович О.П., 2014, с. 11, 14]. Хотя их сущность рассматривается учеными по-разному [Roux J.-P., 1962, № 1, p. 9; 1976, p. 77–78; Гумилев Л.Н., 1967, с. 84; Потапов Л.П., 1978, с. 12–13, 17; 1991, с. 121; Кызласов Л.Р., 1990, с. 261; Дашковский П.К., 2009, с. 67; Жданович О.П., 2014, с. 11, прим. 12], по-видимому, речь идет как раз о лицах, функциями напоминающих так называемых *черных шаманов*. Именно они, в отличие от *белых шаманов*, плясали с бубнами у костра, общаясь с душами, занимались лечением, принятием родов и т.д., то есть практиками, актуальными для повседневного быта [İnan A., 1986, s. 83].

Что касается собственно древнетюркских источников, исследователи обычно видят восходящее к *qāt* ‘Zauberer, Schaman, Götzer-Priester’ [Gabain A von, 1950, S. 326], ‘шаман (с различными оттенками исцеления): врачеватель, исцелитель; прорицатель, предсказатель; заклинатель, кудесник, чародей, маг, волшебник, колдун’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 413], ‘sorcerer, soothsayer, magician’ [Clauson G., 1972, p. 625], слово *qamla-* ‘колдовать, шаманить, камлать’ [Малов С.Е., 1951, с. 410], ‘камлать, совершать шаманские обряды’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 417; Сравнительно-историческая грамматика, 2006, с. 621], ‘to act as a *ka:m*, make magic’ [Clauson G., 1972, p. 628], в тексте фрагмента XII «Ырк битиг» («Гадательной книги») в форме *qamla-miř* с упоминанием Эркига [Кляшторный С.Г., 2003, с. 329; 2006, с. 250]: (*ä*): (*a*)*bqa b(a)rmīř*: *taɣda*: *q(a)ml(a)mīř*: *t(ä)ŋridä*: (*ä*)*rkl(i)g*: *tir*: *anča*: *biliŋl(ä)r*: *j(a)b(i)z: ol* (ЫБ, XII). Перевод, предложенный С.Г. Кляшторным, выглядит содержащим менее всего противоречий: “Рассказывают: муж-воин отправился на охоту. В горах он камлал, [говоря]: Эркиг – небесный (бог)! (букв.: Эркиг на небе!). Так знайте – это грешно!”<sup>160</sup>. Получается, что здесь, во-первых, осуждается камла-

в данной форме, по мнению В. Хеннинга, передают звучание (< \**luk-san*) согд. *roχšan* ‘светлый’ [Pulleyblank E.G., 1952, p. 333, note 1].

<sup>160</sup> Слово *jabiz* в данном контексте лучше было бы перевести как ‘скверно’ (Ср.: [Древнетюркский словарь, 1969, с. 222]). Ср. указание сэра Дж. Клосона: “basically ‘bad’ in every sense of that word, usually ‘morally bad’ or ‘unfavourable, insuspicious’, and the like” [Clauson G., 1972, p. 881]. Ср. также ряд первичных значений ‘плохой’, ‘дурной’, ‘скверный’, ‘поступающий дурно’, ‘гадкий’, ‘негодный’, ‘плохой (тяжелый)’ [Севортян Э.В., Левитская Л.С., 1989, с. 47].

ние Эрклигу, во-вторых, подразумевается, что заниматься этим мог любой человек, хотя, согласно бурятскому, алтайскому и якутскому этнографическому материалу, камлать Эрлику (то есть Эрклигу) и другим созданиям Подземного мира могли только черные шаманы [Потапов Л.П., 1991, с. 85, 259, 274].

Таким образом, подобный перевод, независимо от того, насколько он хорош с точки зрения норм грамматики, не может быть вписан в исторический контекст. Следовательно, в рассматриваемом фрагменте «Ырк битиг» сообразно было бы принять чтение, приводимое вслед за В. Томсенем [Бюллетень, 2004, с. 144] в ряде работ других специалистов, *q(a)m(i)lmiš* ‘düşmüş’ [Orkun H.N., 1994, s. 267–268; Erdal M., 1978, s. 92]; ср.: [Бюллетень, 2004, с. 184–185]), ‘(he) fell to the ground’ [Tekin T., 1993, p. 10, 11; Rachewiltz I., Rybatzky V., 2010, p. 46, 47], ‘yuvatlanmış’ [Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 365], ср.: *qamil-* ‘geschleudert werden’ [Gabain A von, 1950, S. 326], ‘валиться, падать’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 417], ‘to be struck down’, ‘to fall to the ground’ [Clauson G., 1972, p. 628]. Однако В.М. Яковлеву удалось достаточно убедительно обосновать наличие следов влияния в «Ырк битиг» китайского гадательного текста «И-цзин» 易經 («Книга перемен») [Бюллетень, 2004, с. 8–16, 24–40], ввиду чего чтение *q(a)ml(a)miš* с соответствующим переводом может выглядеть вполне оправданно (см.: [Бюллетень, 2004, с. 48, 125, 245]).

К этому следует добавить, что тюркское слово *qam*, по-видимому, обнаруживается в «Синь Тан шу» 新唐書, где приводится обозначение кыргызами своих служителей культа словом *гань* 甘 (< *kām*) [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 353; Eberhard W., 1942a, s. 69, 233; İnan A., 1986, s. 8; Яхонтов С.Е., 1970, с. 118; Bailey W.H., 1985, p. 56, 57]. Согласно персидскому автору середины XI в. Гардзӯи, люди, которых кыргызы именуют *фагинун* [فغينون] (?), могли после потери сознания делать предсказания [Бартольд В.В., 1973, с. 30 (перс. текст), 48 (рус. перевод); Martinez A.P., 1982, p. 128]<sup>161</sup>.

В древнеуйгурских манихейских документах упоминание слова *qam* связывается с лечением, а у Махмұда ал-Қашғарұ его значение толкуется через арабское *al-kāhin*, то есть фактически ‘предсказатель’ [Clauson G., 1972, p. 628].

Ввиду всего этого есть основания считать, что термин *qam* мог служить для обобщающего обозначения различных лиц, связанных с какими-либо культовыми практиками.

Любопытно, что само слово *šaman* встречается в древнетюркский период, похоже не ранее X в., будучи зафиксированным только в двух древнеуйгурских буддийских документах, в одном из которых оно используется для обозначения

---

<sup>161</sup> А. Инан предложил исправление приводимого Гардзӯи ркп. *šgynwn* [فغينون] на *qatynwn* [قمينون], читая как *kat-ouyn* [İnan A., 1986, s. 74]. Однако, слово в таком написании встречается два раза. Согласно А. Инану, во второй части сочетания следует видеть название шамана, известное у саха тюрков (якутов), *ойун*, но в памятниках древнетюркской эпохи ничего подобного не зафиксировано.

буддийского монаха, в другом (уйгурском переводе биографии Сюань Цзана 玄奘) – обозначает людей, выполняющих ритуал вызова дождя (см. ниже), для обозначения которых китайцы использовали иероглиф у 巫 [Zieme P., 2008].

В манихейских текстах встречено также слово *tāḡriči* в самом общем значении ‘служитель Бога’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 544; Clauson G., 1972, p. 211, 524].

### *Предсказания и гадания*

Танские истории содержат также данные о неких «колдунях (?)», обозначенных у-ши 巫師 в «Цзю Тан шу» 旧唐書, у 巫 в «Синь Тан шу» 新唐書, совершавших предсказания при уйгурском кагане [Mackerras C., 1968, p. 47, 48, 49].

Один из эпизодов «Синь Тан шу» 新唐書 повествует о том, что при восточно-тюркском кагане Чу-ло 處羅 предпринималось гадание (бу 卜) [Бичурин Н.Я., 1950, т. I, с. 246–247; Julien S., 1864, vol. IV, p. 205; Parker E.H., 1901b, p. 235; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 183; Қазақстан тарихы, 2006, 152 б.].

Византийский автор первой половины VII в. Феофилакт Симокатта писал, что тюрки «своими жрецами ставят тех, которые, по их мнению, могут дать им предсказание о будущем» (Theoph. Sym., VII. VIII. 15) [Феофилакт Симокатта, 1957, с. 161].

Отмеченные изыскания В.М. Яковлева по поводу «Ырк битиг» отчасти позволяют объяснить природу самого источника. Так, данные о гадании по «И-цзин» 易經 имеются касательно *сюн-ну* 匈奴 (начало I в. до н.э.) [Материалы, 1973, с. 120, 164, комм. 12]. Любопытно, что Ибн ал-Факїх (начало X в.) со слов Абў’л ‘Аббаса ал-Марвазї упоминает о распространении практики гаданий по книгам у тюрков [Материалы, 1939, с. 153; Арабские источники, 1993, с. 50].

В уйгурском переводе биографии Сюань Цзана 玄奘, относящемся к X в., встречается слово *körümci* ‘провидец’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 319], ‘Seher, Deuter, Wahrsager’ [Gabain A. von, 1950, S. 316], ‘kâhin, falcı, münecsim, yıldıza bakan’ [Caferoğlu A., 1968, s. 117], ‘soothsayer’ [Clauson G., 1972, p. 745] < *körüm* ‘взгляд, представление’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 319], ‘Ansicht, Auffassung, Sicht, Blick, Los, Traum’ [Gabain A. von, 1950, S. 316], ‘a single, act of seeing’, или, как указал сэр Дж. Клосон, “in the early period apparently ‘examining the omens’, or simply ‘omen’” [Clauson G., 1972, p. 745]. С.Е. Малов, зафиксировавший это слово в сары-югурском языке, перевел его как ‘ворожея (женское божество)’. В одном стихе с ним встречается слово *ajıgчы*, по С.Е. Малову ‘провидец (божество – старик)’, причем оба лица, обозначенные этими словами, представлены как выполняющие гадание [Малов С.Е., 1967, с. 24]. Восходит последний термин, по-видимому, к *ajıy* ‘слово, указание, предписание’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 29], ‘word, speech, command’ [Clauson G., 1972, p. 270].

Если свойства давать предсказания могут быть увязаны с традиционными практиками для древнетюркского общества, то гадания отражают, по-видимому, китайское влияние.

### Влияние на погоду

В свое время С.Е. Малов обратил внимание на два фрагмента «Ырк битиг», где речь идет о погодных явлениях (ЫБ, LI–LIII), связав это, однако, с вызыванием дождя при помощи камня *йда таи* – «дождевого камня» [Малов С.Е., 1947, с. 152].

В этом плане внимание ученых привлекает, прежде всего, сообщение анонимной сирийской хроники, составленной между 670–680 гг. Там говорится о событиях, относящихся примерно к 644 г., когда мервский патриарх Элиас обратился к несторианскому местному тюркскому правителю, в сопровождении которого были некие служители, умевшие вызывать плохую погоду [Guidi I., 1903, p. 28–29; Die von Guidi herausgegebene syrische Chronik, 1893, s. 39–40; Brockelmann C., 1925, S. 111; Пигулевская Н.В., 1939, с. 55; Малов С.Е., 1947, с. 152; Molnár Á., 1994, p. 2–3, note 7]. Однако сам процесс в источнике не описан.

В одном древнеуйгурском буддийском тексте (VIII–X вв.?) встречается термин *jadčī* ‘волшебник, заклинатель’ [Gabain A. von, 1950, s. 350; Древнетюркский словарь, 1969, с. 222; Clauson G., 1972, p. 886, 763; Caferoğlu A., 1968, s. 279], у Махмуда ал-Кāшгарī известный в форме *jātčī* в более узком значении ‘заклинатель, вызывающий дождь’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 247, 248; Clauson G., 1972, p. 886, 890; İnan A., 1986, s. 163, dipnot 171; Molnár Á., 1994, p. 35], чьи функции связаны с соответствующим ритуалом *jat/ jāt* [Clauson G., 1972, p. 883; Древнетюркский словарь, 1969, с. 247; İnan A., 1986, s. 162]. Хотя само происхождение слова дискуссионно, по-видимому, оно является иранским заимствованием, относящимся к довольно позднему периоду (См.: [Doerfer G., 1963, S. 286–289; Clauson G., 1972, p. 883; Molnár Á., 1994, p. 104–116; Stachowski M., 1995; Utz D.A., 1996, p. 12])<sup>162</sup>. В любом случае так называемые *jad(a)чи*, специализировавшиеся на управлении погодой, однозначно отличались по своим функциям от традиционных шаманов, общающихся с духами [Molnár Á., 1994, p. 144].

Целый ряд арабских и персидских авторов X–XII вв. приводят различные сведения о «камне дождя» у тюркских племен, при помощи которого можно было вызывать дождь, снег и холод. Наиболее раннее упоминание встречается у путешественника конца VIII – начала IX вв. Тамūма ибн Баҳра, говорящего о существовании этого камня лишь у кагана *тугузгузов* (в данном случае – уйгуров) [Molnár Á., 1994, p. 5–8, 9, 10–26]. Надписи на недавно открытых образцах монет сырдарьинских огузов позволяют уточнить датировку событий, связанных с их откочевкой, воспоминания о которой в контексте рассказа о камне дождя сохранились у Ибн ал-Фақūха и Наджиба Хамадāнī, и отнести образо-

<sup>162</sup> В памятнике Бегре (Е 11, стк. 8), вопреки желанию Л.П. Потапова, следовавшего за переводом В.В. Радлова, поддержанного Х. Намыком (Оркуном) [Потапов Л.П., 1991, с. 17, 121, 131–132, 160], слова *jat* и *tūjūr* не обозначают соответственно ‘камень *йда*’ и ‘бубен’ – вся фраза, читающаяся как *j(a)tda tūj(ū)r(i)m-ā (a)d(i)r(i)ld(i)m-a*, переводится ‘ах, на чужбине (в дальних краях) [мои] свойственники, [я] разлучился [с вами]’ (См.: [Малов С.Е., 1952, с. 32–33; Clauson G., 1972, p. 523, 882; Кормушин И.В., 1997, с. 274, 275; Yıldırım F., Aydın E., Alimov R., 2013, s. 45]).

вание их объединения на Сыр-Дарье ко второй четверти IX вв. [Гончаров Е.Ю., Настич В.Н., 2013, с. 87–88]. Это может быть увязано с косвенными данными о начале откочевки части огузских групп из подвластной уйгурскому кагану Монголии уже после 759 г. [Кляшторный С.Г., 2006, с. 509–512]. Вследствие этого с определенной долей условности данные факты могут быть соотнесены с сообщением «Цзю Тан шу» 舊唐書 об умении вызывать снег среди служителей культа (*y-shi* 巫師) у уйгуров, относящемся к 765 г. [Mackerras C., 1968, p. 49, 51; Molnár Á., 1994, p. 8].

Содержащиеся в «Шāхнāmэ» данные об умении тюркских («туранских») колдунов вызывать дождь [Фирдоуси Абулькасим, 1989, с. 274–275, 278; Гумилев Л.Н., 1967, с. 83; Molnár Á., 1994, p. 26–28], по-видимому, восходят к сюжету о столкновении Исмā'ўла Сāmānū с карлуками (893 г.?), зафиксированному у Ибн ал-Фақūха и потом заимствованному Йāқūтом [Материалы, 1939, с. 153–155; Арабские источники, 1993, с. 52–53; Molnár Á., 1994, p. 7–8, 26, 28].

Однако в сутре «Алтун йарук» («Золотой блеск» или *Suvarṇaprabhā-sottama*), датирующейся ок. X в., а затем только у Махмūда ал-Қāшгарū встречается также термин *jelviči* ‘волшебник, колдун’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 255], ‘a sorcerer’ (*al-sāhir*) [Clauson G., 1972, p. 920]. При этом лежащее в его основе слово *jelvi* ‘волшебство, колдовство’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 255], ‘волшебство’ [Малов С.Е., 1951, с. 388], ‘Zauber’ [Gabain A. von, 1950, S. 354, 355], ‘sihir’ [Caferoğlu A., 1968, s. 292], ‘sorcery, witchcraft’ [Clauson G., 1972, p. 919] фиксируется уже в переведенной на один из древнетюркских диалектов и записанной в VIII в. манихейской молитве «Хуаствāнūфт» (*X<sup>u</sup>astvānīft*). У алтае-саянских народов оно сохранилось именно в значении сакральной силы шамана [Потапов Л.П., 1978, с. 20–21, 30; 1991, с. 128–129]. Так, например, алт. *jālbi*, обозначавшее совокупность сверхъестественных сил, формирующих силу шамана [Потапов Л.П., 1978, с. 21; 1991, с. 51, 110, прим. 75, с. 82, 125, 129]. Это слово может быть возведено к слову *jel* ‘ветер’ через переносные значения последнего (См.: [Потапов Л.П., 1978, с. 22–24; 1991, с. 78–80, 232])<sup>163</sup>, в частности, ср. сары-юг. *jil*, означавшее помогавших шаману духов [Малов С.Е., 1912, с. 72]<sup>164</sup>. Но, по-видимому, *jelviči* никак не были свя-

<sup>163</sup> См.: [Владимирцов Б.Я., 1911, с. 173–174; Clauson G., 1972, p. 919; Севортыян Э.В., Левитская Л.С., 1989, с. 182–183].

<sup>164</sup> Характерно, что Ю.А. Зуев [Зуев Ю.А., 2002, с. 181–182] (См. также: [Зуев Ю.А., 1998б, с. 51]) видел передачу слова *jelbi* в титулах двух тюркских каганов: *И-ми* 乙彌 < \**iet-mjie* < *jelmi-jelbi* и *И-ну* 乙毗 < \**iet-bji* < *jelbi*. Однако, это маловероятно, ср.: *yī-mi* 乙彌 < ран. ср.-кит. \**ʔit-mjiəʔmji*, позд. ср.-кит. \**ʔit-mji*, *yī-pi* 乙毗 < ран. ср.-кит. \**ʔit-bji*, позд. ср.-кит. \**ʔit-phji* [Pulleyblank E.G., 1991, p. 367, 212, 236]; *yī-mi* 乙彌 < ср.-кит. \**ʔit-mje*, *yī-pi* 乙毗 < ср.-кит. \**ʔit-bji* [Старостин С.А., 1989, с. 699, 697, 695]; ср. для второго случая также: \*Эль би[льге] [Кляшторный С.Г., 1985, с. 166, 169]; ср. мысль о возможности транскрипции \**Irbī* (?) [Inaba Minoru, 2010, p. 196]. См. также возражения М. Эрдаля против того, чтобы считать форму *jelbi* оригинальной и относить ее к древнетюркскому периоду: [b] в различных позициях может выступать как аллофон [p] или [v], но после /l/

заны с влиянием на погоду, а слово было одним из обозначений служителей традиционных культов, связанных с общением с духами.

### Лечение

По данным С.И. Вайнштейна, у тувинцев в начале XX в. были известны наследственные заклинатели, способные влиять на погоду при помощи камня-дождя (*ūada tau*), именовавшиеся *одучу* и *илбичи* [Вайнштейн С.И., 1991, с. 239]. Однако это, видимо, не совсем точная информация. Так, ср. тув. *оьтчу* (*одучу*) *хам* ‘шаман-травник, знахарь’ [Симчит К.-М.А., 2010, с. 6].

В древнеуйгурских документах IX в. встречается слово *otačī* ‘лекарь’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 373], ‘врач’ [Малов С.Е., 1951, с. 405], ‘Arzt’ [Gabain A. von, 1950, S. 322], ‘Doktor, hekim, tabip’ [Caferoğlu A., 1968, s. 144], ‘physician’ [Clauson G., 1972, p. 44] < *ota-* ‘лечить’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 373], ‘to treat with medicinal herbs’ [Clauson G., 1972, p. 42; Erdal M., 1991, vol. II, p. 422], известное в этом значении в ряде языков в последующие эпохи и восходящее, в свою очередь, к *ot* в значении ‘лекарство’, ‘целебная трава’ и т.д. [Севортян Э.В., 1974, с. 482]<sup>165</sup>.

Косвенные данные о людях с подобными функциями и их статусе в обществе предоставляет «Худūd ал-‘āлам», где отмечается, что тюрки-огузы уважали знахарей (*tabībān*), которым при виде кланялись (*namāz barand*), и лекарей (*pjišhkān*), которые «распоряжались их жизнями (*khūn*) и имуществом (*khwāsta*)» [Hudūd al-‘Ālam, 1937, p. 101; Материалы, 1939, с. 211].

### Проблемы интерпретации археологических материалов

Значительные перспективы имеет соотнесение сведений письменных источников о служителях культа у тюрков Центральной Азии с результатами раскопок археологических памятников. Процессы, происходившие в обществе кочевников второй половины I тыс. н.э., наиболее объективно отражают материалы исследований погребальных комплексов, соотносимых с рассматриваемой общностью кочевников. В рамках изучения вопроса о существовании у тюрков служителей культа имеет смысл, прежде всего, обратить внимание на возможное обнаружение в захоронениях вещественных атрибутов культовой деятельности.

Все предметы, которые присутствуют в погребении, находятся в контексте обрядовой практики и сопровождаются особыми ритуальными представлениями

---

должен следовать фрикативный [v]; зафиксированная в «Дүвән лугāt ат-Тюрк» основа *jelpi-* (< \**jelbi-*) с отглагольным аффиксом в ожидаемой форме *-vI* не может быть образованием от *jel* ‘ветер’ и, скорее, является монгольским заимствованием (др.-монг. *elbe(+sün)*, письм.-монг. *ilbe, ilbi*, с обратным заимствованием в письм.-монг. *jilbi, jēlvi, jilvi*) [Erdal M., 1991, vol. I, p. 336 note 383].

<sup>165</sup> Гипотеза Ж.-П. Ру [Roux J.-P., 1976, p. 71–72] о возможной связи термина *otačī* со словом *ōt* ‘огонь’ неприемлема, поскольку речь идет о гетерогенных основах (см., напр.: [Clauson G., 1972, p. 34]).



ми. При этом выделяются вещи, различные признаки которых позволяют предположить, что они использовались для реализации определенных культовых действий. Достаточно подробно рассмотрены возможности интерпретации подобных изделий из погребальных комплексов кочевников скифо-сакского времени [Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К., 1978; Могильников В.А., 1997б; Яценко С.А., 2007; и мн. др.]. К сожалению, объективные наблюдения такого плана на материалах археологических памятников тюрков Центральной Азии весьма фрагментарны. Вместе с тем имеется опыт интерпретации «предметов культа» из погребальных и «поминальных» объектов второй половины I – начала II тыс. н.э., раскопанных на сопредельных территориях [Арсланова Ф.Х., 1981; Басова Н.В., Кузнецов А.Н., 2005; Илюшин А.М., 2008, 2012; и др.]. Аккуратное использование результатов подобных исследований, а также детальный анализ всех компонентов погребальной обрядности позволяет рассмотреть возможности выделения «предметов культа» в материальной культуре тюрков Центральной Азии.

Интересными и достаточно редкими находками в погребениях кочевников рассматриваемого региона второй половины I тыс. н.э. являются небольшие шелковые мешочки. Судя по расположению в могиле, чаще всего они носились на поясе [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 105; Вайнштейн С.И., 1966, с. 302–304], либо в кожаной сумочке [Овчинникова Б.Б., 1982, с. 213–214; Кубарев Г.В., 2005, с. 371, 376]. Кроме того, зафиксировано помещение рассматриваемых предметов на груди человека [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 113], а также в специальном тайнике [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 114]. В ряде случаев в шелковых мешочках находились предметы, связанные, вероятно, с определенными культовыми представлениями. Особое внимание обращают на себя находки человеческих зубов [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 105; Евтюхова Л.А., 1957, с. 210; Вайнштейн С.И., 1966, с. 302–304]. Такие своеобразные предметы носились также в кожаных мешочках [Трифонов Ю.И., 2000, с. 146]. По мнению Л.Р. Кызласова [1969, с. 22] это были амулеты, помогавшие от зубной боли. С одной стороны, данная интерпретация выглядит вполне логичной. Вместе с тем имеются основания для предположения о более сложных представлениях, реализованных в данном элементе погребального ритуала тюрков. Так, уже в верхнем палеолите фиксируется использование человеческих зубов в качестве амулетов [Медникова М.Б., 2004, с. 127]. Суеверия, связанные с необходимостью сохранять зубы и оберегать их от какого-либо негативного воздействия, известны у многих традиционных обществ [Фрэзер Д., 1986, с. 43–44]. Не исключено, что похожие представления имелись и у кочевников Центральной Азии. Их универсальный характер подтверждается находками человеческих зубов в шелковых, кожаных или войлочных мешочках при исследовании погребений кочевников рассматриваемого региона различных хронологических периодов от раннего железного века до

монгольского времени [Кубарев В.Д., 1984, с. 43; Войтов В.Е., 1990, с. 140; Полосьмак Н.В., 2001, с. 74; и др.].

Среди других своеобразных находок, обнаруженных в шелковых мешочках, отметим туго свернутую шелковую ленту, свернутый в кольцо конский волос, небольшие камни, косточку миндаля, рыбы позвонки, а также различные предметы неизвестного назначения, главным образом, деревянные и костяные изделия. По мнению некоторых исследователей, эти вещи носили ритуальный или магический характер и могли являться своего рода оберегами [Овчинникова Б.Б., 1982, с. 213–214; 1990, с. 38; Кубарев Г.В., 2005, с. 58–59; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2009, с. 158–160]. Не исключено, что ритуальное назначение имела шелковая полоска с 75 узелками, встреченная в исследованном кенотафе тюркской культуры [Грач А.Д., 1960а, с. 127].

В одном из шелковых мешочков находились китайские монеты [Евтюхова Л.А., 1957, с. 212]. Такие находки являются достаточно редкими – на сегодняшний день они зафиксированы всего в девяти погребениях тюрков Центральной Азии [Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2013, табл. 1]. Имеются все основания для утверждения о том, что кочевниками китайские монеты не использовались по прямому назначению (в качестве денежной единицы). Не исключено, что такие изделия могли носиться как амулеты [Молодин В.И., Соловьев А.И., 2004, с. 63–64; Басова Н.В., Кузнецов Н.А., 2005, с. 135; Кузнецов Н.А., 2007, с. 216]. Косвенным свидетельством особого отношения к монетам можно считать благожелательные надписи, зафиксированные на отдельных экземплярах [Добродомов И.Г., 1980; Кляшторный С.Г., 2006, с. 117].

Другой группой предметов китайского импорта, получивших распространение в среде тюрков Центральной Азии, являются металлические зеркала. Данные изделия, нередко рассматриваемые как особые магические атрибуты в обществах кочевников, традиционно привлекают внимание исследователей. Об этом свидетельствует накопленная обширная историография, большая часть которой связана с интерпретацией предметов из археологических комплексов скифо-сакского времени [Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011а, с. 111–116]. На то, что тюрками зеркала относились к группе вещей, наделенных особыми свойствами, указывает ряд признаков. В ряде могил отмечены фрагменты рассматриваемых изделий с проделанным отверстием, что, вероятно, отражает их использование как своего рода подвесок-амулетов. В материалах раскопок памятников второй половины I тыс. известны находки частей зеркал с нанесенными благожелательными надписями [Арсланова Ф.Х., Кляшторный С.Г., 1973, табл. II; Васильев Д.Д., 1983б, с. 37–39; Кляшторный С.Г., 2006, с. 177–192]. Судя по всему, определенное значение имело отмеченное при раскопках погребений тюрков устойчивое расположение металлических зеркал в районе головы умершего человека. Этому элементу ритуала имеется ряд объяснений, достаточно подробно изложенных в ряде работ [Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011а, с. 117–119].

В материалах раскопок погребальных комплексов тюрков Центральной Азии зафиксирован ряд других предметов, возможно, имевших особое значение в представлениях кочевников. К ним относятся астрагалы, различные подвески из зубов животных, бронзовые подвески и др. Все эти находки, а также обозначенные выше изделия, позволяют говорить о наличии у номадов определенной группы предметов, выполнявших функции личных оберегов, имевших некоторые магические свойства. Вместе с тем основания для выделения вещей, явно связанные с культовой практикой, отсутствуют. Все рассмотренные выше предметы могли быть связаны с «личной магией» или локальными культовыми действиями, не носившими профессионального характера.

Таким образом, в письменных источниках мы видим существование ряда терминов, обозначающих лиц с набором некоторых функций, связывавшихся с необычными способностями. Ввиду простейшей морфонологии теоретически все эти слова могли существовать в тюркоязычной среде уже в период VI–X вв. Имеющиеся прямые и косвенные данные об этих людях указывают на возможность выполнения ими таких функций, как изгнание духов, предсказание, гадание, лечение, влияние на погоду. При этом невозможно сказать, сосредотачивались ли все обозначенные функции в руках одних и тех же лиц или существовала некоторая «специализация». В целом, за исключением случаев, когда речь может идти о китайском (гадания) или об иранском (влияние на погоду) культурном влиянии, природа этих практик объясняется в рамках традиционных представлений о шаманизме, что не предполагает существование какого-то особого социального слоя [Inan A., 1986, s. 79].

Анализ материалов раскопок археологических памятников тюрков Центральной Азии также не дает оснований для выделения погребений особой группы лиц, занимавшихся культовой деятельностью. Нельзя исключать, что подобные объекты еще неизвестны в связи со специфичными канонами обрядности (к примеру, скальные или «воздушные» захоронения). Однако более вероятным объяснением представляется то, что культовые действия у рядовых номадов выполнялись не специальной группой людей – служителей культа, а главами родов или старейшинами, неоднократно упоминаемыми в письменных источниках [Бичурин Н.Я., 1950, с. 221, 239, 243, 255, 256, 271 и др.; Тугушева Л.Ю., 2008, с. 78]. В таком случае, вероятно, происходило совмещение общих управленческих функций на местном уровне с реализацией культовой практики. Правомерность такого предположения подтверждается подобным же сочетанием полномочий у верховных правителей тюрков Центральной Азии.

## **СИМВОЛЫ ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕ ТЮРКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**(по материалам раскопок погребальных комплексов)**

Символика власти, демонстрирующая принадлежность отдельного человека или группы людей к политической элите, в той или иной степени присутствует в любом обществе. Особое значение она имела в традиционных сообществах, для которых в целом характерны разного рода знаковые системы, а также четкое внешнее проявление статуса и функций индивида, в том числе его отношение к власти. Значительный массив информации для изучения специфики рассматриваемого явления в конкретных обществах предоставляют результаты археологических исследований. В настоящем очерке рассмотрены возможности исследования символов власти у тюрков Центральной Азии, во второй половине I тыс. н.э. распространивших характерные для них представления об атрибутах политической элиты на значительные территории.

Несмотря на длительную историю исследований археологической культуры тюрков Центральной Азии, материалы, демонстрирующие особенности символики власти у кочевников, до сих пор весьма фрагментарны. Традиционно основным источником для изучения элиты номадов второй половины I тыс. н.э. считаются мемориальные «каганские» комплексы Монголии. Опыт интерпретации немногочисленных результатов исследования этих памятников достаточно подробно представлен в публикациях отечественных и зарубежных археологов [Войтов В.Е., 1996; Баяр Д., Амартувшин Ч., Энхтор А., Гэрэлбадрах Ж., 2003; Баяр Д., 2004; Жолдасбеков М., Сарткожаулы К., 2006; Самашев З. и др., 2016; и др.], что позволяет лишь кратко остановиться на анализе возможностей привлечения имеющихся сведений для характеристики символов власти в тюркском обществе.

Судя по имеющимся материалам, уже в эпоху Первого каганата мемориальные комплексы Монголии представляли собой довольно сложные и масштабные сооружения, включающие такие конструктивные элементы, как вал, ров, каменная насыпь, ряд балбалов, а также остатки своего рода храмов, от которых сохранились многочисленные обломки черепицы и основания деревянных колонн [Войтов В.Е., 1996, с. 27–30; Жолдасбеков М., Сарткожаулы К., 2006, с. 33–66]. На одном из известных объектов этого времени – Бу-

гутской стеле – обнаружена надпись, содержащая некоторую информацию о специфике устройства общества тюрков, в том числе составе элиты. В данном источнике социально-политическая иерархия кочевников представлена следующим образом: каган, его сородичи, шадапыты, тарханы, куркалыны, тудуны, конные воины, народ в целом [Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971, с. 132]. Своеобразным этапом в социальной истории тюркского общества стал недолгий период зависимости от Поднебесной империи (630–679 гг. н.э.). Результаты раскопок «элитных» комплексов Монголии этого времени, не являющихся непосредственно захоронениями тюрков, демонстрируют высокую степень влияния китайской культуры на кочевников [Данилов С.В. и др., 2010; Очир А. и др., 2013; и др.]. Наибольшая вариабельность мемориальных комплексов фиксируется в эпоху Второго Восточно-тюркского каганата (682–744 гг.). Вероятно, традиция сооружения различных типов «каганских» объектов Монголии отражает существование нескольких уровней элиты номадов [Войтов В.Е., 1996, с. 97].

Нет сомнений, что результаты изучения мемориальных комплексов Монголии имеют большое значение для реконструкции многих аспектов истории и культуры тюрков. Вместе с тем данные объекты предоставляют довольно ограниченный объем информации о символах власти в обществе кочевников. Это связано, главным образом, с тем, что полноценно раскопана лишь незначительная часть таких памятников, к тому же зачастую разрушенных. Представительные вещественные материалы, демонстрирующие «элитную» субкультуру тюрков, получены только в ходе раскопок на комплексе Бильге-кагана [Баяр Д., 2004, с. 73–84]. Среди показательных атрибутов на каменных изваяниях, выявленных при исследовании мемориальных объектов, отметим сложные головные уборы, клинковое оружие, наборные пояса, а также зафиксированные в нескольких случаях жезлы.

Как ни странно, гораздо больший объем сведений о символах власти в обществе тюрков Центральной Азии предоставляют материалы исследований «рядовых» погребальных памятников, в значительном количестве обнаруженные на Алтае, в Туве, Минусинской котловине, и в меньшей степени – в Монголии, Кыргызстане и Казахстане. Эти комплексы демонстрируют высокую степень дифференциации общества кочевников [Серегин Н.Н., 2013а]. Одним из важных аспектов социальной интерпретации материалов раскопок является выделение категорий предметов сопроводительного инвентаря, отражающих высокое прижизненное положение погребенного человека, в том числе символов власти [Серегин Н.Н., 2015б].

При выделении вещей, в той или иной степени определяемых как символы власти в обществе кочевников второй половины I тыс. н.э., нами принимались во внимание известные результаты работ в этом направлении, полученные многими исследователями при изучении обществ номадов степей Евразии

различных исторических периодов раннего железного века и средневековья. Обоснованность аккуратного проведения подобных аналогий обусловлена наличием комплекса схожих черт и характеристик в существовании объединений кочевников рассматриваемого региона.

Корректное определение социальной значимости предметов сопроводительного инвентаря не может быть интуитивным или основываться только на рассмотрении частоты встречаемости находок. Необходим учет комплекса показателей и привлечение дополнительных источников и материалов (письменных, изобразительных, этнографических и др.). Основными являются следующие факторы:

- 1) материальная ценность предметов;
- 2) символическая значимость вещей;
- 3) закономерности распределения изделий в погребениях и особенности распространения конкретных находок;
- 4) общие тенденции развития кочевых обществ Центрально-Азиатского региона в раннем средневековье («престижная» экономика, роль военного дела, направления торговых связей и др.).

Обоснованным является выделение из совокупности предметов сопроводительного инвентаря «комплекса власти», включающего показатели военно-управленческого могущества и политического статуса, и «комплекса богатства», объединяющего признаки высокого имущественного положения, материального достатка. Такой подход, опыт теоретического осмысления и практической реализации которого представлен в ряде исследований [Васютин С.А., 1998, с. 18; Матренин С.С., Тишкин А.А., 2005, с. 179], позволяет не только корректно определить значимость конкретных групп предметов, но также на последующих этапах работы способствует осуществлению объективной интерпретации как отдельных погребений, так и выделенных групп объектов.

«Комплекс власти» в обществе тюрок Центральной Азии был представлен главным образом предметами вооружения. Оружие дистанционного боя (лук и стрелы) являлось весьма распространенным и не маркировало погребения знатных воинов. При этом не вызывает сомнений социальная значимость *клинкового оружия ближнего боя (рис. 14.-7–10)*. Особый культурный статус сабли, меча и кинжала в эпоху средневековья подтверждают многочисленные свидетельства письменных источников среднеазиатского происхождения [Дмитриев С.В., 2001, с. 234–237]. Такие предметы являлись символом оружия и атрибутом власти военачальника у многих народов Евразии различных исторических периодов [Распопова В.И., 1980, с. 79; Ульянов И.В., 2007, с. 189–190; Измайлов И.Л., 2008, с. 39; и мн. др.]. Вполне характерными являются сведения о том, что меч присутствовал среди вещей, выделявших элиту общества Золотой Орды из состава остального населения [Селезнев Ю.В., 2009, с. 29]. Обратим внимание на то, что кинжал в раннем

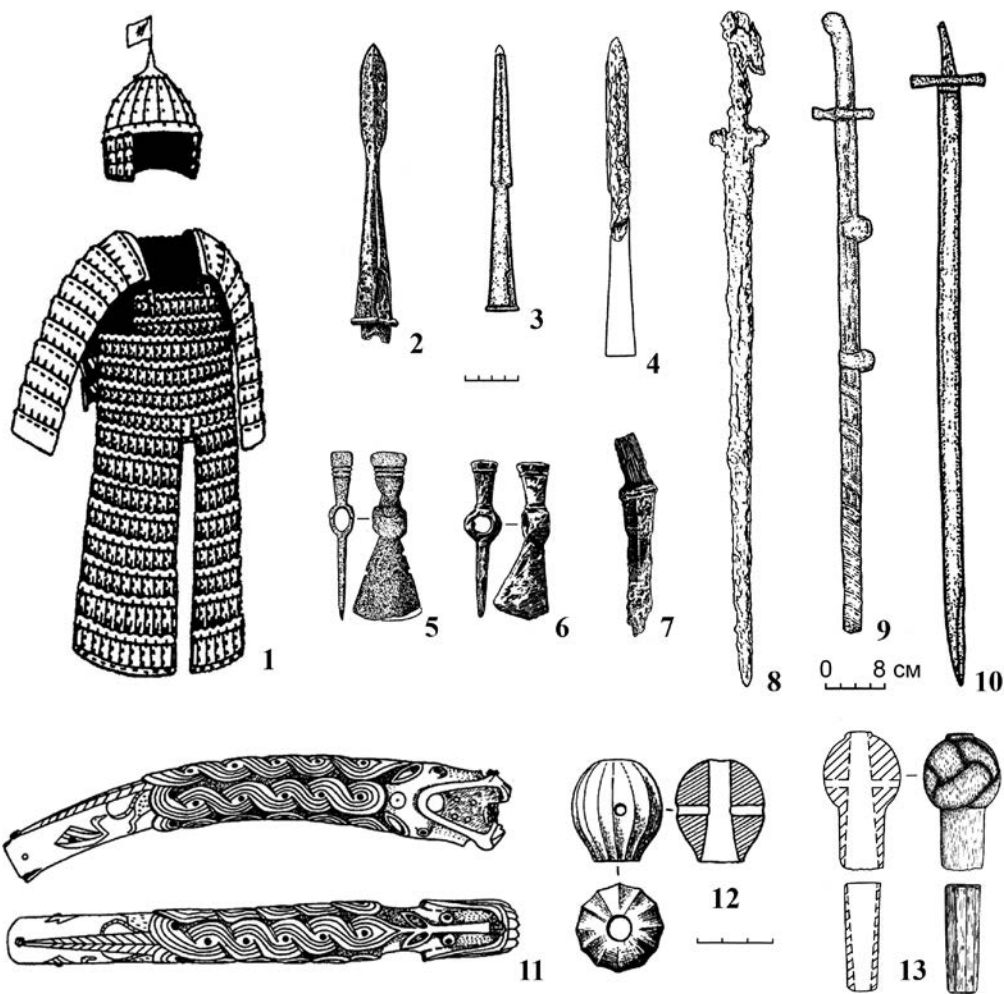


Рис. 14. Предметы из тюркских погребений (по: [Кызласов Л.Р., 1951, рис. 9; Гаврилова А.А., 1965, рис. 9.-11; Овчинникова Б.Б., 1982, рис. 3.-21; (Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Моносов В.М., 1996, рис. 1.-1; Могильников В.А., 1997, рис. 4.-9; Горбунов В.В., 2003, рис. 60; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 4.-1; Худяков Ю.С., 2004, рис. 48.-1; Кубарев Г.В., 2005, табл. 28.-6; Горбунов В.В., 2006, рис. 42.-5-7, 69.-1])

средневековье рассматривался не только как предмет вооружения, но также как элемент костюма и отличительный знак ранга знатного воина. Дополнительным подтверждением этому является упоминание о кинжале как о поясном украшении тюрков, приведенное в китайских династийных хрониках [Лю Маоцай, 2002, с. 19].

Особое символическое значение имел также *боевой топор* (рис. 14.-5-6), рассматривавшийся, по всей видимости, как знак власти военачальника [Рас-

попова В.И., 1980, с. 76; Кубарев Г.В., 2005, с. 99]. К примеру, на одном из произведений пенджикентской живописи зафиксировано изображение царя без доспеха, но с топором [Распопова В.И., 1980, с. 76]. Редкие изображения знатных воинов с обозначенным предметом вооружения известны на петроглифах раннего средневековья [Кляшторный С.Г., 2001, с. 214; Жолдошов Ч.М., 2005, с. 72].

Несомненно, ценным предметом воинского снаряжения являлся *защитный доспех (рис. 14.-1)*. Значимость данного элемента панοπлии в значительной степени определялась сложностью и трудоемкостью его изготовления. В том числе поэтому тяжеловооруженная конница была элитным родом войска кочевников и формировалась из представителей наиболее знатных родов общества. Отметим, что такая ситуация характерна не только для эпохи средневековья, но и для более раннего времени [Бобров Л.А., Худяков Ю.С., 2005, с. 95, 97; Худяков Ю.С., 2007, с. 119].

Судя по имеющимся сведениям, особый статус в обществе центральноазиатских кочевников раннего средневековья имело *копье (рис. 14.-2-4)*. Такие изделия нередко фиксируются при исследовании наскальных изображений. При этом зачастую на копьях, находящихся в руках конных воинов, присутствуют дополнительные элементы – бунчуки и небольшие флажки [Советова О.С., Мухарева А.Н., 2005, с. 94]. Известно, что такие атрибуты являлись отличительным признаком знатных воинов, командующих подразделениями различного уровня [Окладников А.П., 1951, с. 151–153; Бобров Л.А., Худяков Ю.С., 2005, с. 116–117]. Кроме того, имеется информация о том, что бунчуки, знамена или штандарты в раннем средневековье представляли собой символ властных полномочий и использовались для подтверждения статуса послов при ведении переговоров [Худяков Ю.С., 2011, с. 294–295].

Важно подчеркнуть, что обозначенные выше предметы вооружения являются весьма редкими находками в памятниках тюрков Центральной Азии. Вместе с тем имеются все основания для того, чтобы предполагать определенную степень их распространения во второй половине I тыс. н.э. В письменных источниках нередко упоминаются об использовании мечей, кинжалов и копий как стандартного для тюркских воинов оружия [Худяков Ю.С., 2007, с. 115–117]. Мечи и кинжалы широко представлены на реалистичных каменных изваяниях, изображавших знатных кочевников [Грач А.Д., 1961, с. 63–64; Кубарев В.Д., 1984, с. 39–42]. Копья являются непременным атрибутом конных воинов на петроглифах раннего средневековья [Горбунов В.В., 1998, с. 102–128]. При этом многие всадники облачены в защитный доспех. На наш взгляд, обоснованным является предположение о том, что исключительность рассматриваемых предметов в погребениях тюрков Центральной Азии обусловлена не ограниченностью их распространения, а тем, что они помещались только в могилы людей, имевших при жизни высокий статус.



Несколько иначе обстоит ситуация с использованием в раннем средневековье боевого топора. Не исключено, что применение его тюрками в ходе военных действий было ограниченным, и данные предметы стали рассматриваться как некий символ власти. Особое значение топора косвенно подтверждается обнаружением рассматриваемых изделий в составе «кладов» [Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Степанова Н.Ф., 1995, с. 57; Кочеев В.А., 1999, с. 175–177].

Довольно специфичным является распространение в погребальных комплексах тюрков Центральной Азии защитного доспеха. Прежде всего, обратим внимание на то, что такие изделия представлены в большинстве случаев сравнительно небольшими фрагментами, что может свидетельствовать об их ценности. Кроме того, части панциря встречены только однажды в «стандартном» погребении [Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003, с. 64–82]. В остальных случаях фрагменты защитного доспеха зафиксированы в кенотафах, каменных оградках и «ритуальных» курганах [Серегин Н.Н., 2008, с. 148]. В данном случае, помимо социальной значимости рассматриваемых предметов, очевидна и другая их функция. В качестве предположения обратим внимание на возможность того, что фрагменты доспеха могли являться своего рода символической «заменой» отсутствовавшего человека в обозначенных погребально-поминальных комплексах. Похожая тенденция, хотя и не столь последовательно, прослеживается и в распространении другого предмета вооружения – наконечников копий. Такие находки, крайне редко обнаруженные в погребениях тюрков, неоднократно зафиксированы при исследовании кенотафов и особенно каменных оградок на различных территориях [Кубарев Г.В., 2005, табл. 73.-10, 145.-1; Соенов В.И., Эбель А.В., 1996, рис. 3.-2; Загородний А.С., Григорьев Ф.П., 1998, рис. 3.-22; Досымбаева А., 2006, рис. 8.-4; и др.]. Нельзя исключать, что определенные отголоски данной традиции отмечены в этнографических сведениях о погребально-поминальном обряде киргизов и казахов, у которых копье, наряду с лошастью и одеждой, выполняло роль временного «заместителя» умершего человека [Фиельструп Ф.А., 2002, с. 134, 166–167, 178–179].

Дополнительным фактором, позволяющим отнести рассмотренные предметы вооружения к социально значимым элементам вещевого комплекса тюрков Центральной Азии и своего рода символам власти, является изучение тенденций в их распределении в погребениях. Помимо редкости находок, существенным показателем в этом отношении можно считать то, что мечи, кинжалы, копья, боевые топоры и фрагменты доспеха в абсолютном большинстве случаев зафиксированы в могилах, при исследовании которых отмечено присутствие «богатого» сопроводительного инвентаря.

К предметам, включенным в «комплекс власти», по всей видимости, следует также отнести плети и стеки (*рис. 14.-11–13*). Наибольшее значение имели богато оформленные находки [Кызласов Л.Р., 1951, с. 50–55; Бородовский А.П., 1993, с. 186]. Статус плети как особого символа власти подтверждают сведения

письменных источников среднеазиатского происхождения, а также фольклорные, этнографические и иконографические материалы [Соловьева О.А., 1996, с. 40; Кубарев Г.В., 2005, с. 80; Ожередов Ю.И., 2005, с. 216–220; и др.].

Выделяемый в составе сопроводительного инвентаря погребений тюрков Центральной Азии «комплекс богатства», очевидно, имеет гораздо меньшее отношение к атрибутам власти. Вместе с тем, судя по имеющимся сведениям, включаемые в него предметы также могли отражать принадлежность человека к элите общества номадов.

Традиционно ярким признаком, отличавшим верхушку социума от остального населения, являлся костюм [Доде З.В., 2005, с. 25]. В данном случае особое внимание следует обратить на связанные с его оформлением предметы то-ревки, изготовленные из цветных металлов. В научной литературе весьма подробно представлена социальная значимость наборного пояса, являвшегося своего рода «паспортом» кочевника [Ковалевская В.Б., 1970, с. 144; Добжанский В.Н., 1990, с. 73; и мн. др.]. Основным показателем престижности пояса, судя по всему, был материал, из которого изготовлены его составляющие, а также их количество. Дополнительным признаком являлись изображения животных, в ряде случаев зафиксированные на наконечниках ремней [Добжанский В.Н., 1990, с. 74]. Имеются многочисленные свидетельства того, что в обществах раннего средневековья пояс с золотыми накладками считался признаком, определявшим принадлежность человека к элитным слоям населения [Распопова В.И., 1980, с. 97, 107–108; Могильников В.А., 1997, с. 214].

Схожие тенденции характерны для украшений конского снаряжения. Наиболее существенным показателем также являлся материал, из которого изготовлены элементы амуниции [Горбунова Т.Г., 2003, с. 110–112]. Не исключена особая значимость отдельных предметов снаряжения. По замечанию В.И. Распоповой [1980, с. 101], на пенджикентской живописи только лошадь предводителя была украшена султаном. Известны аналогичные данные и для других элементов конского снаряжения, изготовленных из органических материалов и не сохранившихся в погребальных комплексах [Мухарева А.Н., 2009, с. 36–37, рис. 1].

Очевидна социальная значимость в обществе кочевников раннего средневековья серебряных сосудов. Такие изделия нередко представлены на реалистичных каменных изваяниях, изображавших знатных воинов [Грач А.Д., 1961, с. 67; Кубарев В.Д., 1984, с. 33–36, 73]. Имеются свидетельства о том, что металлические сосуды были непременным атрибутом «княжеских» погребений аваров [Распопова В.И., 1980, с. 103].

Важным показателем, подтверждающим социальную значимость наборных поясов, украшений конского снаряжения и сосудов, изготовленных из драгоценных металлов, является обнаружение таких вещей в ходе исследований мемориальных «каганских» комплексов в Монголии. На памятнике в честь

Тоньюкука (Цаган-Обо-I) зафиксированы золотые бляхи, относящиеся к конской амуниции. В ходе раскопок мемориального комплекса Бильге-кагана найдено значительное количество предметов торевтики, среди которых были серебряные и золотые сосуды, бляхи наборного пояса и украшения снаряжения лошади [Войтов В.Е., 1996, с. 18; Баяр Д., 2004, с. 79, рис. 10–15]. Кроме того, в состав клада входили золотые серьги, которые, по всей видимости, также относились к «престижным» элементам материальной культуры кочевников.

Особое место в представлениях номадов различных исторических периодов занимали металлические зеркала. Определенные тенденции в этом плане характерны и для раннего средневековья [Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011а, с. 111–122]. Если значение металлических зеркал как предметов культа остается дискуссионным, то социальная значимость таких изделий несомненна. Во второй половине I тыс. н.э. рассматриваемые находки являлись предметами импорта, что стало одним из факторов, определивших их редкость и ценность. Дополнительным подтверждением в этом плане являются фрагментарные упоминания о зеркалах в письменных источниках, наряду с другими признаками «богатства» кочевника [Арсланова Ф.Х., Кляшторный С.Г., 1973, с. 313].

Таким образом, анализ материалов раскопок погребальных комплексов тюрков Центральной Азии позволяет выделить вещи, имевшие особое значение для определения высокого политического статуса человека. Учитывая высокую степень милитаризации номадов, в большей части эти предметы были связаны с военным делом. Важными символами власти в обществе тюрков Центральной Азии являлись клинковое оружие ближнего боя (меч, кинжал), боевой топор, копье, а также защитный доспех. Статус человека и его отношение к власти определялись также наличием художественно оформленной плети. Очевидно, важным показателем принадлежности кочевника к политической элите был наборный пояс. Другие предметы торевтики (металлические сосуды, зеркала, украшения и др.), а также костюм, в большей степени являлись символами богатства, однако также служили атрибутами представителей верхушки общества номадов.

Важно подчеркнуть, что полученные результаты демонстрируют символизм предметов через призму традиций погребально-поминальной обрядности. В связи с этим дальнейшая конкретизация сведений о знаках власти в обществе тюрков Центральной Азии требует корреляции сделанных выводов со сведениями дополнительных источников. Большое значение для развития данной тематики имеет продолжение раскопок на территории Монголии, представлявшей в центр империй кочевников второй половины I тыс. н.э.

## **ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ СОЦИУМА ТЮРКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (опыт интерпретации археологических материалов)**

Важным этапом реконструкции социогенеза древних и средневековых народов является изучение динамики их общественной системы, определение направлений эволюции социальных институтов и структур. Выход на данный уровень интерпретации материалов должен основываться на результатах многоаспектного исследования всех групп источников и проведенного анализа всех элементов организации рассматриваемого общества.

Исследования, направленного на детальную реконструкцию динамики социальной организации тюрков Алтае-Саянского региона и Центральной Азии, до сих пор не предпринималось. Вместе с тем имеются работы, в которых представлен опыт анализа этапов политогенеза кочевников региона второй половины I тыс. н.э., что неизбежно требовало от археологов и историков учета эволюции различных компонентов социальной системы. Кроме того, в значительном количестве работ отечественных и зарубежных ученых раскрыты многие аспекты общей концепции социальной истории тюрков. Некоторые наблюдения исследователей представляются весьма ценными и требуют отдельного рассмотрения.

В работах многих специалистов, занимавшихся изучением различных аспектов истории центральноазиатских тюрков, отмечалось присутствие в устройстве политических объединений кочевников целого ряда характеристик, фиксирующихся у кочевых общностей более раннего времени – хунну, сяньби и жужаней (жуань-жуаней). Наиболее категорично данную мысль выразил П. Пельо, подчеркнувший, что своим государством тюрки обязаны жужаням [Кычанов Е.И., 2010, с. 125]. Другие исследователи обращали внимание на конкретные черты политического и в меньшей степени социального устройства тюрков, происхождение которых может быть связано с наследием народов региона предшествующего периода.

По мнению ряда исследователей, ярким примером восприятия тюрками опыта политической организации сяньби и жужаней стало использование титулов «каган», «эльтебер» и «иркин» [Бернштам А.Н., 1946, с. 83; Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 174; Кычанов Е.И., 2010, с. 94; и др.]. Заметно продолжение

традиций кочевников хунноско-сяньбийского времени в принципах организации войска. Отмечено, что десятичная военно-административная система была заимствована тюрками у жужаней [Худяков Ю.С., 2007а, с. 57]. Так же как и у кочевников Центрально-Азиатского региона предшествующего времени, элитным родом войск во второй половине I тыс. н.э. была тяжеловооруженная конница [Бобров Л.А., Худяков Ю.С., 2005, с. 95, 97; Худяков Ю.С., 2007б, с. 119].

Помимо факта восприятия тюрками наследия кочевых народов хунноско-сяньбийского времени, исследователи подчеркивали влияние, оказываемое на кочевников раннего средневековья со стороны Согды и Китая. Не вызывает сомнений особое значение воздействия Поднебесной империи на политическую и социальную организацию кочевников, особенно в период их зависимости [Бернштам А.Н., 1946, с. 10; Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 171; Кычанов Е.И., 2010, с. 140–141].

Фрагментарность представленных наблюдений исследователей в значительной степени связана с характеристиками письменных источников по социальной истории тюрков. Китайские хронисты не ставили перед собой задачу проследить изменения общества кочевников, акцентируя внимание, главным образом, на перипетиях внешней политики. В тюркских рунических текстах, содержащих весьма ценную информацию о социальном устройстве объединений кочевников, в большей части описывается довольно короткий период существования Второго Тюркского каганата, что не оставляет возможности для сравнения уровня организации социума скотоводов в разное время. Кроме того, в историографии рассматриваемого вопроса отсутствует опыт анализа археологических материалов, которые в большей мере могут демонстрировать динамику процессов социогенеза тюрков. Обозначенный подход привел к тому, что из общей, и без того весьма неполной, картины общества кочевников практически полностью «выпали» периоды, не освещенные в письменных источниках, например, этап формирования социума, а также время, когда тюрки входили в состав каганатов уйгуров и кыргызов.

Именно поэтому при исследовании эволюции социальной системы кочевников мы опирались, главным образом, на результаты анализа материалов раскопок археологических комплексов, с учетом общей концепции истории общества тюрков, в разной степени представленной в династийных хрониках и рунических текстах.

В социальной истории тюрков Алтае-Саянского региона и Центральной Азии представляется возможным выделить несколько основных периодов, характеризующихся различной степенью консолидации кочевников, дифференциации общества, политической самостоятельности кочевников и др.:

- 1) докаганатский период (до 552 г.);
- 2) период Первого каганата (552–630 гг.);
- 3) период зависимости от Китая (630–682 гг.);

- 4) период Второго каганата (682–744 гг.);
- 5) период существования тюрков в составе каганатов уйгуров и кыркызов (вторая половина VIII–XI вв.) [Серегин Н.Н., 2013а].

Как известно из китайских династийных хроник, в 460 г. произошло переселение определенной группы населения, легендарных «500 семейств Ашина». Вероятно, данная акция не была единичной в политике жужаней, и подобные спланированные перемещения племен носили системный характер [Худяков Ю.С., 2007а, с. 23]. После переселения Ашина сумели не только адаптироваться в новых условиях, но и консолидировать вокруг себя местных кочевников, создав мощное объединение, способное спустя столетие коренным образом изменить политическую ситуацию в степи. Данный этап социогенеза тюрков в наименьшей степени обеспечен источниками и материалами, однако значение его трудно переоценить – именно в это время закладывались основы нового общества и предпосылки образования одной из крупнейших кочевых империй региона.

Сведения письменных источников не позволяют точно локализовать территорию, где происходило смешение семейств Ашина с местным населением и формирование этноса и культуры тюрков, называя лишь Алтай с возможностью широкого толкования. Однако судя по имеющимся археологическим материалам, это была территория Горного Алтая, на которой раскопаны на сегодняшний день наиболее ранние археологические комплексы культуры раннесредневековых тюрков, объединяемые в рамках кызыл-ташского этапа (вторая половина V – вторая половина VI вв. н.э.) [Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2002; Тишкин А.А., 2007; Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011б]<sup>166</sup>.

В распоряжении исследователей в настоящее время нет материалов, позволяющих определить уровень социального развития и политической консолидации «500 семейств» Ашина до переселения их на Алтай. Перспективы получения такой информации связаны с проведением системных раскопок на территории Восточного Туркестана (Синьцзяна) – региона, с определенной долей вероятности обозначаемого как место первоначального формирования рассматриваемой группы населения (ганьсуйско-гаочанский этап ранней истории тюрков) [Кляшторный С.Г., 2003, с. 149–160]. Пока же имеет смысл обратиться к археологическим материалам Алтая предтюркского времени. Целесообразность такого экскурса определяется тем несомненным влиянием, которое оказали местные кочевники на пришлые племена. Сравнительный анализ ре-

---

<sup>166</sup> В ходе недавних полевых работ на территории Западной Монголии были раскопаны тюркские «поминальные» объекты, датировка которых на основании характерных конструкций, а также обнаруженных предметов может быть предварительно определена в рамках второй половины V – VI вв. н.э. Эти данные свидетельствуют о том, что обозначенный регион входил в область формирования культуры номадов, а также позволяют рассчитывать на получение подобных материалов в ходе будущих исследований. Благодарим проф. Ц. Турбата за возможность ознакомиться с неопубликованными результатами раскопок.

зультатов исследования памятников Алтая второй половины IV–V вв. (верх-уймонский этап булан-кобинской культуры) и кызыл-ташского этапа тюркской культуры показал определенную степень генетической преемственности между данными группами населения, проявившуюся, главным образом, в предметном комплексе, и в меньшей степени – в погребально-поминальной обрядности [Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006; Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011б; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2016]. Кроме того, материалы раскопок памятников кудыргинского этапа (вторая половина VI – первая половина VII вв.) показывают, что часть населения булан-кобинской культуры Алтая была включена в военные операции тюрков середины VI в. [Серегин Н.Н., 2014б; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2016].

Влияние жужаней как фактор социального развития тюрков на начальном этапе формирования общности неоднократно подчеркивался исследователями (см. выше). При этом полностью игнорировалось воздействие на формирование нового социума местных кочевников Алтая, гораздо более многочисленных, по сравнению с пришлой группой. Исследованию общественной организации населения Алтая хуннуско-сяньбийского времени посвящен ряд работ. В последние годы детальный анализ социальной системы булан-кобинской культуры предпринят С.С. Матрениным [2005б], однако некоторая часть полученных им результатов, характеризующих уровень развития племен региона претюркского времени, осталась неопубликованной, что определяет необходимость непосредственного обращения к археологическим материалам второй половины IV–V вв.

Погребальные комплексы верх-уймонского этапа булан-кобинской культуры исследованы на некрополях Верх-Уймон, Катанда-I, Чендек, Яломан-II, Дялян, Кок-Паш, Верх-Еланда-II, Усть-Бийке-III [Гаврилова А.А., 1965; Неверов С.В., Степанова Н.Ф., 1990; Соенов В.И., Эбель А.В., 1992; Соенов В.И., 2000; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а, 2005]. Захоронения второй половины IV – V вв. на обозначенных памятниках, расположенных в различных частях Алтая, характеризуются высокой степенью вариабельности зафиксированных показателей погребального обряда, что, вероятно, отражает существование локальных групп населения (небольших племен или кланов) [Матренин С.С., 2005а; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2016]. Выделяются погребальные комплексы местной элиты, а также захоронения воинов, демонстрирующие достаточно высокий уровень милитаризации кочевников региона. В целом, племена, населявшие Алтай в претюркское время, представляли собой сложную общность, своего рода конфедерацию, характеризующуюся многоуровневой структурой. Судя по всему, переселение семейств Ашина произошло как раз в то время, когда местное население, находившееся на довольно высоком уровне развития, не было консолидировано.

Далее обратимся к возможностям социальной интерпретации археологических материалов раннего кызыл-ташского этапа археологической культуры тюрков (вторая половина V – первая половина VI вв. н.э.). Погребения этого периода, раскопанные на некрополях Усть-Бийке-III, Яконур, Верх-Еланда-I, Ороктой, Боротал, Узунтал-I [Грязнов М.П., 1940; Савинов Д.Г., 1982; Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Степанова Н.Ф., 1990; Худяков Ю.Ф., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990; Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003б; Кубарев Г.В., 2005], гораздо менее представительны в количественном отношении. Кроме того, известна серия ритуальных объектов, хронология значительной части которых в связи с отсутствием датирующих материалов установлена предварительно на основе зафиксированных конструкций.

Результаты раскопок погребальных комплексов Алтая кызыл-ташского этапа демонстрируют сравнительно низкий уровень социальной дифференциации оставившего их населения. Памятники немногочисленны и разрозненны, характеризуются вариабельностью норм обрядовой практики. Следует отметить наибольшую простоту в оформлении погребальных конструкций. Курганные насыпи чаще всего представляли собой одно- или двухслойную каменную наброску; не зафиксировано ни одного случая сооружения крепиды или ограды. Определенное распространение получили впускные погребения, что является характерным признаком для периодов, когда происходит сложение традиций. Другим объяснением появления таких объектов является нестабильность политической ситуации, также обусловленная процессами формирования новой общности кочевников. Вместе с тем к середине VI в. происходит сложение стандарта погребальной практики, характерной для дальнейших этапов развития археологической культуры тюрков. Кроме того, появляются погребения профессиональных воинов, отличавшиеся представительным набором предметов вооружения [Грязнов М.П., 1940; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003б; 2005].

В целом, обозначенные археологические материалы вполне адекватно отражают период становления традиций новой общности, постепенной консолидации кочевников и сложения многокомпонентного политического и социального образования. Последующие этапы социогенеза тюрков происходили уже не только на Алтае – в них, помимо соседних кочевых племен, были включены значительные группы населения на отдаленных территориях.

Одним из ключевых событий раннесредневековой истории Центральной Азии стало создание в 545–552 гг. Первого Тюркского каганата, объединившего большое количество разноэтничных племен. Перипетии политической истории тюрков, связанные с формированием кочевой империи, активной военной экспансией и внутренними междоусобицами, представлены в письменных источниках и достаточно подробно рассмотрены исследователями [Кляшторный С.Г., 2003, с. 90–95; Гумилев Л.Н., 1967, с. 9–245; и мн. др.]. Период геге-



немонии кочевников продолжался недолго. Крушение восточной (центральноазиатской) части политического объединения тюрков произошло в 630 г. В 650 г. в результате похода китайского экспедиционного корпуса было ликвидировано последнее тюркское владение в Алтайских горах, основанное Чэби-каганом.

Анализ сведений письменных источников, а также рассмотрение общей логики развития кочевой империи позволяют утверждать, что основным направлением эволюции социальной системы тюрков во второй половине VI в. стало ее усложнение за счет включения многочисленных племен и групп населения в результате активной военной экспансии кочевников. Судя по имеющейся информации, в ряде случаев тюрки не меняли основ организации подчиненных социумов, в том числе сохраняли местную элиту, однако оставляли наместников на покоренных территориях<sup>167</sup>. Кроме того, важным процессом стало усиление консолидации собственно тюркского социума в условиях необходимости контроля подчиненных племен и при этом неизбежность дисперсного расселения немногочисленных кочевников, вынужденных удерживать обширные территории.

Археологические материалы иллюстрируют эти и другие процессы лишь отчасти. Основной характеристикой погребальных и «поминальных» памятников эпохи Первого каганата является их немногочисленность, на первый взгляд, идущая вразрез с логикой исторических событий. Действительно, период высшего могущества тюрков, распространивших свою власть на значительные территории, получил отражение в археологических материалах весьма фрагментарно. Вместе с тем погребальные комплексы, а также в меньшей степени объекты поминального характера, имеют большое значение как для подтверждения сведений письменных источников, так и для конкретизации отдельных аспектов социальной истории кочевников.

Большая часть погребальных комплексов тюрков эпохи Первого каганата (вторая половина VI – первая половина VII вв.) раскопана на территории Алтая [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941; Гаврилова А.А., 1965; Могильников В.А., 1990; Худяков Ю.С., Кочеев В.А., 1997; Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998; Кубарев Г.В., 2011; и др.]. Очевидно, это отражает статус данной территории не только как места формирования культуры, но и как базы для первых военных походов кочевников. За пределами Алтая захоронения тюрков довольно немногочисленны. Всего несколько таких объектов исследованы на территории Тувы [Грач А.Д., 1960, с. 33–36, рис. 35–38; Вайнштейн С.И., 1966, с. 302–303; Трифонов Ю.И., 1971, рис. 5]. Судя по имеющимся материалам, пока отсутствуют раскопанные захоронения кудыргинского этапа в Монголии. Вместе с тем на указанной территории имеется серия случайных находок данного периода, а также материалы

---

<sup>167</sup> Эти и другие аспекты истории элиты тюрков Центральной Азии планируется представить в специальной работе, поэтому в настоящей монографии мы на них не останавливаемся.

второй половины VI – первой половины VII вв. из «поминальных» комплексов [Dorjsuren С., 1967; Санжмятав Т., 1993, табл. 107; Дундговь аймагт ..., 2010, 311–312 дугаар тал.; и др.], что указывает на возможность распространения памятников<sup>168</sup>. На таком фоне довольно представительной выглядит серия погребений кудыргинского этапа, раскопанная в различных районах Средней Азии и Казахстана [Спришевский В.И., 1951; Бернштам А.Н., 1952, с. 81–83; Кибиров А.К., 1957, с. 86–87; Кадырбаев М.К., 1959, с. 184–186; Винник Д.Ф., 1963, с. 87; Курманкулов Ж.К., 1980; Табалдиев К.Ш., 1996, рис. 15–16; и др.]. Кроме того, особая группа захоронений эпохи Первого каганата, демонстрирующая сложение локального варианта культуры тюрков, исследована на территории Минусинской котловины [Киселев С.В., 1927; Поселянин А.И., Киргинцев Э.Н., Тараканов В.В., 1999; Худяков Ю.С., 1999].

Относительная немногочисленность погребений тюрков второй половины VI – первой половины VII вв., в некоторой степени понятная для предшествующего периода (формирование культуры, становление традиций обряда и др.), сложно объяснима для комплексов эпохи Первого каганата, отражающих историю общности кочевников в период ее наивысшего могущества. Нельзя исключать, что памятники данного этапа в силу различных причин еще не исследованы. В данном случае, главным образом, следует учитывать слабую изученность Монголии, где находился центр каганата и, соответственно, должна наблюдаться наибольшая степень концентрации археологических комплексов.

Другое вероятное объяснение ограниченного количества памятников тюрков, датированных второй половиной VI – первой половиной VII вв., связано с высокой подвижностью кочевников, обусловленной в том числе активной военной экспансией, осуществлявшейся в это время. Не исключено, что на территориях, ставших периферией Первого Тюркского каганата (Алтай, Тува, Минусинская котловина), находилась лишь часть населения. Возможным свидетельством военных походов, увлекших значительную часть номадов на отдаленные территории, является распространение на ранних этапах тюркской культуры разного рода погребально-поминальных комплексов – кенотафов, а также каменных оградок, по ряду показателей напоминающих «символические» погребения [Серегин Н.Н., 2008].

Так или иначе, обозначенные характеристики погребальных комплексов тюрков эпохи Первого каганата существенно снижают возможности их социальной интерпретации. Дополнительным фактором, осложняющим наблюдения в указанном направлении, является унификация обрядовой практики номадов, наблюдавшаяся уже в это время. При этом следует отметить, что

---

<sup>168</sup> Не исключено, что погребальных комплексов кудыргинского этапа в Туве и Монголии раскопано больше. Конкретизации количества объектов данного периода будет способствовать публикация не введенных в научный оборот материалов исследований прошлых лет.

стандартизация погребального ритуала отражает процессы консолидации кочевников, закономерность которых в данный период отмечена выше.

Материалы раскопок погребальных комплексов эпохи Первого каганата демонстрируют общее усиление социальной дифференциации общества кочевников. Фиксируются как захоронения с весьма скудным инвентарем, так и объекты, предметный комплекс которых отражает достаточно высокое прижизненное положение умершего человека. Среди престижных категорий изделий из отдельных погребений отметим поясные наборы [Кибиров А.К., 1957; Курманкулов Ж.К., 1980; и др.], а также украшения конского снаряжения [Гаврилова А.А., 1965; Худяков Ю.С., Кочеев В.А., 1997, 2000]. Показателем динамики структуры общества тюрков стало распространение захоронений профессиональных воинов, в которых зафиксирован представительный набор вооружения [Гаврилова А.А., 1965].

Показательной иллюстрацией усложнения социума кочевников является формирование «минусинского» локального варианта культуры тюрков. Это демонстрирует продолжающиеся процессы сложения общности кочевников. Особое значение в этом плане имеет то, что одним из компонентов локального варианта на Среднем Енисее были, судя по имеющимся материалам, носители традиций булан-кобинской культуры Алтая предтюркского времени, ставшие, таким образом, частью этносоциального организма [Серегин Н.Н., 2014б]. Детализация этих процессов затруднительна в связи с ограниченностью археологических комплексов, однако представляется возможным предположить, что на подобных периферийных территориях устанавливались формы социальной и политической организации, схожие с таковыми в центре каганата.

Несмотря на обозначенные процессы трансформации общества тюрков эпохи Первого каганата следует признать, что большая часть погребений второй половины VI – первой половины VII вв. принадлежит рядовым членам социума. Некоторую информацию об элите кочевников данного периода предоставляют материалы исследований мемориальных комплексов на территории Монголии. Такого рода объекты, относящиеся к эпохе Первого каганата, весьма немногочисленны и изучены далеко не полно, однако очевидно, что они представляют собой важный источник для реконструкции особенностей социальной системы раннесредневековых тюрков.

Судя по имеющимся материалам [Войтов В.Е., 1996, с. 27–30; Жолдасбеков М., Сарткожаулы К., 2006, с. 33–66], мемориальные комплексы Монголии второй половины VI – первой половины VII вв. представляли собой довольно сложные и масштабные сооружения, включавшие такие конструктивные элементы, как вал, ров, каменная насыпь, ряд балбалов, а также остатки своего рода храмов, от которых сохранились многочисленные обломки черепицы и основания деревянных колонн. На сегодняшний день одним из немногих, если не единственным, мемориальным памятником Монголии, уверенно датированным

эпохой Первого каганата, является Бугутский комплекс, важная часть которого – известная стела с надписями на согдийском языке и санскрите. Различным аспектам интерпретации данного объекта посвящено значительное количество работ отечественных и зарубежных исследователей [Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971; Коренько В.А., 2001; Жолдасбеков М., Сарткожаулы К., 2006, с. 39–54; Bazytkhan N., 2011; Drompp M.R., 2011; и др.], поэтому ограничимся рассмотрением лишь наиболее важных характеристик данного памятника, показательных для исследования социальной истории тюрков.

Прежде всего, следует отметить, что в надписи на Бугутской стеле, относящейся к последней четверти VI в., приведена некоторая информация о специфике устройства тюркского общества. Автору надписи социально-политическая иерархия кочевников представляется следующим образом: каган, его сородичи, шадапыты, тарханы, куркапыны, тудуны, конные воины, народ в целом [Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971, с. 132].

Специфика Бугутской стелы заключается в согдийской и санскритской надписях, появившихся в отсутствии тюркской рунической письменности в VI в. [Коренько В.А., 2001, с. 363]. Важная роль согдийцев и их высокие позиции в социально-политической системе Первого каганата отражены уже китайскими летописцами [Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971, с. 143–144]. Включение группы иноземцев в иерархию номадов лишней раз демонстрирует сложность и многокомпонентность последней.

Особого рассмотрения заслуживает также проблема определения степени влияния Китая на формирование и первоначальное становление социально-политической системы тюрков. Данный вопрос представляет собой самостоятельную тему для исследования, и решение его осложняется ограниченностью имеющихся материалов. Вместе с тем нет никаких сомнений в том, что влияние китайской культуры на общество номадов, особенно на элиту кочевников, было весьма ощутимым. Некоторые сведения в указанном направлении предоставляют материалы исследований археологических объектов. Так, рассмотренные выше мемориальные памятники элиты второй половины VI – первой половины VII вв. демонстрируют высокую степень подражания традиционным китайским комплексам. По заключению В.А. Коренько [2001, с. 365–366], Бугутская стела, как и подобные ей более поздние поминальные объекты Монголии, являются уменьшенным и несколько упрощенным воспроизведением китайских стел, получивших распространение в Поднебесной империи уже с VI в.

Таким образом, социальная организация тюрков в эпоху Первого каганата предстает как сложная система, включающая различные компоненты. Археологические материалы отражают процессы трансформации общества кочевников крайне фрагментарно, однако дополнение этих отрывочных данных сведениями письменных источников позволяет сформировать более или менее объективную картину развития социума кочевников.

Следующим периодом в истории тюрков, который также можно рассматривать как особый этап социогенеза номадов, является время их зависимости от Китая после крушения Восточного каганата в 630 г. Изменения социально-политической организации кочевников, происходившие в этот период, связаны с процессом «встраивания» в административную систему Поднебесной империи. Из династических хроник известно, что, согласно решению императора, тюрков было решено использовать для охраны границ, а также в ходе дальних военных походов [Бичурин Н.Я., 1950, с. 256–258]. Эта информация находит подтверждение в рунических текстах, созданных уже в период существования Второго Тюркского каганата и сообщающих, что номады «стали рабами своим крепким мужским потомством и рабынями своим чистым женским потомством», «пятьдесят лет служили табгачскому правителю и отдавали свои духовные и физические силы» [Малов С.Е., 1951, с. 37; Тугушева Л.Ю., 2008, с. 39–40]. Включение кочевников в военно-административную систему Китая сопровождалось созданием двух наместничеств, находившихся под управлением китайских чиновников [Кляшторный С.Г., 2003, с. 95–97; Гумилев Л.Н., 1967, с. 208–209]. При этом сохранялось значение и высокое положение представителей прежней элиты номадов, получивших соответствующие должности [Кычанов Е.И., 2010, с. 115].

Имеющиеся источники не позволяют подробно рассмотреть изменения социальной системы тюрков в период зависимости от Поднебесной империи. При оценке этих процессов следует учитывать, что тесное и разноплановое взаимодействие с Китаем к этому времени имело уже давнюю историю, некоторые аспекты которой отражены выше. К примеру, показательна активная внешняя политика правителей династии Суй, состоявшая в целенаправленной системе подкупов-подарков представителям элиты номадов, заключении междинастийных браков и др. Не меньшее значение имело проникновение в среду кочевников (причем здесь уже имеются в виду не только представители высших слоев общества) различных элементов китайской культуры. Весьма ярко и образно влияние Поднебесной империи отражено в рунических текстах VIII в., сообщающих о «коварных, хитрых и склонных к обману» чужеземцах, а также о «сладких речах и мягких шелках», которые обрекли на гибель тюркский народ [Малов С.Е., 1951, с. 34–35; Тугушева Л.Ю., 2008, с. 36, 39]. Поэтому, учитывая обозначенные факторы, представляется возможным утверждать, что коренной перестройки социальной системы тюрков в 630–679 гг. не произошло; принципиальные изменения наблюдались скорее в области административного устройства и политической организации. При этом достаточно сложно оценить ситуацию на периферии бывшего каганата. Судя по всему, на окраинах кочевых империй, в том числе на территории Алтае-Саянского региона, разобщенные племена номадов сохранили значительную степень независимости, находясь на удалении от крупных оседло-земледельческих и военных центров.

До недавнего времени археологические материалы предоставляли крайне мало информации для детализации обозначенных процессов. Анализ раскопок погребальных комплексов тюрков на территории Алтае-Саянского региона и Центральной Азии, относящихся к VII в., не позволял выделять объекты, отражающие какое-либо влияние китайской культуры, за исключением весьма немногочисленных для этого периода импортных изделий из Поднебесной империи. Лишь в последние годы появились весьма интересные археологические комплексы, в некоторой степени иллюстрирующие этот период истории кочевников.

Речь идет о двух памятниках, исследованных в Центральной Монголии в 2009 и 2011 гг. – Шороон Дов (Шороон Бумбагар-I) [Данилов С.В. и др., 2010; Бураев А.И., 2012, 2016] и Шороон Бумбагар-II (Майхан-уул) [Алтынбеков К., 2011; Очир А. и др., 2013]<sup>169</sup>. Нет сомнений, что изучение результатов раскопок этих комплексов, не имеющих аналогий в раннесредневековой археологии, только начинается, а интерпретация полученных материалов является предметом отдельной работы. Вместе с тем уже накоплен определенный опыт изучения обозначенных комплексов [Серегин Н.Н., 2017]. Судя по имеющимся сведениям, эти памятники не оставлены непосредственно тюрками – по крайней мере, первый из упомянутых объектов, в ходе изучения которого зафиксирована эпитафия, выполненная китайскими иероглифами и обнаруженная на двух плитах перед входом в погребальную камеру [Очир А. и др., 2013а, с. 97–126; Эрдэнэболд Л., Цэрэндорж Ц., 2015, с. 457–462]. Анализ текста позволил установить, что гробница была возведена для главы племени Пугу, находившегося на службе у танского императора и имевшего довольно высокий военно-административный статус. Вместе с тем «элитные» памятники могут быть использованы для рассмотрения общих тенденций истории обществ номадов в середине – третьей четверти VII в.

Материалы раскопок обозначенных объектов не просто демонстрируют высокую степень влияния китайской культуры на кочевников Монголии, но и по сути являются скорее китайскими. Конструктивные особенности комплексов (крупная земляная насыпь, длинный и довольно глубокий коридор-дромос, ведущий в подземный склеп, общая меридиональная ориентировка со входом на юге и др.), глиняные и деревянные фигурки стоящих людей и всадников, изображения на стенах дромоса и др. – все это весьма характерно для погребальных традиций элиты Поднебесной империи. «Кочевнический» облик имеют лишь некоторые предметы инвентаря из мавзолея Шороон Бумбагар-II (Майхан-уул) [Очир А. и др., 2013, 58 дугаар зураг].

---

<sup>169</sup> В отечественных, монгольских и англоязычных публикациях, в том числе подготовленных авторами раскопок, наблюдается разноречивость в обозначении рассматриваемых «элитных» комплексов тюркского времени. Во избежание путаницы в настоящем очерке используются развернутые наименования объектов.

Обозначенные характеристики «элитных» комплексов Монголии в полной мере отражают историческую ситуацию, зафиксированную в письменных источниках и в общем виде представленную выше. Судя по всему, эти объекты были сооружены для представителей высшего уровня иерархии областей, населяемых кочевниками, но находившихся в подчинении у императоров Поднебесной империи. Детализировать процессы взаимодействия номадов с Китаем позволит дальнейшее изучение эпитафии из мавзолея Шороон Дов (Шороон Бумбагар-I), а также исследование других подобных объектов.

Политическая зависимость тюрков от Китая продолжалась сравнительно недолго. В 679–689 гг. кочевники в результате упорной борьбы восстановили каганат. Наивысшие подъемы политического могущества Второго Тюркского каганата относятся к 691–716 и 721–734 гг. [Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 101, 109]. При этом непродолжительное время существования кочевой империи (до 744 г.) было наполнено постоянными военными столкновениями практически на всех направлениях – как с другими кочевыми племенами, так и с Китаем. Несмотря на короткие периоды стабильности, именно в это время в каганате сложились те формы организации общества, которые наиболее подробно известны из рунических текстов. Различные стороны социальной организации номадов Второго Тюркского каганата по письменным источникам неоднократно рассматривались исследователями [Бернштам А.Н., 1946б; Ганиев Р.Г., 2006; Кычанов Е.И., 2010, с. 114–144; и др.], поэтому имеет смысл обратиться к более фрагментарно изученным в этом отношении археологическим материалам.

К периоду существования Второго Тюркского каганата относится большая часть исследованных погребальных комплексов, предоставляющих значительный объем информации для реконструкции различных аспектов социальной истории номадов. Материалы раскопок памятников этого периода демонстрируют наивысшую степень сложности общества, по сравнению с захоронениями предшествующего времени. Погребальные комплексы последней трети VII – первой половины VIII вв. отражают существование различных слоев населения, а также гендерную, возрастную и профессиональную дифференциацию социума номадов. По сути, большая часть наблюдений и выводов, сделанных в области исследования структуры и организации общества тюрков по материалам погребальных комплексов, основана на результатах анализа памятников данного периода.

Важным показателем развития общества тюрков, которое наглядно демонстрируют материалы погребальных комплексов эпохи Второго Тюркского каганата, является дифференциация социума, связанная с неодинаковым «статусом» племен кочевников, проживавших на различных территориях. Вероятно, такая ситуация была обусловлена сложным этническим составом общности номадов в рассматриваемое время. Так, наиболее «элитные» погребальные

комплексы второй половины VII – первой половины VIII вв. раскопаны на территории Алтая [Савинов Д.Г., 1994; Могильников В.А., 1997а; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003; и др.]. Серия сопоставимых объектов, материалы которых, однако, несколько менее представительны, исследована в Туве и Монголии [Боровка Г.И., 1926; Евтюхова Л.А., 1957; Грач А.Д., 1958; Длужневская Г.В., 2000]. В период существования Второго Тюркского каганата наиболее полно раскрывается периферийный характер общности номадов на территории Минусинской котловины. Показателем такой ситуации является почти полное отсутствие в погребениях «престижных» категорий предметов, в том числе импортных изделий. Вместе с тем в указанном регионе также существовала местная элита, наличие которой демонстрируют материалы раскопок отдельных комплексов [Тетерин Ю.В., 1999].

Также периодом Второго Тюркского каганата датируется большая часть мемориальных комплексов знати, изученных на территории Монголии [Войтов В.Е., 1996; Жолдасбеков М., Сарткожаулы К., 2006]. По наблюдениям В.Е. Войтова [1996], материалы исследований этих памятников отражают дифференциацию элиты кочевников, о чем свидетельствует вариабельность фиксируемых конструктивных элементов сложных сооружений. Такая ситуация подтверждается сведениями о титулатуре номадов, приведенными в тюркских рунических текстах, которые обнаружены на отдельных мемориальных комплексах. Рассматриваемые памятники демонстрируют сохраняющееся влияние культуры Китая на элиту тюрков. Хрестоматийными можно считать сведения о том, что, по крайней мере, в сооружении нескольких объектов приняли участие китайские мастера [Малов С.Е., 1951; Тугушева Л.Ю., 2008].

Увеличение количества мемориальных комплексов знати, расположенных в центре каганата, является не только показателем трансформации общества номадов и усложнения структуры социума кочевников, но также демонстрирует рост числа представителей высших уровней военно-политической иерархии. Процесс «перепроизводства элиты» – явление, известное не только не только для тюрков, но также и для других кочевых империй Центральной Азии [Крадин Н.Н., 2001, с. 221; Крадин Н.Н., 2006, с. 507–508; Васютин С.А., 2005а, с. 58; Васютин С.А., 2010, с. 53] – мог стать одной из причин кризисных явлений, приведших к крушению Второго каганата.

После падения каганата в 744 г. тюрки вошли в состав политических объединений уйгуров (745–840 гг.) и кыркызов (840 – около 950 гг.). Политическая и социальная общность кочевников была разрушена. Номады продолжали существовать в виде обособленных групп, статус которых определялся степенью включения территории, на которой они проживали, в бурные процессы борьбы за гегемонию в Центральной Азии. Так, Монголия, Тува и Минусинская котловина были регионами, в которых в разное время располагались политические центры уйгуров и кыркызов, поэтому возможности консолидации общества



тюрков в указанных областях были весьма ограничены. Значительно большей степенью самостоятельности обладали номады Алтая, не вовлеченные в перипетии перманентного противостояния кочевых племен в последней четверти I тыс. н.э. Судя по всему, обозначенный регион не вошел в состав Уйгурского каганата и был присоединен к государству кыркызов лишь номинально [Кубарев Г.В., 1998а, с. 292–293; Тишкин А.А., 2007, с. 199–200; Худяков Ю.С., 2007, с. 129].

Данная ситуация в полной мере находит подтверждение в археологических материалах, которые в условиях почти полного отсутствия письменных источников по истории тюрков второй половины VIII – XI вв. становятся основой для наблюдений о специфике существования общества номадов. Именно на территории Алтая в рассматриваемый период исследована большая часть известных погребальных и поминальных памятников. Важным показателем является сохранение в указанном регионе местной элиты, что демонстрируют материалы раскопок серии «богатых» погребений [Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941]. В этих и других захоронениях обнаружены «престижные» категории материальной культуры, в том числе предметы импорта. Вместе с тем памятники, исследованные на территории Алтая и в сопредельных регионах, отражают процессы «размывания» общества тюрков, влияния со стороны других групп номадов и постепенного упадка рассматриваемой общности кочевников. Показателем этих процессов можно считать как новации в предметном комплексе, так и отдельные изменения, фиксируемые в погребальной обрядности. Частным примером является распространение на территории Алтая, Монголии и Тувы «одинокых» погребений (без лошади) [Грач А.Д., 1968; Трифонов Ю.И., 2000; и др.] и скальных захоронений [Худяков Ю.С., Кочевев В.А., Моносов В.М., 1997; Соенов В.И. и др., 2002; Турбат Ц., Батсух Д., Батбаяр Т., 2010; и др.], большая часть из которых относится к поздним этапам истории тюрков.

Последние сведения о тюрках в письменных источниках относятся к 941 г. [Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 110]. В целом, X–XI вв. являлись периодом постепенного затухания традиций культуры кочевников и дезинтеграции сохранявшихся элементов социальной системы кочевников на отдельных территориях.

Таким образом, динамика социальной системы тюрков Алтае-Саянского региона и Центральной Азии в значительной степени определялась спецификой политической ситуации на этих территориях. На формирование и эволюцию общества номадов оказали серьезное влияние как традиции кочевников предтюркского времени, так и специфика социально-политического устройства могущественного соседа – Поднебесной империи. В свою очередь, тюрки заложили основы для существования Уйгурского и Кыркызского каганатов, определив вектор развития кочевой цивилизации в регионе на несколько столетий.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая монография представляет собой опыт комплексного анализа источникового материала по социальной структуре тюрков Центральной Азии второй половины I тыс. н.э. Общество кочевников было рассмотрено как цельный конструкт, с выделением, насколько это позволяли имеющиеся материалы, ряда составляющих структуры, таких как социальная дифференциация и стратификация, их соотношение и критерии, а также социальная мобильность. Непосредственно связан с социальной структурой вопрос об элите, – ее сущности, структуре и функциях, – неизбежно уводящий к проблематике властных отношений в тюркском обществе. Авторами монографии, планирующими специальную работу, здесь он сознательно был оставлен в стороне.

Выводы и наблюдения, представленные в данной книге, сделаны на основе корреляционного анализа сведений из письменных и археологических источников, с использованием данных лингвистики, фольклора и этнографии. Все эти группы источников имеют свою специфику и отличаются степенью информативности в отношении анализа той или иной сферы социальных отношений в тюркском обществе. В основу предложенной классификации материалов был положен такой критерий, как первичность двух основных типов источников – письменных и археологических, с выделением соответствующих групп внутри них. Кроме этого, каждая из групп, в свою очередь, включает различное число таксономических уровней.

При классификации письменных источников было принято решение пренебречь жанровым критерием. Письменные источники условно разбиты на две больших группы (*внутренние* и *внешние*) исходя из этнокультурной и политической принадлежности авторов, во многом совпадающей с их лингвистической принадлежностью. К первым отнесены те источники, происхождение которых отражает восприятие не только тюркского, но и кочевнического общества инсайдером, ко вторым – сторонним наблюдателем. Типологизация материалов внутри этих групп также является в высшей мере условной, поскольку различные виды источников тесно переплетаются друг с другом. Так, записанные на каменных стелах и скалах древнетюркские рунические тексты подразделяются внутри на ряд жанров, один из которых – эпитафии – находит соответствия в китайской традиции. К примеру, мы располагаем такой группой источников, как эпитафии тюркской элиты, созданные китайскими мастерами

и написанные, соответственно, на китайском языке. При этом среди текстов на согдийском языке выделяются надписи на стелах тюркских каганов, которые таким образом представляют собой внутренний продукт тюркского общества, в то время как другие тексты среднеазиатского происхождения являются плодом деятельности автономных согдийских общин. Тюрко-монгольский фольклор достоверно не отражает реалий тюркского общества второй половины I тыс. н.э., однако в сопоставлении с этнографическими материалами может быть использован для реконструкции отдельных аспектов истории номадов, будучи с определенной долей условности экстраполирован на те сферы, которые остались недостаточно освещенными аутентичными источниками.

И памятники древнетюркской рунической письменности, и памятники уйгурского письма, и источники, содержащие запись материалов фольклорного жанра, являются одновременными и даже, за исключением рунических текстов, не аутентичны для рассматриваемой эпохи с точки зрения содержащихся в них сведений, но имеют значение как лингвистические источники. При этом и лингвистические материалы, и данные этнографии определенно позволяют говорить о соответствии основных механизмов социальных взаимодействий всех тюркоязычных сообществ Центральной Азии в период существования Тюркских каганатов и некоторого времени после падения власти тюрков на контролируемых ими непосредственно и сопредельных, схожих по ландшафтным характеристикам, территориях. Последний момент соответствует условному определению периода VI–X вв. в истории Центральной Азии как *древнетюркской эпохи* – исходя из языкового и культурного единства существовавших здесь в этот период общностей.

Письменные источники, выделенные в категорию *внешних*, гораздо более системно типологизируются по видовому признаку на основе критерия этнокультурной и, соответственно, языковой среды происхождения их авторов (китайские, согдийские, византийские и т.д.). Условное включение в разряд *внутренних* источников сравнительно-исторических и этнографических материалов в первом случае объясняется принадлежностью их создателей к кочевнической среде, во втором – тем фактом, что собиравшие сведения о кочевниках авторы, хоть и принадлежали к совершенно иной культурной традиции, тем не менее, не имея ни задач, ни возможности (в силу, как правило, уровня науки) для концептуального осмысления собранных сведений, предоставили, по сути, первичный фактический материал, потенциально подлежащий интерпретации.

Основной объем сведений, полученных в ходе анализа археологических материалов, связан с интерпретацией результатов раскопок *погребальных комплексов*. Именно эта группа памятников тюрков Центральной Азии представляется самой информативной при изучении различных аспектов социальной истории номадов. При этом основу источниковой базы составили наиболее

многочисленные объекты, исследованные в Алтае-Саянском регионе. Привлекались также не столь представительные в количественном отношении материалы раскопок тюркских некрополей на территории Монголии и в меньшей степени – комплексы, расположенные в Тянь-Шане, Казахстане и Узбекистане. На различных этапах работы использовались сведения, полученные в ходе изучения тюркских «*поминальных*» памятников – как «рядовых» объектов (оградки, изваяния, балбалы и другие сопроводительные сооружения), так и мемориалов знати. В качестве дополнительного источника рассматривались петроглифы раннего средневековья, обнаруженные в различных частях Центрально-Азиатского региона.

Степень привлечения конкретных групп источников и соотношение между сведениями, полученными в ходе их анализа, были в значительной степени обусловлены специализацией авторов настоящей монографии. Несмотря на кажущуюся широту источниковой базы, характеризующуюся обилием материалов и их разнообразием, целый ряд проблем и дискуссионных вопросов, представленных в книге, не может претендовать на решенность. В связи с этим, а также учитывая комплексный характер поставленных задач, в книге отсутствуют категоричные заключения и глобальные обобщения, а также интерпретации, осуществленные в строгих рамках какой-либо из существующих теорий социогенеза.

По вопросам социальной истории тюрков Центральной Азии написано огромное число работ разного плана. Однако со времени выхода книги А.Н. Бернштама [1946б], объективно устаревшей ввиду расширения источниковой и теоретико-методологической базы, подобных попыток целостного обобщения не предпринималось. Вместе с тем отдельные вопросы социальной истории тюрков с той или иной степенью проработки изучались целым рядом специалистов различных профилей: историками, археологами, филологами, лингвистами, этнографами, антропологами и т.д. Это обусловило накопление обширной историографии<sup>170</sup>. Нельзя не отметить тот факт, что, в сущности, вопросы изучения социальной структуры поднимались преимущественно в марксистской историографии, подразумевающей акцент на различные стороны хозяйственной и социальной жизни общества, однако осуществляющийся в рамках довольно жесткой схемы, в действительно нежизнеспособной, по крайней мере, в отношении кочевнических обществ. При этом именно советскими учеными предпринимались попытки какого-то концептуального осмысления особенностей социальной структуры тюрков (см., напр.: [Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 214–247; Тишин В.В., 2015а, с. 15–19]). В этом отно-

---

<sup>170</sup> Историография социальной истории Тюркских каганатов была предметом диссертационного исследования одного из авторов данной работы [Тишин В.В., 2015а]. В настоящее время реструктурированный, исправленный и дополненный текст готовится к публикации в виде монографии.

шении не так интересна китайская историография, характеризующаяся почти исключительно теоретическими по своей природе спорами вокруг интерпретации социального строя Тюркского каганата в рамках классической марксистской пятиступенчатой схемы (обзоры см.: [Линь Гань, 1985; Жэнь Бао-лэй, 2011; Тишин В.В., 2015г]). Работы венгерских, западноевропейских, американских и японских авторов имеют значительные преимущества по сравнению с трудами ученых-марксистов по причине широты доступных теоретико-методологических подходов, а значит – и возможности использования более разнообразного инструментария. В этих условиях неизбежной необходимостью оказалось привлечение публикаций, имеющих, на первый взгляд, опосредованное отношение к конкретной проблематике, однако содержание которых так или иначе может дать какой-то материал, потенциально значимый для решения проблем, связанных с социальной структурой тюркского общества.

Следует обратить внимание на то, что определенные вопросы к методике авторов настоящей работы может вызвать использование памятников древнетюркской рунической письменности енисейского бассейна для реконструкции тюркского общества. Эти источники традиционно рассматриваются в контексте истории енисейских кыркызов или в более общем плане – племен енисейского бассейна, которые, вероятно, характеризовались значительными отличиями в хозяйственной, а значит, и социальной жизни. Однако именно привлечение материалов, связанных не только конкретно с тюрками, но и с другими сообществами древнетюркского круга – *се-янь-то* 薛延陁, тюргешами, уйгурами, племенами енисейского бассейна (условными кыркызами) – позволило конкретизировать (а в отдельных случаях – и вовсе реконструировать) ряд моментов, имеющих значение для понимания специфики социальных взаимодействий в тюркской среде.

Важно подчеркнуть во избежание как двусмысленного, так и категоричного восприятия методики и заключений, приведенных в монографии, что использованный понятийно-терминологический аппарат не связан напрямую с какими-либо конкретными теоретико-методологическими парадигмами. В частности, четко разграничиваются противоречащие друг другу при формальном восприятии категории *тюрк* ~ *тюркский* и *древние тюрки* ~ *древнетюркский*. Первая употребляется в отношении непосредственно исследуемой общности, ставшей у создания каганата VI–VIII вв., четкая самоидентификация которой прослеживается по содержанию письменных источников и археологическим признакам. Авторы стремились избегать употребления этого термина в его другом значении, подразумевающим обозначение языковой общности, стараясь заменять синонимичным *тюркоязычный*. Категория *древнетюркский* также предполагает, прежде всего, лингвистический критерий. В то же время не должно вызывать ощущения противоречия употребление категории (*раннее*) *средневековье* ~ (*ранне*)*средневековый*, как и не должно служить

поводом для стремления находить у авторов эволюционистские воззрения на социогенетические процессы. Эта категория используется исключительно в отношении периодизации археологического материала, что обусловлено существующей традицией. Авторы, кроме того, намеренно исключили из своего терминологического инструментария дефиницию *государство* – не только по отношению к кочевническим объединениям, но и каким-либо историческим политиям вообще – предупреждая тем самым потенциальную возможность автоматической характеристики их взглядов на основании критерия употребления или неупотребления этого термина.

Благодаря обобщению сведений, почерпнутых из разноплановых источников древнетюркской эпохи, дополненных по возможности данными фольклора и сопоставленных с этнографическими материалами, а где-то – с результатами исследований коллег касательно других кочевнических обществ евразийских степей, представилось возможным прийти к выводам о соответствии ряда социальных институтов и механизмов их функционирования в тюркском обществе VI–VIII вв.

При работе с письменными источниками преимущественно приходится иметь дело с социальной терминологией и, в первую очередь, древнетюркской. Китайские тексты и источники, созданные в среде других народов, не дают внятного ответа на вопросы, касающиеся критериев социальной дифференциации и социальной стратификации, правового спектра представителей тех или иных социальных групп, предположительно маркируемых соответствующими терминами, а значит, и представлений о рамках этих групп и, соответственно, механизмах социальной мобильности. Однако они помогают проследить, прежде всего, на примере отдельных исторических персонажей, соотношение между положением индивида, исходя из его происхождения, племенной принадлежности, титулатуры, в иерархии племенной и военно-административной структуры Тюркских каганатов. Археологические исследования социальной структуры древнетюркского общества начаты сравнительно недавно, имеют региональный характер и могут дать пока достаточно ограниченный материал. Поэтому важным методическим ходом, на наш взгляд, оказалась попытка «наложить» древнетюркскую терминологию на результаты археологических изысканий в тех случаях, когда последние могут представить достаточно четкие данные о критериях социальной дифференциации и возможных выделяющихся группах.

Все эти источники, в совокупности с данными языка и подтвержденные сравнительно-историческим и этнографическим материалом, позволили прийти к ряду достаточно определенных выводов.

Изучение различных аспектов социальной структуры тюркского общества позволило обозначить и конкретизировать типичные для кочевнических социумов евразийских степей показатели: наличие возрастных классов с со-

ответствующим для каждой ступени спектром прав и обязанностей; высокое положение женщины, обусловленное ее хозяйственными функциями; экономическая обусловленность полигамии; сравнительно высокая вертикальная социальная мобильность; неразвитость рабства и неразграниченность функциональных характеристик зависимых категорий населения.

*Особенно важной представляется возможность* говорить об особом механизме социального подчинения, отождествлявшего и сводящего под один знаменатель в понимании самих кочевников те формы социальных отношений, под которыми при изучении оседлых обществ привычно понимать «рабство», институт дружины и вассалитет, при этом не делая различий между формами личной и коллективной зависимости, в масштабах как двух индивидов, так и крупных сообществ, и даже политических объединений, соответствующих государственному уровню (на примере политических образований оседло-земледельческих народов). Этот аспект имеет огромную важность для понимания механизмов как общественной организации, так и социальной, и тем более политической структуры, и делает перспективным их изучение с этих позиций в последующем.

В данном случае следует остановиться на стремлении турецких ученых показать тюркское общество как открытую социальную систему. Их попытки сравнивать в этом плане разделение древнетюркского общества по принципу *черной кости* и *белой кости* с изначальной отсылкой, безусловно, к казахскому материалу совершенно некорректны. Ведь *черная* и *белая кость* у казахов представляли как закрытые социальные категории, принадлежность к которым определялась только рождением, но и это разделение составляло лишь один из уровней социальной градации общества, не исключая такого важного фактора, как имущественная дифференциация. При этом, как хорошо показал С.Г. Кляшторный на примере именно тюркского общества, имущественное положение, во многом определявшее и социальный статус индивида, целиком зависело от его личных качеств, прежде всего военных доблестей, увеличивающих его материальное состояние и поднимавших тем самым его престиж среди сообщников. Нам показалось возможным лишь подтвердить выводы исследователя, дополнив их указанием на такой критерий, как положение индивида в системе координат, определяемой системой родства.

Продолжая речь об известной дифференциации у кочевников родов и племен на «благородных» (монг. *noyad*, каз. *ақ сүйек*) и «простолюдинов» (монг. *хараси*, каз. *қара сүйек*) [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 364; Толыбеков С.Е., 1971, с. 503], следует отметить, что если у казахов принадлежность к *белой кости* определялась отношением к потомкам Чингисхана, то, например, у монголов мы видим, что никакое имущественное богатство и социальное положение в актуальный момент не могло стереть в сознании кочевников прежних, имевшихся за родом (в понимании генеалогической структуры) связей. Так, напри-

мер, по «Тайной истории монголов» и «Джāми' ат-тавāрйх» Рашīд ад-Дīна ат-Табībба, Тэмучжин назвал То'орила «братом» только потому, что, как он говорит ему, «ты мой раб по наследству», ведь его предок был пленным предка Тэмучжина [Владимирцов Б.Я., 2002, с. 360–361]. Так или иначе, по-видимому, имел место принцип знатности, не связанный, прежде всего, с имущественными отношениями, на основе которого формировались разграничения правовых норм для тех или иных членов общества. В определенный период складывалась некоторая привилегированная группа родов, которая, по крайней мере, в восприятии населения не просто могла претендовать на обладание определенными преимуществами в конкретных вопросах экономической, социальной и политической жизни, но монополизировала за собой эти преимущества. А.М. Хазанов именует их «сословиями» (*estate*) [Khazanov A.M., 1994, p. 146; Хазанов А.М., 2002, с. 253–254]. Статус тех или иных групп закреплялся за счет института фиктивных генеалогий, создающего эффективный механизм, позволяющий регулировать модель представлений о положении племен в общей иерархии и подстраивать ее под соответствующие исторические реалии [Khazanov A.M., 1994, p. 141–142; Хазанов А.М., 2002, с. 247–248].

Отсюда следует необходимость понимания именно роли идеологии в кочевническом обществе. Исследователями не раз отмечалось в отношении древнетюркской эпохи значение идеологического фактора для сплочения социумов номадов в рамках одного политического объединения, отраженного в стремлении представителей доминирующей племенной группы монополизировать сакральные функции для создания общей надплеменной идеологии, сконцентрированной на божественном статусе правящего рода [Deér J., 1938, 22–28. o.; 1954, s. 168–172; László F., 1967, 9–10. o.; Váczy P., 1940, 112–114. o.; Ecsedy H., 1972, p. 254; Kürsat-Ahlers E., 1996, p. 145; Drompp M.R., 2005, p. 108]. С.Г. Кляшторный попытался показать это на примере сужения тюркской племенной генеалогической легенды на до масштабов мифа о происхождении только каганской семьи [Кляшторный С.Г., 2003, с. 249–252; 2006, с. 449–453; 2010, с. 185–187; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 77–78].

Дискуссионным вопросом, попытка решения которого предпринята в одном из очерков монографии, стала проблема существования дружины у тюрков Центральной Азии. Анализ письменных источников дает возможность лишь говорить о наличии у кочевников некоей стражи и войсковой иерархии, не позволяя конкретизировать природу этих явлений, особенности их формирования и функционирования. Археологические материалы демонстрируют существование нескольких групп памятников тюрков, которые по совокупности показателей могут быть связаны с захоронениями профессиональных воинов различного уровня. Сопоставление выделенных групп с конкретными позициями войска номадов, а также однозначное отнесение рассматриваемых комплексов с погребениями дружинников представляется преждевременным.



Не менее проблемной остается тема, связанная с выделением слоя служителей культа в социуме тюрков Центральной Азии. Пока лишь можно утверждать, что в письменных источниках фиксируется ряд терминов, используемых для обозначения людей с необычными способностями, которые при этом выполняли определенные функции в обществе, характеризуясь самым широким спектром «компетенций» – лечение, гадание, влияние на погоду и т.д. Материалы раскопок археологических памятников также не предоставляют аргументов в пользу тезиса о существовании у тюрков особой устойчивой группы лиц, занимавшихся культовой деятельностью. На данном этапе исследования представляется возможным предположить, что такие функции выполнялись главами родов или старейшинами, которые совмещали их с общей управленческой практикой.

С большей определенностью археологические материалы демонстрируют особенности символики власти в обществе тюрков Центральной Азии. Учитывая фрагментарный характер результатов исследований «элитных» мемориальных памятников, обусловленный редкостью проведения раскопок на таких объектах, основной объем информации об элементах предметного комплекса, отражающих высокое прижизненное положение погребенного человека, получен в ходе анализа «рядовых» погребений. По большей части символы власти были связаны с военным делом, что определялось высокой степенью милитаризации кочевников. Среди предметов, обнаруженных в захоронениях и отражающих высокий статус покойного, выделяются клинковое оружие ближнего боя (меч, кинжал), боевой топор, копье, а также защитный доспех. Определенное значение имели также богато оформленные предметы торевтики (прежде всего, наборный пояс), изготовленные с использованием драгоценных металлов. Вероятно, показательными были и некоторые атрибуты элиты, зачастую фиксируемые в результатах раскопок фрагментарно – элементы костюма, а также другие изделия из органических материалов.

Анализ археологических комплексов тюрков, исследованных в различных частях Центрально-Азиатского региона, позволяет наметить основные направления трансформации социальной системы кочевников. Наиболее важными в этом плане представляются материалы, демонстрирующие периоды существования общества кочевников, практически не освещенные в письменных источниках. Так, результаты раскопок памятников раннего этапа культуры тюрков (вторая половина V – первая половина VI вв. н.э.) вполне адекватно отражают период становления традиций новой общности, постепенной консолидации кочевников и сложения многокомпонентного политического и социального образования. Кроме того, можно говорить о том, что на формирование и трансформацию общества кочевников оказали серьезное влияние как традиции кочевников предтюркского времени, так и специфика социально-политического устройства могущественного соседа – Поднебесной империи. «Поздние» комплексы,

относящиеся к заключительным этапам истории тюрков (IX–XI вв. н.э.) фиксируют процессы дезинтеграции сохранявшихся элементов социальной системы кочевников на отдельных территориях, размывание общества номадов и влияние на них других объединений номадов.

Дальнейшие целенаправленные исследования, предполагающие комплексный анализ имеющихся материалов, позволят детализировать представленную реконструкцию различных элементов структуры социума тюрков Центральной Азии. Кроме того, нет сомнений, что в ближайшие годы значительный объем новых сведений будет получен в ходе археологических исследований на территории Монголии. Весьма перспективными являются также раскопки наиболее ранних комплексов тюрков, которые позволят наполнить содержанием начальный этап истории общности номадов. Таким образом, выводы и заключения, изложенные в очерках книги, нельзя считать окончательными. Скорее, они фиксируют сложившийся на сегодняшний день уровень понимания комплексного характера критериев, обуславливающих специфику социальной структуры тюрков Центральной Азии, и разноплановости оказывающих влияние на эти критерии факторов, определяя приоритетные направления работ и демонстрируя имеющиеся дискуссионные вопросы касательно не только конкретного общества, но и в отношении других объединений кочевников евразийских степей.

## SUMMARY

### **A Social History of Türks of Inner Asia (2<sup>nd</sup> half of the 1<sup>st</sup> millennium A.D.)**

#### **Part 1. Essays on Social Structure (based on Written Sources and Archaeological Data)**

The monograph presents the attempt to summarize and systematize a historical data on social structure of society of Türks on 6<sup>th</sup> – 8<sup>th</sup> centuries A.D., based the complex approach. Using mostly written and archaeological sources and partly data of linguistics, ethnography and folklore the authors to show one side of the social life of that community.

The main methodological problem of such research consist of difficulty to synthesize the terminology used in different disciplines such as at first turkology and archaeology. To avoid contradictions and ambiguity the authors decided to secure definitions typical for their own specialties. So, it should not to confuse the usage both of terms “drevnetiurkskii” (“Old Turkic”) and “srendevkovyi” (“Medieval”) in relation to alone community. The notion “Old Turkic” is only special for linguistic while the term “Medieval” is applying by archaeologists traditionally. In connection, it needs to be noticed especially also the fact of usage of the definition “tiurki” (“Türk / Türkic”) related to only Inner Asian community called *Türk* itself in contrast to, for example, ones named *Uyyur*, *Basmil*, *Qarluq*, *Qirqiz* etc. Of course, linguistically all of them were Turkic-speaking having also close customs, writing, social and political terminology, and even material culture, because of which there are foundations for considering them as a single linguo-cultural community calling “drevnie tiurki” (“Early / Old Turks”), as A.D. Grach had proposed. Along with the special terms discussed, in the text also used the definition “tiurkoiazychnyie” (“Turkic-speaking”) accounting for the historical and present time communities are close in language to do differ of the society researched.

In the context, it is necessity of understanding of the fact of usage the term “Medieval” for the corresponding historical period is nor connected with the theoretical views on historical process of the authors absolutely. Similarly, non-usage of the term “state” speaking of the nomadic society is the special way special move to avoid issues discussed not directly related to the matter.

It to be noticed especially needs is the applying of the term “Tsentral’naia Aziia” (literally “Central Asia”) that is “Inner Asia” in Western research tradition. In the view of the authors, the region includes territories of Mongolia, Southern Siberia, Trans-Baikal area and also Eastern Turkestan, Inner Mongolia and Ningxià Huí Autonomous Region, and Qīnghǎi and Gānsù provinces of the People’s Republic of China. In contrast, the term “Sredniaia Aziia” (literally “Middle Asia”), as analog of traditional for Western scholars “Central Asia”, is understood the area of either modern Kazakhstan, Kirgizstan, Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan.

Even researching, as it was noted above, the one side of social life of Türks only the authors far from thinking that it is possible to prepare a complete and comprehensive study. According to their thoughts, the monograph to do reflect the degree of complexity and set a certain stage of researches. The research task is understood as the analysis of the some kinds of criteria for social differentiation and the principles of stratification, the understanding of the correlation of various sections of the structure of society (levels of one’s involvement into power relations, material property stratification as well as gender and age, professional, ethnocultural one, etc.) and the social mobility mechanisms, the identification of social groups of strata and the boundaries are either between the groups and within ones, at the collective and at the individual level. Certainly, some of the problems remained unsolved and also some of ones were only indicated. In part, this is from the reasons why the structure of the book is of essay type.

The stock of historical sources were used are diverse. The prime criteria of classification written sources is of the ethnopolitical and, as a rule, corresponding to it linguistic affiliation of the authors. Firstly, it should be noted the sources of Turkic origin are of primary importance calling internal conditionally. But there is not only text written in Turkic language that are Old Turkic runic writing monuments. Partly Sogdian texts like Bugut Inscription are important too. These texts were the intellectual product of the nomadic culture to show the Turkic society from the inside. Turkic texts of later times are helpful to be considered as Linguistic source only. For researching the social terminology in comparative perspective they are able to analyze. All of the source of both Turkic and another nomadic origin like epic tradition also reflects the common characteristics of nomadic life and can to be use for comparative analysis of different features of social life of Türks.

Another group of written sources (external) were conditionally distinguished for inclusion of the texts of Chinese, Byzantic, Sogdian, Saka-Khotanese, Bactrian, Tibetan, Syriac, Caucasian, Arab and Persian (Muslim) authors. Contacts of different peoples and cultures with the Türks, which took place in different historical periods and characterized by varied depth and intensity, have been relevantly reflected in these texts. Under different either viewing angles and with various degrees of approximation the texts can to preserve the information on the Türkic society too.

Among the archaeological sources the material of funerary complexes is the most informative. The group includes variety of archaeological objects excavated in the Altai-Sayan area. The material of burial complexes from territory of Mongolia being not so numerous was also analyzed as well as of ones from Tian-Shan, Kazakhstan and Uzbekistan. At various stages of the studying work it had been possible to attract partly the materials of cult-memorial monuments being both “ordinary” objects like enclosures, stone figures, *balbals* etc., and also memorials of elite. For additional evidence was used also petroglyphs discovered in different areas of South-Siberia and Mongolia.

It is impossible to speak that social structure of Türks had yet not become the subject of special researching works. Since the moment of publication of the monograph of soviet scholar A.N. Bernshtam have not appeared the special research of the society of Türks in form of Monograph. Of course, different soviet students and ones of another Marxist schools like China, for example, had paid attention on the Türks, however, their results are methodologically unlike now. There are also much scholars from different countries (Hungary, Germany, France, Great Britain, USA, Turkey, Russia, Japan etc.) whose works based on the original source data like book of A.N. Bernshtam. But, one hardly can to find a comprehensive study of the social structure of Türks. It is possible also to note that all of researchers identified, depending on own methodological view, three or four social strata among the Türks that were ruler (*qayan*) and his relatives, nobles (*bäg*), common (or ordinary) people (*qara bodun*) and slaves (*qul, küñ*), sometimes noticed the group of retainers of nobles.

Unfortunately, it was not the place to analyze the terms evidently connecting to the issues of social organization, not only of social structure. But in the present book the attention was paid to the fact of covering of social structure and social organization among the nomadic societies, in particular, the dependence of the criteria of the first on the latter.

As a result of the summarizing of all diverse data and using the results of predecessors, it had become possible to draw much conclusions related to Türkic society. Firstly, it should be marked that using an original material we can now affirm the presence of different social phenomena and institutions here are typical for nomadic societies. They are classify kinship system of Omaha type, which is patrilineal (as Sh. Baştuğ wrote), family-related group as a low-level community, nuclear or close to extended type of family which is based on one household. That fact, of course, not connects to social structure directly, but determines the criteria of it. Not only Family and close relatives or neighbors influenced on the process of one’s initial socialization, but also the position in the general of society, defined by the norms of human coexistence adopted here, basing of much criteria like gender, age, genealogical position, played important role in defining the status of individual. The type of family, that as nuclear in our case, had determined the status of woman

in society intending the due range functions and rights. So, polygamy was caused economic needs first of all. It needs to research especially also factors influenced by the status of woman, that had related to sphere of intercommunity relations. For example, analyzing the system of kinship, the researching of marriage relationship was excluded from the work, as well as the institution of *leviratus* was considered in the book only from the point of view of the internal structure of the society.

It was the phenomena of *age stratification* of Türkic society explored. This part of researching work presented the experience of the direct correlation of the archaeological data with the social terminology of Old Turkic runic writing monuments confirming by ethnographic and folklore data, however, only with respect to the male population. As a result, it was possible to identify the following categories: children (*oγli*), youngers (*oγlan*), adult men (*är*) and elders (*qari*). The interesting fact to be study especially is the indirect evidence of the institution of Männer-Brude reflected by polysemy of the term *oγlan* might to mark also the group of young warriors.

There are is reason not to agree with S.G. Klyashtorny established the fact of high social mobility in Türkic society, depended on a number of factors first of which was of personal qualities of a man and, accordingly, the ability to become famous and obtain the wealth to increase one's social prestige. But an important factor was the position of the tribe to which the man belonged, in the general tribal hierarchy, which in many cases determined the potential of rise of his social status previously. The last occasion guide us to the range of issues related to social organization to study mechanisms of tribal interaction, for which it is not the place in the book.

But it, of course should be noticed the importance of theoretical model of tribal structure known as "superstratification" exposed by Deér József basing fundamental conclusions of W. Radloff, who as well as Vambéry Hermann, had indicated the segmental character of social organization of nomadic society and its flexibility and variability in all of taxonomic levels. It is impossible not to mention the works of Wolfram Eberhard and Omeljan Pritsak showed the fact of involving the social structure as a characteristic of the social organization of nomadic societies of Eurasian steppes.

In connection, the forms of social dependency were also analyzed in the book. The fact that deserves special attention is that there no in Old Turkic lexicon special term to define forms of either personal or collective dependence only. There terms *qul* and *küñ* are both found in Old Turkic runic writing monuments, relating to the male and female populations respectively, had designated any forms of social subordination. The term *tat* had marked the groups of agricultural population subjected to Türks. Nothing as can be saying about the slavery in classical ("antique") understanding. All of forms of social dependence had satisfied requirements of the pastoral nomadic economy. In the same time there is an archaeological evidence on the of low-status group among the male population.

It was investigate the specific model of subordination in a hierarchy in all of levels of Türkic society in relation both to individuals and communities. The institution of *comitatus* (warband, retainers) also can to be marked here. At least, the archaeological data does possible to view the burials of the professional warriors of different levels. The basic problem in this case is in understanding of written source data given only indirect evidence of the existence of some group of warriors who can be either a royal escort or a *comitatus*. Not the least role plays the well-known fact of the total militarization of the nomadic male population. It seems premature now to draw a concrete conclusion about whether there were professional warriors only associated with a certain military unit, or representatives of the male population being in personal dependence on someone and performing military functions mainly.

Equally problematic is the question on the existence of strata of ministers of religion among Türks. In written source is evident the fact of presence of various term to mark minister of religion of some sort, which functions accordingly associated with different sphere like healing, divination, influencing the weather etc., i.e. connecting to the “everyday” level. The archaeological material is also not able to give the adequate evidence of the existence of the stable social group to indicate the ministers of religion only. The most likely correct is the opinion of the concentration of sacred functions in the hands of the representatives of political elite like clan leaders and tribal chiefs, which combined both administrative and religious functions

Features of the symbols of power are definitely illustrated by the archaeological materials. Despite the fragmentary character of data on “elite” complex, because of insufficient excavation of objects of suitable type, the “ordinary” burials material being used does possible to state the symbols were associated with military affairs predominantly, fact of which reflected the high level of militarization of nomadic society. So, among the objects to be a high-status marker found in the burials are melee weapons (sword, dagger), battle axes, spears, and also *body armors*. Of some importance were also objects of toreutics made with the use of precious metals and richly decorated (first of all, belts). Probably, were also indicative some material characteristics of the elite-group like, for example, costume elements, as well as other items made of organic materials, had in most of cases detected only fragmentarily.

The analysis of different archaeological complexes known related to Türks also does possible to image the directions of the social system transformation of the nomads. There are materials to do show processes not reflected in written sources. So, one can find in materials of the early stage or archaeological culture of Türks (2<sup>nd</sup> half of 5<sup>th</sup> – 1<sup>st</sup> half of 6<sup>th</sup> centuries A.D.) the evidence of the process of the shaping of the new community, integration of different nomadic groups into new multi-component formation. It is evidential fact the influence of both the traditions of local

nomadic societies and features of socio-political systems of China to the process. At the same time, later complexes belonged to the final period of Türkic history (9<sup>th</sup>–10<sup>th</sup> centuries A.D.) reflects the processes of disintegration of the nomadic social system elements, kept in local territories, the assimilation of the community into another nomadic societies.

It is thinking the future research work basing the complex data would allow to detail the reconstruction presented of not only some various aspects of the social structure, but also social life of Türks as a whole. Undoubtedly, in the coming years a significant number of new materials will be presented due to archaeological research on the territory of Mongolia.

Are excavations of the earliest complexes of the Türks also very promising to clarify the early stages of the history of the nomadic community. Thus, the points and conclusions stated in the book presented should not considered as completed ones noways. There is only the result of attempt of synthesis of complex source data on the different aspects of social structure of Türkic society both to fix certain facts and indicate questions discussed, outside of any theoretical scheme.



## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Абрамзон С.М. Этнографические сюжеты в эпосе «Манас» // Советская этнография. 1947. №2. С. 134–154.

Абрамзон С.М. Формы родоплеменной организации у кочевников Средней Азии // Родовое общество. Этнографические материалы и исследования. М.: Изд-во АН СССР, 1951 (Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, новая серия. Т. XIV). С. 132–156.

Абрамзон С.М. Некоторые вопросы социального строя кочевых обществ // Советская этнография. 1970. №6. С. 61–73.

Абрамзон С.М. Формы семьи у дотюркских и тюркских племен Южной Сибири, Семиречья и Тянь-Шаня в древности и средневековье // Тюркологический сборник. 1972. Памяти П.М. Мелиоранского. М.: Наука, 1973. С. 287–305.

Абрамзон С.М. О некоторых терминах родства в тюркских языках // *Turcologica*. К семидесятилетию академика А.Н. Кононова. Л.: Наука, 1976. С. 204–207.

Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Фрунзе: Кыргызстан, 1990. 480 с.

Абрамзон С.М., Потапов Л.П. Народная этногония как один из источников для изучения этнической и социальной истории (на материале тюркоязычных кочевников) // Советская этнография. 1975. №6. С. 28–41.

Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX–XIII вв. Ашхабад: Ылым, 1969. 296 с.

Агаджанов С.Г. Брачные и свадебные обряды огузов Средней Азии и Казахстана в IX–XIII вв. // Страны и народы Востока. Т. XXII. Средняя и Центральная Азия. География, этнография, история. М.: Наука, 1980. С. 225–238.

Азая Б. Тайхар чулууны руни бичээс // *Acta Historica Mongolica*. Монгол улсын Боловсролын их сургууль. 2007. Т. VIII. Fasc. 8. Тал. 68–75 дугаар тал.

Айдаров Г. Язык орхонского памятника Бильге-кагана. Алма-Ата: Наука, 1966. 94 с.

Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века. Алма-Ата: Наука, 1971. 380 с.

Айдын Э. Заметки по поводу названий тюркских племен, встречающихся в енисейских надписях // *Эпиграфика Востока*. 2011. Вып. XXIX. С. 3–13.

Алексеев В.М. Китайская история в Китае и в Европе // Труды по китайской литературе: в 2 кн. М.: Восточная литература, 2002. Кн. 1. С. 461–489.

Алексеев В.П. Материалы к палеоантропологии Западной Тувы // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. Т. I. Материалы по археологии и этнографии Западной Тувы. М.; Л.: АН СССР, 1960. С. 284–312.

Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1964. 128 с.

Алехин Ю.П., Илюшин А.М. Уйгурские курганы IX–X вв. на Рудном Алтае // Вопросы археологии Северной и Центральной Азии. Кемерово, Гурьевск: Изд-во КузГТУ, 1998. С. 207–219.

Аманжолов А.С. История и теория древнетюркского письма. 2-е изд., испр. и доп. Алматы: Мектеп, 2010. 368 с.

Андреев И.Г. Описание средней орды киргиз-кайсаков. Алматы: Гылым, 1998. 280 с.

Арабские источники о тюрках в раннее средневековье. Баку: Элм, 1993. 204 с.

Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности // Живая старина. 1896. Т. 6. Вып. III–IV. С. 277–456.

Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков большой орды и каракиргизов на основании родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований // Живая старина. 1894. Т. 4. Вып. III–IV. С. 391–486.

Арсланова Ф.Х. Культурные предметы из женских захоронений Прииртышья // Методические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск: ТГУ, 1981. С. 48–49.

Арсланова Ф.Х., Кляшторный С.Г. Руническая надпись на зеркале из Верхнего Прииртышья // Тюркологический сборник. 1972. М.: Наука, 1973. С. 306–315.

Ауэзов М.[О.] Киргизская народная героическая поэма «Манас» // Киргизский героический эпос «Манас». М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 15–84.

Ахсанов К.Г. Фридрих Вильгельм Радлов: «Государственность у кочевых народов» // Гасырлар авазы – Эхо веков. 1997. №3–4. С. 254–267.

Ахсанов К.Г. Проблема становления государственности тюрков-кочевников в домонгольский период в отечественной историографии: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09 / Камиль Гусманович Ахсанов. Казань, 1999. 157 с.

Бабаяров Г.Б., Кубатин А.В. Новые предложения относительно чтения слов и фраз в некоторых древнетюркских Енисейских памятниках // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 2016. Т. 22. С. 5–29.

Базен Л. Концепция возраста у древних тюркских народов // Зарубежная тюркология. Вып. I. Древние тюркские языки и литературы. М.: Наука, 1986а. С. 361–378.

Базен Л. Человек и понятие истории у тюрков Центральной Азии в VIII веке // Зарубежная тюркология. Вып. I. Древние тюркские языки и литературы. М.: Наука, 1986б. С. 345–360.

Базылхан Н. Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас). Алматы: Дайк-Пресс, 2005 (Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. II т.). 252 б., 144 бет жапсырма.

Базылхан Н. Древнетюркские письменные памятники в Монголии: каталогизация и музеефикация // Урало-алтайские исследования. 2010. №2(3). С. 7–18.

Базылхан Н. Древнетюркские надписи с территории Казахстана // Российская тюркология. 2013. №2(9). С. 95–105.

Балабанова М.А. Половозрастная структура населения позднесарматского времени Нижнего Поволжья // Российская археология. 2009. №3. С. 79–88.

Бартольд В.[В.] [Рец. на] К. Иностранцев, Хун-ну и Гунны. (Библиографический обзор теорий о происхождении народа Хун-ну китайских летописей, о происхождении европейских Гуннов и о взаимных отношениях этих двух народов) С.-Петербург, 1900 (отдельные отгиски из «Живой Старины»). 78 стр. 8<sup>0</sup> // Записки ВОИРАО. 1901. Т. XIII. Вып. IV (с приложением двух таблиц). С. 0109–0113.

Бартольд В.В. Арабские известия о русах // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. М.: Наука, 1963а. Т. II. Ч. 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. С. 810–858.

Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. I. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. М.: Наука, 1963б. С. 45–597.

Бартольд В.В. Церемониал при дворе узбекских ханов в XVII веке // Бартольд В.В. Сочинения. Т. II. Ч. 2: Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. М.: Наука, 1964. С. 388–399.

Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968а. С. 19–192.

Бартольд В.В. Древнетюркские надписи и арабские источники // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968б. С. 284–311.

Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968в. С. 195–229.

Бартольд В.В. Новые исследования об орхонских надписях // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968г. С. 312–328.

Бартольд В.В. Обзор истории тюркских народов // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968д. С. 425–437.

Бартольд В.В. Образование империи Чингиз-хана (пробная лекция, читанная в СПб. унив. 8 апреля 1896 г.) // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968е. С. 253–265.

Бартольд В.В. [Рец. на] Н.А. Аристов, Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968ж. С. 266–279.

Бартольд В.В. [Рец. на] E. Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. Recueillis et commentés par – Avec une carte // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968з. С. 342–362.

Бартольд В.В. [Рец. на] Léon Cahun, Introduction à l'histoire de l'Asie. Turcs et Mongols des origines à 1405. Paris, 1896 // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968и. С. 238–252.

Бартольд В.В. Связь общественного быта с хозяйственным укладом // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968к. С. 468–472.

Бартольд В.В. Современное состояние и ближайшие задачи изучения истории турецких народностей // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968л. С. 454–465.

Бартольд В.В. <Извлечение из сочинения Гардизи *Зайн ал-ахбār*> Приложение к «Отчету о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893–1894 гг.» // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. VIII. Работы по источниковедению. М.: Наука, 1973. С. 23–62.

Бартольд В.В. Н.И. Веселовский как исследователь Востока и историк русской науки // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. IX. Работы по истории востоковедения. М.: Наука, 1977а. С. 648–664.

Бартольд В.В. Памяти В.В. Радлова. 1837–1918 // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. IX. Работы по истории востоковедения. М.: Наука, 1977б. С. 665–688.

Бартольд В.В. Состояние и задачи изучения истории Туркестана // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. IX. Работы по истории востоковедения. М.: Наука, 1977в. С. 510–521.

Бартольд В.В. Томсен и история Средней Азии // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. IX. Работы по истории востоковедения. М.: Наука, 1977г. С. 757–764.

Барфилд Т.Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н.э.). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2009. 488 с.

Басова Н.В., Кузнецов Н.А. Украшения и амулеты из средневековых курганов Кузнецкой котловины // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 134–136.

Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 1969. 384 с.

Батболд Г. Мартагдсан Пүгү аймаг (Дундад эртний Төв Азийн нүүдэлчдийн түүх, археологийн судалгааны асуудалд). Улаанбаатар: Б.и., 2017. 244 тал.

Батманов И.А. Краткое введение в изучение киргизского языка. Фрунзе: Киргизгосиздат, 1947. 115 с.

Батманов И.А. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1959. 220 с.

Батманов И.А. Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе: Илим, 1971. 66 с.

Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф. Современная и древняя Енисеика. Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1962. 252 с.

Батсүрэн Б. Өндөр тэрэгтнүүд ба эртний түрэгүүд (VI–IX зуун). Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг, 2009. xi, 252 тал.

Баттулга Ц. Монголын руни бичгийн бага дурсгалууд. Тэргүүн дэвтэр. Улаанбаатар, 2005 (Corpus Scriptorum. Т. I). 240 тал.

Баттулга Ц., Сүхбаатар Д. Дэл уулын Жиримийн худгийн бичээс // Монгол Улсын Их Сургууль, Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, Эрдэм шинжилгээний бичиг. 2006. Түүх V, №262(33). 15–18 дугаар тал.

Баяр Д. Новые археологические раскопки на памятнике Бильгэ кагана // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. №4 (20). С. 73–84.

Баяр Д., Амартүвшин Ч., Энхтор А., Гэрэлбадрах Ж. Билгэ ханы тахилын онгоны судалгаа // Археологийн судлал. 2003. Т. XXI. 75–83 дугаар тал.

Баярхүү Н. Монгол натуг дахь морьтой оршуулгын судалгаа (VI–X зуун) // Эртний түрэгийн туух, соёл. Улаанбаатар: Б.и., 2015а. 161–171 дугаар тал.

Баярхүү Н. Эртний түрэгийн үеийн морьтой оршуулгууд // Монгол-Францын археологийн нээлтүүд. Хорин жилийн хамтын ажиллагаа. Эрдэм шинжилгээний үзэсгэлэнгийн каталоги. Улаанбаатар: Б.и., 2015б. 133–137 дугаар тал.

Баярхүү Н. Түрэгийн морьтой оршуулга // Монголын эртний булш оршуулга. Улаанбаатар: Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи, 2016. 212–221 дугаар тал.

Баярхүү Н., Төрбат Ц., Жискара П.Х. Сыргалийн морьтой оршуулгууд // Археологийн судлал. 2017. Т. XXXVI. 211–230 дугаар тал.

Белинская К.Ы. Археологические памятники древнетюркских женских захоронений Саяно-Алтая // Археология, этнология, палеоэкология Северной Евразии и сопредельных территорий. Новосибирск: НГПУ, 2007а. С. 146–148.

Белинская К.Ы. Классификация древнетюркских женских захоронений Горного Алтая // Вестник НГУ. Сер.: История, филология. 2007б. Т. 6. Вып. 3: Археология и этнография. С. 199–204.

Белинская К.Ы. Изучение гендерных отношений и женской субкультуры древних тюрков Горного Алтая (по памятникам археологии) // Мир Евразии. 2009. №4(7). С. 6–11.

Беляев В.И. Введение. Арабские источники по истории туркмен и Туркмении IX–XIII вв. // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. Арабские и персидские источники. (VI–XV вв.). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 12–40.

Берков П.Н. Идея родины в «Манасе» // Манас – героический эпос киргизского народа: сб. ст. Фрунзе: Илим, 1968. С. 192–202.

Бенцинг И. Языки гуннов, дунайских и волжских болгар // Зарубежная тюркология. Вып. I. Древние тюркские языки и литературы. М.: Наука, 1986. С. 11–28.

Бернштам А.Н. О роли завоеваний в исторической концепции Карла Маркса // Проблемы истории материальной культуры. 1933а. №3–4. С. 46–51.

Бернштам А.Н. Родовая структура Ту' Гю VIII в. (к исследованию памятника Кюль-Тегина) // Из истории докапиталистических формаций: сборник статей к сорокалетию научной деятельности Н.Я. Марра. М.; Л.: ОГИЗ, 1933б (Известия ГАИМК. Вып. 100). С. 560–576.

Бернштам А.[Н.] Проблема распада родовых отношений у кочевников Азии // Советская этнография. 1934. №6. С. 86–95.

Бернштам А.Н. Наследственность и выборность у древних народов центральной Азии // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935а. №7–8. С. 160–174.

Бернштам А.Н. Происхождение турок (к постановке проблемы) // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935б. №5–6. С. 43–54.

Бернштам А.[Н.] Социально-экономический строй древнетурецкого общества VI–VIII вв. н.э. Турки в Монголии: тезисы кандидатской диссертации. Л., 1935в. 23 с.

Бернштам А.Н. К вопросу о возникновении классов и государства у тюрков VI–VIII вв. н.э. // Вопросы истории доклассового общества: сборник статей к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 871–892.

Бернштам А.[Н.] [Рец. на] EBERHARD W. *Çin'in Simal Komsulani hir kaynak kitabı*. Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. VII seri, №9, Türkçeye çeviren Nimet Uluğtuğ. Ankara. 1942. 281 p.+2 tab. (ЭБЕРХАРД В. Книга первоисточников о китайских северных соседях. Турецкое историческое общество.

VII серия, №9. Перев. на турец. Нимет Улугтуг) // Вопросы истории. 1946а. №7. С. 124–127.

Бернштам А.Н. Социально-экономический строй орхон-енисейских тюрок VI–VIII вв. Восточно-тюркский каганат и кыргызы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946б (Тр. Ин-та востоковедения. Т. XLV). 207 с.

Бернштам А.Н. Н.Я. Бичурин (Иакинф) и его труд «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» // Бичурин Н.Я. [Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. V–LV.

Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1951. 256 с.

Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 346 с.

Берсенева Н.А. Гендерный анализ детских погребений в древних обществах: теоретические подходы, проблемы и перспективы // Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. Материалы XV Международной Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции. Томск: Аграф-Пресс, 2010а. С. 107–110.

Берсенева Н.А. Погребальные памятники саргатской культуры Среднего Прииртышья: гендерный анализ // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010б. №3(43). С. 72–81.

Берсенева Н.А. Социальная археология: возраст, гендер и статус в погребениях саргатской культуры. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 204 с.

Бертельс Е.Э. Избранные труды. М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1960. Т. 1: История персидско-таджикской литературы. 556 с.

Бичурин Н.Я. [Иакинф]. Записки о Монголии. Сочиненные монахом Иакинфом. С приложением карты Монголии и разных костюмов. Т. II. Ч. 3–4. СПб.: Тип. Карла Крайя, 1828. VI, 341, [1] с.

Бичурин Н.Я. [Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. LXXXVI, 384 с.; Т. II. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 334 с.; Т. III. Приложения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 336 с.

Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Восточный Алтай в эпоху великого переселения народов. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2003. 224 с.

Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Военное дело сяньбийских государств северного Китая в IV–VI вв. н.э. // Военное дело кочевников Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. Новосибирск: НГУ, 2005. С. 80–200.

Болотов С. С Сыр-дарьи // Русский вестник. 1866. №3. С. 172–195.

Большой китайско-русский словарь по русской графической системе: в 4 т. Т. 1. Географические названия. Хронологические таблицы. Девизы царствований. Календарь. Таблицы мер и весов. Обиходные цифры. Указатели иероглифов: по 4 углам, ключевой, фонетический. М.: Наука, 1983. 553 с.; Т. 2. Иеро-

глифы №1–№ 5064. М.: Наука, 1983. 1102 с.; Т. 3. Иероглифы №5165–№10745. М.: Наука, 1984. 1106 с.; Т. 4. Иероглифы №10746–№15505. М.: Наука, 1984. 1062 с.

Боргояков М.И. Этнические и географические названия в енисейских памятниках древнетюркской письменности // Ученые записки Хакасского Научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 1970. Вып. XIV. Сер. Филологическая. №1. С. 77–94.

Боровка Г.И. Археологическое обследование среднего течения р. Толы // Северная Монголия. Предварительные отчеты лингвистической и археологической экспедиций о работах, произведенных в 1925 году. Л.: Изд-во АН СССР, 1927. С. 43–88.

Боровкова Л.А. Проблема местоположения царства Гаочан (по китайским источникам). М.: Наука, 1992. 184 с.

Брегель Ю.Э. Хорезмские туркмены в XIX веке. М.: Вост. лит-ра, 1961. 442 с.

Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т. Могильники Кырлык-I и Кырлык-II в Горном Алтае // Проблемы охраны археологических памятников Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 51–88.

Бородовский А.П. Плети и стеки в экипировке раннесредневекового всадника юга Западной Сибири // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1993. С. 179–189.

Бородовский А.П. Исследование одного из погребально-поминальных комплексов древнетюркского времени на Средней Катунь // Археология Горного Алтая. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1994. С. 75–82.

Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий: со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык. Т. I. СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1969. X, 810, 3, 6 с.

Букшпан А.С. К истории древних тюркских государственных образований (из отчета научн. сотр. по каф. истории тюрк. нар. пр. Губайдуллину) (отд. Оттиск из т. III «Востоковедения», изв. вост. факультета Аз. гос. университета). Баку, 1928. С. 57–71.

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүх. Засварлаж нэмсэн хоёр дахь удаагийн хэвлэл. Улаанбаатар: БНМАУ-ын Шинжлэх ухааны академийн хэвлэл, 1966. 568 тал.

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүх. Нэмж засварлаж гуравдах дахь удаагийн хэвлэл. Улаанбаатар: Улсын Хэвлэлийн Газар, 1984. 722 тал.

Бюллетень общества востоковедов. Приложение 4: Ырк Битиг: Древнетюркская гадательная книга / пер., предисловие, примечания и словарь В.М. Яковлева. М.: ИВ РАН, 2004. 326 с.

Вайнштейн С.И. Археологические раскопки в Туве в 1953 году // Ученые записки ТНИИЯЛИ. 1954. Вып. II. С. 140–154.



Вайнштейн С.И. Некоторые итоги работ археологической экспедиции Тувинского НИИЯЛИ в 1956–1957 гг. // Ученые записки ТНИИЯЛИ. 1958. Вып. VI. С. 217–237.

Вайнштейн С.И. Курганы и стела с древнетюркской надписью в урочище Хербис-Баары // Ученые записки ТНИИЯЛИ. 1963. Вып. X. С. 264–267.

Вайнштейн С.И. [Рец. на] Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964. 215 с. // Советская этнография. 1965. №3. С. 170–172.

Вайнштейн С.И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры (в связи с археологическими исследованиями в Туве) // Советская этнография. 1966а. №3. С. 60–81.

Вайнштейн С.И. Памятники второй половины I тысячелетия в Западной Туве // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. Т. II. М.; Л.: Наука, 1966б. С. 292–334.

Вайнштейн С.И. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. М.: Наука, 1972. 316 с.

Вайнштейн С.И. Проблемы истории жилища степных кочевников Евразии // Советская этнография. 1976. №4. С. 42–62.

Вайнштейн С.И. Мир кочевников центра Азии. М.: Наука, 1991. 296 с.

Вайнштейн С.И., Кляшторный С.Г. В.В. Радлов и историко-этнографическое изучение тюркских народов // Тюркологический сборник. 1971. Памяти В.В. Радлова. М.: Наука, 1972. С. 20–31.

Вайнштейн С.И., Крюков М.В. «Дворец Ли Лина», или конец одной легенды // Советская этнография. 1976. №3. С. 136–149.

Валиханов Ч.Ч. [О туркменах] // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений: в 5 т. Т. IV. Алма-Ата: Каз. сов. энцикл., 1985. С. 164–166.

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. М.: Вост. лит., 2003. 320 с.

Васильев В.П. Китайские надписи на орхонских памятниках в Кошо-Цайдаме и Кара-Балгасуне // Сборник Трудов Орхонской экспедиции. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1897. Т. II. С. 1–36.

Васильев Д.Д. По поводу одной гипотезы В.В. Бартольда (Почему в письменных памятниках тюрков домусульманского периода не упоминается духовенство) // Бартольдовские чтения. 1982. Год шестой: тез. докл. и сообщ. М.: Ин-т востоковедения АН СССР, 1982. С. 13–14.

Васильев Д.Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности Азиатского ареала (опыт систематизации). М.: Наука, 1983а. 146 с.

Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л.: Наука, 1983б. 128 с.

Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. Ч. 1. Древнетюркская эпиграфика Алтая. Астана: ТОО «Proser Print», 2013. 268 с.

Васютин С.А. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул: Кузбассвуиздат, 1998. 25 с.

Васютин С.А. Лики власти (к вопросу о природе власти в кочевых империях) // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2005а. Вып. 2. С. 56–71.

Васютин С.А. Общественная система кочевников в эпоху Тюркских каганатов (VI–VIII вв.) // Социогенез в Северной Азии. Ч. I. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005б. С. 215–223.

Васютин С.А. Проблемы комплексного анализа социальной организации кочевников древнетюркской эпохи по данным погребальных памятников // Современные проблемы археологии России. Т. II. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2006. С. 403–405.

Васютин С.А. Проблемы и перспективы изучения демографии и социальной стратификации кочевых обществ древнетюркской эпохи по данным археологии // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск; Эдмонтон: Изд-во ИрГТУ, 2007а. С. 268–274.

Васютин С.А. Системный анализ кочевых обществ раннего средневековья // Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007б. С. 53–56.

Васютин С.А. Возрастная дифференциация в раннесредневековых погребальных комплексах кочевников Саяно-Алтая // Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009а. С. 198–201.

Васютин С.А. Социальная атрибутика тюркского «мужа-воина» по археологическим источникам // Социогенез в Северной Азии: материалы 3-й науч.-практ. конф. (Иркутск, 29 марта – 1 апреля 2009 г.). Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2009б. С. 84–88.

Васютин С.А. Антропология власти в кочевых империях (по материалам эпохи Тюркских каганатов) // Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. 2011а. Вып. 72(1–2). С. 306–329.

Васютин С.А. Киданьское городище Хэрмэн Дэнж и Тогу-Балык кошоцайдамских надписей: к вопросу о происхождении и этнокультурной принадлежности города начала VIII в. на р. Толе // Вестник БНЦ СО РАН. 2011б. №4. С. 63–71.

Васютин С.А. Образ правителя в ментальных представлениях кочевников Центральной Азии в период раннего средневековья (по письменным и эпическим памятникам тюркоязычных народов) // Тюркологический сборник. 2009–2010. Тюркские народы Евразии в древности и средневековье. М.: Вост. лит-ра РАН, 2011в. С. 79–108.

Васютин С.А. «Дружинные погребения»: критерии и интерпретации (на примере раннесредневековых памятников Саяно-Алтая и Центральной Азии) // Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения). Кемерово: Кузбассвуиздат, 2016. С. 19–23.

Васютин С.А., Дашковский П.К. Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. 400 с.

Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец, переведенные с греческого Спиридоном Дестунисом; примечания Гавриила Дестуниса. СПб.: Типография Леонида Демиса, 1860. [2], XIV, 496, 31 с.

Викторова Л.Л. Система социализации детей и подростков у монголов, пути и причины трансформации ее элементов // Этнография детства: традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-восточной Азии. М.: Наука, 1983. С. 51–71.

Владимирцов Б.Я. Турецкие элементы в монгольском языке // Записки ВОИРАО. 1911. Т. XX. Вып. II–III. С. 153–184.

Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм // Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М.: Вост. лит-ра РАН, 2002. С. 295–488.

Войтов В.Е. Онгинский памятник Проблемы культуроведческой интерпретации // Советская тюркология. 1989. №3. С. 46–49.

Войтов В.Е. Могильники Каракорума (по материалам работ 1976–1981 гг.) // Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии. Новосибирск: Наука, 1990. С. 132–149.

Войтов В.Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI–VIII вв. М.: ГМВ, 1996. 152 с.

Вопросы истории феодализма у народов Востока [прения и заключительное слово] // Основные проблемы генезиса и развития феодального общества: пленум Государственной академии истории материальной культуры, 20–22 июня 1933 г. М.; Л.: ОГИЗ, 1934 (Известия ГАИМК. Вып. 103). С. 321–381.

Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, языки, религии. М.: Наука, 1992. 688 с.

Вяткин М.П. Очерки по истории Казахской ССР. Т. 1. С древнейших времен по 1870 г. М.: ОГИЗ – Госполитиздат, 1941. 367 с.

Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 146 с.

Ганиев Р.Т. Восточно-тюркское государство в VI–VIII веках. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. 152 с.

Ганиев Р.Т. Китайские письменные источники о восточных тюрках в Центральной Азии // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2010. №4(82). С. 172–179.

Гафуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история. Изд. 2-е. Кн. 2. Душанбе: Ирфон, 1989. 480 с.: ил.

Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи: Закат и падение Римской империи: в 7 т. Т. 3. М.: ТЕРРА – книжный клуб, 2008. 624 с.

Голден П.Б. Государство и государственность у хазар. Власть хазарских каганов // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М.: Наука, 1993. С. 211–233.

Голден П. Тюрки-хазары на службе у халифов // Хазары. Иерусалим: Ге-шарим; М.: Мосты культуры, 2005 (Евреи и славяне. Т. 16). С. 458–482.

Гончаров Е.Ю., Настич В.Н. Монеты сырдарьинских огузов IX в. // Тюркологический сборник 2011–2012. Политическая и этнокультурная история тюркских народов и государств. М.: Наука; Вост. лит-ра, 2013. С. 80–91.

Горбунов В.В. Тяжеловооруженная конница древних тюрков (по материалам наскальных рисунков Горного Алтая) // Снаряжение верхового коня на Алтае в ранний железный век и средневековье. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. С. 102–128.

Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. I: Оборонительное вооружение (доспех). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. 174 с.

Горбунов В.В. Военное дело средневекового населения Алтая (III–XIV вв. н.э.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Барнаул, 2006. 55 с.

Горбунов В.В. Военное искусство алтайских тюрков в раннем средневековье // Вооружение и военное дело кочевников Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2007. С. 85–98.

Горбунов В.В., Серов В.В. Нумизматический комплекс из тюркского кургана Шорон Бумбагар // Известия Алтайского государственного университета. Сер.: Исторические науки и археология. 2015. №1–4(88). С. 72–78.

Горбунов В.В., Тишкин А.А. О территории формирования тюркского этноса // Тюркские народы. Тобольск; Омск: ОмГПУ, 2002. С. 43–46.

Горбунова Т.Г. Социальная значимость украшений конской амуниции (по материалам сросткинской культуры) // Социально-демографические процессы на территории Сибири (древность и средневековье). Кемерово: КемГУ, 2003. С. 109–113.

Грантовский Э.А. Проблемы изучения общественного строя скифов // Вестник Древней истории. 1980. №4. С. 128–155.

Грач А.Д. Древнетюркское погребение с зеркалом Цинь-вана в Туве // Советская этнография. 1958. №4. С. 18–34.

Грач А.Д. Археологические исследования в Кара-Холе и Монгун-Тайге (Полевой сезон 1958 г.) // Труды Тувинской комплексной археолого-этногра-

фической экспедиции: материалы по археологии и этнографии Западной Тувы. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960а. С. 73–150.

Грач А.Д. Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в Центральной Туве (полевой сезон 1957 г.) // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции: Материалы по археологии и этнографии Западной Тувы. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960б. С. 7–72.

Грач А.Д. Древнетюркские изваяния Тувы. По материалам исследований 1953–1960 гг. М.: Вост. лит-ра, 1961. 96 с., 95 рис., 3 табл.

Грач А.Д. Исследования в Бай-Тайге // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции: материалы по этнографии и археологии районов бассейна р. Хемчика. Т. II. М.; Л.: Наука, 1966а. С. 81–107.

Грач А.Д. Хронологические и этнокультурные границы древнетюркского времени // Тюркологический сборник. К шестидесятилетию А.Н. Кононова. М.: Наука, 1966б. С. 188–193.

Грач А.Д. Древнетюркская археология в СССР // Филология и история тюркских народов (тезисы докладов). Тюркологическая конференция в Ленинграде (7–10 июня 1967 г.). Л., 1967. С. 52–54.

Грач А.Д. Древнетюркские курганы на юге Тувы // Краткие сообщения Института археологии. 1968. Вып. 114. С. 105–111.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука, 1980. 256 с.

Грач В.А. Средневековые впускные погребения из кургана-храма Улуг-Хорум в Южной Туве // Археология Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1982. С. 156–168.

Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т. 1. Юридический быт. Ташкент: Типо-лит. С.И. Лахтина, 1889. 544 с.

Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. II. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Л.: Гос. рус. Геогр. Об-во, 1926. VI, 900 с.

Груссе Р. Империя степей. Аттила, Тамерлан, Чингисхан. Алматы: Санат, 2005 (История Казахстана в западных источниках XII–XX вв. Т. I). 286 с.

Грязнов М.П. Раскопки на Алтае // Сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1940. Вып. I. С. 17–21.

Грязнов М.П., Худяков Ю.С. Кыргызское время // Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск: Наука, 1979. С. 146–159.

Гумилев Л.Н. Орды и племена у древних тюрков и уйгуров // Материалы по Отделению этнографии. Л.: Наука, 1961. Ч. 1.: Доклады за 1958–1961 гг. С. 15–26.

Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: Наука, 1967. 504 с.

Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: Рольф, 2002. 560 с.

Гүнчинсүрэн Б., Марколонго Б., Пужетта М., Базаргүр Д., Болорбат Ц. Түрэгийн үед холбогдох хоёр булшны тухай // Археологийн судлал. 2005. Т. XXIII. 104–112 дугаар тал.

Гусейнов Р.А. Сирийские источники XII–XIII вв. об Азербайджане. Баку: Изд-во АН АзССР, 1960. 181 с.

Гэрэлмаа Н., Баттулга Ц. Рашаан хадны түрэг бичээсийн тухай дахин өгүүлэх нь // Acta Historica Mongolica. Монгол улсын Боловсролын их сургууль. 2007. Т. VIII. Fasc. 8. 65–67 дугаар тал.

Данилов С.В., Очир , Эрдэнэболд Л., Бураев А.И., Саганов Б.В., Батболд Х. Курган Шороон Дов и его место в общей системе археологических памятников тюркской эпохи Центральной Азии // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Вып. 4. Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы Междунар. науч. конф. (Улан-Удэ, 20–24 сентября 2010 г.). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госун-та, 2010. С. 254–257.

Дашковский П.К. Служители культов у тюрков Центральной Азии в эпоху средневековья // Известия Алтайского государственного университета. Сер.: История, политология. 2009. Вып. 4/1(64). С. 65–71.

Джумагулов Ч. Эпиграфика Киргизии. Вып. 1. Фрунзе: АН КиргССР, 1963. 79 с.

Джумагулов Ч. Эпиграфика Киргизии. Вып. 2. Фрунзе: Илим, 1982. 299 с.

Джумагулов Ч. Эпиграфика Киргизии. Вып. 3. Фрунзе: Илим, 1987. 168 с.

Длужневская Г.В. Сопроводительный инвентарь и вопросы половозрастной дифференциации древнетюркского общества (по материалам погребального обряда) // Из истории Сибири. Вып. 21. Материалы совещания по проблеме «Экономика и социальная структура древнего населения Западной Сибири» (Томск, 17–22 марта 1975 г.). Томск: Изд-во ТГУ, 1976. С. 193–200.

Длужневская Г.В. Средневековые погребения с трупосожжением в зоне за-топления Саяно-Шушенской ГЭС // Древние культуры евразийских степей. По материалам археологических работ на новостройках. Л.: Наука, 1983. С. 41–45.

Длужневская Г.В. Комплекс древнетюркского времени на могильнике Улуг-Бюк-II // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 2000. С. 178–188.

Длужневская Г.В., Овчинникова Б.Б. Кочевое население Тувы в раннем средневековье // Новейшие исследования по археологии Тувы и этногенезу тувинцев. Кызыл: ТНИИЯЛИ, 1980. С. 77–94.

Дмитриев С.В. Некоторые тенденции кочевого общества // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения): тез. докл. Всесоюз. археол. конф. Ч. I. Кемерово, 1989. С. 31–33.

Дмитриев С.В. К вопросу о культурном статусе холодного оружия в традиционной культуре народов Средней Азии // Евразия сквозь века. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 234–237.

Дмитриев С.В. Политическая культура тюрко-монгольских кочевников в историко-этнографической перспективе // Кочевая альтернатива социальной

эволюции. М.: Институт Африки РАН, 2002 (Цивилизационное измерение. Т. 6). С. 160–176.

Дмитриев С.В. Атызы Йоллыг-тегин. Этюд из области тюрко-монгольской традиционной политической культуры // *Mongolica-VI*. Посвящается 150-летию со дня рождения А.М. Позднеева. СПб.: Петерб. востоковедение, 2003. С. 48–54.

Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. Новосибирск: Наука, 1990. 162 с.

Добрович М. К вопросу о личности главного героя памятника Кули-чору // Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого, Санкт-Петербург, 2–5 ноября 2004 г. СПб.: ИИМК РАН, 2005. С. 86–89.

Добродомов И.Г. Вторичные рунические надписи на монетах и вопросы денежного обращения у древних тюрков // Ближний и Средний Восток. Товарно-денежные отношения при феодализме. М.: Наука, 1980. С. 94–97.

Доде З.В. Символы легитимации принадлежности к империи в костюме кочевников Золотой Орды // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: история и современность. 2005. №4. С. 25–35.

«Дорога длиной в тысячелетия...». СПб.: Любавич, 2015. 196 с.

Досымбаева А. Западный Тюркский каганат. Культурное наследие казахских степей. Алматы: Комплекс, 2006. 168 с.

Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969. XXXVIII, 714 с.

Древние тюрки в Центральной Туве (по материалам работ Саяно-Тувинской экспедиции). СПб.: ЭлекСис, 2013. 232 с.

Дробышев Ю.И. Человек и природа в кочевых обществах Центральной Азии (III в. до н.э. – XVI в. н.э.). М.: ИВ РАН, 2014. 608 с.

Думан Л.И. Внешнеполитические связи Китая с сюнну в I–III вв. // Китай и соседи в древности и средневековье. М.: Наука, 1970. С. 37–50.

Думан Л.И. О труде Н.Я. Бичурина «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» // Н.Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение (к 200-летию со дня рождения): материалы конф. Ч. II. М.: Наука, 1977. С. 3–23.

Дундговь аймагт хийсэн археологийн судалгаа: бага газрын чулуу / Улаанбаатар, 2010 (Археологийн судлал. Т. XXVII). 347 тал.

Дыбо А.В. Материальный быт ранних тюрков. Жилище // Природное окружение и материальная культура пратюркских народов. М.: Вост. лит-ра, 2008. С. 219–272.

Дыренкова Н.П. Род, классификационная система родства и брачные нормы у алтайцев и телеут // Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР. Вып. I. Л.: Издание Комиссии по устройству студенческих этнографических экскурсий, 1926. С. 247–259.

Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л.: Наука, 1975. 164 с.

Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1948. 110 с.

Евтюхова Л.А. О племенах Центральной Монголии в IX в. // Советская археология. 1957. №2. С. 207–217.

Евтюхова Л.А., Киселев С.В. Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. // Труды ГИМ. 1941. Вып 16. С. 75–117.

Ермоленко Л.Н. Изобразительные памятники и эпическая традиция по материалам культуры древних и средневековых кочевников Евразии. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. 288 с.

Ерөөл-Эрдэнэ Ч., Гантулга Ж., Бросседер У. Монгол-Германы хамтарсан «Баркор» төслийн 2016 он хээрийн судалгааны ажлын товч үр дүн // Монголын археологи–2017. Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академи туух, 2017. 357–364 дугаар тал.

Жданович О.П. Посольство Земарха в ставку тюркского кагана (перевод и комментарии фрагментов труда Менандра Протектора) // Золотоордынское обозрение. 2014. №2(4). С. 6–20.

Жирмунский В.М. Введение в изучение эпоса «Манас» // Киргизский героический эпос «Манас». М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 85–196.

Жолдасбеков М., Сарткожаулы К. Атлас Орхонских памятников. Астана: Култегін, 2006. 360 с.

Жолдошов Ч.М. Изображение вооружения в средневековых петроглифах Кыргызстана // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Вып. I. Бишкек: Илим, 2005. С. 67–74.

Жумаганбетов Т.С. Проблемы формирования и развития древнетюркской системы государственности и права. VI–XII вв. Алматы: Жеті жарғы, 2003. 432 с.

Загородний А.С., Григорьев Ф.П. Дополнительные данные о могильнике Иссык // Вопросы археологии Казахстана. Вып. II. Алматы; М.: Гылым, 1998. С. 117–123.

Задыхина К.Л. Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии // Родовое общество. Этнографические материалы и исследования. М.: Изд-во АН СССР, 1951 (Тр. Ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, новая серия. Т. XIV). С. 157–179.

Западный Тюркский каганат. Атлас / колл. авторов. Астана: Service Press, 2013. 848 с.

Захаров А.А. Материалы по археологии Сибири (раскопки В.В. Радлова в 1965 г.) // Труды Государственного исторического музея. 1926. Вып. 1. С. 71–106.

Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии // Социологические исследования. 2000. №11. С. 15–23.



Зуев Ю.А. Из древнетюркской этнонимии по китайским источникам (*бома, гуй, яньмо*) // Вопросы истории Казахстана и Восточного Туркестана. Алма-Ата: АН КазССР, 1962 (Труды Института истории, археологии и этнографии Казахской ССР. Т. XV). С. 103–122.

Зуев Ю.А. Древнетюркские генеалогические предания как источник по ранней истории тюрков: дис. ... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1967. 220 с.

Зуев Ю.А. Древнетюркская социальная терминология в китайском тексте VIII в. // Вопросы археологии Казахстана. Вып. 2. Алматы; М.: Ылым, 1998а. С. 153–161.

Зуев Ю.А. О формах этно-социальной организации народов Центральной Азии в древности и средневековье: Пестрая Орда, Сотня // Военное искусство кочевников Центральной Азии и Казахстана (эпоха древности и средневековья). Алматы, 1998б. С. 49–100.

Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. 338 с.

Зуев Ю.А. Каганат се-яньто и кимеки (к тюркской этногеографии Центральной Азии в середине VII в.) // *Shygyt*. 2004. №1. С. 11–21.

Зяблин Л.П., Кривонос А.А. Копенский отряд // Археологические открытия 1967 г. М.: Наука, 1968. С. 146–148.

Измайлов И.Л. Защитники «Стены Искандера». Казань: Татар. кн. изд-во, 2008. 206 с.

Ильинская В.А. Скифские курганы около г. Борисполя // Советская археология. 1966. №3. С. 152–171.

Илюшин А.М. Фрагменты зеркал как амулеты в материальной и духовной культуре средневековых кочевников Кузнецкой котловины // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. С. 42–44.

Илюшин А.М. Предметы культового назначения в материальной и духовной культуре средневекового населения Кузнецкой котловины // Вестник Томского государственного университета. 2012. Вып. 354. С. 81–87.

Иностранцев К.А. Хунну и гунны (разбор теорий о происхождении народа Хунну китайских летописей, о происхождении европейских гуннов и о взаимных отношениях этих двух народов). 2-е доп. изд. Л., 1926 (Тр. туркологического семинария. Т. I). IV, 152 с.

История ат-Табари: избранные отрывки. Ташкент: Фан, 1987. 339 с.

История Казахской ССР. 3-е изд. Т. 1. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1952. 496 с.

История Казахской ССР. Т. 1. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1957. 609 с.

История Казахской ССР. С древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 1. Первобытно-общинный строй. Племенные союзы и раннефеодальные государства на территории Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1977. 479 с.

- История Казахстана (с древнейших времен до наших дней): в 4 т. Т. I. Алматы: Атамұра, 1996. 544 с.
- История Киргизии. Т. 1. Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1956. 426 с.
- История Киргизии. Т. 1. Фрунзе: Киргизск. гос. изд-во, 1963. 592 с.
- История Киргизской ССР. Т. 1. Фрунзе: Кыргызстан, 1968. 708 с.
- История Киргизской ССР, с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 1. Фрунзе: Кыргызстан, 1984. 800 с.
- История Монгольской Народной Республики. Изд. 3-е, перераб. и дополн. М.: Наука, 1983. 664 с.
- История Сибири с древнейших времен до наших дней в пяти томах. Т. 1. Древняя Сибирь. Л.: Наука, 1968. 454 с.
- История СССР с древнейших времен до образования древнерусского государства. Ч. III–IV. История СССР в период крушения рабовладельческого строя и возникновения феодализма. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. 532 с.
- История Тувы: в 2 т. Т. I. М.: Наука, 1964. 410 с.
- История Тувы: в 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. Т. I. Новосибирск: Наука, 2001. 367 с.
- История Узбекской ССР. Т. 1. Кн. 1. С древнейших времен до середины XVIII в. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. 544 с.
- Исхаков Ф.Г. Наблюдения по лексике в области прилагательных в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 173–231.
- К истории Бурято-Монголии. Материалы дискуссии, состоявшейся в июне 1934 г. в Улан-Удэ. М.; Л.: ОГИЗ–СОЦЭКГИЗ, 1935. 184 с.
- Кадырбаев М.К. Памятники ранних кочевников Центрального Казахстана // Труды Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР. 1959. Т. 7. С. 162–203.
- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К. Погребение жрицы, обнаруженное в Актюбинской области // Краткие сообщения Института археологии. 1978. Вып. 154. С. 65–70.
- Казакевич В.А. Проф. Н.Н. Козьмин. Проблемы истории Монголии и Южной Сибири в новом освещении. [Рец. на] К вопросу о турецко-монгольском феодализме, ОГИЗ, Москва–Иркутск, 1934 // Советская этнография. 1934. №5. С. 112–117.
- Калинина Т.М. Тюрки в «образе мира» средневековых арабо-персидских писателей // Тюркологический сборник. 2006. М.: Вост. лит-ра РАН, 2007. С. 183–193.
- Камалов А.К. Древние уйгуры VIII–IX вв. Алматы: Изд. дом «Наш мир», 2001. 216 с.
- Кереитов Р.Х. Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры. Ставрополь: Сервисшкола, 2009. 464 с.

Кибиров А.К. Работа Тянь-Шаньского археологического отряда // Краткие сообщения Института этнографии. 1957. Вып. XXVI. С. 81–88.

Кильдюшева А.А. К вопросу об интерпретации некоторых женских захоронений // Социогенез в Северной Азии. Ч. I. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. С. 254–258.

Киргизско-русский словарь (Кыргызча-орусча сөздүк): в двух кн. Кн. 1: А–К. Фрунзе: Сов. энциклопедия, 1985. 503 с.

Кирюшин К.Ю., Кирюшина Ю.В., Семибратов В.П., Кирюшин Ю.Ф., Горбунов В.В. Историко-культурное наследие «Бирюзовой Катунь» (опыт интеграции в сферу туризма). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. 222 с.

Кирюшин К.Ю., Кондрашов А.В., Семибратов В.П., Силантьева М.М., Терехина Т.А. Исследование памятников древнетюркского времени на территории Бирюзовой Катунь в 2005 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2005. Т. II. Ч. 1. С. 339–343.

Кирюшин Ю.Ф., Горбунов В.В., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Древнетюркские курганы могильника Тыткескенъ-VI // Древности Алтая. Горно-Алтайск: ГАГУ, 1998. №3. С. 165–175.

Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Степанова Н.Ф. Археология Нижнетыткескенской пещеры-I (Алтай). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1995. 150 с.

Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Степанова Н.Ф. Курганный могильник Верх-Еланда-I в Горном Алтае // Археологические исследования на Катунь. Новосибирск: Наука, 1990. С. 224–242.

Киселев С.В. Материалы археологической экспедиции в Минусинский край в 1928 г. // Ежегодник гос. музея им. Н.М. Мартыанова в г. Минусинске. 1929. Т. IV. Вып. 2. С. 1–162.

Киселев С.В. [Рец. на] А. Бернштам. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII веков. Восточно-тюркский Каганат и Кыргызы. Изд. АН СССР, М–Л., 1946, 207 стр. + 2 карты // Вестник Древней истории. 1947. №1. С. 83–90.

Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 364 с. (Материалы и исследования по археологии СССР. №9).

Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 642 с.

Китова Л.Ю. К вопросу о семье и положении женщины у древних кочевников (диахронный срез) // Социогенез в Северной Азии. Ч. I. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. С. 258–263.

Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. М.: Наука, 1992. 320 с.

Кляшторный С.Г. Историко-культурное значение Суджинской надписи // Проблемы востоковедения. 1959. №5. С. 162–169.

Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М.: Наука, 1964. 214 с.

Кляшторный С.Г. Проблемы ранней истории племени тюрк (ашина) // Новое в советской археологии. М.: Наука, 1965. С. 278–281. (МИА №130).

Кляшторный С.[Г.] Предисловие // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов М.: Наука, 1968. С. 5–16.

Кляшторный С.Г. Руническая надпись на каменном изваянии из Чойрэна // Страны и народы Востока. Т. XXII. Средняя и Центральная Азия. География, этнография, история. М.: Наука, 1980. С. 90–102.

Кляшторный С.Г. Генеалогия и хронология западно-тюркских и тюркешских каганов VI–VIII веков // Из истории дореволюционного Киргизстана. Фрунзе: Илим, 1985. С. 164–170.

Кляшторный С.Г. Всадники Кочкорской долины // Евразия сквозь века. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 213–215.

Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. 560 с.

Кляшторный С.Г. Основные этапы политогенеза у древних кочевников Центральной Азии // Проблемы политогенеза кыргызстанской государственности. Документы, исследования, материалы. Бишкек: Инновационный центр «АРХИ», 2003. С. 115–125.

Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб.: Наука, 2006. 591 с.

Кляшторный С.Г. Суджинская надпись: этапы интерпретации // Basileus: сборник статей, посвящ. 60-летию Д.Д. Васильева. М.: Вост. лит-ра РАН, 2007. С. 193–197.

Кляшторный С.Г. Рунические памятники Уйгурского каганата и история евразийских степей. СПб.: Петербургское востоковедение, 2010. 328 с.

Кляшторный С.Г. Вторая Бай-Булунская стела // Древние тюрки в Центральной Туве (по материалам работ Саяно-Тувинской экспедиции). СПб.: ЭлекСис, 2013. С. 223–229.

Кляшторный С.Г., Лившиц В.А. Согдийская надпись из Бугута // Страны и народы Востока. Т. X. География, этнография, история. М.: Наука, 1971. С. 121–146.

Кляшторный С.Г., Лившиц В.А. Открытие и изучение древнетюркских и согдийских эпиграфических памятников Центральной Азии // Археология и этнография Монголии. Новосибирск: Наука, 1978. С. 37–60.

Кляшторный С.Г., Лубо-Лесниченко Е.И. Бронзовое зеркало из Восточного Туркестана с рунической надписью // Сборник Государственного Эрмитажа. 1974. Вып. XXXIX. С. 45–48.

Кляшторный С.Г., Лубо-Лесниченко Е.И. Бронзовое зеркало из Восточного Туркестана с рунической надписью // Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб.: Наука, 2006. С. 177–182.

Кляшторный С.Г., Ромодин В.А. Изучение истории тюркских народов в АН СССР // Тюркологический сборник. 1970. М.: Наука, 1970. С. 148–162.

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. 346 с.

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., Шкода В.Г. Золотой брактеат из Монголии. Византийский мотив в центральноазиатской тюркитике // Информационный бюллетень Международной ассоциации по изучению культур Центральной Азии. 1990. Вып. 16. С. 5–16.

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., Шкода В.Г. Монголоос олдсон алтан брактеат Төв Азийн гоёл чимэглэлийн урлаг дахь Византийн өгүүлэмж // Археологийн суудлал. 1999. Т. XIX. 150–160 дугаар тал.

Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. СПб.: Петерб. востоковедение, 2000. 320 с.

Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос. М.; Л.: АН СССР, 1962. 303 с.

Ковалевская В.Б. К изучению орнаментики наборных поясов VI–IX вв. как знаковой системы // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.: Наука, 1970. С. 144–155.

Ковтун С.П. Реконструкция социальной структуры населения Верхнего Прикамья второй половины I тыс. н.э. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2006. 432 с.

Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием *Mongγol-un Niγusa tobciyan*. Юань Чао Би Ши. Монгольский обыденный изборник / Введ. в изуч. памятника, перевод, тексты, глоссарии. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 619 с.

Козьмин Н.Н. К вопросу о турецко-монгольском феодализме. М.; Иркутск: ОГИЗ, 1934а. 150 с.

Козьмин Н.Н. Классовое лицо «атысы» Йоллыг-тегина, автора орхонских памятников // Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882–1932: сборник статей. Л.: Изд-во АН СССР, 1934б. С. 259–277.

Козьмин Н.Н. Предисловие // Д'Оссон К. История монголов от Чингизхана до Тамерлана. Т. 1. Чингиз-хан. Иркутск: ОГИЗ; Восточносибирское областн. изд-во, 1937. С. V–XXXX.

Комарова М.Н. Тюркское погребение с конем в Аржане // Ученые записки ТНИИЯЛИ. 1973. Вып. XVI. С. 207–210.

Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск: Наука, 1979. 167 с.

Кондратьев В.Г. Очерк грамматики древнетюркского языка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. 65 с.

Кондратьев В.Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности VIII–XI вв. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. 191 с.

Кононов А.Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-гази, хана хивинского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 193, 94 с.

Кононов А.Н. Показатели собирательности-множественности в тюркских языках. Сравнительно-исторический этюд. Л.: Наука, 1969. 28 с.

Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII–IX вв. Л.: Наука, 1980. 170 с.

Коренько В.А. Об изображении на Бугутской стеле // Мировоззрение древнего населения Евразии. М.: ТОО «Старый сад», 2001. С. 355–369.

Кормушин И.В. К основным понятиям тюркской рунической палеографии // Советская тюркология. 1975. №2. С. 25–48.

Кормушин И.В. Текстологические разыскания в области енисейской руники (к вопросу о женских поминальных надписях) // *Turcologica* 1986. К восьмидесятилетию академика А.Н. Кононова. Л.: Наука, 1986. С. 165–171.

Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследования. М.: Наука, 1997. 303 с.

Кормушин И.В. Древние тюркские языки: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 022800 – Востоковедение. Абакан: Изд-во Хакасск. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2004. 336 с.

Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология. М.: Наука, 2008. 342 с.

Кормушин И.В. Тамговые аналогии наскальных надписей из долины р. Алаш (Западная Тува) и стелы из Суджи (Северная Монголия), или еще раз к вопросу о кыргызском характере Суджинской надписи // Тюркологический сборник 2007–2008: История и культура тюркских народов России и сопредельных стран. М.: Вост. лит-ра РАН, 2009. С. 177–187.

Коробов Д.С. Социальная организация алан Северного Кавказа IV–IX вв. н.э. М.: Алетейя, 2003. 384 с.

Короглы Х.Г. Огузский эпос (сравнительный анализ) // Типология народного этноса. М.: Наука, 1975. С. 64–81.

Кочеев В.А. «Клад» с верховьев реки Большой Яломан (Горный Алтай) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. Вып. X. С. 175–177.

Кочеев В.А., Суразаков А.С. Курганы могильников Ябоган I и II // Археологические и фольклорные источники по истории Алтая. Горно-Алтайск: Изд-во ГАНИИИЯЛ, 1994. С. 70–81.

Кочнев Б.Д. Нумизматическая история Караханидского каганата (991–1209 гг.). Ч. I. Источниковедческое исследование. М.: Издательский дом «София», 2006. 344 с.

Крадин Н.Н. Империя Хунну. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Логос, 2001. 312 с.

Крадин Н.Н. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // Раннее государство, его альтернативы и аналогии. Волгоград: Учитель, 2006. С. 490–511.

Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингисхана. М.: Вост. лит-ра РАН, 2006. 557 с.

Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения: в 6 т. Т. IV. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 91–351.

Крюков М.В. Формы социальной организации древних китайцев. М.: Наука, 1967. 204 с.

Крюков М.В., Курылев В.П. К ранней истории юрты (по китайским источникам III в. до н.э. – XIII в. н.э.) // Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 2000. С. 10–19.

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в Средние века (VII–XIII вв.). М.: Наука, 1984 (Древние китайцы: проблемы этногеографии. Т. 4). 336 с.

Кубарев В.Д. Новые сведения о древнетюркских оградках Восточного Алтая // Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1979. С. 135–160.

Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск: Наука, 1984. 232 с.

Кубарев В.Д. Древнетюркские кенотафы Боротала // Древние культуры Монголии. Новосибирск: Наука, 1985. С. 136–148.

Кубарев В.Д. Палаш с согдийской надписью из древнетюркского погребения на Алтае // Северная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск: Наука, 1992. С. 25–36.

Кубарев В.Д., Кубарев Г.В. Каменные изваяния древних тюрков Южной Сибири: каталог коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока и Историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2013. 79 с.

Кубарев Г.В. К этнополитической ситуации на территории Алтая в VI–XI вв. н.э. // Сибирь в панораме тысячелетий (Материалы международного симпозиума): в 2 т. Т. 1. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1998. С. 290–298.

Кубарев Г.В. Раннесредневековые граффити Чуйской степи // Археология и этнография Алтая. Горно-Алтайск: Ин-т алтаистики им. С.С. Суразакова, 2004. Вып. 2. С. 75–84.

Кубарев Г.В. Культура древних тюрков Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2005. 400 с.

Кубарев Г.В. Теленгитские погребения Южного Алтая // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2007. Т. XIII. С. 293–297.

Кубарев Г.В. Женское древнетюркское погребение из могильника Джолин III (Юго-Восточный Алтай) // Вестник НГУ. Сер.: История, филология. 2011. Т. 10. Вып. 5: Археология и этнография. С. 221–240.

Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. Погребение знатного тюрка из Балык-Соока (Центральный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. №4. С. 64–82.

Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. Поясные сумочки в costume древних тюрков Алтая // Сибирский сборник-1: Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. Кн. 1. СПб: МАЭ РАН, 2009. С. 155–161.

Кубарев Г.В., Со Гилсу, Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., Лхундев Г., Баярхуу Н., Ким Хый Чхан, Канн Сом, Чжон Вон Чхоль. Исследование древнетюркских памятников в долине реки Хар-Ямаатын-Гол (Монгольский Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2007. Т. XIII. С. 298–303.

Кубатин А.В. Древнетюркские термины в согдийских документах с горы Муг // Урало-алтайские исследования. 2014. №3(14). С. 12–23.

Кузнецов Н.А. Монеты из памятников верхнеобской культуры // Тюркологический сборник. 2006. М.: Восточная литература, 2007. С. 212–222.

Курманкулов Ж.К. Погребение воина раннетюркского времени // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1980. С. 191–197.

Кучера С.Р. [Глава IV] Историография древней истории Китая // Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай: учебн. пособие. СПб.: Алетейя 2002. С. 163–303.

Кызласов И.Л. Рунические письменности евразийских степей. М.: Вост. лит-ра, 1994. 327 с.

Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. I. Древнейшие сведения об армии // Российская археология. 1996. №3. С. 73–89.

Кызласов И.Л. Особенности тюркской рунологии // Центральная Азия: источники, история, культура: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию доктора исторических наук Е.А. Давидович и действительного члена Академии наук Таджикистана, академика РАН, доктора исторических наук Б.А. Литвинова (Москва, 3–5 апреля 2003 г.). М.: Вост. лит-ра РАН, 2005. С. 427–449.

Кызласов И.Л. Азиатские рунические надписи на пиршественных сосудах. Часть I. Сосуды, изученные П.М. Мелиоранским // Вопросы тюркологии. 2010. №1. С. 36–63.

Кызласов Л.Р. Резная костяная рукоятка плети из могилы Ак-кюна (Алтай) // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1951. Вып. XXXVI. С. 50–55.

Кызласов Л.Р. Новая датировка памятников енисейской письменности // Советская археология. 1960а. №3. С. 93–120.



Кызласов Л.Р. Тува в период Тюркского каганата (VI–VIII вв.) // Вестник МГУ. Сер. IX. Исторические науки. 1960б. №1. С. 51–78.

Кызласов Л.Р. О датировке памятников енисейской письменности // Советская археология. 1965. №3. С. 38–49.

Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М.: Изд-во МГУ, 1969. 212 с.

Кызласов Л.Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). М.: Изд-во МГУ, 1979. 207 с.

Кызласов Л.Р. О шаманизме древнейших тюрков // Советская археология. 1990. №3. С. 261–264.

Кызласов Л.Р., Мерперт Н.Я. [Рец. на] А.Н. Бернштам, Очерк истории гуннов, Л., 1951, 256 стр., тираж 3000 экз., цена 15 руб. // Вестник Древней истории. 1952. №1. С. 101–109.

Кычанов Е.И. История приграничных с Китаем древних и средневековых государств (от гуннов до маньчжуров). 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Петербургск. лингвистическ. общ-во, 2010. 364 с.

Кюннер Н.В. Работа Н.Я. Бичурина (Иакинфа) над китайскими источниками для «Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» // Бичурин Н.Я. [Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. XVI–LXXXVI.

Кюннер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М.: Наука, 1961. 391 с.

Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері. IV том. Эулеттік тарихи жылнамалар. 2-бөлім. Алматы: Дайк-Пресс, 2006. 480 б.

Лашук Л.П. Историческая структура социальных организмов средневековых кочевников // Советская этнография. 1967а. №4. С. 25–39.

Лашук Л.П. О характере классообразования в обществах ранних кочевников // Вопросы истории. 1967б. №7. С. 105–121.

Лашук Л.П. Опыт типологии этнических общностей средневековых тюрков и монголов // Советская этнография. 1968. №1. С. 95–106.

Левашова В.П. Два могильника кыргыз-хакасов // Материалы и исследования по археологии СССР. М.: Наука, 1952. №24. С. 121–136.

Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. Алматы: Санат, 1996. 656 с.

Леус П.М. О цитировании китайских письменных источников по истории древних тюрков // Археологические вести. 2006. №13. С. 273–280.

Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. 414 с.

Липец Р.С. «Завоеванная женщина» в тюрко-монгольском эпосе // Фольклор и историческая этнография. М.: Наука, 1983. С. 42–74.

Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. 264 с.

Лобачева Н.П. Сверстники и семья (к вопросу о древней половозрастной градации общества у народов Среднеазиатско-Казахстанского региона) // Советская этнография. 1989. №5. С. 83–95.

Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шелковом пути. М.: Наука. Изд. фирма «Восточная литература», 1994. 326 с.

Лунин Б.В. Жизнь и деятельность академика В.В. Бартольда: Средняя Азия в отечественном востоковедении. Ташкент: Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1981. 224 с.

Лурье П.Б. Счастливый правитель, царь Пенджикента Чегин Чур Билгä // Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого, Санкт-Петербург, 2–5 ноября 2004 г. СПб.: ИИМК РАН, 2005. С. 127–131.

Лю Маоцай. Сведения о древних тюрках в средневековых китайских источниках // Бюллетень (Newsletter) общества востоковедов. Прил. 1. М.: Изд-во ИВ РАН, 2002. 126 с.

[Маковецкий П.Е.] Материалы для изучения юридических обычаев киргизов. Вып. 1. Материальное право. Омск: Типогр. Округн. Штаба, 1886. 88, [2] с. Максуди Арсал С. Тюркская история и право. Казань: Фэн, 2002. 412 с.

Малов С.Е. Остатки шаманства у желтых уйгуров // Живая старина. 1912. Год XXI. Вып. 1. С. 61–74.

Малов С.Е. Шаманский камень «яда» у тюрков Западного Китая // Советская этнография. 1947. №1. С. 151–160.

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 451, (1) с.

Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков: тексты и переводы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 116 с.

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 113 с.

Малов С.Е. Язык желтых уйгуров: тексты и переводы. М.: Наука, 1967. 220 с.

Малявкин А.Г. Тактика Танского государства в борьбе за гегемонию в восточной части Центральной Азии // Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск: Наука, 1980. С. 103–126.

Малявкин А.Г. Историческая география Центральной Азии (материалы и исследования). Новосибирск: Наука, 1981. 336 с.

Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии: тексты и исследования. Новосибирск: Наука, 1989. 432 с.

Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В. Древнетюркские курганы могильника Катанда-III // Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск: ГАГУ, 1997. С. 115–129.

Мамадаков Ю.Т., Цыб С.В. Аварийные археологические раскопки у с. Шибе // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1993. Ч. II. С. 202–205.

Мандельштам А.М. Исследования могильников Бай-Даг-II и Часкал-II // Археологические открытия 1966 года. М.: Наука, 1967. С. 127–128.

Маннай-оол М.Х. К вопросу о предпосылках и сущности генезиса феодализма у народов Саяно-Алтайского нагорья // Проблемы истории Тувы. Кызыл: Тувинск. книжн. изд-во, 1984. С. 98–110.

Маннай-оол М.Х. Тува в эпоху феодализма (к вопросу о генезисе и развитии феодальных отношений). Кызыл: Тувинск. книжн. изд-во, 1986. 196 с.

Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М.: Изд-во МГУ, 1976. 316 с.

Маршак Б.И. Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике. М.: Наука, 1971. 191 с.

Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности кочевнического общества. Алматы: Социнвест; М.: Горизонт, 1995. 320 с.

Материалы объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. 592 с.

Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. М.: Наука, 1984. 486 с.

Материалы по истории сюнну (по материалам китайских источников). Вып. 2. М.: Наука, 1973. 168 с.

Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. Арабские и персидские источники. (VI–XV вв.). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. 612 с.

Матренин С.С., Сарафанов Д.Е. Классификация оградок тюркской культуры Горного Алтая // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск: АКИН, 2006. Вып. 3-4. С. 203–218.

Матренин С.С., Тишкин А.А. Булан-кобинская культура Горного Алтая // Социальная структура ранних кочевников Евразии. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. С. 152–183.

Махмūd ал-Кāшгарī. Дīвāн Лугāt ат-Турк. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. 1288 с.

Махмūd ал-Кāшгарī. Дīвāн Лугāt ат-Турк (Свод тюркских слов). Т. 1. М.: Вост. лит-ра РАН, 2010 (Памятники письменности Востока. Вып. СХХVIII). 461 с.

Медникова М.Б. Трепанации в древнем мире и культ головы. М.: Алетея, 2004. 208 с.

Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: ранние формы и архаические памятники. Изд. 2-е, испр. М.: Вост. лит-ра РАН, 2004. 462 с.

Мелиоранский П.М. Об орхонских и енисейских надгробных памятниках с надписями // Журнал Министерства народного просвещения. 1898. Ч. CCCXVII, июнь. Отд. 2. С. 263–292.

Мелиоранский П.М. Памятник в честь Кюль-Тегина. С двумя таблицами надписей // Записки ВОИРАО. 1899а. Т. XII. Вып. II–III (с приложением одиннадцати таблиц). С. 1–144.

Мелиоранский П.М. [Рец. на] *Noten zu alttürkischen Inschriften der Mongolei und Sibirien's*. Н. Vambéry. *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. XII. Helsingfors. 1899. 119 p. 8<sup>0</sup> // Записки ВОИРАО. 1899б. Т. XII. Вып. IV (с приложением одной таблицы и одного портрета). С. 0146–0162.

Мердок Дж.П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003. 608 с.

Митько О.А. Древнетюркские погребения могильника Маркелов мыс-2 // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. Красноярск: Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 1992. Т. II. С. 46–48.

Митько О.А. Образ грифона в искусстве народов Евразии в древнетюркскую эпоху // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Новосибирск: НГУ, 1999. Вып. 2. С. 155–161.

Митько О.А. Древнетюркский могильник на реке Таштык // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 2000. С. 55–64.

Митько О.А., Тетерин Ю.В. О культурно-дифференцирующих признаках древнетюркских погребений на Среднем Енисее // Сибирь в панораме тысячелетий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1998. Т. I. С. 396–403.

Могильников В.А. Древнетюркские курганы Кара-Коба-I // Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1990. С. 137–185.

Могильников В.А. Курган 85 Кара-Кобы-I и некоторые итоги изучения древнетюркских памятников Алтая в связи с исследованиями в Кара-Кобе // Источники по истории Республики Алтай. Горно-Алтайск: Изд-во ГАИГИ, 1997а. С. 187–234.

Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э. М.: ИА РАН, 1997б. 195 с.

Могильников В.А., Елин В.Н. Курганы Талдура // Археологические исследования в Горном Алтае в 1980–1982 гг. Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1983. С. 127–153.

Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И. Погребальные комплексы древнетюркского времени могильника Кальджин-VIII // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. №2. С. 71–86.

Молодин В.И., Полосьмак Н.В., Новиков А.В., Богданов Е.С., Слюсаренко И.Ю., Черемисин Д.В. Археологические памятники плоскогорья Укок (Горный Алтай). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2004. 255 с.

Молодин В.И., Соловьев А.И. Памятник Сопка-II на реке Оми. Т. 2: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи средневековья. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2004. 184 с.

Монгол улсын түүх. Тэргүүн боть (Нэн эртнээс XII зууны дунд үе). Улаанбаатар, 2003. v, 438 тал.

Мори М. Политическая структура древнего государства кочевников Монголии // XIII Международный конгресс исторических наук. 16–23 августа 1970 г. М.: Наука, 1970. 8 с.

Москалев М.Н., Табалдиев К.Ш., Митько О.А. Культура средневекового населения внутреннего Тянь-Шаня и сравнительный анализ с сопредельными регионами Центральной Азии. Бишкек: Кыргызский нац. гос. ун-т; Новосиб. гос. ун-т, 1996. 259 с.

Мункуев Н.Ц. Новые материалы о положении монгольских аратов в XIII–XIV вв. // Татаро-монголы в Азии и Европе. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1977. С. 409–446.

Мухарева А.Н. Раннесредневековая изобразительная традиция в петроглифах Саяно-Алтайского региона и сопредельных территорий // Вестник Новосибирского государственного университета. 2007. Т. 6. Вып. 3: Археология, этнография. С. 189–198.

Мухарева А.Н. Украшения конского снаряжения или свидетельства социального статуса? // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. Ховд; Томск: Ховдский государственный университет, 2009. Т. II. С. 36–38.

Мөнхбаяр Ч. Узуур гялангийн хадны оршуулгын археологийн малтлага судалгаа // Хадан гэрийн соёл. Улаанбаатар: Монголын Ундэсний музей, 2017. 29–33 дугаар тал.

Мөнхбаяр Ч., Пүрэвдорж Г., Бямбасүрэн Х., Сүхбаатар Б. Үзүүр гялангийн түрэг хадны оршуулгын малтлага судалгааны урьдчилсан үр дүнгээс // Мөнххайрхан уул, Булган гол – Их онгогийн байгалийн цогцолборт газар. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2016. 164–187 дугаар тал.

Наван Д., Сумьябаатар Б. Овог монгол хэл бичийн чухаг дурсгал. Улаанбаатар: Шинжлэх Ухааны Академийн хэвлэл, 1987. 155 тал.

Наршахи Мухаммад. История Бухары. Ташкент: Ф. и Г. Бр. Каменские, 1897. 123 с.

Насилов В.М. Язык орхоно-енисейских памятников. М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1960. 88 с.

Нестеров С.П. Погребение с конем на р. Таштык (по материалам раскопок С.А. Теплоухова) // Археология Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1982. С. 95–102.

Нестеров С.П. Древнетюркские погребения у с. Батени // Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 1999. С. 91–102.

Нестеров С.П., Худяков Ю.С. Погребение с конем могильника Тепсей-III // Сибирь в древности. Новосибирск: Наука, 1979. С. 88–92.

Нечаева Л.Г. Погребения с трупосожжением могильника Тора-Тал-Арты // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. Т. II. Материалы по этнографии и археологии районов бассейна р. Хемчика. М.; Л.: Наука, 1966. С. 108–142.

Новгородова Э.А. Памятники изобразительного искусства древнетюркского времени на территории МНР // Тюркологический сборник 1977. М.: Наука, 1981. С. 203–213.

Новгородова Э.А. Древняя Монголия: (Некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории). М.: Наука, 1989. 383 с.

Обсуждение в Ученом совете ИИМК книги А.Н. Бернштама «Очерки по истории гуннов» // Советская археология. 1953. Вып. XVII. С. 320–326.

Овчинникова Б.Б. Погребение древнетюркского воина в Центральной Туве // Советская археология. 1982. №3. С. 210–218.

Овчинникова Б.Б. Древнетюркские захоронения в подбоях в Центральной Туве // Древний и средневековый Восток. История, филология. М.: Наука, 1984. С. 215–223.

Овчинникова Б.Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI–X веках. Свердловск: Уральский ун-т, 1990. 223 с.

Овчинникова Б.Б. Древнетюркские памятники могильного поля Аймырлыг // Древности Востока. М.: РУСАКИ, 2004. С. 86–110.

Окладников А.П. Конь и знамя на Ленских писаницах // Тюркологический сборник. 1951. Вып. I. С. 143–154.

Олзийбаяр С. Огооморийн уйгур булш // Туухийн судлал. 2007. Т. XXXVII. 26–31 дугаар тал.

Очерки истории СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР. III–IX вв. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 949 с.

Осава Т., Сүзүки К., Лхүндэв Г. Заамарын шороон довоос олдсон мөнгөн сав дээрх руни бичээс // Археологийн судлал. 2011. Т. XXX. Fasc. 8. 140–146 тал.

Очир А., Эрдэнэболд Л., Харжаубай С., Жантегин Х. Эртний нүүдэлчдийн бунхант булшны малтлага судалгаа: Булган Аймгийн Баяннуур Сумын Улаан хэрмийн Шороон бумбагарын малтлагын тайлан. Улаанбаатар: «Соёмбо Принтинг» Хэвлэлийн Үйлдвэр, 2013. 290 тал.

Палладий [Кафаров]. Старинное монгольское сказание о Чингисхане // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. СПб., 1866. Т. IV. С. 3–260.

Паркер Э. Татары. История возникновения великого народа. М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. 223 с.

Патканов К.П. Ванские надписи и значение их для истории Передней Азии // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1883. Ч. CCXXX. С. 199–274.

Першиц А.И. Оседлое и кочевое общество Северной Аравии в новое время (проблема исторических контактов): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1971. 38 с.

Першиц А.И. Некоторые особенности классовообразования и раннеклассовых отношений у кочевников-скотоводов // Становление классов и государства. М.: Наука, 1976. С. 280–313.

Першиц А.И., Хазанов А.М. Община у кочевых скотоводов // Народы Азии и Африки. 1979. №2. С. 51–60.

Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р. Погребение знатной скифянки из могильника Новозаведенное-II (предварительная публикация) // Археологические памятники раннего железного века Юга России. М.: Изд-во ИА РАН, 2004. С. 179–210.

Пигулевская Н.В. Анонимная сирийская хроника о времени Сасанидов (Сирийские источники по истории Ирана и Византии) // Записки института востоковедения АН СССР. 1939. Т. VII. С. 55–78.

Пигулевская Н.В. Сирийская средневековая историография: Исследования и переводы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 761 с.

Писаревский Н.П. Изучение истории ранних скотоводческих обществ степи и лесостепи Евразии в советской археологии середины 20-х – первой половины 30-х гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06. Кемерово, 1989. 201 с.

Позднеев Д.М. Исторический очерк уйгуров (по китайским источникам). СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1899. LXIII. 162 с.

Покровская Л.А. Термины родства в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 11–81.

Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. 336 с.

Поляков С.П. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. Хозяйство. Социальная организация. История. М.: Изд-во МГУ, 1980. 168 с.

Понарядов В.В. Диалектная дифференциация в языке енисейских рунических надписей // Вопросы языкознания. 2007. №2. С. 127–132.

Попов А.А. Семейная жизнь у долган // Советская этнография. 1946. №4. С. 50–74.

Поппе Н.Н. Пережитки культа огня в монгольском языке // Доклады Российской академии наук. 1925. С. 14.

Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В. Исследование средневекового могильника Белый Яр-II // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Новосибирск: НГУ, 1999. Вып. 2. С. 88–116.

Потапов Л.П. Ранние формы феодальных отношений у кочевников // Записки Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Вып. 1. История, этнография, археология. Абакан: Хакоблнациздат, 1948. С. 3–30.

- Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л.: Наука, 1953. 442 с.
- Потапов Л.П. Тюльберы енисейских рунических надписей // Тюркологический сборник. 1971. Памяти В.В. Радлова. М.: Наука, 1972. С. 145–166.
- Потапов Л.П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. 1972. Памяти П.М. Мелиоранского. М.: Наука, 1973. С. 265–286.
- Потапов Л.П. О феодальной собственности на пастбища и кочевья у тувинов (XVIII – начало XX в.) // Социальная история народов Азии. М.: Наука, 1975. С. 115–125.
- Потапов Л.П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке алтайского шаманства // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. М.: Наука, 1978. С. 3–36.
- Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. 320 с.
- Пріцак О. Походження Русі. Т. 1. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг). Київ: Обереги, 1997. 1080 с.
- Пуллиблэнк Э.Дж. Язык сюнну // Зарубежная тюркология. Вып. I. Древние тюркские языки и литературы. М.: Наука, 1986. С. 29–70.
- Путешествие в восточные страны Платона Карпини и Рубрука. М., 1957. 270 с.
- Радлов В.В. Из Сибири: страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.
- Радлов В.В. К вопросу об уйгурах. Из предисловия к изданию Кудатку-Билика. Приложение к LXXII тому Записок Императорской Академии Наук №2. СПб., 1893а. 130 с.
- Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1. Гласные. Ч. 1. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1893б. XVII с., стб. 1–968; Т. 1. Гласные. Ч. 2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1893б. Стб. 969–1914, 66 с.
- Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. II. Ч. 1. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1899. Стб. 1–1052; Ч. 2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1899. Стб. 1053–1814, 64 с.
- Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. III. Ч. 1. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1905. Стб. 1–1260; Т. III. Ч. 2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1905. Стб. 1261–2204, 98 с.
- Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. IV. Ч. 2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1911. Стб. 2204–2230, 107 с.
- Радлов В.В., Мелиоранский П.М. Древнетюркские памятники в Кошо-Цайдаме // Сборник трудов Орхонской экспедиции. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1897. Т. IV. 45 с.
- Рамstedт Г.Й. Этимология имени ойрат // Записки Императорского РГО по Отделению Этнографии. 1909. Т. XXXIV. Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. С. 546–558.
- Рамstedт Г.Й. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М.: Иностр. лит-ра, 1957. 255 с.



Распопова В.И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука, 1980. 139 с.

Рахманов Н.А. Орхоно-енисейские памятники и тюркские эпосы: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Ташкент, 1991. 48 с.

Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. М.; Л.: АН СССР, 1952. 221 с.; Т. 1. Кн. 2. М.; Л.: АН СССР, 1952. 315 с.

Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 2. М.; Л.: АН СССР, 1960. 248 с.

Рэчэбов Э., Мэммэдов Ж. Орхон-Енисей абидэлэри. Б.: Жазычы, 1993. 400 с.

Ромаскевич А.А. Персидские источники по истории туркмен и Туркмении X–XV вв. // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. Арабские и персидские источники. (VI–XV вв.). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 40–61.

Рона-Таш А. По следам кочевников. Монголия глазами этнографа. М.: Прогресс, 1964. 312 с.

Рухлядев Д.В. Древнетюркские рунические надписи VIII–IX вв. как памятник историографии: генезис жанра и структура текста: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09. СПб., 2005. 270 с.

Рябова Т.Б. Гендерные стереотипы и гендерная стереотипизация: методологические подходы // Женщина в российском обществе. 2001. №3–4. С. 3–12.

Рябова Т.Б. Стереотипы и стереотипизация как проблема гендерных исследований // Личность. Культура. Общество. 2003. Т. V. Вып. 1–2 (15–16). С. 120–138.

Савинов Д.Г. Древнетюркские курганы Узунтала (к вопросу о выделении курайской культуры) // Археология Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1982. С. 102–122.

Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 174 с.

Савинов Д.Г. Парный кенотаф древнетюркского времени // Проблемы происхождения и этнической истории тюркских народов Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1987. С. 80–89.

Савинов Д.Г. Древнетюркское время // Древние культуры Бертекской долины. Новосибирск: Наука, 1994а. С. 146–152.

Савинов Д.Г. Могильник Бертек-34 // Древние культуры Бертекской долины. Новосибирск: Наука, 1994б. С. 104–124.

Савинов Д.Г. Историко-культурное значение древнетюркских рунических надписей-эпитафий // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. №3(23). С. 279–284.

Савинов Д.Г. Ранние тюрки на Енисее (археологический аспект) // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. Томск: Изд-во Аграф-Пресс, 2008. С. 185–190.

Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д. Раннесредневековые впускные погребения на юге Хакасии // Памятники археологии в зонах мелиорации Южной Сибири (по материалам раскопок 1980–1984 гг.). Л.: Наука, 1988. С. 83–103.

Садыков Т.Р. Тюркское погребение с конями в урочище Бай-Булун в Центральной Туве // Теория и практика археологических исследований. 2017. №2. С. 47–59.

Самашев З., Базылхан Н., Самашев С. Древнетюркские тамги / Көне түрік таңбалары / Ancient turkic tamga-signs. Алматы: АО «Абди компани», 2010. 168 с.

Самойлович А.Н. Не «идол», а «племя» // Советская этнография. 1935. №6. С. 44–46.

Самойлович А.Н. Богатый и бедный в тюркских языках // Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М.: Вост. лит. РАН, 2005а. С. 291–330.

Самойлович А.Н. Вильгельм Томсен и туркология // Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М.: Вост. лит-ра РАН, 2005б. С. 146–157.

Самойлович А.Н. Запретные слова в языке казак-киргизской замужней женщины // Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М.: Вост. лит-ра РАН, 2005в. С. 277–283.

Самойлович А.Н. Турецкий памятник из Ихе-Хушоту в Центральной Монголии // Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М.: Вост. лит-ра РАН, 2005г. С. 164–175.

Санжмятав Т. Архангай аймгийн нутаг дахь эртний түүх соёлын дурсгал. Улаанбаатар: Хэвлэлийн «Цомог», 1993. 198 тал.

Сатлаев Ф.А. Сельская община кумандинцев во второй половине XIX – первой четверти XX в. // Социальная история народов Азии. М.: Наука, 1975. С. 100–114.

Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М.: Наука, 1974. 767 с.

Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на букву «В», «Г» и «Д». М.: Наука, 1980. 395 с.

Севортян Э.В., Левитская Л.С. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Ж», «Ж», «Й». М.: Наука, 1989. 293 с.

Селезнев Ю.В. Элита Золотой Орды. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. 232 с.

Семибратов В.П., Матренин С.С. Исследование погребальных и поминательных памятников тюркской культуры в зоне строительства Алтайской ГЭС в 2007 г. // Теория и практика археологических исследований. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. Вып. 4. С. 54–66.

Серегин Н.Н. Традиция сооружения кенотафов кочевниками тюркской культуры // Археология степной Евразии. Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2008. С. 144–153.

Серегин Н.Н. Социальная организация раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии (по материалам погребальных комплексов). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013а. 206 с.

Серегин Н.Н. Элита раннесредневековых тюрок Саяно-Алтая (по материалам погребальных комплексов) // Краткие сообщения Института археологии. 2013б. Вып. 229. С. 71–83.

Серегин Н.Н. Изучение и интерпретация погребальных комплексов раннесредневековых тюрок Монголии (историографический аспект) // Теория и практика археологических исследований. 2014а. №1(9). С. 101–114.

Серегин Н.Н. Специфика формирования «минусинского» локального варианта культуры раннесредневековых тюрок: опыт реконструкции // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2014б. Т. 13. №5. С. 177–185.

Серегин Н.Н. «Символические» захоронения раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2015а. №1(28). С. 47–55.

Серегин Н.Н. Символы власти в обществе раннесредневековых тюрок Центральной Азии (по археологическим материалам) // Уральский исторический вестник. 2015б. №4(49). С. 77–85.

Серегин Н.Н. «Элитные» погребальные комплексы раннесредневековых тюрок Центральной Азии // Васютин С.А., Дашковский П.К., Крадин Н.Н. и др. Элита в истории древних и средневековых народов Евразии. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015в. С. 131–143.

Серегин Н.Н. Впускные погребения тюрок Алтая и сопредельных территорий // Теория и практика археологических исследований. 2016а. №2(14). С. 37–47.

Серегин Н.Н. Погребальные сооружения тюрок Монголии (2-я половина I тыс. н.э.) // Теория и практика археологических исследований. 2016б. №1(13). С. 91–109.

Серегин Н.Н. Погребальный ритуал раннесредневековых тюрок Монголии // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. 2016в. Вып. IX. С. 66–85.

Серегин Н.Н. «Элитные» погребальные комплексы тюркского времени в Монголии: итоги и перспективы исследований // Теория и практика археологических исследований. 2017. №2. С. 60–74.

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н.э. – XI в. н.э. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. 272 с.

Серегин Н.Н., Мухарева А.Н. История изучения петроглифов раннего средневековья на территории Алтая // Научное обозрение Саяно-Алтая. Сер.: Археология. Вып. 2. 2015. №1(9). С. 95–106.

Серегин Н.Н., Тишин В.В. К вопросу о формах зависимости в обществе древних тюрков Центральной Азии (по письменным и археологическим источникам) // Тюркологический сборник 2013–2014. Памяти Сергея Григорьевича Кляшторного (1928–2014). М.: Наука; Вост. лит-ра, 2016. С. 159–192.

Симчит К.-М.А. Лексика шаманизма в тувинском языке: автореф. дис. ... канд. фил. наук. М., 2010. 28 с.

Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент (Материалы 1949–1956 гг.). М.: Вост. лит-ра, 1963. 170 с.

Смирнова О.И. «История Бухары» Наршахи (к истории сложения текста и о задачах его издания) // Краткие сообщения Института народов Азии. 1965. №69. Исследование рукописей и ксилографов Института народов Азии. С. 155–179.

Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. М.: Наука, 1970. 287 с.

Советова О.С., Мухарева А.Н. Об использовании знамен в военном деле средневековых кочевников (по изобразительным источникам) // Археология Южной Сибири. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. Вып. 23. С. 92–105.

Соенов В.И. Результаты раскопок на могильнике Верх-Уймон в 1999 году // Древности Алтая. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2000. №5. С. 48–62.

Соенов В.И., Трифанова С.В., Вдовина Т.А., Яжанкина С.И. Средневековое скальное захоронение в Каменном Логу // Древности Алтая. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2002. №9. С. 117–124.

Соенов В.И., Эбель А.В. Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуні. Горно-Алтайск: ГАГПИ, 1992. 116 с.

Соенов В.И., Эбель А.В. Новые материалы из алтайских оградок // Гуманитарные науки в Сибири. 1996. №3. С. 115–118.

Соловьев А.И. Исследования на могильнике Усть-Чоба-I на Средней Катуні // Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск: ГАГУ, 1999. №4. С. 123–133.

Соловьева О.А. Символы, символические знаки и знаки власти (на среднеазиатском материале) // Символы и атрибуты власти (генезис, семантика, функции). СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН, 1996. С. 38–45.

Софронов М.В. Китайский язык и китайская письменность: курс лекций. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 638 с.

Спришевский В.И. Погребение с конем середины I тыс. н.э., обнаруженное около обсерватории Улугбека // Труды Музея истории народов Узбекистана. 1951. Вып. 1. С. 33–42.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. М.: Наука, 1984. 488 с.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. М.: Наука, 1988. 560 с.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. М.: Наука, 1997. 800 с.; 2-е изд., доп. М.: Наука, 2001. 822 с.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. М.: Наука, 2006. 908 с.

Стеблева И.В. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. М.: Наука, 1971. 299 с.

Сэр-Оджав Н. Эртний түрэгүүд (VI–VIII зуун). Улаанбаатар: Шинхлэх Ухааны Академийн хэвлэл, 1970 (Studia Archaeologica Instituti Historiae Academiae Scientiarum Reipublicae Populi Mongolici. Т. 5. Fasc. 2). 116 тал.

Сэр-Оджав Н. Древняя история Монголии (XIV в. до н.э. – XII в. н.э.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1971. 27 с.

Табалдиев К.Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

Таскин В.С. Введение // Материалы по истории сюнну (по материалам китайских источников). Вып. 1. М.: Наука, 1968. С. 3–33.

Таскин В.С. Введение. Значение китайских источников в изучении древней истории монголов // Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. М.: Наука, 1984. С. 3–62.

Таскин В.С. Введение // Материалы по истории кочевых народов в Китае III–V вв. Вып. 2. Цзе. М.: Наука, 1990. С. 3–27.

Тетерин Ю.В. Новый памятник древнетюркской эпохи на Среднем Енисее // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. Красноярск: Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 1992. Т. II. С. 24–26.

Тетерин Ю.В. Погребение знатного тюрка на среднем Енисее // Памятники культуры древних тюрков в Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 1999. С. 113–128.

Тетерин Ю.В. Древнетюркские погребения могильника Маркелов Мыс-I // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 2000. С. 27–54.

Тишин В.В. К вопросу о форме семьи у древних тюрков в связи с ее хозяйственными функциями // Этнографическое обозрение. 2012а. №4. С. 92–107.

Тишин В.В. К древнетюркской системе родства // *Orientalistica Iuvenile*: сб. науч. ст. молодых ученых Института востоковедения РАН. 2012б. Вып. IV. С. 86–111.

Тишин В.В. Некоторые заметки о служителях культов у древних тюрков VI–VIII вв. // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Вып. VI. Барнаул: АГУ, 2013. С. 102–119.

Тишин В.В. К проблеме форм эксплуатации и социальной зависимости в древнетюркской среде VI–XI вв.: историографический аспект // Этнографическое обозрение. 2014а. №4. С. 93–107.

Тишин В.В. [Рец. на] Серегин Н.Н. Социальная организация раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии (по материалам погребальных комплексов). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. 206 с. // Вестник НГУ. Сер.: история, филология. 2014б. Т. 13. Вып. 8. История. С. 192–195.

Тишин В.В. Служители культа у древних тюрок VI–VIII вв.: основные проблемы исследований // Восточная Европа в древности и средневековье. Язычество и монотеизм в процессах политогенеза : XXVI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто, 16–18 апреля 2014 г.: материалы конференции. М.: ИВИ РАН, 2014в. С. 272–277.

Тишин В.В. Историография социальной истории Тюркского каганата VI–VIII вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09. М., 2015а. 28 с.

Тишин В.В. К вопросу о характере общины у древних тюрок VI–VIII вв. // Восток (Oriens). 2015б. №2. С. 43–53.

Тишин В.В. К семантике терминов *oγul* и *oγlan* в тюркоязычных памятниках VIII–XI вв. // *Orientalistica Juvenile*: сб. науч. ст. молодых ученых Института востоковедения РАН. 2015в. Вып. VI. С. 65–83.

Тишин В.В. Проблемы социальной истории Тюркского каганата в работах китайских ученых: опыт историографического обзора // Общество и государство в Китае / редколл. А.И. Кобзев и др. М.: ИВ РАН, 2015г (Ученые записки ИВ РАН. Отдел Китая. Вып. 7). Т. XLV. Ч. 1. С. 418–428.

Тишин В.В., Серегин Н.Н. Положение женщины в древнетюркском обществе // Историческая психология и социология истории. 2015. Т. 8. №1. С. 109–127.

Тишин В.В., Серегин Н.Н. Возрастная организация у древних тюрок VI–X вв. // Этнографическое обозрение. 2016. №1. С. 136–152.

Тишин В.В., Серегин Н.Н. К вопросу о существовании служителей культа у древних тюрок Центральной Азии // Этнографическое обозрение. 2017. №3. С. 76–96.

Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. 356 с.

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Раннетюркское погребение на могильнике Яконур (по материалам раскопок М.П. Грязнова) // Древности Алтая. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2003. №10. С. 107–117.

Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс археологических памятников в долине р. Бийке (Горный Алтай). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. 200 с.

Тишкин А.А., Горбунов В.В., Мухарева А.Н. Катафрактарии Хар-Хада // История и культура средневековых народов степной Евразии. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. С. 221–226.

Тишкин А.А., Горбунов В.В., Мухарева А.Н., Серегин Н.Н., Мунхбаяр Б.Ч. Изучение археологических памятников Монгольского Алтая (по результатам экспедиционных работ в 2015 г.) // Теория и практика археологических исследований. 2016. №4(16). С. 152–171.

Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета). Барнаул: Азбука, 2011а. 144 с.

Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Предметный комплекс из памятников кызылташского этапа тюркской культуры (2-я половина V – 1-я половина VI вв. н.э.): традиции и новации // Теория и практика археологических исследований. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011б. Вып. 6. С. 14–32.

Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Китайские изделия из археологических памятников раннесредневековых тюрков Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. 2013. Вып. 1(7). С. 49–72.

Толстов С.П. Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах // Основные проблемы генезиса и развития феодального общества: пленум Государственной академии истории материальной культуры, 20–22 июня 1933 г. М.; Л.: ОГИЗ, 1934 (Известия ГАИМК. Вып. 103). С. 165–199.

Толстов С.П. Военная демократия и проблема «генетической революции» // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. №7–8. С. 175–216.

Толстов С.П. К истории древнетюркской социальной терминологии // Вестник Древней истории. 1938а. №1(2). С. 72–81.

Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии // Вестник Древней истории. 1938б. №1(2). С. 176–203.

Толстов С.П. Тирания Аброя (Из истории классовой борьбы в Согдиане и тюркском каганате во второй половине VI в. н.э.) // Исторические записки. 1938в. Вып. III. С. 3–53.

Толстов С.П. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования. М.: Изд-во МГУ, 1948. 352 с.

Толыбеков С.Е. Общественно-экономический строй казахов в XVII–XIX веках. Алма-Ата: Казах. гос. изд-во, 1959. 448 с.

Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII – начале XX века (Политико-экономический анализ). Алма-Ата: Наука, 1971. 634 с.

Торланбаева К.У. Наследование и основы правления у восточных тюрков // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. 2007. Сер. общественных наук. №3. С. 54–62.

Тортика А.А., Михеев В.К., Кортиев Р.И. Некоторые эколого-демографические и социальные аспекты истории кочевых обществ // Этнографическое обозрение. 1994. №1. С. 49–62.

Төрбат Ц. Морьтой нэгэн оршуулга // Археологийн судлал. 1998. Т. XVIII. 130–134 дугаар тал.

Төрбат Ц. Эртний түрэгийн жирийн булшны судалгааны зарим асуудал // Археологийн судлал. 2005. Т. XXIII. 96–103 дугаар тал.

Төрбат Ц. Түрэгийн үеийн археологийн соёл // Талын морьтон дайчдын ов соёл. Улаанбаатар: Шинжлэх Ухааны Академи Археологийн хүрээлэн, 2014. 27–43 дугаар тал.

Төрбат Ц., Амартүвшин Ч., Эрдэнэбат У. Эгийн голын сав нутгийн археологийн дурсгалууд. Улаанбаатар: «Соёмбо» принтинг, 2003. 295 тал.

Трепавлов В.В. Алтайский героический эпос как источник по истории ранней государственности // Фольклорное наследие Горного Алтая. Горно-Алтайск: [Б.и.], 1989. С. 125–171.

Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: Проблема исторической преемственности. М.: Наука, 1993. 168 с.

Третьякова В.Н. Женщина в древнетюркском обществе // Наследие древних и традиционных культур Северной и центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. Т. II. С. 54–56.

Трифонов Ю.И. Работы на могильнике Аргалыкты // Археологические открытия 1965 года. М.: Наука, 1966. С. 25–27.

Трифонов Ю.И. Раскопки у подножия хребта Аргалыкты и в районе Кара-Тала // Археологические открытия 1966 года. М.: Наука, 1967. С. 129–131.

Трифонов Ю.И. Новые памятники у подножия хребта Аргалыкты // Археологические открытия 1967 года. М.: Наука, 1968. С. 174–176.

Трифонов Ю.И. Древнетюркская археология Тувы // Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы, истории. 1971. Вып. XV. С. 112–122.

Трифонов Ю.И. Работы в Туве и Хакасии // Археологические открытия 1974 года. М.: Наука, 1975. С. 236–238.

Трифонов Ю.И. Погребение X в. н.э. на могильнике Аргалыкты-I // Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 2000. С. 143–156.

Тугушева Л.Ю. Тюркские рунические памятники из Монголии. М.: ИНСАН, 2008. 192 с.

Тукешева Н.М. Эволюция представлений о верховной власти в обществах тюркского периода (VI–XII вв.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Уральск, 2007. 31 с.

Турбат Ц., Батсух Д., Батбаяр Т. Скальное захоронение с музыкальным инструментом в Монгольском Алтае (предварительные оценки) // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. С. 264–265.



Тутаркова Н.В. Положение хакасской женщины в традиционном и современном обществе (XIX–XXI вв.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2007. 22 с.

Тюхтенева С.П. «Из какой ты кости?»: сёок и родство у алтайцев // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. Вып. 5. С. 103–110.

Угдыжеков С.А. Социальная структура раннесредневековых кыргызов: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2000. 26 с.

Ульянов И.В. Культ меча ранних кочевников Южного Урала // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования. Иркутск; Эдмонтон: Изд-во ИрГТУ, 2007. С. 188–191.

Умняков И.И. Аннотированная библиография трудов академика В.В. Бартольда. – Туманович Н.Н. Описание архива академика В.В. Бартольда. М.: Наука, 1976. 468 с.

Феофилакт Симокатта. История. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 222 с.

Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала XX века. М.: Наука, 2002. 302 с.

Фирдоуси Абулькасим. Шахнаме: в 6 т. Т. 6: От начала царствования Йездегерда, сына Бахрама Гура, до конца книги. М.: Наука, 1989. 656 с.

Флуг К.К. История китайской печатной книги Сунской эпохи X–XIII вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 400 с.

Фрэзер Д. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. М.: Политиздат, 1986. 703 с.

Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М.: Наука, 1975. 344 с.

Хазанов А.М. Роль рабства в процессах классообразования у кочевников евразийских степей // Становление классов и государства. М.: Наука, 1976. С. 249–279.

Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. Изд. 3-е, доп. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. 604 с.

Харузин А.Н. Киргизы Букеевской орды (Антрополого-этнологический очерк). Т. 1. М.: Типография А. Левенсонъ и К°, 1889. 551 с.

Худяков Ю.С. К вопросу о хозяйственно-культурном типе енисейских кыргызов в эпоху средневековья // Этнография народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1984. С. 18–24.

Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 271 с.

Худяков Ю.С. Древнетюркский орнаментированный колчан из могильника Терен-Кель // Изв. СО АН СССР. Сер. Истории, филологии и философии. 1988. Вып. 3. С. 59–61.

Худяков Ю.С. Древнетюркское погребение на могильнике Терен-Кель // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. №3. С. 21–26.

Худяков Ю.С. Иранско-тюркский культурный симбиоз в Центральной Азии // Проблемы политогенеза кыргызской государственности: документы, исследования, материалы. Бишкек: [Б.и.], 2003. С. 134–139.

Худяков Ю.С. Древние тюрки на Енисее. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2004. 152 с.

Худяков Ю.С. Древнетюркский культурный феномен в Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 2007а. 156 с.

Худяков Ю.С. Золотая волчья голова на боевых знаменах: Оружие и войны древних тюрков в степях Евразии. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007б. 192 с.

Худяков Ю.С. Символы и атрибуты государственности у енисейских кыргызов в эпоху раннего средневековья // Этническая история и культура тюркских народов Евразии. Омск: Издатель-Полиграфист, 2011. С. 294–299.

Худяков Ю.С., Белинская К.Ы. Особенности женской погребальной обрядности древних тюрков на территории Монголии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. XII. Ч. 1. С. 497–500.

Худяков Ю.С., Кочеев В.А. Древнетюркское мумифицированное захоронение в местности Чатыр у с. Жана-Аул в Горном Алтае // Гуманитарные науки в Сибири. 1997. №3. С. 10–18.

Худяков Ю.С., Кочеев В.А. Чатырская мумия // Археология, антропология и этнография Евразии. 2000. №3(3). С. 109–115.

Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Моносов В.М. Балтарганские находки // Гуманитарные науки в Сибири. 1996. №3. С. 46–53.

Худяков Ю.С., Лхагвасурэн Х. Находки из древнетюркского погребения в местности Загал в Монгольском Алтае // Древности Алтая. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2002. №8. С. 94–105.

Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. Археологические исследования в долинах рек Ороктой и Эдиган в 1988 г. // Археологические исследования на Катунь. Новосибирск: Наука, 1990. С. 95–150.

Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2009. 293 с.

Худяков Ю.С., Турбат Ц. Древнетюркское погребение на памятнике Элст Хутул в Северной Монголии // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Новосибирск: НГУ, 1999. Вып. 2. С. 82–87.

Худяков Ю.С., Цэвэндорж Д. Комплекс находок древнетюркского времени из Аргаан-гола // Археологийн судлал. 1986. Т. XI. 98–102 дугаар тал.

Худяков Ю.С., Цэвэндорж Д. Древнетюркское погребение из могильника Каган-Хайрхан-Уул в Убсу-Нурской котловине // Археологийн суудлал. 1997. Т. XVII. 88–97 дугаар тал.

Худяков Ю.С., Цэвэндорж Д. Древнетюркское погребение из могильника Цаган-Хайрхан-Уул в северо-западной Монголии // Памятники культуры древних тюрков в Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 1999. С. 82–90.

Хүрэлсүх С. Монгол нутаг дахь агуйн эртний оршуулгын судалгааны байдал // Археологийн судлал. 2008. Т. XXVI. 293–310 дугаар тал.

Хүрэлсүх С., Мөнхбаяр Л. Рашаантын Ам ба Цанхирын агуйн оршуулгууд // Acta Historica. 2004. Т. V. 20–30 дугаар тал.

Цэвээндорж Д., Кубарев В.Д., Лхүндэв Г., Кубарев Г.В., Баярхүү Н. Хар Ямаатын Түрэгийн үеийн дурсгалуудын малтлагын үр дүн // Археологийн судлал. 2008. Т. XXVI. 262–273 дугаар тал.

Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая // Археология, этнография, антропология Евразии. 2004. №1(17). С. 40–51.

Шалхаков Д.Д. К вопросу о форме и структуре семьи у тюрко-монгольских кочевых скотоводческих народов // Этногенез и этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. Омск: [Б.и.], 1983. С. 136–144.

Шахматов В.Ф. Институт тюленгутства в патриархально-феодальном Казахстане // Известия Академии наук Казахской ССР. Сер. истории, экономики, философии, права. 1955. №2. С. 79–106.

Шелепова Е.В. Ритуальные памятники кочевников Алтая поздней древности и раннего средневековья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2009. 24 с.

Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. М.: Наука, 1981. 608 с.

Шульга П.И., Горбунов В.В. Фрагмент доспеха из тюркского кенотафа в долине р. Сентелек // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 112–130.

Щербак А.М. Огуз-наме. Мухаббат-наме. Памятники древнеуйгурской и староузбекской письменности. М.: Вост. лит-ра, 1959. 170 с.

Щербак А.М. Памятники рунического письма енисейских тюрков // Народы Азии и Африки. 1964. №4. С. 140–151.

Щербак А.М. В.В. Радлов и изучение памятников рунической письменности // Тюркологический сборник. 1971. Памяти В.В. Радлова. М.: Наука, 1972. С. 54–63.

Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Имя. Л.: Наука, 1977. 191 с.

Щербак А.М. Ранние тюрко-монгольские языковые связи (VIII–XIV вв.). СПб.: Изд. ИЛИ РАН, 1997. 292 с.

Щербак А.М. Тюркская руника. Происхождение древнейшей письменности тюрков, границы ее распространения и особенности использования. СПб.: Наука, 2001. 152 с.

Энхтөр А., Цэрэндагва Я., Батсүх Д., Мөнхбаяр Л., Батбаяр Т., Батболд Г., Эрдэнэ Б., Хантогс Т., Далантай С., Энхбаяр Б. «Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамын хөгжлийн төсөл»-ийн хүрээнд гүйцэтгэсэн археологийн авран хамгаалах малтлага судалгааны товч үр дүн // Монголын археологи–2017. Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академи түүх, 2017. 365–373 дугаар тал.

Эрдэнэболд Л., Ванчигдаш Ч., Бямба-Очир Ц., Одбаяр З., Ариунболд Г. Бишрэлтийн Амны археологийн матлага судалгааны урьдчилсан үр дүнгээс // Монголын археологи–2017. Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академи түүх, 2017. 149–154 дугаар тал.

Эрдэнэболд Л., Одбаатар Ц., Анхбаяр Б. Өвөр хавцалын амны түрэг булш // Нуудэлчдийн өв судлал. 2010. Т. X. Fasc. 9. 125–132 дугаар тал.

Эрдэнэболд Л., Цэрэндорж Ц. Исследование гробниц с захоронениями вельмож аймака «Пугу» // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: Мат-лы междунар. науч. конф. Улан-Удэ, 7–8 апреля 2015 г. Иркутск: Оттиск, 2015. С. 455–462.

Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские лексические основы на буквы «К» (~«Г») и «Қ» (~«Қ» ~«К»). Выпуск первый. М.: Языки русской культуры, 1997. 368 с.

Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские лексические основы на буквы «К» (~«Г») и «Қ» (~«Қ» ~«К»). Выпуск второй. М.: Индрик, 2000. 261 с.

Юдин В.П. Центральная Азия в XIV–XVIII веках глазами востоковеда. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. 384 с.

Юнусов А.С. Военное дело тюрков в VII–X вв. (по арабским источникам) // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1990. С. 97–105.

Юшков С.В. История государства и права СССР: учебник для юридических вузов. 2-е изд., испр. и доп. Ч. 1. М.: Юридик. изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1947. 767 с.

Якубович И.С. Новое в согдийской этимологии. М.: Языки славянской культуры, 2013. 240 с.

Якубовский А.Ю. Из истории изучения монголов периода XI–XIII вв. // Очерки по истории русского востоковедения. Сб. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 31–95.

Ямаева Е.Е. Родовые тамги алтайских тюрков (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск: Б.и., 2004. 56 с.

Яхонтов С.Е. Древнекитайский язык. М.: Наука, 1965. 115 с.

Яхонтов С.Е. Древнейшие упоминания названия «киргиз» // Советская этнография. 1970. №2. С. 110–120.

Яценко С.А. О предполагаемых шаманских атрибутах в Пазырыке // Теория и практика археологических исследований. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. Вып. 3. С. 32–38.

Akın H. Nemeth'e Göre En Eski Türk–Macar Münasebetleri // AÜ DTCF. 1982. Cilt: XXX. Sayı: 1–2 (Ocak 1979 – Haziran 1982). Atatürk'ün 100. Doğum Yılına Armağan. S. 1–6.

Aksaraylı Z.A. Gök Türk İmparatorluğu İleriş, Kapgan ve Bilge'nin Hükümdarlıkları (680–734) // Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011. Cilt 9. Sayı 2. (Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı). S. 729–736.

Alimov R. Kırgızistan'da Yeni Bulunan Runik Harfli Eski Türk Yazıtları Hakkında Ön Bilgiler // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 2000. Ankara, 2001. S. 5–10.

Alimov R. Koçkor'daki Türgeş Yazıtları // İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003. Sayı 1. S. 13–43.

Alimov R. II. Karabalgasun Yazıtı // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2015. Cilt 12. Sayı 4. S. 27–38.

Alimov R., Tabaldiev K. Newly Found Old Turkic Runic Inscription on a Boulder From Talas // Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish Studies. 2005. Cilt 30/I. Orhan Okay Armağanı I / Festschrift in Honor of Orhan Okay I. S. 121–125.

Alyılmaz C. Karı Çor Tigin Yazıtı // TEKE: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi). 2013. Sayı 2/2. S. 1–61.

Amanjolov A. Orhun Anıtları Üzerine Yeni Çeviri Çalışmaları // ХҚТУ III Халықаралық Түркология конгресі. Бүгінгі Түркологияның өзекті мәселелері мен келешегі (ортақ тіл, тарих және әліппе) / А.Ү.Ü. III. Uluslararası Türkoloji kongresi. Ortak dil, tarih ve alfabe, oluşturma sürecinde, geçmişten geleceğe Türkolojinin meseleleri. 18–20 мамыр / mayıs. Түркістан / Türkistan, 2009. S. 85–88.

Arat R.R. Kutadgu Bilig. 1 Metin. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1947 (TDK. Cilt II. Sayı 29). LIX, 656 s.

Arsal S.M. Eski Türklerde soy-oymak teşkilâtının istinat ettiği esaslarla Kadim Yunanlıların genos-fratria teşkilâtında ve Kadim Romanların gens-curia teşkilâtında hakim olan esasların ayniyetine dair // IV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 10–14 Kasım 1948. Kongreye sunulan tebliğler. İstanbul: TTK Basımevi, 1952 (TTK Yayınlarından IX. Seri – No. 4). S. 109–124.

Arslan M. Step İmparatorluklarında Sosyal ve Siyasî Yapı. İstanbul: Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1984. XII, 126 s.

Ata A. Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I // Türkoloji. 2000. Cilt XIII. Nu. 1. Dil ve Edebiyat Derneği Yayınlar. S. 61–99.

Atsız H.N. Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Baysan Basım ve Yayın Sanayii A.Ş., 1992. 179 s.

- Avciođlu D. Türklerin Tarihi. Birinci Kitap. İstanbul: Tekin Yayınevi, 1978. S. 1–558; İkinci Kitap. İstanbul: Tekin Yayınevi, 1978. S. 559–1062.
- Aydın E. Vilhelm Thomsen'in Sözlüğü // İlmî Araştırmalar. 2004. Sayı 17. S. 69–82.
- Aydın E. Osman Fikri Sertkaya ve Türk Runik Metinleri // Electronic Journal of Oriental Studies (EJOS). 2006. Vol. IX. №10. S. 1–9.
- Aydın E. Eski Türk Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri Üzerine // Gazi Üniversitesi. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi. 2007a. Sayı 1. S. 149–158.
- Aydın, E. Şine Usu Yazıtı. Çorum: KaraM Yayıncılık, 2007c (KaraM Yayınları: 19; Dilbilim Kitaplığı: 3). 6, 145, 7 s.
- Aydın E. Eski Türk Yazıtlarındaki Bazı Yabancı Öğelerin Yazımı Çerçevesinde Eski Türk Yazıtlarının Yazımı Üzerine Notlar // Turkish Studies. 2008a. Vol. 3/6 (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına). S. 96–108.
- Aydın E. Eski Türklerde Meslek Adları (Eski Türk Yazıtlarına Göre) // Journal of Turkish Linguistics. 2008b. Vol. 2. Nu 1. P. 49–66.
- Aydın E. Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler / E. Aydın // İlmî Araştırmalar. 2008c. Sayı 25. S. 21–38.
- Aydın E.S. Gerard Clauson'un Etimolojik Sözlüğünde Yenisey Yazıtlarıyla İlgili Veriler // Turkish Studies. 2009. Vol. 4/4. Sözlük Özel Sayısı – Dr. Yücel Dađlı Anısına. S. 93–118.
- Aydın E. Türk Runik Bibliyografyası. Genişletilmiş 2. baskı. İstanbul, 2010 (Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 61). 277 s.
- Aydın E. Remarks on *Qatun* in the Yenisei Inscriptions // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 2011a. Vol. 64. №3. P. 251–256.
- Aydın E. Yenisey Yazıtlarında Geçen Türk Boyları Üzerine Notlar // Turkish Studies. 2011b. Vol. 6/1. S. 395–402.
- Aydın E. Suci Yazıtı'nın İlk Satırıyla İlgili Yeni Bir Öneri // Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2012a. Vol. 7/4. P. 309–314.
- Aydın E. Yenisey Yazıtları Nasıl Tarihendirilebilir? // Turkish Studies. 2012b. Vol. 7/2. P. 161–168.
- Aydın E. Küli Çor Yazıtının Eski Türkçenin Söz Varlığına Katkıları // Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR). 2014. Sayı XXXV. S. 31–41.
- Aydın E. Mođolistan'daki Runik Harfli Eski Türk Yazıtlarının Envanter Sorunları ve Bir Numaralandırma Denemesi // Eski Türkçeden Çađdaş Uygurcaya, Festschrift in honor of Mirsultan Osman on the Occasion of His 85th Birthday / Ed. A. Mirsultan, M. Tursun Aydın, E. Aydın. Konya: Kömen Yay., 2015. S. 53–73.
- Aydın E. Yenisey Yazıtlarında Geçen Unvanlar ve Unvan Niteleyicileri // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. 2016. Cilt. 59. Sayı 2. S. 5–26.
- Aydın E. Hoyto-Tamır (Tayhar-Çuluu) Yazıtları // Türkbilgi. 2017a. Sayı 33. S. 1–14.

Aydın E. Söz Varlığı Açısından Yenisey Yazıtlarının Moğolistan Azitlerinden Farklılıkları Üzerine Notlar // Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD). 2017b. Cilt 1. Sayı 1. S. 48–58.

Aydın E., Ariz E. Xi'an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar // Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 2014. Sayı 71. S. 65–80.

Azzaya B. Moğolistan'daki Runik Yazıtlar // Türkbilig. 2010. Sayı 20. S. 67–81.

Babayar G. Köktürk Kağanlığı Sikkeleri Kataloğu / The Catalogue of the Coins of Turkic Qaghanate. Ankara: TİKA, 2007. 244 s

Bailey H.W. Indo-Scythian Studies, being Khotanese Texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Vol. VII. xv, 147 p.

Bang W. Zu den Kök Türk-Inschriften der Mongolei // T'oung Pao. 1896a. Vol. VII. S. 325–348.

Bang W. Zu den Köktürkischen Inschriften // T'oung Pao. 1898a. Vol. IX. S. 117–141.

Bang W. Zur Erklärung der köktürkischen Inschriften // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 1898b. Bd. XII. S. 34–54.

Bang-Kaup W. Über die köktürkische Inschrift auf der Südseite des Kül Tägin-Denkmal. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1896b. 20 S.

Barthold W. Die historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften // Radloff W. Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge. Nebst einer Abhandlung von W. Barthold: Die Historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1897. S. 1–36.

Bastug Sh. Tribe, Confederation and State among Altaic Nomads of the Asian Steppes // Rethinking Central Asia: Non-Eurocentric Studies in History, Social Structure and Identity / ed. by K.A. Ertürk. Cornell: Ithaca Press, 1999. P. 77–105.

Baştuğ Sh. Kök Türk Kinship Terminology: An Omaha Model // Central Asiatic Journal. 1993. Vol. 37. №1–2. P. 1–19.

Baykara T. Göktürk Yazıtlarının Türk İskan (Yerleşme) Tarihindeki Yeri // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1990. Ankara, 1995. S. 17–29.

Baykara T. Türk Kültür Tarihine Bakışlar. Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu, 2001 (Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayın: 252). 234 s.

Bazilkhan N. Kazakistan'da Bulunan Göktürk Yazıtları Hakkında // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2014. Sayı 3/2. S. 1–12.

Bazin L. L'inscription d'Uyug-Tarlıq (Iénisséi) // Acta Orientalia [Copenhagen]. 1955. Vol. 22. – P. 1–7.

Bazin L. La littérature épigraphique turque ancienne // Philologiae Turcicae fundamenta: iussu et auctoritate Unionis Universae Studiosorum Rerum Orientalium, auxilio et opera Unitarum Nationum Educationis Scientiae Culturae Ordinis, una cum praestantibus Turcologis. T. 2. Aquis Mattiacis Apud Franciscum Steiner [Wiesbaden: Franz Steiner], 1964. P. 192–211.

Bazin L. Les calendriers turcs anciens et medievaux. Lille: Service de reproduction des thèses, Université de Lille, 1974 (Université de Lille III). (3), 800 p.

Bazin L. Les peuples turcs et mongols de la steppe: le nomadisme pastoral / L. Bazin // *History of Humanity*. Vol. IV. From the Seventh to the Sixteenth Century. Paris: Éditions UNESCO, 2000. P. 1099–1111.

Bazin L. Les premières inscriptions turques (VI<sup>e</sup>–X<sup>e</sup> siècles) en Mongolie et en Sibérie méridionale // *Arts asiatiques*. 1990. T. 45. P. 48–60.

Bazin L. Les Turcs, des mots, des hommes. Paris: Arguments, 1994. XI, 428 p.

Bazin L. Notes sur les mots „Oğuz” et „Türk” // *Oriens*. 1953. Vol. 6. №2. P. 315–322.

Bazin L. Turcs et Sogdiens: Les enseignements de l’inscription du Bugut (Mongolie) // *Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste*. Paris, 1975 (Collection Linguistique, publiée par la Société de Paris. LXX). P. 37–45.

Bazin L., Hamilton J. Remarques sur l’expression «*kız köduz*» en turc ancien // Bazin L. Les Turcs, des mots, des hommes. Paris: Arguments, 1994. P. 164–166.

Bazykhan N. Unknown stone stelae from Mongolia with Brahmi inscriptions from ancient India // *India and Kazakhstan. Silk Road synergy continues*. New Delhi: Academic Excellence, 2011. P. 71–77.

Beckwith Ch. Aspects of the Early History of the Central Asian Guard Corps in Islam // *Archivum Eurasiae Medii Aevi*. 1984. T. IV. P. 29–43.

Benzing J. Das Hunnische, Donaubolgarische und Wolgabulgarische (Sprachreste) // *Philologiae Turcicae fundamenta: iussu et auctoritate Unionis Universae Studiosorum Rerum Orientalium, auxilio et opera Unitarum Nationum Educationis Scientiae Culturae Ordinis, una cum praestantibus Turcologis*. T. 1. [Wiesbaden: Franz Steiner], 1959. P. 685–695.

Benzing J. [Rez.] Talât Tekin. *A Grammar of Orkhon Turkic*. Bloomington/The Hague 1968. 419 S. 8<sup>o</sup> (Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series. Vol. 69) // *Zeitschrift der DMG*. 1980. Bd. 130. S. 116–120.

Berta Á. Die Verteilung der Militärischen Termini in den Runeninschriften // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1994. Vol. XLVII. №1/2. P. 49–56.

Beşirli H. Türk Kültüründe Güç, İktidar, İtaat ve Sadakatin Yemek Sembolizmi Esasında Değerlendirilmesi // *Türk Kültürü ve Hacı Beştaş Veli Araştırma Dergisi*. 2011. Sayı 58. S. 139–152

Bombaci A. The Husbands of Princesse Hsien-li Bilgä // *Studia Turcica*. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971 (Bibliotheca Orientalis Hungarica. XVII). P. 103–123.

Bombaci A. Qutluy bolzun! A Contribution to the concept of ‘fortune’ among the Turks // *Ural-Altäische Jahrbücher*. 1965. Vol. 36. Fasc. 3–4. S. 284–291; 1966. Vol. 38. S. 13–43.

[Boodberg P.A.] *Selected Works of Peter A. Boodberg*. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1979. xix, 502 p.



Bosworth C.E. Arabic, Persian and Turkish Historiography in the Eastern Iranian World // History of civilizations of Central Asia. Vol. IV. The Age of Achievement: A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Pt II. The Achievements Multiple History Series Paris: UNESCO, 2000a. P. 142–152.

Bosworth C.E. Legal and Political Sciences in the Eastern Iranian World and Central Asia in the Pre-Mongol Period // History of civilizations of Central Asia. Vol. IV. The Age of Achievement: A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Pt II. The Achievements Multiple History Series Paris: UNESCO, 2000b. P. 133–142.

Bosworth C.E., Clauson G. Al-Xwārazmī on the Peoples of Central Asia // Journal of the Royal Asiatic Society (New Series). 1965. Vol. 97. Iss. 2. P. 2–12.

Brockelmann C. Volkskundliches aus Alt-turkestan // Asia Major. 1925. Vol. 2. S. 110–124.

Caferoğlu A. Türk tarihinde 'Nöker' ve 'Nöker-zâdeler' müessesesi // IV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 10–14 Kasım 1948. Kongreye sunulan tebliğler. İstanbul: TTK Basımevi, 1952 (TTK Yayınlarından IX. Seri – No. 4). S. 251–261.

Caferoğlu A. Türk Dili Tarihi. Cilt I. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1958 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. №778). VIII, 184 s.

Caferoğlu A. Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. İstanbul, 1968 (TDK Yayınları: Sayı 260). xv, 320 s.

Cannata P. Profilo storico del 1° impero turco (metà VI – metà VII secolo). Rome: ill Bagatto, 1981. 108 p.

Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) Occidentaux. Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, 1903. IV, 380 p.

Chavannes E. Épitaphes de deux princesses turques de l'époque des T'ang. Avec deux facsimilés (pl. II et III) // Festschrift: Vilhelm Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres am 25. Januar 1912. Dargebracht von Freunden und Schülern. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1912. P. 78–87.

Chavannes E. Notes additionnelles sur les Tou-kiue (Turcs) Occidentaux // T'oung Pao. 1904. Ser. II. T. V. P. 1–110.

Clauson G. A propos du manuscrit Pelliot tibétain 1283 // Journal Asiatique. 1957a. CCXLV. Fasc. 1. P. 11–24.

Clauson G. The Ongin Inscription // Journal of the Royal Asiatic Society. 1957b. Vol. 89. Iss. 3–4. P. 178–192.

Clauson G. Turkish and Mongolian Studies. London: Royal Asiatic Society, 1962 (Prize Publication Fund. XX). XVII, 261 p.

Clauson G. The Name Uyğur // The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland (New Series). 1963. No. 3/4. P. 140–149.

Clauson G. Turks and Wolves // Studia Orientalia Edidit Societas Orientalis Fennica. 1964. T. XXVIII. Fasc. 2. P. 3–22.

Clauson G. Some Notes on the Inscription of Toñuquq // Studia Turcica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971 (Bibliotheca Orientalis Hungarica. XVII). P. 125–132.

Clauson G. *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*. Oxford: Clarendon Press, 1972. xlviii, 989 p.

Clauson G. Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar // *Türkiyat Mecmuası* 1973–1975. Sayı XVIII. İstanbul, 1976. S. 141–148.

Clauson G., Tryjarski E. The Inscription at Ikhe Khushotu // *Rocznik Orientalistyczny*. 1971. T. XXXIV. Zeszyt 1. P. 7–33.

Cuisenier J. *Économie et parenté: essai sur les affinités de structure entre système économique et système de parente*. Lille: Service de Reproduction des Thèses de l'Université de Lille III, 1971. (4), 862 p.

Cuisenier J. Parenté et organisation sociale dans le domaine turc // *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*. 1972. 27e année. №4–5. P. 923–948.

Czeglédý K. Bahrām Čōbīn and the Persian Apocalyptic Literature // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1958. T. VIII, Fasc. 1. P. 21–43.

Czeglédý K. Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969 (Kőrösi Csoma kiskönyvtár 8). 159, (12). o.

Czeglédý K. Gardizi on the History of Central Asia (746–780 A.D.) // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1973. T. XXVII. Fasc. 3. P. 257–267.

Czeglédý K. From East to West: the Age of Nomadic Migrations in Eurasia // *Archivum Eurasiae Medii Aevi*. 1983. T. III. P. 25–125.

Çağatay S., Tezcan S. Köktürk tarihinin önemli bir belgesi: Sogutça Bugut yazıtı // *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten* 1975–1976. Ankara, 1976. S. 245–252.

Çoruhlu Y. Göktürk Sanatında Dinî Nitelikli Heykeller ve Tasvirler // *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten* 2000. Ankara, 2001. S. 95–146.

Deér J. *İstep Kültürü* // *AÜ DTCF Dergisi*. 1954. Cilt 12. Sayı 1–2. S. 159–176.

Deér J. *Pogány magyarság, keresztény magyarság*. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1938. 273. o.

Dickens M. John of Ephesus on the Embassy of Zemarchus to the Türks // *Central Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honour of Peter B. Golden*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016 (Turcologica. Bd. 104). P. 103–131.

*Die von Guidi herausgegebene syrische Chronik*. Wien: Tempsky, 1893. 48 S.

*Divanü Lûgat-it-Türk ve Tercümesi*. Cilt I. Ankara: TTK Basimevi, 1985. 530 s.; Cilt II. Ankara: TTK Basimevi, 1985. 366 s.; Cilt III. Ankara: TTK Basimevi, 1985. 329 s.; Cilt IV. Ankara: TTK Basimevi, 1986. 885 s.

Divitçioğlu S. Orta-Asya Türk İmparatorluğu VI–VIII. Yüzyıllar. *Kök Türkler*'in Yenilenmiş 3. baskısı. Ankara: İmge Kitabevi, 2005. 288 s.

Dobrovits M. Ongin yazıtını tahlile bir deneme // *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten* 2000. Ankara, 2001. S. 147–150.

Dobrovits M. Buyruq: egy ótörök tisztségnév anatómiája. *Acta Universitatis Szegediensis // Acta Universitatis Szegediensis: Acta Historica*. 2002. T. CXII. 49–62. o.

Dobrovits M. Hatalom és törzsi rendszer a második türk kaganátusban // *Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica.* 2004 T. 9. Fasc. 3. 53–66. o.

Dobrovits M. The *Tölis* and the *Tarduš* in Old Turkic Inscriptions // M. Dobrovits // *The Black Master: Essays on Central Eurasia in Honor of György Kara on His 70<sup>th</sup> Birthday.* Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005. P. 33–42.

Dobrovits M. A rossz uralkodó a türköknél // Dobrovits M. Vámbéryval a harmadik évezredben. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2010a. 135–143. o.

Dobrovits M. Otuz Oğlan Sağdıçları Eski Bir Yazıtın Bize Öğrettikleri // I. Uluslararası Uzak Asya'dan Ön Asya'ya Eski Türkçe Bilgi Söleni, 18–20 Kasım 2009. Afyonkarahisar, 2010b. S. 67–74.

Dobrovits M. The Altaic World Through Byzantine Eyes: Some Remarks on the Historical Circumstances of Zemarchus' Journey to the Turks (AD 569–570) // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae.* 2011. Vol. 64(4). P. 373–409.

Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Bd. I. Mongolische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1963 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission. Bd. XVI). XLVIII, 557 s.

Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Bd. II. Türkische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1965 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission. Bd. XIX). V, 671 s.

Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Bd. III. Türkische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1967 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission. Bd. XX). (2), 670 s.

Doerfer G. Türkolojide Eleştiriler Sorunları / G. Doerfer // *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten* 1980–1981. Ankara, 1983. S. 87–99.

Donuk A. Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türkler'de Âile // *Tarih Dergisi.* 1982. Sayı 33. S. 147–168.

Donuk A. Eski Türk Devletlerinde İdarî-askerî Ünvan ve Terimler. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1988. X, 133 s.

Dorjsuren C. An early medieval find from Northern Mongolia // *Acta archaeologica.* 1967. T. XIX. P. 429–430.

Drompp M.R. Centrifugal Forces in the Inner Asian “Heartland”: History *versus* Geography // *Journal of Asian History.* 1989. Vol. 23. №2. P. 134–168.

Drompp M.R. Supernumerary Sovereigns: Superfluity and Mutability in the Elite Power Structure of the Early Türks (Tujue) // *Rulers from the Steppe: State*

Formation on the Eurasian Periphery. Los Angeles: University of Southern California Ethnographics Press, 1991 (Proceedings of the Soviet-American Academic Symposia in Conjunction with the Museum Exhibitions "Nomads: Masters of the Eurasian Steppe". Vol. 2). P. 92–115, 350–352.

Drompp M.R. Imperial State Formation in Inner Asia: the Early Turkic Empires (6th to 9th centuries) // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 2005. T. 58. №1. P. 101–111.

Drompp M.R. The Lone Wolf in Inner Asia // *Journal of the American Oriental Society*. 2011. №131(4). P. 515–526.

Duymaz A. Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut'a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım Modeli // *Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi*. 2005. Sayı 2(5). S. 37–60.

Eberhard W. Çin'in şimal komşuları: bir kaynak kitabı. Ankara: İdeal Matbaası, 1942a (TTK Yayınlarından. VII. seri – No. 9). XVI, 281 s.

Eberhard W. Kultur und Siedlung der Randvölker Chinas // T'oung Pao (Second Series). 1942b. Supplement au Vol. XXXVI. I–VIII, 1, 3–13, 15–409, 411–506 s.

Eberhard W. Birkaç eski Türk ünvanı hakkında // *Bellethen*. 1945. Cilt IX. Sayı 35. S. 319–340.

Eberhard W. Der Prozeß der Staatenbildung bei mittelasiatischen Nomadenvölkern // *Forschungen und Fortschritte*. 1949. 25 Jahrg. Heft 5/6. S. 52–54.

Eberhard W. Conquerors and Rulers: Social Forces in Medieval China. 2nd revised ed, reprint. Leiden: E.J. Brill, 1965 (Rpr.: 1970). xi, 129 pp.

Ecsedy H. Tribe and Tribal Society in the 6th Century Turk Empire // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1972. T. XXV. P. 245–262.

Ecsedy I. Tribe and Empire, Tribe and Society in the Turk Age // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1977. T. XXXI. Fasc. 1. – P. 3–15.

Ecsedy I. A Note on "Slavery" in the Turk Rulers' Burial Customs // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1988. T. XLII. Fasc. 1. P. 3–16.

Ein türkisch-arabisches Glossar, nach der Leidener Handschrift. Leiden: E.J. Brill, 1894. 114, 57 (Lithographie) S.

Erdal M. Irk Bitig Üzerine Yeni Notlar // *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Bellethen* 1977. Ankara, 1978. S. 87–119.

Erdal M. Die Morphemfuge im Alttürkischen // *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes*. 1979a. Bd. 71. S. 83–114.

Erdal M. The chronological classification of Old Turkish texts // *Central Asiatic Journal*. 1979b. Vol. 23. P. 151–175.

Erdal M. Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon. Vol. I–II. Wiesbaden: Harrassowitz, 1991 (Turcologica. Bd. 7). XIV, 874 p.

Erdal M. Anmerkungen zu den Jenissei-Inschriften // *Splitter aus der Gegend von Turfan. Festschrift für Peter Zieme anlässlich seines 60. Geburtstags*. İstanbul; Berlin: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 2002. S. 51–73.

Erdal M. *A Grammar of Old Turkic*. Leiden; Boston: Brill, 2004 (Handbook of Oriental Studies, Section 8 Uralic & Central Asia. Vol. 3). xii, 575 p.

Erdal M. Ongin Yazıtı // “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. 26–29 Mayıs 2010. (Bildiri kitabı). 1. Cilt. Ankara, 2011. S. 363–372.

Erdal M. On the Altaic relationship by marriage // Kutadgu nom bitig: Festschrift für Jens Peter Laut zum 60. Geburtstag. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission, 2015 (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Bd. 87). P. 139–147.

Eröz M., Güler A. *Türk Ailesi*. Ankara: AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1998. VI, 74 s.

Franke O. *Geschichte des chinesischen Reiches: eine Darstellung seiner Entstehung, seines Wesens und seiner Entwicklung bis zur neuesten Zeit*. III. Band: Anmerkungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu Band I und II. Sach- und Namen-verzeichnis. Berlin; Leipzig: Walter de Gruyter & Co, 1937. IX, 576 s.

Frenkel Y. *The Turks of the Eurasian Steppes in Medieval Arabic Writing // Mongols, Turks, and Others: Eurasian Nomads and the Sedentary World*. Leiden; Boston: Brill, 2005. P. 201–241.

Frye R.N. *Arabic, Persian and Turkish Historiography in Central Asia // History of civilizations of Central Asia*. Vol. IV. The Age of Achievement: A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Pt II. The Achievements Multiple History Series. Paris: UNESCO, 2000. P. 152–156.

Gabain A. (von) *Köktürklerin Tarihine Kısa Bir Bakış I: Stepte Yaşayan Köktürkler (682–742) // Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*. 1944. Cilt II. Sayı 5. S. 685–695.

Gabain A. (von) *Steppe und Stadt im Leben der ältesten Türken // Der Islam*. 1949. Bd. XXIX. Heft 1. S. 30–62.

Gabain A. (von) *Alttürkische Grammatik*. Mit Bibliographie, Lesestücken und Wörterverzeichnis, auch Neutürkisch. Mit vier Schrifttafeln und sieben Schriftproben. 2. verbesserte Auflage. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1950 (Porta Linguarum Orientalium, Sammlung von Lehrbüchern für das Studium der orientalischen Sprachen, herausgegeben von Richard Hartmann. XXIII). XVIII, 357, [18] s.

Gabain A. (von) *Inhalt und magische Bedeutung der alttürkischen Inschriften // Anthropos*. 1953. Bd. 48. H. 3/4. S. 537–556.

Gabain A. (von) *Von Ötükän nach Idiqut-Şähri. Studie zur Akkulturation der Alt-Türken // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1982. T. XXXVI. Fasc. 1–3. P. 183–196.

Gaubil A. *Abrégé de l’histoire chinoise de la grande dynastie des Tang // Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, etc. des chinois: Par les Missionnaires de Pékin*. T. XV. Paris, 1791. P. 399–516.

Gharib B. Sogdian dictionary: Sogdian–Persian–English. Tehran: Farhang Publications, 1995. xlii, 517, 5<sup>v</sup> p.

Giraud R. L'Empire des Turcs Célestes. Les règnes d'Elterich, Qapghan et Bilgä (680–734). Contribution à l'histoire des Turcs d'Asie Centrale / Illustré de 4 cartes en hors texte. Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien-Maisonneuve, 1960. 219 p.

Giraud R. L'Inscription de Baïn Tsokto: Édition Critique. Paris: Adrien Maisonneuve, 1961. 166 p.

Golden P.B. Khazar Studies: An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Vol. 1. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. 292 p.

Golden P.B. Imperial Ideology and the Sources of Political Unity amongst the Pre-Činggisid Nomads of Western Eurasia // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 1982. T. II. P. 37–76.

Golden P.B. An Introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State-Formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992 (Turkologica. Bd. 9). xvii, 483 p.

Golden P. Some Notes on the "Comitatus" in Medieval Eurasia with Special Reference to the Khazars // Russian History. 2001. Vol. 28. No. 1/4. Festschrift for Thomas S. Noonan: January 20, 1938 – June 15, 2001a. P. 153–170.

Golden P.B. The Terminology of Slavery and Servitude in Medieval Turkic // Studies on Central Asian History in Honor of Yuri Bregel. Bloomington, Ind.: Research Institute for Inner Asian Studies, 2001b (Uralic and Altaic series. Vol. 167). P. 27–56.

Göckenjan H. Bogen, Pfeil und Köcher in der Herrschafts- und Rechtssymbolik der eurasischen Steppenvölker // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungarica. 2005. T. LVIII. Fasc. 1. P. 59–76.

Göckenjan H. Zur Stammesstruktur und Heeresorganisation altaischer Völker. Das Dezimalsystem // Europa slavica – Europa orientalis. Festschrift für Herbert Ludat zum 70. Geburtstag. Berlin: Duncker & Humblot, 1980 (Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des Europaschen Ostens. Bd. 100). S. 51–86.

Gökalp Z. Türk Medeniyeti Tarihi. Birinci kısım: İslâmiyetten Evvel Türk Medeniyeti. İstanbul: Güneş Matbaacılık, 1976 (Kültür Bakanlığı I; Ziya Gökalp Yayınları: 8. Seri: I, No: 8). 416 s.

Gökalp Z. Türklerde Milli İktisat Devreleri // Gökalp Z. Makaleler VIII. Ankara: Gündüz Matbaası, 1981 (Kültür Bakanlığı Yayınları: 388; Ziya Gökalp Dizisi: 18). S. 88–96.

Gömeç S. Boyla ve Baga Unvanı // ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2010. Cilt 1. Sayı 1. S. 63–70.

Gömeç S. İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine // AÜ DTCF Tarih Bölümü, 2000. Cilt 20. Sayı 31. S. 51–93.

Gömeç S. Köktürkçe Belgelerdeki Bazı Akrabalık İsimleri // Türk Dünyası Tarih Dergisi. 2001. Sayı 173. S. 1–6.

Gömeç S. Divanü Lügati't-Türk'te Akrabalık Bildiren Terimler // Tarih Araştırmaları. 2002. Cilt: 20. Sayı 32/6. S. 133–142.

Grousset R. L'empire des steppes. Attila, Gengis-khan, Tamerlan. Quatrième édition. Paris: Éditions Payot, 1965 (première édition: 1938). 620 p.

Grønbech K. The Turkish System of Kinship // Studia orientalia Ioanni Pedersen septuagenario A.D. VII id. nov. anno MCMLIII a collegis discipulis amicis dicata. Hauniae [Copenhagen]: E. Munksgaard, 1953. P. 124–129.

Grønbech K. The Steppe Region in World History // Acta Orientalia [Copenhagen]. 1959. Vol. 23. P. 43–56.

[Guidi I.] Chronica Minora, pars prior. Lipsiae: Otto Harrassowitz, 1903 (Scriptores Syri Series Tertia. T. IV). 304, [2], 378 p.

Gülensoy T. Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1973–1974. Ankara, 1974. S. 283–318.

Gülensoy T. Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü: tarihi – yaşayan Türk lehçeleri (şiveleri/dilleri). Anadolu ağızları ve Altay dilleri ile karşılaştırmalı: (etimolojik sözlük denemesi). Cilt I (A–N). Ankara: TDK, 2007 (AKDITYK; TDK Yayınları; 911). 608 s.; Cilt II (O–Z). Ankara: TDK, 2007 (AKDITYK; TDK Yayınları; 911). 596 s.

Güler A. İlk Yazılı Türkçe Metinlerde Ail eve Unsurları // Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi. Ankara: Aralık, 1992. [Cilt] 1. S. 60–72.

Györffy G. Die Rolle des *buyruq* in der alttürkischen Gesellschaft // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1960. T. XI. P. 169–179.

Hamilton J.R. Les ouïghours à l'époque des cinq dynasties d'après les documents chinois. Paris: Presses Universitaires de France, 1955 (Bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises, vol. X). 201 p.

Hansen O. Zur sogdischen Inschrift auf dem dreisprachigen Denkmal von Karabalgasun // Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1930. T. XLIV. Pt. I. S. 3–41.

Harmatta J. Byzantinoturcica / J. Harmatta // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 1962. T. X. Fasc. 1–3. – S. 131–150.

Harmatta J., Litvinsky B.A. Tokharistan and Gandhara under Western Türk Rule (650–750) // History of Civilizations of Central Asia. Vol. III. The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750 / Ed. B.A. Litvinsky. Paris: Unesco, 1996. P. 358–393.

Haussig H.W. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker // Byzantion. 1953. T. XXIII. S. 275–462.

Henning W.B. The Date of the Sogdian Ancient Letters // Bulletin of the SOAS. 1948. Vol. 12. No. 3/4. Oriental and African Studies Presented to Lionel David Barnett by His Colleagues, Past and Present. P. 601–615.

Hirth F. Über die chinesischen Quellen zur Kenntnis Centralasiens unter der Herrschaft der Sassaniden etwa in der Zeit 500–650 // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 1896. Bd. X. S. 225–241.

Hirth F. Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk. Beiträge zur Geschichte der Ost-Türken im 7. und 8. Jahrhundert nach chinesischen Quellen // Radloff W. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. Zweite Folge. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1899. S. 1–140.

Ḥudūd al-‘Ālam: “The Regions of the World”, A Persian Geography 372 A.H. – 982 A.D. London, 1937 (E.J.W. Gibb Memorial Series. N.S.; XI). lxxxii, 524 p.

İnan A. Eski Türklerde ve Folklorda Ant // AÜ DTCF Dergisi. 1948a. Cilt: VI. Sayı: 4. S. 279–290.

İnan A. Göçebe Türk Boylarında Evlâtlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler // AÜ DTCF Dergisi. 1948b. Cilt: VI. Sayı: 3. S. 127–137.

İnan A. Türk Etnolojisini İlgilendiren Birkaç Terim-Kelime Üzerine // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1956. Ankara: AÜ Basimevi, 1956. S. 179–195.

İnan A. Kazak-Kırgızlar’da “Yeğenlik hakkı” ve “konuk aşı” meseleleri // İnan A. Makaleler ve İncelemeler. Ankara, 1968a (TTK Yayınları. VII. Dizi – Sa. 51a). Cilt I. S. 281–292.

İnan A. Türk Düğünlerinde Exogamie İzleri // İnan A. Makaleler ve İncelemeler. Ankara, 1968b (TTK Yayınları. VII. Dizi – Sa. 51a). Cilt I. S. 341–350.

İnan A. Eski Türk Dini Tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1976 (Kültür Bakanlığı; Kültür eserleri: 9). XVI, 256 s.

İnan A. Tarihte ve Bugün Şamanizm: Materyaller ve Araştırmalar. 3. baskı. Ankara: TTK, 1986 (TTK Yayınları. VII. Dizi – Sayı 24<sup>b</sup>). 222 s.

İnayet A. Doğrudan ve Dolaylı Olarak Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine // Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2006. Cilt VI. Sayı 1. S. 81–99.

İnayet A. Hanyu Wailaici Cidian’a (HWC) Göre Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine // Turkish Studies. 2008. Vol. 3/1. P. 278–295.

Jagchid S., Symons V.J. Peace, War, and Trade along the Great Wall. Nomadic-Chinese Interaction through Two Millenia [Translation of: Pei-ya yu-mu min-tsu yü Chung-yüan nung-yeh min-tsu chien-ti ho-p’ing, chan-cheng, yü mao-i chih kuan-hsi]. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1989. ix, 266 p.

Johansen U. *El* und *bodun* // Memoriae Munusculum. Gedenkband für Annemarie v. Gabain. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1994 (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 39). S. 73–84.

Julien S. Documents historiques sur les Tou-kiue (Turcs). Extraits du Pien-i-tien et traduits du chinois // Journal Asiatique. 1864. Ser. 6. Vol. III. P. 325–367, 491–549; Vol. IV. P. 201–242, 391–430, 453–477.

Kafesoğlu İ. Türk Milli Kültürü. 4. baskı. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1997 (Ötüken Neşriyat; Yayın Nu: 376. Kültür serisi; 128). 466 s.

Kara G. Zhou Tarihi’nin Türkler Bölümü Üzerinde Metin Çalışması // İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2015. Cilt: 4. Sayı: 3. S. 542–562.

Karayev Ö. Kırgızların Ortaya Çıkışı – “Kırgız” Terimi Hakkında // Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2001. Cilt: 1. Sayı: 1. S. 201–217.



Kasai Yukiyo. Die alttürkischen Wörter aus Natur und Gesellschaft in chinesischen Quellen (6. und 9. Jh.). Der Ausgangsterminus der chinesischen Transkription *tū jué* 突厥 // “Die Wunder der Schöpfung”. Mensch und Natur in der türk-sprachigen Welt / Hgs. B. Heuer, B. Kellner-Heinkele, C. Schönig. Würzburg: Ergon-Verlag, 2012 (Istanbuler Texte und Studien. Bd. 9). S. 81–141.

Kasai Yukiyo. The Chinese Phonetic Transcriptions of Old Turkish Words in the Chinese Sources from 6<sup>th</sup> – 9<sup>th</sup> Century: Focused on the Original Word Transcribed as *tū jué* 突厥 // 内陸アジア言語の研究 [Nairiku ajia gengo no kenkyū] / Studies on the Inner Asian languages. 2014. Vol. XXIX. P. 57–135.

Kenk R. Frühmittelalterliche Graber aus West-Tuva. München: Verlag C.H. Beck, 1982. 100 s.

Khazanov, A.M. Nomads and the Outside World. 2-nd ed. Madison: University of Wisconsin Press, 1994. xlix, 382 p.

Kitabi-Dədə Qorqud. Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004. 376 səh.

Kljaštornyj S.G. Les Points Litigieux dans l’Histoire des Turcs Anciens // History of the Turkic Peoples in the Pre-Islamic Period. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2000 (Philologiae et historiae Turcicae fundamenta. T. 1; Philologiae Turcicae fundamenta. T. 3). P. 146–176.

Kljaštornyj S.G., Livšic V.A. The Sogdian Inscription of Bugut Revised // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1972. T. XXVI. Fasc. 1. P. 69–102.

Klyaştorıny S.G., Livsiç V.A. Bugut’taki Sogtça Kitabeye Yeni Bir Bakış // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1987. Ankara: AÜ Basimevi, 1992. S. 201–241.

Kormuşın İ.V. Çoyr Runik Kitabesinin Yeni Okuma Yorumlaması Hakkında // “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. 26–29 Mayıs 2010. (Bildiri kitabı). 2. Cilt. Ankara, 2011. S. 511–518.

Kotwicz W. Contributions à l’histoire de l’Asie Centrale // Rocznik Orientalistyczny. 1949. T. XV (1939–1949). P. 159–195.

Kowalski T. Les Turcs dans le Šāh-nāme // Rocznik Orientalistyczny. 1939–1949. T. XV. P. 84–99.

Köprülü M.F. Zur Kenntnis der alttürkischen Titulatur // Kőrösi Csoma Archivum. Vol. I. 1935–1939. Leiden: E.J. Brill, 1967. S. 327–344.

Krader L. Principles and Structures in the Organization of the Asiatic Steppe-Pastoralists // Southwestern Journal of Anthropology. 1955. Vol. 11. №2. P. 65–92.

Krader L. Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. The Hague: Mouton & Co., 1963 (Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series. Vol. 20). x, 412 p.

Krader L. Peoples of Central Asia. 2-nd ed. Bloomington: Indiana University Publications; The Hague: Mouton & Co, 1966. xvi, 322 p.

Kubarev G.V., Gilsu So, Tseveendorzh D. Research on Ancient Turkic Monuments in the Valley of Khar-Iamaatyn Gol, Mongolian Altai // Current Archaeological Research in Mongolia. Bonn, 2009. P. 427–436.

Kürsat-Ahlers E. The role and contents of ideology in the early nomadic empires of the Eurasian Steppes // Ideology and the Formation of Early States. Leiden; New York; Köln: E.J. Brill, 1996 (Studies in Human Society. Vol. 11). P. 136–152.

Kwanten L. Imperial Nomads: A History of Central Asia, 500–1500. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1979. xv, 352 p.

La Vaissère É., de. Maurice et le qaghan: à propos de la disgression de Théophylacte Simocatta sur les Turcs // Revue des études byzantines. 2010a. Vol. 68. Nu 1. P. 219–224.

La Vaissère É., de. Oncles et frères: les qaghans Ashinas et le vocabulaire turc de la parenté // Turcica. Revue d'études Turques. 2010b. T. 42. P. 267–277.

La Vaissère É., de. İlk Türk Hakanlıklarının Tarihi Üzerine Yeni Bilgiler // Ötüken'den İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı (720–2010), 3–5 Aralık 2010, İstanbul: Bildiriler / From Ötüken to İstanbul, 1290 Years of Turkish (720–2010), 3<sup>th</sup> – 5<sup>th</sup> December 2010, İstanbul: Papers. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011. S. 233–240.

László F. A kagán és családja // Kőrösi Csoma Archivum. Leiden: E.J. Brill, 1967. Vol. III. 1941–1943. 1–39. o.

Lattimore O. Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928–1958. London: Oxford University Press; New York; Toronto, 1962. 565 p.

Lattimore O. The Social History of Mongol Nomadism // Historians of China and Japan. London: Oxford University Press, 1961. P. 328–343.

Li Yong-Söng. Türk Dillerinde Akrabalık Adları. İstanbul: Simurg, 1999. 415 s.

Ligeti L. A Magyar nyelv török kapesolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. 602. o.

Ligeti L. Bilinmeyen İç Asya. 2. baskı. Ankara: TDK, 1998 (AKDITYK; TDK Yayınları; 527). 361 s.

Lin Gan. Göktürklerde Gelenekler ve Dini İnançlar // Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2000. Sayı IV. S. 361–374.

Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-küe). I. Buch. Texte. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1958 (Göttinger asiatische Forschungen: Monographienreihe zur Geschichte, Sprache u. Literatur d. Völker Süd-, Ost- u. Zentralasiens. Bd. 10). 484 s.; II. Buch. Anmerkungen, Anhänge, Index. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1958 (Göttinger asiatische Forschungen: Monographienreihe zur Geschichte, Sprache u. Literatur d. Völker Süd-, Ost- u. Zentralasiens. Bd. 10). S. 485–831.

Luo Xin. Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesi ve Karı Çor Tigin'in Şeceresi // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2013. Sayı: 2/2. S. 62–78.

Lurje P.B. Description of the Overland Route to China in Hudud al-‘Alam: Dates of the Underlying Itinerary // Eurasian Studies (Ouya xuekan, 欧亚学刊). 2007. Vol. 6. P. 179–197.

Lurje P.B. Personal Names in Sogdian Texts in Iranische Onomastik / Iranisches Personennamenbuch. Bd. II.: Mitteliranische Personennamen. Fasz. 8. [Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010 (Philosophisch-Historische Klasse. 808. Bd. (Iranische Onomastik. Nr. 8). 527 p.

Mackerras C. The Uighur Empire (744–840) according to the T’ang Dynastic Histories. Canberra: Centre of Oriental Studies, Australian National University, 1968 (Occasional Paper, №8). xiii, 187, [7], [4] pp.

Maenchen-Helfen O.J. The World of the Huns: Studies in Their History and Culture. Berkeley; Los-Angeles; London: University of California Press, 1973. xxix, 602 p.

Maḥmūd al-Kāšyarī. Compendium of the Turkic Dialects (Dīwān Luyāt at-Turk). Pt. I. Cambridge, Mass.: Harvard University Office of the University Publisher, 1982 (Sources of Oriental Languages and Literatures. 7; Turkish Sources. VII). XI, 416 p.; Pt. II. Cambridge, Mass.: Harvard University Office of the University Publisher, 1984 (Sources of Oriental Languages and Literatures. 7; Turkish Sources. VII). III, 381 p.; Pt. III. Cambridge, Mass.: Harvard University Office of the University Publisher, 1985 (Sources of Oriental Languages and Literatures. 7; Turkish Sources. VII). 337 p.

[Mailla J.A.M.] Histoire générale de la Chine: ou, Annales de cet empire; traduites du Tong-kien-kang-mou par de Mailla. T. VI. Paris, 1778. 587 p.

Markwart J. Wehrot und Arang untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen landeskunde von Ostiran. Leiden, 1938. 63\*, 202 s.

Marquart J. Historische Glossen zu den alttürkischen Inschriften // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 1898. Bd. XII. S. 157–200.

Marquart J. Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i. Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und topographischen Excursen. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1901 (Abhandlungen der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Goettingen, Philologisch-historische Klasse, Neue Folge. Bd. III. №2). 358 s.

Marshak B.I., Negmatov N.N. Sogdiana // History of Civilizations of Central Asia. Vol. III. The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750. Paris: Unesco, 1996. P. 237–281.

Martinez A.P. Gardīzī’s Two Chapters on the Turks // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 1982. T. II. P. 109–217.

Márton A. A katonai kíséret és az ótörök *bujruk* tisztségnév viszonya a koraközépkori steppe // Acta Universitatis Szegediensis: Acta Historica. 1998. T. 106. 38–44. o.

Menges K.H. *The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkic Studies*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1968 (Ural-Altäische Bibliothek. XV). xiv, 250 p.

Minorsky, V. Tamīm ibn Baḥr's Journey to the Uyghurs // *Bulletin of the SOAS*. 1948. Vol. XII. No. 2. P. 275–305.

Minorsky V. Tāt // *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936*. Vol. III. Ṭa'if – Zūrkhāna. Leiden: Brill, 1987. P. 697–700.

Molnár Á. *Weather-magic in Inner Asia. With the Appendix. Alttürkische Fragmente über den Regenstein* by P. Zieme. Bloomington: Indiana University, 1994 (Uralic and Altaic Series. Vol. 158). xv, 169, [4] p.

Moravcsik Gy. *Byzantinoturcica*. 3. unveränderte Auflage. Bd. II. Sprachreste der Turkvölker in den byzantinischen Quellen. Leiden: E.J. Brill, 1983 (Berliner Byzantinische Arbeiten. X). XXV, 376 s.

Mori M. The T'u-chüeh Concept of Sovereign // *Acta Asiatica*. *Bulletin of Institute of Eastern Culture* [Tōhō Gakkai (東方学会)]. 1981. №41. P. 47–75.

Mustafaev Sh. Views on Supreme Power and Law in Medieval Nomadic Society (case of "Oghuzname" by Yazicioglu Ali) // *Studia et Documenta Turcologica*. 2013. №1. S. 277–286.

Németh Gy. *A honfoglaló Magyarország kialakulása. Második, bővített és átdolgozott kiadás*. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991. 397. o.

Orkun H.N. *Eski Türk yazıtları*. 3. baskı. Ankara: TTK, 1994 (TDK Yayınları. 529). 963 s.

Orkun H.N. *Türk Tarihi*. Cilt I. Ankara: TTK, 1946. 198 s.

Osawa T. Moğolistan'daki Eski Türk Anıt ve Yazıtlarının 1996–1998 Yılları Arasındaki Yeni İnceleme Sonuçları (Japon-Moğol Ortak Çalışmasının Ön Raporu Olarak) // *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten* 2000. Ankara: AÜ Basımevi, 2001. S. 277–286.

Osawa T. Aspects of the Old Turkic Social System Based on Fictitious Kinship (the analysis of the term <kul (slave)> in the Orkhon-Yenisei epitaphs) // *Kinship in the Altaic World* (Proceedings of the 48<sup>th</sup> Permanent International Altaistic Conference, Moscow 10–15 July, 2005). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006a (*Asiatische Forschungen: Monographienreihe zur Geschichte, Kultur und Sprache der Völker Ostund Zentralasiens*, 150). P. 219–230.

Osawa T. Aspects of the relationship between the ancient Turks and Sogdians – Based on a stone statue with Sogdian inscription in Xinjiang // *Ērān ud Anērān: Studies Presented to Boris Il'ič Maršak on the Occasion of his 70th Birthday*. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina, 2006b. P. 471–504.

Osawa T. Moğolistan'da Son Zamanlarda Keşfedilen "Olon Nuurin Khöndii"deki Anıt ve Yazıtı Üzerine – 2009 Yılı'nın Japon ve Moğol Ortak Yüzey Araştırmalarına Dayanarak // *I. Uluslararası Uzak Asya'dan Ön Asya'ya Eski Türkçe Bilgi Söleni*, 18–20 Kasım 2009. Afyonkarahisar, 2010. S. 191–210.

Ōsawa T. Revisiting the Ongi inscription of Mongolia from the Second Turkic Qayanate on the basis of rubbings by G.J. Ramstedt // *Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la Société Finno-Ougrienne*. 2011a. №93. P. 147–203.

Osawa T. Türk Bilge Kağan Tahta. Oturduğu Kim Tölis Şad İdi? // “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. 26–29 Mayıs 2010. (Bildiri kitabı). 2. Cilt. Ankara, 2011b. S. 611–628.

Ögel B. Doğu Göktürkleri hakkında vesikalar ve notlar // *Belleten*. 1957. Cilt: XXI. Sayı: 81. S. 81–137.

Ögel B. Türk Kültürünün Gelişme Çağları. Cilt 1. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971 (1000 Temel Eser: 49). xviii, 161 s.; Cilt 2. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971 (1000 Temel Eser: 50). 168 s.

Ögel B. Türk mitolojisi (Kaynakları ve açıklamaları ile destanlar). 2. baskı. I. Cilt. Ankara: TTK basımevi, 1993 (AKDITYK; TTK Yayınları. VII. Dizi – Sa. 102<sup>1</sup>). 645 s.

Ögel B. Türk mitolojisi (Kaynakları ve açıklamaları ile destanlar). 2. baskı. II. Cilt. Ankara: TTK basımevi, 1995 (AKDITYK; TTK Yayınları. VII. Dizi – Sa. 102<sup>a</sup>). XVI, 611 s.

Ölmez M. Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3) // *Türk Dilleri Araştırmaları*. 1999. Sayı 9. S. 59–65.

Pan Yihong. Marriage Alliances and Chinese Princesses in International Politics from Han through T’ang // *Asia Major (Third Series)*, 1997. Vol. 10. No. 1/2. P. 95–131.

Parker E.H. A Thousand Years of the Tartars. London: S. Low, Marston & Company (limited); Shanghai: Kelly & Walsh, 1895. 1, ii, [2], 371, [1] p.

Parker E.-H. L’Inscription chinoise du monument I (The deseated Köl-Tegin’s tablet) // Thomsen V. Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées. Helsingfors: Impr. de la Société de littérature finnoise, 1896 (Mémoires de la SFOu. T. V). P. 212–216.

Parker E.H. The Early Turks (From the CHOU SHU) // *The China Review*. 1899. Vol. 24. №3. P. 120–130.

Parker E.H. The Early Turks (From the PEI SHI and the SUI SHU) // *The China Review*. 1900a. Vol. 24. № 4. P. 163–173.

Parker E.H. The Early Turks – Part II (From the PEI SHI and SUI SHU, Continued) // *The China Review*. 1900b. Vol. 25. №1. P. 1–12.

Parker E.H. The Early Turks – Part III (From the PEI SHI and SUI SHU, Continued) // *The China Review*. 1900c. Vol. 25. №2. P. 69–79.

Parker E.H. The Early Turks (From the T’ANG SHU) (Continued from Vol. XXIV, p. 172 // *The China Review*. 1900d. Vol. 24. №5. P. 227–234.

Parker E.H. The Early Turks – Part IV (From the Old T’ang Shu) // *The China Review*. 1901a. Vol. 25. №4. P. 163–174.

Parker E.H. The Early Turks – Part IV (From the T’ang Shu; Continued from where it leaves off at Part I) // *The China Review*. 1901b. Vol. 25. №5. P. 234–247.

Ponaryadov V.V. Yenisey runik yazıtlarında şiverelin izleri // Journal of Turkish Linguistics. 2007. №1. P. 136–141.

Potapov L.P. Etnografik Verilerin Işığında Eski Türklerin Tanrısı Umay // Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 1996. Sayı I. S. 213–233.

Pritsak O. Stammesnamen und Titulaturen der altaischen Völker // Ural-Altäische Jahrbücher. 1952. Bd. XXIV. H. 1–2. S. 49–104.

Pritsak O. Die 24 Ta-ch'ên: Studie zur Geschichte des Verwaltungsaufbaus der Hsiung-nu Reiche // Oriens Extremus. 1954. Jg. 1. H. 2. S. 178–201.

Pritsak O. The Origin of Rus'. Vol. 1. Old Scandinavian Sources other than the Sagas. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1981. xxx, 928 p.

Pritsak O. Das Altürkische // Altaistik. Abschn. 1. Turkologie. Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung. 5. Band, 1. Abschnitt. Leiden; Köln: E.J. Brill, 1982 (Estaursgabe 1963). S. 27–52.

Pritsak O. The Slavs and the Avars // Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto Medioevo, 15–21 aprile 1982. T. I. Spoleto: Presso la Sede del Centro, 1983 (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo. XXX). P. 353–435.

Pritsak O. Tribal Names and Titles amongst the Altaic Peoples // The Turks in the Early Islamic World. Ashgate: Variorum, 2007 (The Formation of the Classical Islamic World. Vol. 9). P. 59–116.

Pulleyblank E.G. The *Tzyjyh Tongjiann Kaoyih* and the Sources for the History of the period 730–763 // Bulletin of the SOAS. 1950. Vol. 13. Iss. 2. P. 448–472.

Pulleyblank E.G. A Sogdian Colony in Inner Mongolia // *T'oung Pao* (2-nd Series). 1952. Vol. XLIV. №4/5. P. 317–356.

Pulleyblank E.G. Some Remarks on the Toquzoghuz Problem // Ural-Altäische Jahrbücher. 1956. Bd. XXVIII. H. 1–2. S. 35–42.

Pulleyblank E.G. [Review] LIU MAU-TSAI: *Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-küe)*. (Göttinger Asiatische Forschungen, Bd. 10.) 2 vols.: [viii], 484 pp.; [v], 485–831 pp., map, table. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1958. DM. 60. // Bulletin of the SOAS. 1959. Vol. XXII. №1/3. P. 381–383.

Pulleyblank E.G. The Consonantal System of Old Chinese // *Asia Major* (New Series). 1962. Vol. IX. Pt. I. P. 58–144; Pt. II. P. 206–265.

Pulleyblank E.G. The Background of the Rebellion of An Lu-shan. London; New-York; Oxford, 1982 (Repr.: 1955) (London oriental series, v. 4). x, 264 p.

Pulleyblank E.G. The “High Carts”: a Turkish Speaking People before the Türks // *Asia Major* (Third Series). 1990. Vol. 3. №1. P. 21–26.

Pulleyblank E.G. A Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin. Vancouver: UBC Press, 1991. vii, 488 p.

Quliyev Ə.A. Əski Türk Onomastik Sözlüyü. Bakı: Elm, 1999. 123 s.

Racabov A.A. Ongin Anıtı'na Dair // Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. 2008. Cilt XXIV. Sayı 1. 223–234.

Rachewiltz I., Rybatzky V. Introduction to Altaic philology: Turkic, Mongolian, Manchu / I. Rachewiltz, V. Rybatzky; with the collaboration of Hung Chin-fu. Leiden; Boston: Brill, 2010 (Handbook of Oriental Studies, Section 8. Uralic & Central Asia. №20). xx, 446 p., xxxix text., 25 fig.

Radloff W. Aus Sibirien. Lose Blätter aus meinem Tagebuche. Zweite Ausgabe. 1 Bd. Mit farbigem Titelbilde und 15 Illustrationen. Leipzig: T.O. Weigel Nachfolger, 1893. 3, 536 s.

Radloff W. Die Altürkischen Inschriften der Mongolei. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1895. III. Lief. viii, 460 s.

Radloff W. Die Altürkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge. Nebst einer Abhandlung von W. Barthold: Die Historische Bedeutung der altürkischen Inschriften. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1897. vii, 181 s.

Radloff W. Eine neu aufgefundene altürkische Inschrift. Vorläufiger Bericht // Известия Императорской Академии наук. 1898. Т. VIII. Вып. 1. С. 71–76.

Radloff W. Die Inschrift des Tonjukuk // Radloff W. Die altürkischen Inschriften der Mongolei. Zweite Folge. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1899. S. I–XXIV, 1–122.

Radloff W. Altürkische Studien (IV) // Известия Императорской Академии Наук. VI серия. 1911. Т. 5. Вып. 6. С. 305–326.

Ramstedt G.J. Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei // Journal de la Societe Finno-Ougrienne. 1913. Т. XXX. №3. S. 1–63.

Rásonyi L. Tarihte Türklük. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1971 (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 39; Seri: III – Sayı: A11). VII, 420 s.

Roux J.-P. Tängri. Essai sur le ciel-dieu des peuples altaïques / J.-P. Roux // Revue de l'histoire des religions. 1956. Т. 150. №1. P. 27–54.

Roux J.-P. La religion des Turcs de l'Orkhon, des VII<sup>e</sup> et VIII<sup>e</sup> siècles // Revue de l'histoire des religions. 1962. Т. 161. №1. P. 1–24.

Roux J.-P. Fonctions chamaniques et valeurs du feu chez les peuples Altaïques // Vol. 204. Nu. 2. P. 151–174.

Roux J.-P. L'*el* des Kirghiz et des turcophones de l'actuel Tuva // Rocznik Orientalistyczny. 1979. Т. XLI. Zeszyt 1. P. 95–98.

Roux J.P. Türklerin Tarihi: Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 yıl. İstanbul: Kabcı, 2007. 563 s.

Rybatzki V. Die Toñuquq-Inschrift. Szeged, 1997 (Studia uralo-altaica. 40). 132 s.

Rybatzki V. Punctuation rules in the Toñuquq inscription? // Studia Orientalia. 1999. Vol. 87. Writing in the Altaic World. P. 207–225.

Rybatzki V. The Titles of Türk and Uigur Rulers in the Old Turkic Inscriptions // Central Asiatic Journal. 2000. Vol. 44/2. P. 205–292.

Rybatzki V. Die Personennamen und Titel der Mittelmongolischen Dokumente. Eine lexikalische Untersuchung. Helsinki: Yliopistolain Oy, 2006 (Publications of the Institute for Asian and African Studies. 8). xxxv, 841 s.

Rybatzki V. Taryat, Tes ve Şine Usu Yazıtları Arasındaki Dil Bilimsel ve Tarihî Bağlar Üzerine Bazı Notlar / Some Notes on the Philological and Historical Relations Between the Terx, Tes and Sine Usu Inscriptions // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten. 2011. Sayı 1. S. 61–69, 71–79.

Rybatzki V., Wu Kuosheng. An Old Turkic Epitaph in Runic Script from Xi'an (China). The Epitaph of Qarî çor tegin // Zeitschrift der DMG. 2014. Bd. 164. H. 1. S. 115–128.

Schafer E.H. The Golden Peaches of Samarkand: a Study of T'ang Exotics. Berkeley: University of California Press, 1963. xi, 399 p.

Schlegel G. Die chinesische Inschrift auf dem uigurischen Denkmal in Kara Balgassun. Helsingfors, 1896 (Mémoires de la SFOu. T. IX). XV, 141 s.

Sertkaya O.F. Tonyokuk abidesi üzerine üç not // Türkiyat Mecmuası. 1980. Cilt XIX. 1977–1979. S. 165–182.

Sertkaya O.F. Büyük Roma (İmparatorluğu) = Bizans'ın Köktürk Yazıtlarındaki Adı" // Türk Dili Edebiyatı Dergisi, 1986–1993. Cilt 26. S. 147–156.

Sertkaya O.F. Göktürk Tarihinin Meseleleri: Yenisey Yazıtlarının Yayınlarındaki Bazı Okuma ve Anlamlandırılmaların Düzeltilmesi, Yeni Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1993. Ankara, 1995. S. 67–75.

Sertkaya O.F. *Suuci* < *Sugeci* / (Bel) Yazıtı Ne zaman Yazıldı? // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 2000. Ankara, 2001. S. 307–312.

Sertkaya O.F. Çinçe 太 *Tay* “Büyük” Kelimesi İle Yapılan *Damla*, *Dayı*, *Teyze* ve *Dede* Kelimeleri Üzerine // *Türk Dili*. 2008a. Sayı 680. S. 150–159.

Sertkaya O.F. Yenisey Yazıtlarından 10, 25, 41, 51, 70, 109 ve 110 Üzerine Etimolojik Açıklamalar ile Düzeltmeler // Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 2008b. Sayı 39. S. 209–228.

Sertkaya O.F. E 2 – Uyük-Arjan (Tuva) Yazıtı // Turkish Studies. 2011. Vol. 6/1. P. 25–33.

Sertkaya O.F., Harcavbay S. Hoyto-Tamir (Moğolistan)'dan Yeni Yazıtlar (Ön Neşir) // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 2000. Ankara, 2001. S. 313–346.

Shapira D.D.Y. Some Notes on Jews and Turks // Karadeniz Araştırmaları. 2008. Sayı 16. P. 25–38.

Sharaf al-Zamān Tāhir. Marvazī on China, Turks and India. London: The Royal Asiatic Society, 1942 (James G. Forlong Fund. Vol. XXII). I, 170, \*53 p.

Sims-Williams N. Turks and Other Peoples in the Bactrian Documents // Ötüken'den İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı (720–2010), 3–5 Aralık 2010, İstanbul: Bildiriler / From Ötüken to İstanbul, 1290 Years of Turkish (720–2010), 3<sup>th</sup> – 5<sup>th</sup> December 2010, İstanbul: Papers. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011. S. 15–26.



Sinor D. The Historical Role of the Turk Empire // *Journal of World History*. 1958. Vol. IV. №3. P. 427–434.

Sinor D. *Inner Asia. History–Civilization–Languages. A Syllabus*. Bloomington: Indiana University Publications; The Hague: Mouton & Co, 1969 (Uralic and Altaic Series. Vol. 96). xxx, 261 p.

Sinor D. *Central Eurasia // Orientalism & History*. 2-nd edition. Bloomington; London: Indiana University Press, 1970. P. 93–119.

Sinor D. The Legendary Origin of the Türks // *Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas*. Bloomington: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982 (Indiana University Uralic and Altaic Series. Vol. 141). P. 223–257.

Sinor D. The Establishment and Dissolution of the Türk Empire // *The Cambridge History of Early Inner Asia: From Earliest Times to the Rise of the Mongols*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 285–316.

Skaff J.K. *Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors: Culture, Power, and Connections, 580–800*. Oxford: Oxford University Press, 2012. xxxii, 400 p.

Spuler B. *Geschichte Mittelasiens seit dem Auftreten der Türken // Handbuch der Orientalistik*. 1. Abt. Der Nahe und der Mittlere Osten. Bd. V. Altaistik. Abschnitt 5. Geschichte Mittelasiens. Leiden; Köln: E.J. Brill, 1966. S. 123–310.

Stachowski M. Once again on the Etymology of Turkish *Çocuk* ‘Child’ // *Türkbilig*. 2009. Cilt 17. P. 116–123, 124–132.

Stachowski M. [Rez.] Molnár, Á.: Weather-magic in Inner Asia // *Orientalistische Literaturzeitung*. 1995. Vol. 90. Is. 5–6. S. 600–603.

Stachowski M. Türkisch *kulak* ‘Ohr’, *kul* ‘Sklave’, *kulun* ‘Fohlen’ // *Studies on the Turkic World. A Festschrift for Professor St. Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday* / Ed. by E. Mańczak-Wohlfeld, B. Podolak. Krakow, 2010. S. 233–239.

Stark S. *Die Alttürkenzeit in Mittel- und Zentralasien. Archäologische und historische Studien*. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2008 (Nomaden und Sesshafte. Vol. 6). XVI, 591 s.

Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A. *An Etymological Dictionary of Altaic Languages*. Pt. I. A – K. Leiden; Boston: Brill, 2003 (Handbook of Oriental Studies. Section eight, Central Asia, vol. 8/1). P. 1–858; Pt. II. L – Z. Leiden; Boston: Brill, 2003 (Handbook of Oriental Studies. Section eight, Central Asia, Vol. 8/2). P. 859–1556.

Szűcz J. *Nemzet és történelem: Tanulmányok*. 3. Kiadás. Budapest: Gondolat Kiadó, 1984. 666. o.

Szűcz J. „Gentilizmus”. A barbár etnikai tudat kérdése (Knadidátusi ért. téz.). Budapest, 1971. 24. o.

Şirin User H. *Eski Türkçede Bazı Unvanların Yapısı Üzerine // Bilig*. 2006. Sayı 39. S. 219–238.

Şirin User H. *Kan ağla- ve baş bağla- Deyimlerinin Bilge Kağan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması // Türkbilig*. 2008. Cilt 16. S. 137–145.

Şirin User H. Hakasya Bulgusu Eski Bir Türk Mezar Taşı: Açurı (Oçurı, Ye 26) Yazıtı // Türkbilig. 2009a. Cilt 17. S. 158–174.

Şirin User H. Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi. Konya, 2009b (Kömen Yayınları 32; Türk Dili Dizisi 1). 548 s.

Şirin User H. Bömbögör Yazıtı: Bir Türk Kunçuyunun Mezar Taşı // Dil Araştırmaları. 2010. Sayı: 7. S. 61–73.

Şirin User H. Runik Türk Yazıtları Çerçevesinde *katun* ve *kunçuy* // Ötüken'den İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı (720–2010), 3–5 Aralık 2010, İstanbul: Bildiriler / From Ötüken to İstanbul, 1290 Years of Turkish (720–2010), 3<sup>th</sup> – 5<sup>th</sup> December 2010, İstanbul: Papers. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011. S. 281–294.

Şirin User H. Bombogor Inscription: Tombstone of a Turkic Qunçuy (“Princess”) // Journal of the Royal Asiatic Society. 2015. Vol. 26. Iss. 03. P. 1–9.

Şükürlü E.C. Göytürk Yazıtlarında Kelimelerin Noktalanması Özellikleri // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1993. Ankara, 1995. S. 121–134.

Taşagıl A. Gök-Türkler II (fetret devri 630–681). Ankara: TTK, 1999 (TTK Yayınları. VII. Dizi – Sayı 160<sup>a</sup>). viii, 128, [12] s.

Taşagıl A. Gök-Türkler I. 2. baskı. Ankara: TTK, 2003a (TTK Yayınları. VII. Dizi – Sayı 160<sup>1</sup>). ix, 197, [23] s.

Taşagıl A. Gök-Türkler'de İdari ve Sosyal Yapı // Bilim ve Ütopya Dergisi. 2003b. Sayı 104. S. 20–25.

Taşagıl A. Çin kaynaklarına eski Türk boyları: M.Ö. III – M.S. X asır. Ankara, 2004a (TTK Yayınları. VII. Dizi – Sayı 206<sup>1</sup>). xii, 187, 29 s.

Taşagıl A. Gök-Türkler III. Ankara: TTK, 2004b (TTK Yayınları. VII. Dizi – Sayı 160<sup>b</sup>). ix, 109, [20] s.

Tekin Ş. [Eleştiri–tanıtma] René GIRAUD, L'Empire Des Turcs Célestes; Les Règnes D'Elterich, Quapghan Et Bilge (680–734) // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1964. 2. baskı. Ankara: AÜ Basimevi, 1989. S. 160–163.

Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington; The Hague: Mouton & Co, 1968 (Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series. Vol. 69). 419 p.

Tekin T. E.V. SEVORTYAN, Etimologičeskiy Slovar' Tyurkskih Yazıkov (Obşçetyurkskiye i Mejtyurkskiye Osnovi na Glasniye) // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1975–1976. Ankara, 1976. S. 274–285.

Tekin T. The Tariat (Terkhin) Inscription // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1983. T. XXXVII. Fasc. 1/3. P. 43–68.

Tekin T. Karahanlı Dönemi Türk Şiiri // Türk Dili. 1984. Sayı 406. S. 81–157.

Tekin T. Irk Bitig. The Book of Omens. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1993 (Turcologica. Bd. 18). 70 p., Facsimiles 75–133 p.

Tekin T. Tunyukuk Yazıtı. Ankara: Simurg Yayını, 1994 (Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. 5). 86 s.

Tekin, T. Orhon Yazıtları Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. 2. baskı. İstanbul: Simurg, 1998 (Dil ve Ebebiyat Dergisi: 1). 128 s.

Tekin T. Hemçik-Çırgakı Yazıtı // Türk Dilleri Araştırmaları. 1999. Cilt 9. S. 5–15.

Tekin T. Orhon Türkçesi Grameri. 2. bk. İstanbul, 2003 (Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 9). 272 s.

Tekin T. Eski Türk yazıtlarında yanlış yorumlanan bir kelime üzerine // Turkish Studies. 2006. Vol. 1/2. S. 222–235.

Thomsen V. Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées. Helsingfors: Impr. de la Société de littérature finnoise, 1896 (Mémoires de la SFOu. T. V). 224 p.

Thomsen V. Turcica: études concernant l'interprétation des Inscriptions Turques de la Mongolie et de la Sibérie. Helsingfors, 1916 (Mémoires de la SFOu. T. XXXVII). 107 s.

Thomsen V. Alttürkische Inschriften aus der Mongolei in Übersetzung und mit Einleitung (Ausg. von H. Schaeder) // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1924. Bd. 78. S. 121–175.

Thomsen V. Moğolistan'daki Türkçe Kitabeler // Türkiyat Mecmuası. 1935. Cilt III. S. 81–118.

Togan I. Flexibility and Limitation in Steppe Formations: the Kerait Khanate and Chinggis Khan. – Leiden; New York; Köln: Brill, 1998 (The Ottoman Empire and Its Heritage. Vol. 15). xxii, 192 p.

Togan I. The Use of Sociopolitical Terminology for Nomads: An Excursion into the Term *Buluo* in Tang China // Nomads as Agents of Cultural Change: The Mongols and their Eurasian Predecessors (Perspectives on the Global Past). Honolulu: University of Hawai'i Press, 2015. P. 88–118.

Trepavlov V.V. A chief and a priest: temporal and spiritual substances in nomadic sociality // International Journal of Central Asian studies. 1996. Vol. 1. P. 97–125.

Tuna O.N. Bazı İmlâ Gelenekleri Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtları'nda Birkaç Açıklama // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1957. 2. baskı. Ankara: AÜ Basımevi, 1988a. S. 41–81.

Tuna O.N. Köktürk Yazılı Belgelerde ve Uygurcada Uzun Vokaller / O.N. Tuna // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1960. 2. baskı. Ankara, 1988b. S. 213–282.

Turan O. Selçuklular Tarihi ve İslâm-Türk Medeniyeti. 2. baskı. İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1969. XIX, 478 s.

Türkdoğan O. Türk Ailesinin Genel Yapısı // Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi. [Cilt] 1. Ankara: Aralık, 1992. S. 21–58

Twitchett, D. Introduction // The Cambridge History of China. Vol. 3. Sui and T'ang China, 589–906. Pt. 1 Cambridge: Cambridge University Press, 1979 (Repr.: 2008). P. 2–47.

Useev N. Hemçik-Çırgaakı (E 41) yazıtı üzerinde bazı okuma ve anlamlandırma teklifleri // Ötüken'den İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı (720–2010), 3–5 Aralık 2010, İstanbul: Bildiriler / From Ötüken to İstanbul, 1290 Years of Turkish (720–2010),

3<sup>th</sup> – 5<sup>th</sup> December 2010, Istanbul: Papers. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011. S. 379–396.

Useev N. Köktürk Harfli Yenisey Yazıtlarındaki Kadını Bildiren Kelimelerin Anlamına Göre Eski Türklerde Kadın İmajı // Dil Araştırmaları. 2012. Sayı 11. S. 57–66.

Utz D.A. [Rev.] Ádám Molnár, Weather-Magic in Inner Asia // Reviews VI. Sino-Platonic Papers. 1996. №70. P. 1–23.

Ünal O. İhe Ashete Yazıtı: Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Denemesi // Bilig. 2015. Sayı 73. S. 271–294.

Üstün M.C. Türk Asıllı Türkologların Orhun Yazıtlarını Okuma ve Yorumlamalarındaki Farklılıklar Üzerine Notlar // Turkish Studies. 2010. Vol. 5/2. S. 1383–1405.

Váczy P. A hunok Európában // Attila és hunjai. Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1940. 61–142, 277–307. o.

Vámbéry H. Das Türkenvolk in seinen Ethnologischen und Ethnographischen Beziehungen. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1885. XII, 638 s.

Vámbéry H. Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei und Sibiriens. Helsingfors: Druckerei der Finnischen litteratur-gesellschaft, 1898 (Mémoires de la SFOu. Vol. XII). 122 S.

Vásáry I. Nép és ország a türköknél // Nomád társadalmak és államalakulatok (Tanulmányok). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983 (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 18). 189–213. o.

Vasilyev D.[D.] Güney Sibirya'daki Göktürk Runik. Yazıtlarında Adları Geçen Kişilerin. Hayatları ve Kahramanlıkları Hakkındaki. Tarihi Bilgiler // “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. 26–29 Mayıs 2010. (Bildiri özetleri). Ankara, 2010. S. 106–107.

Visdelou C. Histoire de la Tartarie // Bibliothèque orientale: ou Dictionnaire universel contenant tout ce qui fait connoître les peuples de l'Orient. Leurs histoires et traditions tant fabuleuses que véritables. Leurs religions et leurs sectes. Leurs gouvernemens, politique, loix, moeurs, coûtumes, et les révolutions de leurs empires. Les arts et les sciences ... Les vies de leurs saints, philosophes, docteurs, poëtes, historiens, capitaines, & de tous ceux qui se sont rendus illustres par leur vertu, leur sçavoir ou leurs actions. Des jugemens critiques et des extraits de leurs livres, écrits en arabe, persan ou turc sur toutes sortes de matières & de professions, par Mr. d'Herbelot. T. IV. La Haye: J. Neaulme & N. van Daalen, 1779. P. 46–249.

Vovin A., McCraw D. Old Turkic Kinship Terms in Early Middle Chinese // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten. 2011. Cilt 59. Sayı 1. S. 107–118.

Wieger L. Textes Historiques. Histoire politique de la Chine. 3e éd. revue et complete. T. II. De 420, début de la dynastie Sóng, à 906, fin de la dynastie des T'âng. Hien Hien: Imprimerie de la mission catholique, 1929. P. 1068–1524.

Wilkens J. Remarks on a Topos in the Orkhon Inscriptions // Ötüken'den İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı (720–2010), 3–5 Aralık 2010, İstanbul: Bildiriler / From Ötüken to İstanbul, 1290 Years of Turkish (720–2010), 3<sup>th</sup> – 5<sup>th</sup> December 2010, İstanbul: Papers. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011. S. 255–274.

Yalınkılıç T. Kül Tigin Yazıtının Çince Metni ve Tercümesi // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2013. Sayı: 2/2. S. 79–85.

Yıldırım F., Aydın E., Alimov R. Yenisey–Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig. Ankara: BilgeSu, 2013. 512 s.

Yoshida Y. Some New Readings in the Sogdian Version of Karabalgasun Inscription // Ötüken'den İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı (720–2010), 3–5 Aralık 2010, İstanbul: Bildiriler / From Ötüken to İstanbul, 1290 Years of Turkish (720–2010), 3<sup>th</sup> – 5<sup>th</sup> December 2010, İstanbul: Papers. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011a. S. 77–86.

Zeki Validi Togan A. Ibn Fadlān's Reisebericht. Leipzig: Kommissionsverlag F.A. Brockhaus, 1939 (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Bd. XXIV. Nr. 3). XXXIV, 337, 45 S.

Zeki Validi Togan A. Umumi Türk Tarihine Giriş. Cild 1. En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1946. (Tarih Araştırmaları. №2. Cild 1). XVI, 488 s.

Zeki Validi Togan A. Tarihte Usûl. 3 üncü. baskı. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1981 (Enderun Yayınları 9). XXX, 350 s.

Zieme P. Materialien zum Uigurischen Onomasticon I // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1977. Ankara, 1978. S. 71–86.

Zieme P. Materialien zum Uigurischen Onomasticon II // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1978–1979. Ankara, 1981. S. 81–84.

Zieme P. Some Remarks on Old Turkish Words for “Wife” [=“Kadın” İçin Kullanılan Eski Türkçe Kelimeler Üzerine Bazı Düşünceler] // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1987. Ankara, 1992. S. 305–309.

Zimonyi I. *Bodun* und *El* im Frühmittelalter // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 2003. T. 56. №1. S. 57–79.

Жэнь Бао-лэй [任宝磊]. Го-нэй цзинь сань-ши нянь си ту-цзюэ янь-цзюэ цзянь шу (1980–2010) [国内近三十年西突厥研究简述(1980–2010)] // Си-юй янь-цзюэ [西域研究]. 2011. №4. С. 128–135 (на кит. яз.).

Линь Гань [林干]. Цзинь лю-ши юй-нянь (1919–1984) го-на ту-цзюэ ши янь-цзюэ пин шу [近六十余年(1919–1984)国内突厥史研究评述] // Минь-цзюэ янь-цзюэ [民族研究]. 1985. №6. С. 68–75 (на кит. яз.).

Хун Юн-мин [洪勇明]. Гу-дай ту-цзюэ вэнь «Су-ци бэй» синь-ши [古代突厥文《苏吉碑》新释] // Чжун-ян Минь-цзюэ да-сюэ сюэ-бао (чжэ-сюэ шэ-хуэй кэ-сюэ бань) [中央民族大学学报(哲学社会科学版)]. 2010. 1 цз. 37 цз. (чжун ди 188). С. 122–128 (на кит. яз.).

Hayashi T., Osawa T. Site of Ikh-Khoshoot and Küli-Čor Inscription (イフ=ホショートウ遺蹟とキュソリ=チヨル碑文) // Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998 (モンゴル国現存遺蹟・碑文調査研究報告) / ed. by Takao Moriyasu and Ayudai Ochir. Toyonaka: The Society of Central Eurasian Studies, Osaka University, 1999. P. 148–157 (на яп. яз.).

Maeda Masana [発行日]. [Review] M. Mori, Historical Studies of the Ancient Turkic people, Tōkyō, 1967 [<批評・紹介> 護雅夫著 「古代トルコ民族史研究I」] // Tōyō-shi Kenkyū [東洋史研究]. 1968. Vol. 27. №1. P. 91–97. (на яп. яз.).

Mori Masao [護雅夫]. Kodai Toruko minzokushi kenkyū. I. [古代トルコ民族史研究. I] Tōkyō [東京]: Yamakawa Shuppansha, Shōwa 42) [山川出版社, 昭和42], [1967]. 16, 656, 25 p. (на яп. яз. с англ. резюме с добавочным названием «Historical studies of the ancient Turkic peoples I»).

Mori M. [護雅夫]. The Meanings of the Word “qu(o)y” and “öz” in the Yenisey Inscriptions [Ienisei hibun ni mieru qu(o)y, öz ryō-go ni tsuite (イエニセイ碑文に見えるqu(o?)y, öz両語について)] // Tōyō Gakuhō (Reports of the Oriental Society) [東洋学報]. 1962. – 第45巻. 第1号. P. 551–554 (на яп. яз. с англ. резюме на p. 01).

Moriyasu T. Site and Inscription of Šine Usu (シネウス遺蹟・碑文) // Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998 (モンゴル国現存遺蹟・碑文調査研究報告) / ed. by Takao Moriyasu and Ayudai Ochir. Toyonaka: The Society of Central Eurasian Studies, Osaka University, 1999. P. 177–195 (на яп. яз.).

Moriyasu T., Yoshida Y., Katayama A. Sevrey Inscription (セブレイ碑文) // Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998 (モンゴル国現存遺蹟・碑文調査研究報告) / ed. by Takao Moriyasu and Ayudai Ochir. Toyonaka: The Society of Central Eurasian Studies, Osaka University, 1999a. P. 225–227 (на яп. яз.).

Moriyasu T., Yoshida Y., Katayama A. Qara Balgasun Inscription (カラニバルガスン碑文) // Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998 (モンゴル国現存遺蹟・碑文調査研究報告) / ed. by Takao Moriyasu and Ayudai Ochir. Toyonaka: The Society of Central Eurasian Studies, Osaka University, 1999b. P. 209–224 (на яп. яз.).

Osawa T. Ongi Inscription // Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998 (モンゴル国現存遺蹟・碑文調査研究報告) / ed. by Takao Moriyasu and Ayudai Ochir. Toyonaka: The Society of Central Eurasian Studies, Osaka University, 1999a. P. 129–136 (на яп. яз.).

Osawa T. Qara-Balgasun Inscription II // Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998 (モンゴル国現

存遺蹟・碑文調査研究報告) / ed. by Takao Moriyasu and Ayudai Ochir. Toyonaka: The Society of Central Eurasian Studies, Osaka University, 1999b. P. 143–145 (на яп. яз.).

Yoshida Y., Moriyasu T. The Bugut Inscription (ブグト碑文) // Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to 1998 (モンゴル国現存遺蹟・碑文調査研究報告) / ed. by Takao Moriyasu and Ayudai Ochir. Toyonaka: The Society of Central Eurasian Studies, Osaka University, 1999. P. 121–125 (на яп. яз.).

Yoshida Yutaka [吉田豊]. Sogudo hito to kodai no churuku-zoku to no kankei ni kansuru mittsu no oboegaki [ソグド人と古代のチュルク族との関係に関する三つの覚え書き] // Kyōto Daigaku, Bungaku-bu Kenkyū Kiyō [京都大學文學部研究紀要]. 2011b年3月. 第50号. P. 1–41.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АКИН – Агентство по культурно-историческому наследию (г. Горно-Алтайск)

АН – Академия наук

БНЦ – Бурятский научный центр

ВОИРАО – Восточное отделение Императорского Русского Археологического общества

ГАГПИ – Горно-Алтайский государственный педагогический институт (ныне – ГАГУ)

ГАГУ – Горно-Алтайский государственный университет

ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры

ГАНИИИЯЛ – Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы

ГИМ – Государственный исторический музей

ГМВ – Государственный музей Востока

ИА – Институт археологии

ИАЭТ – Институт археологии и этнографии

ИВ – Институт востоковедения

ИВИ – Институт Всеобщей истории

ИИМК – Институт истории материальной культуры

ИЛИ – Институт лингвистических исследований

ИрГТУ – Иркутский государственный технический университет

КемГУ – Кемеровский государственный университет

КузГТУ – Кузбасский государственный технический университет

ЛГУ – Ленинградский государственный университет

МАЭ – Музей антропологии и этнографии

МГУ – Московский государственный университет

НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет

НГУ – Новосибирский государственный университет

РАН – Российская академия наук

РГО – Русское Географическое Общество

СО – Сибирское отделение

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет

ТГУ – Томский государственный университет



ТНИИЯЛИ – Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории

ХакНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории

AKDTYK – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu

AÜ – Ankara Üniversitesi

DTCF – Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DMG – Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

SFOu – Soci t  Finno-ougrienne

SOAS – School of Oriental and African Studies

TDK – T rk Dil Kurumu

TTK – T rk Tarih Kurumu

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ

- Б I – левая боковая сторона Бугутской стелы  
Б II – первая широкая, «лицевая» сторона Бугутской стелы  
Б III – правая боковая сторона Бугутской стелы  
БК, X – большая надпись на восточной стороне стелы Бильге кагана  
БК, Ха – продолжение большой надписи на левой боковой (южной) стороне стелы Бильге кагана  
БК, Хб – малая надпись на северной стороне стелы Бильге кагана  
Е – енисейские надписи  
Кб – боковая надпись на правой боковой (северной) стороне стелы Кюльтегина  
К I; К II; К III – однострочные надписи на продольных гранях стелы Кюльтегина  
КТб – большая надпись на лицевой (восточной) стороне стелы Кюльтегина  
КТ, Хб – малая надпись на левой боковой (южной) стороне стелы Кюльтегина  
КЧ – памятник Ихэ Хушоту, или стела Кюли чора  
МШУ – стела Могойн Шинэ Усу (Селенгинский камень)  
О – западная сторона Онгинской надписи (основная надпись)  
Оа – надпись с правой (южной) стороны Онгинской стелы  
Об – горизонтальная надпись вверху Онгинской стелы  
С/Е-47 – Суджинская стела, или «сын кыркыза»  
Сэвр – Сэврэйская надпись (тюркский текст)  
Тал – Таласские надписи  
Тер – Терхинская (Тариатская) стела  
Тон – надпись советника Тоньюкука (I; II – две стелы)  
Тэс – Тэсийнская стела  
ЫБ – «Ырк битиг» («Гадательная книга»)  
ХТ – надписи Хойто-Тамира (Тайхир-чулу)  
Chuas. – «Хуастванифт» (X<sup>u</sup>astvānīft), или «Покаянная молитва манихейцев»

Вэй шу – «История [династии] Вэй». Цит. по изд.: Цинь-дин си ку цюань шу хуэй-яо: Вэй шу (3 цэ) [钦定四库全书荟要: 魏書 (3册)]. Чан-чунь [長春]: Чан-чунь чу-бань шэ [长春出版社], 2005.

Суй шу – «История [династии] Суй». Цит. по изд.: Цинь-дин си ку цюань шу хуэй-яо: Суй шу (гун эр цю) [钦定四库全书荟要: 隋书(共2册)]. Чан-чунь [長春]: Чан-чунь чу-бань шэ [长春出版社], 2005.

Тун дяньюнь – «Общие установления». Цит. по изд.: Цинь-дин си ку цюань шу хуэй-яо: Тун дяньюнь (Цюань 3 цэ) [钦定四库全书荟要: 通典(全3册)]. Чан-чунь [長春]: Чан-чунь чу-бань шэ [长春出版社], 2005.

Цзю Тан шу – «Старшая история [династии] Тан». Цит. по изд.: Цинь-дин си ку цюань шу хуэй-яо: Цзю Тан шу [钦定四库全书荟要: 旧唐书]. Чан-чунь: Цзи-линь Чу-бан цзи-туань [長春: 吉林出版集团], 2005.

Цэ фу юань гуй – «Черепашка императорской библиотеки». Цит. по изд.: Цинь-дин си ку цюань шу хуэй-яо: Цэ фу юань гуй [钦定四库全书荟要: 册府元龜]. Чан-чунь [長春]: Чан-чунь чу-бань шэ [长春出版社], 2005.

Чжоу шу – «История [династии] Чжоу». Цит. по изд.: Цинь-дин си ку цюань шу хуэй-яо: Чжоу шу [钦定四库全书荟要: 周书]. Чан-чунь [長春]: Чан-чунь чу-бань шэ [长春出版社], 2005.

Men. Fr. – Менандр Протектор «История» (фрагменты)

Theoph. Sym. – Феофилакт Симокатта «История»

*Научное издание*

**Серегин Николай Николаевич  
Тишин Владимир Владимирович**

**СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ТЮРКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
(вторая половина I тыс. н.э.)  
Часть 1: ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
(по письменным и археологическим источникам)**

*Монография*

Редактор: С.И. Тесленко  
Подготовка оригинал-макета: М.Ю. Кузеванова

*Для оформления обложки использован фотоснимок Н.Н. Серегина*

Подписано в печать 11.12.2017. Печать офсетная.  
Бумага офсетная. Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 28.  
Тираж 500 экз. Заказ \_\_\_\_.

Отпечатано в типографии ООО «Азбука»:  
656099, Барнаул, пр. Красноармейский, 98а



ИИ:ХІ:ЭИ:СХ:ИИ:СІ:Х:К:К:И:Е:И:И:И:Х:И:И:

ИИ:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:

ИИ:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:

ИИ:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И:И: